



ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE

NR. 9

MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ TĘSTINIS LEIDINYS

KAUNAS, 2017

ŽMOGUS KALBOS ERDVĖJE Nr. 9

MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ TĘSTINIS LEIDINYS

Leidžia Vilniaus universiteto

Kauno fakulteto

Užsienio kalbų katedra

MAN IN THE SPACE OF LANGUAGE, 9

THE PROCEEDING EDITION OF SCIENTIFIC ARTICLES

Published by Vilnius University

Kaunas Faculty

Department of Foreign Languages

ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА №9

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Издает Кафедра иностранных языков

Каунасского факультета

Вильнюсского университета

Redakcijos adresas / Adress of the editorial / Адрес редакции

Mokslinių staipsnių tęstinis leidinys „Žmogus kalbos erdvėje“

VU KnF

Muitinės g. 8, Kaunas LT-44280

Tel.: 8-37-42 24 77; el. paštas: jurate.radaviciute@knf.vu.lt

Redagavo / Edited by / Редактировали

Alla Diomidova (rusų kalba / the Russian language / русский язык)

Loreta Kamičaitytė (anglų kalba / the English language / английский язык)

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (lietuvių kalba / the Lithuanian language / литовский язык)

Techninė redaktorė / Technical editor / Технический редактор – Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

ISSN 2424-385X

© Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2017

Recenzavo:

Prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

Dr. Nadežda Morozova, Lietuvių kalbos institutas (Lietuva)

Publikuoti rekomendavo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto taryba

Tarybos posėdžio protokolas Nr. 6, 2017 05 04.

REDAKTORIŲ KOLEGIJA**Jūratė Radavičiūtė**

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorė, dr. (04H), Lietuva, **vyriausioji redaktorė**

Ala Diomidova

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, dr. (04H), Lietuva, **vyriausiosios redaktorės pavaduotoja**

Omnia Amin

Zayed universiteto Tvariųjų ir humanitarinių mokslų koledžo profesorė, habil. dr. (04H), JAE

Tatjana Babko

Minsko valstybinio lingvistinio universiteto docentė, dr. (04H), Baltarusija

Skirmantė Biržietienė

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, dr. (04H), Lietuva

Natalija Kuzmina

Dostojevskio Omsko valstybinio universiteto profesorė, habil. dr. (04H), Rusija

Vilma Linkevičiūtė

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorė, dr. (04H), Lietuva

Jurij Mašošin

Daugpilio universiteto docentas, dr. (04H), Latvija

Živilė Nemickienė

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, dr. (04H), Lietuva

Olegas Perovas

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentas, dr. (04H), Lietuva

Veronika Razumovskaja

Sibiro federalinio universiteto profesorė, habil. dr. (04H), Rusija

Vadim Šubin

Maskvos valstybinio humanitarinio universiteto docentas, dr. (04H), Rusija

Nikolaj Vaskiv

Boriso Grinčenko Kijevo universiteto profesorius, habil. dr. (04H), Ukraina

Dovilė Vengalienė

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, dr. (04H), Lietuva

TURINYS
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ

1. **Елена Абрамова.** Функционирование топонимов кельтского происхождения как компонентов культурной памяти Великобритании 8
2. **Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Gintarė Naujokienė.** Literatūros matymas Juozo Keliuočio kritikos tekstuose 21
3. **Ольга Бараш.** Кружковая семантика как проблема транслатологии (И. Бродский «Полонез: вариация» /J. Brodsky “Polonaise: a Variation”) 34
4. **Вера Барбазюк.** Особенности метафоризации концепта «жизнь»: краткий обзор 45
5. **Moreno Bonda.** Teaching Italian to an almost-monolingual audience: Processability Theory and the emergence of syntax before morphology 51
6. **Антони Бортновски.** Специфика восприятия страны детства и собственной национальной идентичности в романе Ирен Немировски «Вино одиночества» 62
7. **Eglė Gabrėnaitė.** Politinė retorika: vertybinės topikos dėmenys 73
8. **Нана Гаприндашвили.** Перспективное направление постколониального грузинского литературоведения: имагология 86
9. **Алла Диомидова, Йорис Казлаускас.** Лингвистический ландшафт Вильнюса и Тбилиси 99
10. **Oleksandr Kapranov.** Conceptual metaphors involving renewable energy in corporate discourse by British Petroleum and the Royal Dutch Shell 113
11. **Victoriia Katerniuk.** Restaurant names in London, Berlin, and Kyiv: a comparative onomastic research 128

12. **Раиса Козак.** Обращение в системе синтаксического концепта экспрессив и его вербализация в украинском, белорусском и русском языках 136
13. **Нина Козловцева.** Русский мир и культурная память российских соотечественников 155
14. **Наталья Лихоманова.** Постколониальные рефлексии и нарратив 172
15. **Ольга Макаровска.** Редирективность котоматричных текстов 176
16. **Глеб Маслов.** Поэт как антропологическая проблема в модернизме: от русских символистов к Готфриду Бенну 190
17. **Юрий Машошин, Надежда Соколова.** Неопределенные понятия в юриспруденции 204
18. **Олег Перов.** «Жестокий реализм» Виктора Астафьева: апология выживания и проповедь милосердия 223
19. **Наталья Петрова.** Маркеры времени в поэзии О. Мандельштама 235
20. **Dorota Ewa Pierścińska.** Modality in blog inspired online discussions 245
21. **Сергей Преображенский.** «Футбол»: версии поэтической концептуализации (О. Мандельштам, В. Набоков, Н. Заболоцкий, К. Вежиньский, А. Слисаренко, Н. Отрада) 273
22. **Вера Пустовалова.** Семантика и прагматика игровых метафор как средств номинации человека (на материале медиадискурса) 282
23. **Вероника Разумовская.** Культурная память художественного текста: в поиске эффективной стратегии перевода 292
24. **Рыгованова Виктория.** Фракталы в лингвистике: теоретическая и практическая применимость 308
25. **Rusudan Saginadze, Tamari Ninidze.** Euphemistic phraseology in the georgian language 321
26. **Yaroslava Sazonova.** Colonial and postcolonial influence on verbalising subjects-sources 331

of fear in Ukrainian texts of horror literature

27. **Ольга Шестерикова.** Метафоризация поэтического языка в русской культуре XX века 347
28. **Татьяна Тарасенко.** «Живучие стереотипы» и переводческая асимметрия (на материале переводов романа М. А. Булгакова на японский, китайский и испанский языки) 361
29. **Roman Tryfonov.** The concept of man in metalingual expressions 375
30. **Елена Юрчук.** Литература как текстуальная метафора 385
31. **Elmira T. Zhanysbekova.** Myths and folklore in their function as the basis centers of the creative method of A. Altay and O. Vokeev 394
32. **Анна Жебровска.** Индивидуальные воспоминания как элемент исторической памяти 404

Елена Абрамова

Международный институт менеджмента ЛИНК

ул. Менделеева, 11/4, 140182 г. Жуковский, Россия

E-mail: abramel@mail.ru

Область научных интересов автора: социолингвистика, лингвокультурология, вариантология и диалектология, ономастика

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПОНИМОВ КЕЛЬТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В статье рассматривается функционирование топонимов кельтского происхождения в Великобритании. Утверждается, что они несут информацию культурного, социального и исторического плана в контексте другого языка в отличие от своего англоязычного эквивалента, т.е. являются компонентами культурной памяти этноса в рамках полиэтнического государства. На традиционно кельтских территориях Великобритании географические объекты имеют кельтское и английское названия, которые могут быть графически идентичны и не идентифицироваться как иноязычные. Другие различаются графически, фонетически и семантически как элементы разных языковых систем, что отражает последовательные этапы англизации. Согласно Национальному картографическому управлению Великобритании, английские и кельтские топонимы эквивалентны на дорожных знаках и указателях, очередность языков в каждом случае определяется местными органами власти. Их использование в политическом и деловом дискурсе также зависит от местоположения географического объекта и прагматики коммуникации. Использование кельтского названия объектов практикуется в рекламных текстах, туристических брошюрах и лирических описаниях природы в англоязычной литературе с целью оказания соответствующего воздействия на потенциального англоязычного туриста и формирования интереса к кельтской культуре. Лингвистический ландшафт Уэльса и Шотландии в аспекте использования кельтских топонимов находится в изменении. Инициатива его формирования исходит от органов власти. Однако деятельность «снизу» также формирует общественное мнение и позитивное отношение к кельтским языкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *топоним, кельтский, Шотландия, Уэльс, Великобритания, культура.*

Использование топонимов это идентификация места как специфической реалии. На традиционно кельтских территориях Великобритании географические объекты имеют два официальных названия – кельтское и английское. Если кельтские языки мыслятся как прошлое, количество носителей не увеличивается, а чаще всего падает, значит ли это, что кельтские топонимы являются реликтами прошлого и при наличии английского варианта должны уйти? Представляется, что использование кельтских топонимов в кельтских вариантах английского языка – это не только идентификация места как специфической реалии, но и идентификация собеседников и выполнение ими социальной и коммуникативной задачи.

Являясь признаком этноса, топонимы кельтского происхождения в большей степени несут информацию культурного, социального и исторического плана в контексте другого языка в отличие от своего англоязычного эквивалента. Отметим, что топонимы представляют собой национально и культурно маркированные единицы языка, которые обладают потенциалом кельтскости в английском контексте. Нельзя не согласиться с утверждением о том, что они способствуют «...передаче такой экстралингвистической информации, как социальная, национальная, профессиональная и т.д., принадлежность действующих лиц (Ощепкова 2004: 209)». В них отражаются социальные, исторические и культурные факторы, не нашедшие отражения в английской лексике (Ильин 2008: 82). Отсюда вопрос выбора топонима является политической, культурологической, лингвистической и социальной проблемой.

Целью данной статьи является анализ функционирования топонимов кельтского происхождения как компонентов культурной памяти в англоязычном контексте Великобритании в настоящее время. Данная цель определяет методологию исследования и алгоритм описания. В статье рассматриваются валлийские и шотландские гаэльские топонимы в их взаимодействии и сосуществовании с англоязычными элементами топонимической системы полиэтнического региона, каким являются кельтские регионы Великобритании. Анализируется функционирование кельтских вариантов топонимов в бытовой речи, в художественной литературе и публицистике, на дорожных знаках и указателях, в официальном дискурсе, т.е. в различных сферах бытования языка.

Топонимика представляет интерес для многих поколений лингвистов (Кастрен М. А., Никонов В. А., Поспелов Е. М., Серебренников Б. А., Суперанская А. В., Топоров В. Н., Трубачев О. Н., Беленькая В. Д., Матвеев А. К., Березович Е. Л. и т.д.), проводивших и ведущих исследования на стыке наук: лингвистики с одной стороны и географии, истории, археологии,

этнографии и культурологии с другой. Преимущественно этимологический и структурный подход к исследованию топонимов не исключает, а наоборот содержит социокультурную составляющую. Так, еще Э. М. Мурзаев писал, что топонимика – это часть истории (Мурзаев 1974: 11), а географические названия говорят о характере заселения человеком новых территорий (Мурзаев 1974: 13), связаны с общественной жизнью и языками народа, населявших те или иные местности (Мурзаев 1974: 15). По мнению В. А. Никонова, этимология – ничто, если она игнорирует причины, родившие названия. А эти причины – всегда и только исторические (Никонов 2011: 27). Отсюда, переименования нежелательны, они лишают народ своей истории (Мурзаев 1995: 221).

Исследование топонимии Великобритании в контексте кельтских по происхождению топонимов представлена двумя направлениями. Первое – этимологическое или диахроническое, занимающееся этимологией, мотивированностью и структурой топонимов, в их описании можно легко проследить большое внимание к культурному компоненту топонима (E. Ekwall, A. D. Mills, V. Watts, J. Field). В работах, посвященных кельтскому субстрату в английском языке, указывается, что количество топонимов кельтского происхождения намного значительнее, чем традиционно считается (R. Coates, R. Hickey, M. Filppula). Второе направление, синхроническое, носит социальный или даже идеологический характер и связано с описанием топонимии постколониального периода. В исследованиях данного направления, проводимых во всем мире, топонимия как компонент лингвистического ландшафта рассматривается в плане выполняемых ею функций, таких, как информативной, символической, культурно-исторической и социальной (D. Gorter, E. Shohamy, R. Landry, R. Bourhis, K. Helander).

Традиционно топонимия региона изучается диахронически, однако в нашем преимущественно синхроническом исследовании мы согласимся с Ю. А. Карпенко, что синхроническое изучение топонимики предполагает исследование функционирования топонимов как членов системы, в которой они упорядочены, организованы и согласованы (Карпенко 1964: 50). Итак, обратимся к рассмотрению функционирования топонимов Великобритании.

Исторически Шотландия и Уэльс – многоязычные территории. Как указывается, при двуязычии, вся топонимия дублирована, почти все объекты носят двойное название, а в каждой паре члены соотнесены с той языковой системой, которой они принадлежат, а топонимические

системы соотнесены друг с другом (Никонов 2011: 148). Причина двуименности объектов в данном случае очевидна, поскольку, по мнению В. А. Никонова «карта мира исписана колонизаторами» (Никонов 2011: 154).

Э. М. Мурзаев отмечает, что проблема «Топонимы в межнациональном общении» очень сложна, нет однозначного ответа на вопрос, какое из двух названий использовать. Обобщая мнение ученого по этой проблеме, выделим следующие положения: все зависит от позиции народа, необходимы терпение и терпимость, в результате двойные топонимы могут уживаться друг с другом (Мурзаев 1995: 211).

Обратимся к рассмотрению топонимов Уэльса. Большинство из них имеют кельтское происхождение, что наглядно отражает древнюю историю княжества. Вместе с тем, существуют и английские или англизированные топонимы. Соотношение между кельтскими, кельтскими англизированными и английскими топонимами по форме и содержанию можно представить следующим образом:

1. эквивалентные по форме валлийские и английские топонимы при первичном валлийском: *Bangor* – город на севере Уэльса – в письменной форме они не идентифицируются как иноязычные;

2. различные по форме с минимальными расхождениями, обусловленными фонетическими особенностями английского языка как реципиента валлийского топонима: *Aberafan* или *Aberavon*;

3. различные по форме, но идентичны по семантике, заимствованной в английский язык из валлийского: *Coed-duon* или *Blackwood*;

4. различные по значению и форме: *Penarlâg* (высокое место для скота) или *Hawarden* (высокое огороженное место).

Итак, английские и валлийские топонимы различаются графически, фонетически и семантически как элементы разных языковых систем, следовательно, их употребление связано с их принадлежностью к определенному языку и контексту. Это деление топонимов отражает последовательные этапы англизации. Данные примеры показывают первичность кельтской формы топонима, которая 1) может совпадать с английской по форме, 2) иметь небольшие отличия, обусловленные англизацией топонима, 3) быть основой для английского калькированного топонима или 4) абсолютно отличаться.

Переходим к рассмотрению употребления вариантов топонима. В соответствии с решением Национального картографического управления Великобритании, английские и кельтские топонимы эквивалентны на дорожных знаках и указателях, при этом очередность языков в каждом случае определяется местными органами власти. В английском контексте, как правило, употребляется англизированный вариант кельтского имени или английский вариант.

Интерес представляет употребление валлийского варианта в английском контексте. Проанализируем отчет Статистического управления Великобритании *Ordnance Survey* по вопросу соотношения валлийских и английских названий (*Guide to Welsh Origins of Place Names in Britain 2004: 6–33*). В соответствии с отчетом, они эквивалентны на дорожных знаках и указателях, но, тем не менее, использование того или иного языка как первого на знаках, определяется географически и социолингвистически. Так, на юге Уэльса с преимущественно монолингвальным англоговорящим населением первым приводится английское название. На севере же, где больше билингов, предпочтение отдается валлийскому топониму.

Ordnance Survey регулирует использование гаэльских наименований, исходя из положения о необходимости сохранения шотландской культуры и обеспечения прав гаэльских сообществ, проживающих на западе Шотландии, в Глазго, Эдинбурге, и всех граждан гаэльского происхождения (*Gaelic Names Policy 2009: 11*). Так, по отношению к природным объектам с названиями, имеющими одинаковое значение в обоих языках, устанавливается исторически обусловленная или принятая в данной местности форма, кроме тех случаев, когда исторически используется двойное название. Для объектов, созданных человеком, применяется двойное название при его наличии. Однако, при отсутствии достаточной площади для изображения названия, употребляется только английская форма имени (например, на мелкомасштабных картах). Согласно положениям картографического управления, при наличии двойного наименования первым идет английское название, если это специально не оговорено. Местные власти имеют право устанавливать английское или / и гаэльское имя по отношению к административным территориям (*Gaelic Names Policy 2003: 11*).

В настоящее время двуязычные топонимы все чаще появляются на дорожных знаках и указателях главных автомобильных трасс Шотландии и местных дорог горной части Шотландии для того, чтобы способствовать возрождению гаэльского языка и формированию «гаэльского лица» туризма в Шотландии. Последовательно воплощается в жизнь план по обеспечению всех железнодорожных станций Шотландии двуязычными знаками. При

пересечении англо-шотландской границы путешествующие на автомобиле не могут не заметить баннер «Добро пожаловать в Шотландию» на двух языках.

Вместе с тем, в Шотландии существует оппозиция против двуязычных знаков, что свидетельствует о негативном отношении к возрождению языка (Puzey 2008: 824). Дискуссии по поводу необходимости, целесообразности и финансовой оправданности сооружения двуязычных знаков не утихают. Разнообразие высказанных в социальной сети *Facebook* мнений по поводу использования гаэльских названий наряду с английскими сводится к двум противоположным точкам зрения:

1. Использовать только на знаках в туристической зоне, исключив дорожные знаки, что может привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий, так как графика гаэльского названия может привести к отвлечению внимания водителя от дороги. Стоит заметить, что, несмотря на то, что нам приходилось неоднократно встречать данный аргумент в публицистике, сторонники данного подхода не привели ни одного статистического подтверждения.
2. Использовать двуязычные названия на всех знаках как дань уважения гаэльскому обществу и его культуре (Support Bilingual Signs in Scotland).

Использование кельтского названия природных топонимов в англоязычном тексте практикуется в политическом и рекламном дискурсе, брошюрах и лирических описаниях природы в англоязычной литературе с целью оказания соответствующего воздействия на потенциального англоязычного туриста и формирования интереса к кельтской культуре.

Рассмотрим частотность использования кельтского топонима *Ynys Môn* (полуостров на северо-востоке Уэльса и административная единица) и его английского эквивалента *Anglesey* в английском контексте.

В официальном дискурсе с 1983 г. преобладает валлийский вариант: *Albert Owen, MP for Ynys Môn, speaks after a North Wales Economic summit in November 2008* (Owen). В политической публицистике Консервативной партии используется валлийское название с указанием английского варианта для монолингвов, что, возможно, сделано для привлечения сторонников и демонстрации солидарности с ними: *On Saturday, Anthony Ridge-Newman was selected as Conservative candidate for Ynys Môn – otherwise known as the Isle of Anglesey – in a five-cornered contest on the first ballot. Ynys Môn – Known as the Isle of Anglesey to its non-Welsh-speaking minority, where it would appear that the previously-selected Trefor Jones has stood down* (Isaby).

Такая же ситуация наблюдается и в деловом дискурсе: *We are a Shukokai karate club based on Ynys Môn or Anglesey, North Wales* (Unarmed Combat). При написании адреса приоритет отдается валлийскому варианту: *Location: Ynys Môn / Anglesey*. Использование английского варианта топонимов более южных графств Уэльса связано с преобладанием монолингвов на юге Уэльса.

В художественной литературе использование валлийского варианта топонима в английском контексте объясняется художественными целями – созданием атмосферы и средством этнической характеристики персонажа. Валлийский отец думает о дочери, живущей в Англии: *He wanted Eleyne to return to Môn* (Erskine 1994: 236). Хранительница древних валлийских традиций также ассоциируется с валлийским вариантом наименования священного для валлийцев места: *At the door of the hall a woman stared across the water towards the glittering snows which mantled the peaks of Yr Wyddfa* (Erskine 1994: XV).

Традиционный валлийский вариант географического названия использует старик-валлиец, наслаждаясь красотой родного края, что свидетельствует о его этнической принадлежности: *He saw the form of a great bird slowly spreading across the sky, its wings outstretched from the fire-tipped peaks of Eryri to the gold of the western sea* (Erskine 1994: XVII). В туристическом дискурсе валлийский вариант используется в английском контексте после английского варианта для придания всему тексту национально-культурной отмеченности или кельтскости: *If in doubt about your abilities, consider a national park walk; ask at tourist offices, check the Eryri / Snowdonia newspaper, or download details of day walks. Yr Wyddfa is known to everyone as “Snowdon”, the highest and arguably the most popular summit in England and Wales* (Marsh 2010: 23).

Кроме того, иногда длинные, сложные и непонятные географические названия на кельтских языках в английском контексте придают экзотичность и самой территории, тем самым, привлекая туристов. Так, в Северном Уэльсе искусственно был создан топоним – название станции *“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogoch”* («Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника деревьев вблизи быстрого водоворота у красной пещеры Святого Тисилия») для привлечения туристов (Jaworski 2010: 264). Как часть имени собственного топонимы используются в названиях компаний и организаций Северного Уэльса, где преобладают носители языка: *Ynys Môn Mind* (клиника), *Eryri Gymnastics Club* (спортивный клуб), *Busnes Eryri Cyf*, *Eryri Networks* (компания), *Beics Eryri Cycle Tours* (туристическая

компания). Валлийские варианты топонимов часто используются в рекламных текстах, брошюрах и романтических описаниях природы для оказания соответствующего воздействия на потенциального иностранного туриста и стимулирования интереса к валлийской культуре. Государственный проект под названием *Sense of Place* (Чувство места) предоставляет Совету по Туризму Уэльса право выдавать гранты туристическим компаниям, использующим двуязычные знаки и указатели (Dylan 2000: 541).

Таким образом, в Уэльсе наблюдается функционирование как исконно кельтских, так и англизированных и английских топонимов. Использование варианта топонима при наличии варианта обусловлено социолингвистически, в соответствии со статусом преимущественно валлийского языка в Уэльсе. Одной из функций валлийского топонима, обуславливающей его выбор является рекламная, т.е. привлечение туристов, клиентов, сторонников.

Подобная ситуация наблюдается и с гаэльскими топонимами. Большая часть топонимов Шотландии – гаэльские по происхождению, за исключением топонимов юго-востока страны, где носители миноритарного языка исторически не проживали. Так, в повседневной и официальной коммуникации используются англизированные варианты гаэльских названий: *An t-Eilean Sgìtheanach is traditionally regarded as an important stronghold of Gàidhlig. The New Statistical Account of Scotland provides a short insight into the state of the language in the parish of Port Rìgh in the early 19th century* (Duwe 2006: 6). В художественном тексте, где действие происходит на западе Шотландии, используются реальные и вымышленные кельтские топонимы в английском контексте. Мы рассмотрели систему топонимов в романе К. Маккензи “Whiskey Galore”, в котором действие происходит на одном из западных островов Шотландии, и который основан на реальных событиях, о чем и говорится в начале романа. Острова *Great Todday* и *Little Todday*, имеющие гаэльские названия *Todaidh Mór* и *Todaidh Beag*, используются в романе параллельно, и предпочтение одного из вариантов можно объяснить следующими причинами. В авторской речи при повествовательном описании событий и мест действия романа автор использует английский вариант как нейтральный: ... *this was the first time for a week that the mailboat had been able to call at Snorvig, the little harbour in Great Todday* (Mackenzie 2009: 9). Однако, при смене тональности описания, при переходе к лирическому или романтическо-ностальгическому, автор намеренно использует гаэльский топоним: *The grey of dawn was glimmering above the bens of Todaidh Mór, and the high decrescent moon, silver now, was floating merrily upon her back across the deep starry sky toward the west*

(Mackenzie 2009: 159). Отрывки романа, написанные в жанре путеводителя, содержат только английский вариант или английский с последующим за ним гаэльским, что сделано намеренно. Потенциальный турист, читая эту часть романа, не сможет понять кельтский вариант без английского. ... *in the old period of clan feuds the MacRuries of Great Todday were always raiding the cattle of their neighbours, and the Macroons of Little Todday were not less adept at making inroads upon the MacRurie sheep* (Mackenzie 2009: 19). ... *the gallant Osprey reached Snorvig, the picturesque little port of Great Todday (Todaidh Mór)* (Mackenzie 2009: 18). В речи персонажей данные топонимы употребляются также согласно социолингвистическим принципам. Английский топоним используется англичанами, гаэлами при разговоре с англичанами и гаэлами в письменной речи.

Англичанин: *I'll have to go over to Great Todday and talk to Captain Wagget* (Mackenzie 2009: 36).

Гаэл – приезжему англичанину: *You won't find a drop of it in Little Todday* (Mackenzie 2009: 114).

Гаэл в письменной речи: *I am proud of Great Todday* (Mackenzie 2009: 84).

В бытовой беседе гаэлов между собой уместен гаэльский вариант как иноязычное вкрапление, характерное для разговорной речи в двуязычных регионах: *Catriona will make him a good wife. There isn't a better cook in Todaidh Mór* (Mackenzie 2009: 24).

Как показывают данные примеры, кельтские варианты топонимов в английском контексте, в отличие от английских вариантов, используются в лирическом и романтическом контексте, как аллюзия к легендарному прошлому гаэлов, а также в бытовой коммуникации кельтов. Использование кельтских топонимов в речи персонажей художественного произведения служит их характеристикой – указывает на этническую принадлежность адресантов и адресатов коммуникации, и на бытовую сферу общения.

В таблице 1 в обобщенном виде представлены данные об использовании кельтских топонимов в английском контексте при наличии двух вариантов наименования географических объектов.

Таблица 1

Использование кельтских топонимов в английском контексте в различных типах коммуникации

<i>Коммуникации</i>	<i>Место и способ использования</i>
Официальная	На традиционно кельтско-говорящих территориях.
Публицистическая	В туристической литературе первичное использование после английского варианта, затем самостоятельно.
Художественный текст	Для создания исторического, лирического и романтического фона.
Бытовая	В бытовом общении между кельтами.
Дорожные указатели	На традиционно гаэльских территориях в Шотландии и повсеместно в Уэльсе.

В английском контексте использование оригинального кельтского топонима ограничено традиционно кельтскими регионами на севере и северо-западе. В публицистическом и художественном тексте кельтские топонимы придают тексту лирический, этнический и исторический характер. В туристической литературе эти топонимы используются наряду с английскими вариантами.

В Шотландии кельтицизмы-топонимы функционируют в англоязычном виде. В Уэльсе соотношение кельтских и английских названий различно. Использование оригинальных валлийских топонимов северных графств Уэльса в официальном общении регулируется административными мерами. Необходимо отметить расширение сферы использования двуязычных знаков и указателей, что придает кельтским языкам «заметность» в англоязычном пространстве, которая более очевидна у валлийских топонимов ввиду более высокого статуса валлийского языка, чем гаэльского.

В то же время кельтские топонимы рассматриваются как элементы кельтской культуры, поскольку, подобно топонимам в других языках и культурах, они возникли в конкретных исторических условиях. Их происхождение связано с общественной жизнью и языками кельтов и очерчивает определенные ареалы, т.е. использование кельтских вариантов топонимов служит в лингвистическом ландшафте Великобритании маркером «кельтскости» территории и ее жителей.

В странах, топонимия которых обусловлена доминирующими этническими и политическими группами, вопросы топонимии связаны с проблемами идентичности, равноправия и признания. Признание двуязычия на указателях и знаках отражает определенный подход к решению проблем языкового и культурного разнообразия. Лингвистический ландшафт Уэльса и Шотландии находится в изменении, которое имеет характер «сверху–вниз», т.е.

инициатива его формирования исходит от органов власти. Однако деятельность «снизу» также формирует общественное мнение и позитивное отношение к кельтским языкам.

Литература

- ИЛЬИН, Д. Ю., 2008. Системообразующие и социолингвистические параметры описания топонимики региона. *Вестник Тамбовского университета*. Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та. Вып. 7, 78–85.
- КАРПЕНКО, Ю. А. 1964. Синхроническая топонимика. In: Сост. В. А. Никонов, О. Н. ТРУБАЧЕВ. *Принципы топонимики*. Москва: Наука, 45–57.
- МУРЗАЕВ, Э. М., 1995. *Топонимика и география*. Москва: Наука.
- МУРЗАЕВ, Э. М., 1974. *Очерки топонимики*. Москва: Мысль.
- НИКОНОВ, В. А., 2011. *Введение в топонимику*. Москва: Издательство ЛКИ.
- ОЩЕПКОВА, В. В., 2004. *Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии*. Москва, Санкт-Петербург: ГПОССА, КАРО.
- DUWE, K. C., 2006. An t-Eilean Sgitheanach: Port Rìgh, An Srath & Slèite. In: *Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies*. Available from: http://www.linguae-celticae.org/dateien/Gaidhlig_Local_Studies_Vol_12_Port_Righ_Sleite_Ed_II.pdf (27.05.2016).
- DYLAN, PH., 2000. We'll Keep a Welcome? The Effects of Tourism on the Welsh Language. In: Ph. Dylan. *Let's Do Our Best for the Ancient Tongue. The Welsh Language in the Twentieth Century*. Cardiff: University of Wales Press, 527–550.
- ISABY, J., 2010. *Anthony Ridge-Newman selected for Ynys Môn*. Available from: <http://conservativehome.blogs.com/goldlist/2010/01/anthony-ridgenewman-selected-for-ynys-m%C3%B4n.html> (27.05.2016).
- JAWORSKI, A., THURLOW, C., 2010. Language as Commodity. In: N. Coupland. *The Handbook of Language and Globalization*. Chichester: Blackwell Publishing Ltd, 255–286.
- ERSKINE, B., 1994. *The Child of Phoenix*. London: Harper Collins Publishers.
- Support Bilingual Signs in Scotland (Gaelic / English) 2010. Available from: <http://www.facebook.com/group.php?gid=54276726475> (27.05.2016).
- Gaelic Names Policy*, 2009. London: The Stationery Office.
- Guide to Welsh Origins of Place Names in Britain*, 2004. London: The Stationery Office.
- MACKENZIE, C., 2009. *Whiskey Galore*. London: Vintage Books.

MARSH, T., 2010. *Great Mountain Days in Snowdonia*. Milnthorpe: Cicerone Press Limited.

OWEN, A., 2008. *MP for Ynys Mon*. Available from: <http://www.youtube.com/watch?v=vvweSvYNJic> (27.05.2016).

PUZEY, G., 2008. Opportunity or Threat? The Role of Minority Toponyms in Linguistic Landscape Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. In: G. Puzey. *Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences*. York: York University, 821–827.

Unarmed Combat 2012. Available from: <http://www.unarmed-combat.org/member.asp?id=278&mlid=179> (14.08.2012).

Elena Abramova

International Institute of Management LINK

FUNCTIONING OF CELTIC ORIGIN PLACE-NAMES AS COMPONENTS OF BRITISH CULTURAL MEMORY

Summary

The article deals with the functioning of Celtic origin place-names in Great Britain. The author argues that unlike their English equivalents Celtic place-names provide cultural, social and historical information in the English language context thus being components of the ethnic cultural memory in the framework of the multiethnic state.

In traditional Celtic areas, geographical objects have Celtic and English names which can be graphically identical, so in written form they are not distinguished as belonging to different languages. The other equivalents differ graphically, phonetically and semantically as elements of different languages, which reflects consecutive stages of anglicization.

According to the Ordnance Survey, English and Celtic place-names are equivalent in road signs and signposts, the order of the languages in each case being decided on by local authorities. The use of Celtic/English place-names in political and business discourse also depends on the location of the geographical object and pragmatics of communication. The use of Celtic place-names of geographical objects is common in advertising texts, travel brochures and lyrical descriptions of nature in English fiction which aim at influencing potential English-speaking tourists and arousing interest in Celtic culture. The linguistic landscapes of Wales and Scotland relating to the use of Celtic place-names are in constant progress. The authorities are initiating measures in reforming it. Social opinion and positive attitude to Celtic languages are also formed by the activity of language enthusiasts.

KEYWORDS: toponym, Celtic, Scotland, Wales, Great Britain, culture.

Jelena Abramova

Tarptautinis vadybos institutas, Žukovskis, Rusija

KELTŲ KILMĖS TOPONIMŲ REIŠMĖ, SUSIJUSI SU KULTŪRINE JUNG TINĖS
KARALYSTĖS ATMINTIMI

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami Jungtinės Karalystės keltų kilmės toponimai. Šie toponimai suteikia papildomą kultūrinę, socialinę ir istorinę informaciją Jungtinės Karalystės kalbinei aplinkai, nes priklauso kitai, ne anglų, kalbai, t. y. šie toponimai priklauso kultūrinės atminties etosui daugiakultūrinėje valstybėje. Tradiciškai keltų apgyvendintose teritorijose geografiniai pavadinimai pateikiami keltų ir anglų kalbomis, jie gali turėti tą pačią grafinę išraišką ir nebūti atpažįstami kaip kitos kalbos žodžiai. Kai kurie pavadinimai skiriasi grafine, fonetine ir semantine raiška, juos lengva atpažinti kaip priklausančius skirtingoms kalboms. Šie skirtumai atskleidžia įvairius kalbinės asimiliacijos etapus. Pagal įstatymus angliškai ir keltiškai toponimai kelio ženkluose ir rodyklėse gali būti rašomi anglų ir keltų kalbomis. Sprendimą, kurią kalbą vartoti, priima vietinės valdžios atstovai. Jų panaudojimas politiniame ir verslo diskursuose priklauso nuo geografinės objekto padėties ir komunikacijos pragmatikos. Siekiant didinti susidomėjimą keltų kultūra ir paveikti anglakalbius turistus, keltų kalba vartojama reklaminiuose tekstuose, turistams skirtoje informacijoje ir lyriniuose gamtos aprašymuose anglų literatūroje. Kalbinis Velso ir Škotijos landšaftas keičiasi, nes kinta keltiškų žodžių vartojimas. Šį pokytį inicijuoja vietinės valdžios institucijos. Visuomenės nuomonė taip pat veikia bendrą požiūrį ir teigiamą keltų kultūros vertinimą.

REIŠMINIAI ŽODŽIAI: toponimas, keltų, Škotija, Velsas, Jungtinė Karalystė, kultūra.

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

Vilniaus universitetas

Kauno fakultetas

Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva

El. paštas: gabija.sereikiene@knf.vu.lt

Moksliniai interesai: literatūros kritika, modernizmas, XX a. lietuvių literatūra, tarpukario Lietuvos spauda ir reklama

Gintarė Naujokienė

Vilniaus universitetas

Kauno fakultetas

Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva

El. paštas: gintare.jureviciute@gmail.com

Moksliniai interesai: lietuvių literatūros teorija, kritika, istorija

LITERATŪROS MATYMAS JUOZO KELIUOČIO KRITIKOS TEKSTUOSE

Straipsnyje aptariamos lietuvių humanistinės literatūrologijos atstovo, garsaus tarpukario visuomenės veikėjo, neokatalikybės šalininko, kūrybininko, vertėjo, kritiko, publicisto ir „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus Juozo Keliuočio (1902–1983), savo įvairialypę veikla pakreipusio lietuvių meninę savimonę link Vakarų modernizmo, nuostatos dėl literatūros mokslo – teorijos, kritikos ir istorijos – kategorijų ir jų vystymosi. Analizuojamas Juozo Keliuočio siūlomų literatūros kritiko siekinių, atsakomybių ir asmenybės pasaulėžiūros santykis. Aptariamos kritiko išskirtos to laiko lietuviškos literatūros kritikos vidinės ir išorinės problemos, literatūros mokslo, istoriografijos ir kritikos svarbiausi tikslai ir vertinimo kriterijai, nagrinėjamas tarpukario veikėjo siūlomas literatūros istorijos rašymo modelis. Tyrimo medžiaga – Juozo Keliuočio kritikos straipsniai iš knygos „Meno tragizmas“ (1997), rašyti 1929–1944 metais, ir 1936 metų disertacija „Poezijos psichologija ir estetika“ (išspausdinta 2003 metais knygoje „Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos“). Šis tyrimas papildo jau esamus lietuvių literatūros kritikos tyrinėjimus, kuriuose nėra plačiau kalbėta apie visas literatūros mokslo šakas Juozo Keliuočio kritikos tekstuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: literatūros istorija, literatūros kritika, literatūros teorija, Juozas Keliuotis.

Ivadas

Kaip teigia Ramutė Dragenytė, „kalbėjimas apie literatūros istoriją XXI a. neišvengiamai suponuoja diskusijas apie didžiojo naratyvo prasmę, nes tautinė literatūra mąstoma kaip išnykęs, nykstantis ar niekad nebuvęs reiškiny. Apskritai abejojama, ar literatūros procesas turi kokią nors struktūrą“ (2014: 14). Tačiau Lietuvoje dar nėra išsamiai ištirta savosios istoriografijos pradžia, jos raida, kuri buvo nutraukta sovietinės ideologijos. Turima akademinė lietuvių literatūros istorija vis dar netenkina daugumos filologų. Tad akivaizdu, kad reikia kalbėti ir apie didįjį pasakojimą, ir apie jo lietuviškus variantus.

Straipsnio tikslas – aptarti mažiau reflektuotą tarpukario periodą literatūros, jos teorijos ir istorijos rašymo aspektu, paanalizuoti mažiau šiuo atžvilgiu tirtą Juozo Keliuočio, kurį domino visos literatūros mokslo šakos (teorija, kritika, istorija), tekstus. Todėl vis dar ieškant literatūros istorijos modelio, verta patyrinėti, ką siūlė itin savitas Juozas Keliuotis. Jo analizuojama problematika tarpsta lauke, kai buvo einama nuo tautinės literatūros prie paties suvokėjo, kai keitėsi autoriaus vaidmuo. Straipsnyje keliami uždaviniai aptarti lietuviškosios literatūrologijos formavimosi periodą, nužymėti svarbiausius Juozo Keliuočio veiklos bruožus, atskleisti jo literatūros, kritikos sampratą ir teorijos vertinimą, artimumą humanistinei literatūrologijai, apsvarstyti humanisto siūlomą literatūros istorijos rašymo modelį.

Apie atskiras J. Keliuočio veiklos sritis yra rašyta nemažai. Minėtini Viktorijos Daujotytės (2007), Giedriaus Viliūno (2003) darbai, taip pat knyga *Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos* (2003). Čia publikuoti Gitanos Vanagaitės, Dalios Striogaitės, Ritos Tūtlytės, Dalios Satkauskytės, Algio Kalėdos ir kitų tyrėjų straipsniai apie J. Keliuočio gyvenimą ir veiklą.

Lietuvių literatūrologija formavosi po Pirmojo pasaulinio karo, kai iš Europos universitetų sugrįžę lietuviai intelektualai dirbo Vytauto Didžiojo universitete ir rašė pamatinius kultūros, literatūros, meno, kritikos darbus. Šį tarpsnį jau buvo praėję didžiosios tautos, o Lietuvai dar reikėjo ne tik išsiversti didžiuosius literatūros kūrinius į lietuvių kalbą, ne tik parašyti lietuviškus vadovėlius, bet ir publikuoti savą grožinę literatūrą, ieškoti savitų estetinių, etinių, filosofinių vertinimo kriterijų. Juos XIX–XX amžių sandūroje veikė modernizmas, vokiečių hermeneutika ir gyvenimo filosofija, biografinis ir bibliografinis literatūros istorijos modelis, praplėstas estetiniu aspektu. Poreikis lietuvių literatūros istorijai buvo akivaizdus. 4-ame dešimtmetyje Vladas Dubas buvo parašęs *Prancūzų literatūros istoriją* (1929–1930, 2 t.), Juozas Eretas *Vokiečių literatūros istoriją* (1931), Balys Sruoga *Rusų literatūros istoriją* (1931–1933, 2 t.), Vladimiras Šilkarskis rašė *Graikų literatūros istoriją*

(1938), Nachmanas Šapira – *Naujosios žydų literatūros metmenis* (1938). Juozas Ambrazevičius, Jonas Grinius, Antanas Vaičiulaitis išleido *Visuotinės literatūros istoriją* (1931–1933, 2 d.). Ieškota atsakymo į klausimus, kas yra dėmesio verta literatūra, kokiais kriterijais remiantis ją reikia analizuoti, kas yra literatūros mokslo objektas. Kilo nemenkos diskusijos. Balio Sruogos ir Vinco Mykolaičio-Putino diskusijos su Adomu Jakštu išprovokavo turiningus veikalus. Tai Balio Sruogos *Naujausioji lietuvių literatūra*, *Lietuvių literatūros bruožai*, *Estetinė ir anestetinė tikrovė*, Vinco Mykolaičio-Putino *Naujoji literatūra* (1936), kurios buvo išleista tik pirmoji dalis, o antroji liko rankraštyje, taip pat Juozo Ereto, Igno Skrupskelio straipsniai.

Lietuvių literatūrologijai formuojantis, savo veiklą pradėjo Juozas Keliuotis (1902–1983) – redaktorius, vertėjas, kritikas, publicistas, kūrėjas, naujosios katalikybės atstovas, mokėsis Kaune ir Paryžiuje, leidęs nemažai literatūros ir kultūros periodinių žurnalų, svarbiausiuose – *Granitas* ir *Naujoji Romuvoja* – bendradarbiavęs su Salomėja Nėrimi, Bernardu Brazdžioniu, Antanu Vaičiulaičiu, Juozu Griniumi, Antanu Maceina, Baliu Sruoga, Jonu Aisčiu, Mariumi Katiliškiu ir kt. Jiems rūpėjo rusicizmo, polonizmo ir germanizmo įtakų įveikimas, originalios lietuviškos kultūros ir plačiaja, ir siaurąja prasme kūrimas. Kaip yra pastebėjęs Juozas Keliuotis, literatūros, kritikos ir istorijos reflektavimo svarba atgavus nepriklausomybę buvo itin aktuali, nes lietuvių literatūra vis dar buvo sudėtingoje situacijoje: „Retai užtiksimė knygynus, o esamuose tik vieną kitą lietuvišką knygą pastebėsime“ (Keliuotis 1997: 116).

Literatūros teorijos klausimai

Literatūros teorija, istorija ir kritika sudaro literatūrologijos formuotę, kurios sudedamosios dalys, galbūt išskyrus kritiką, yra pakankamai fundamentalios ir inertiškos. Tą patvirtina žvilgsnis į poetikos raidą nuo Antikos iki Naujųjų laikų, būtent – sekimas Aristotelio *Poetika* rašant taisykles, kaip derėtų kurti ir vertinti literatūrą. Aristotelio *Poetikoje* svarstomos pamatinės teorinės problemos apie poezijos prigimtį, funkcijas ir poveikį, santykį su filosofija, istorija, kitomis meno rūšimis (tapyba ir muzika), tiriamą kūrinio (tragedijos) sandara, žanriniai dramos ir epo ypatumai, poetinės kalbos specifika, nurodomi vertinimo kriterijai. Vėlesnėje poetikos tradicijoje Aristotelium sekė Horacijus, N. Bualio, neįvesdami esminių pokyčių. Juozo Keliuočio literatūrologinis palikimas, viena vertus, susijęs su aristoteliška tradicija, kita vertus, šia tradicija nesitenkinama, ji šiek tiek transformuojama, modernizuojama.

Pirmiausia Juozas Keliuotis akcentuoja literatūros teorijos objekto nustatymo problemišumą. Esą, vadovėliuose grožinę literatūrą sudaro eilėraščiai, novelės apysakos, romanai, pjesės, bet jie yra tik įvadai, neapimantys viso jų srities sudėtingumo (Keliuotis 1997: 253). Kartu jis pripažįsta neišvengiamą literatūros srovių kitimą: „Senesnioji karta taip susigyveno su savo laiko naiviuoju realizmu, kartais ir natūralizmu, kad jokiū būdu nenori leisti pasireikšti naujai ekspresionistinei ir idealistinei kūrybos kryptiai“ (Keliuotis 1997: 105). Toliau mokslininkas imasi literatūros teorijos objekto – srovių ir žanrų, kurios jam padeda nustatyti kūrinį vertę ir vietą literatūros istorijoje ieškant tautinių nuostatų ir universalių vertybių dermės, juos lyginti. Tą matome kritiko straipsniuose, publikuotuose knygoje *Meno tragizmas*: „Meno tragizmas“ (1930), „Kūryba ir dorovė“ (1931), „Tragizmo poetas. Jono Kossu-Aleksandravičiaus *Eilėraščiai*“ (1932), „Moderninio meno orientacija“ (1935), „Juozo Grušo *Sunki ranka*“ (1937), „Oskaras Milašius – poetas ir filosofas“ (1944) ir kt. Pavyzdžiui, J. Keliuotis akcentuoja Maironiui svetimą modernųjį dekadentizmą ir naujovišką simbolizmą bei nurodo aktualesnius dalykus – jis žadinęs tautos energiją ir ją telkęs drąsiems žygiams (Keliuotis 1997: 235). Kritikas nevengia įvardyti rašymo metodo: „<...> visas Šeiniiaus rašymo būdas, visos jo sudarytos situacijos ir visos jo stilius perdėm impresionistinis“ (Ten pat: 395), „*Spūdai* yra psichologinio realizmo krypties romanas“ (apie Stasio Ivošiškio kūrinį) (Ten pat: 440).

Nors J. Keliuotis vertino visas literatūros rūšis – poeziją, epiką, dramą (Vanagaitė 2003: 32), bet daugiau dėmesio skyrė prozos žanrui. Pirmiausia jis akcentavo epinės poemos žanro kūrinį trūkumą. Juozo Grušo kūrinio *Sunki ranka* vertinime įvardijama, kas būdinga novelės žanrui: „Gera novelė parašyti reikalinga ir talento, ir literatūrinio subrendimo“ (Keliuotis 1997: 441), lakoniškai nusakomi siužeto ypatumai: „<...> vienai novelėi negalima imti per daug medžiagos, <...> reikia pasitenkinti gyvenimo fragmentu, o ne užgriebti jo tiek, kiek galėtų jo sudoroti tik romanas“ (Ten pat: 444). Romane svarbiausia J. Keliuotičiui – sukurti visapusiškus, įdomius personažus. Nors romanuose dažnai nutolstama nuo tikrovės, jie vis tiek populiarūs: „Mes stigome romanų. Visi mūsų beletristai ėmė juos rašyti. Leidėjai jų reikalavo. Visuomenė juos grobstė. Novelės visiškai buvo užguitos“ (Ten pat: 441). Taigi mokslininkas derino hermeneutinio įsijautimo į tekstą, stilistinio deskripcijos metodo ir kultūrinės-istorinės mokyklos principus.

Humanistinės literatūrologijos matmenys

J. Keliuotis – kritikas, pasisakęs už modernųjį meną, bet nepamiršęs ir tradicinių vertybių. Jis, neišsižadėdamas katalikybės, gynė literatūrą nuo kasdienybės, stengėsi ją priartinti prie Vakarų

Europos kultūros. Neatsisakydamas tradicijų, savojo identiteto, siekė suformuoti savą literatūros vertinimo koncepciją. Nemeniniuose tekstuose jis rėmėsi principais, būdingais humanistinei literatūrologijai.

Su humanistinės literatūrologijos tradicija literatūros kūrinuose sietinos Tautos dvasios paieškos. J. Keliuotis teigia, kad menas yra tautos individualybės atsiskleidimas, tėvynės grožio manifestacija (Daujotytė 2007: 206). Galima daryti prielaidą, kad jis literatūrą laiko ne tik vertinga savaime, jai priskiriama tautos identiteto kūrimo ir meilės tėvynei palaikymo funkcija: „Per meną tautos dvasia prabyla magiškais burtais. Užkerėja žmonių širdis. Tėvynės meile padega krūtinės“ (Keliuotis 1997: 48). Vytautas Kubilius atskleidžia, kad *Naujosios Romuvos* redaktoriui atrodė, kad trapioje Lietuvos geopolitinėje situacijoje stipri tautinė kultūra yra esminė tautos išlikimo prielaida (2003: 198). Tad kūryboje atskleidžiama Tautos dvasia, literatūra žadina meilę tėvynei.

J. Keliuotis humanistinei literatūrologijai priskirtinas ir dėl to, kad jam svarbus autorius siekiant suprasti kūrinio esmę. Pasak kritiko, kiekvienas poetas, rašytojas turi savą pasaulėvaizdį. Jis individualiai reaguoja į visus gyvenimo įvykius ir per savo asmenybės spalvą žvelgia į pasaulį (Keliuotis 1997: 485). Pasaulis pereina per kūrybinės asmenybės prizmę, todėl „<...> svarbiausias kritikos rūpestis – per estetinį kūrinio įvertinimą ir per psichologinę bei estetinę kūrėjo asmens ir jo gyvenimo analizę suvokti jo asmenybę ir paskui, įspėjus kuriančiosios sielos paslaptį, vėl grįžti prie kūrinio, kaip intymiškiausio jo (kūrėjo) asmenybės pasireiškimo ir kaip prie jo gyvenimo formos bei stiliaus, ir dabar jau galutinai įvertinti jo kūrybos žygio prasmę“ (Ten pat: 22). Akivaizdu, kad keliuotiškoji meno ir menininko samprata – moderni, inicijuota prancūziškojo intuityvizmo ir vokiškosios gyvenimo filosofijos.

Perskaitę kritiko straipsnius, publikuotus knygoje *Meno tragizmas*, galime apibendrinti, kad mokslininko įkvėpimo sampratą pirmiausia implikavo Benedetto Croce's mintis, kad kūrybinis įkvėpimas suteikia meno kūriniai ypatingo lengvumo, lemia meninių vaizdinių ir formalių struktūrų harmoniją. Tik dinamiška ir asketiška asmenybė, remdamasi kūrybine intuicija ir įkvėpimu, gali sukurti kūrinį, kuriuo žavėtusi minios. Teigdamas, kad menas nepriklauso nei nuo epochos, nei nuo gimimo vietos, kad jis išsako tik tai, kas užkoduota menininko sieloje, jis artimas Henri Bergsonui (plg. Andrijauskas 1995: 524). J. Keliuotio meno sampratoje išvelgtinas ir Friedricho Nietzsche's filosofijos teiginys, kad tikrojo meno vaizdavimas yra asmenybės vidinio pasaulio išdava. Pasak filosofo, konfrontuojančių jėgų sintezė – meno pagrindas. Ši mintis leidžia teigti, kad Juozas Keliuotis kūrybos refleksijoje derino dionisiškąjį (intuityvųjį) ir apoloniškąjį (racionalųjį) pradus,

nes, viena vertus, skatino energijos proveržį, dinamizmą, o, antra vertus, akcentavo askezę, krikščioniškąsias vertybes.

Kaip teigė kritikas, pagrindinės moderniojo meno savybės yra „revoliuciniškumas“, dinamiškumas ir originalumas. Juozo Keliuočio manymu, pirmoji savybė paskatino atkreipti dėmesį į žmogaus sąmonę, tam turėjo įtakos ir Sigmundo Freudų psichoanalizės teorija, o antroji – į tikrovę žvelgti kaip į nepaprastą dinamiką (Keliuotis 1997: 70). Tačiau originalumo siekis neturįs vesti prie perdėto individualizmo: „Reikalingi organiškai ryšiai su tikrove, su savo tėviške ir jos tradicijomis, žmogaus dvasia turi būti išlaisvinta nuo mašinos ir mados diktatūros, ji turi vėl save susirasti ir savęs primatą deklaruoti“ (Ten pat: 79). Pasak J. Keliuočio, „didieji kūrybos žmonės dažnai savo veikaluose sukondensuoja visos epochos, savo tautos ir net visos žmonijos dvasią, jos tempą, jos troškimus ir svajones, negalavimus ir nusivylimus. Jie gali kurti originališką individualizmo ir universalizmo, nacionalizmo ir internacionalizmo sintezę“ (Ten pat: 47). Toks kūrybos matymas iš dalies artimas Thomo Stearnso Elioto kūrinio ir tradicijos santykio mąstymui (plg. jo esė *Tradicija ir individualus talentas*).

Taigi modernusis menas – ir tautos dvasios, ir individualaus estetinio išgyvenimo apraška, neatsiejama nuo tikėjimo. Scientizmo ir pozityvizmo laikais J. Keliuotis aktualizavo askezę, santūrumą, vienatvę, kurie kūrėjui, esą, suteikia dinamizmo (Daujotyte 2007: 203). Tokio kūrėjo pavyzdys – Maironis. Priešprieša jam – Ch. Baudelaire'as, A. Shopenhaueris, A. Rimbaud, kurie galėję būti, pasak J. Keliuočio, dar geresni kūrėjai, jei ne nuodėmingas gyvenimo būdas. Vis dėlto kritikas neįsivaizduoja kūrėjo itin dogmatiško, jo santykis su pasauliu turi būti „gyvas“: „Kaip jie gali būti klasikais, romantikais ir realistais, lygiai taip pat gali būti simbolistais, impresionistais, ekspresionistais, kubistais, siurrealistais, konstruktyvistais ar net futuristais“ (Keliuotis 1997: 330).

Kritika ir kritikas J. Keliuočio žvilgsniu

Svarbus humanistinės literatūrologijos matmuo – neokatalikiškoji literatūros kritika. Lietuvoje literatūros kritika profesionalėja tik XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. XX amžiaus pradžioje šalia pozityvistinės kritikos formuojasi neoromantinė, neotomistinė, neokatalikiškoji kritika, kuriai priklausė ir Juozas Keliuotis. Paminėtinos svarbios jo publikacijos „Kritikos psichologija“ (1929), „Brazdžionio kelias per pasaulį“ (1944), „Moderninio meno keliai“ (1937), „Oskaras Milašius – poetas ir filosofas“ (1944), disertacija *Poezijos psichologija ir estetika* (1936). Svarbiausias teiginys, išplaukiantis iš J. Keliuočio straipsnių: kritika yra meno ir mokslo sintezė, kuri neįmanoma be

atidaus kritiko, žvelgiančio į kūrinį įvairiapusiškai. Jis – ir kritikas praktikas, ir teoretikas, ideologas. Juozas Keliuotis išskyrė vidines (šališkumas, ideologiškumas, neprofesionalumas) ir išorines (masiškumas, laiko trūkumas) kritikos problemas, pabrėžė kritikos naudingumo aspektą ir skaitytojui, ir autoriui.

XX amžiaus pirmoje pusėje literatūros refleksija buvo itin glaudžiai susijusi su estetika (Viliūnas 2003: 271). Literatūros kritikos straipsniuose J. Keliuotis itin dažnai akcentuoja estetikos ir filosofijos poveikį literatūrai: „<...> poeto perėjimai iš vieno pasaulio į kitą negali įvykti be gilaus tragizmo, jie poeto širdy sukelia metafizinę baimę, apie kurią tiek yra kalbėjęs didysis danų filosofas ir mistikas Kierkegardas“ (Keliuotis 1997: 513). Kritikas įžvelgia panašumų tarp filosofų ir rašytojų: „Filosofinio pesimizmo tėvui Schopenhaueriui menas yra vienintelė paguoda šiame klaikiame vargo ir skausmų gyvenime <...> O Kossu tragiškai žiūri ir į meną, ir į patį kūrybos vyksmą“ (Ten pat: 489), „<...> psichoanalitinio metodo pritaikymas savo sužeisti sielai pagydyti, kalbant šių dienų Freudo kalba“ (Ten pat: 500). Su estetika ir intuicija jis siejo pagrindinę kritikos paskirtį – įžvelgti kūrinio vertę: „Tai, kas tikrai yra poetiška, tai nei akis neišskaito, nei ausis negirdi, nei žodžiai neišreiškia, nei kritika nepaorkestruoja“ (Ten pat: 220).

Taigi kritikas Keliuočiui yra ir kūrėjas, ir mokslininkas, ir psichologas, ir estetas (Keliuotis 1997: 27). Autoriaus biografija ir estetinės autoriaus pažiūros jam – pagrindiniai principai, kuriais remdamasis kritikas užčiuopia kūrinio vertingumą. Profesionalus literatūros vertintojas – ne tas, kuris pagal taisykles įvertina kūrinį, bet tas, kuris jį su įsijautimu iškoduoja. Kritikas neturi teisės mokyti ar moralizuoti menininko. Jis tampa menininko bendražygiu (Kubilius 1997: 551).

J. Keliuotis teigė, kad reikia įsijausti ne tik į kūrinį, bet ir į autoriaus pasaulėjautą. Pastanga suvokti autoriaus intencijas – būtina, norint suprasti kūrinio vertę. Publikacijoje „Poezijos meno problema“ išsakoma mintis, kad poezijoje atsiskleidžia ne brutali tikrovė, o vizija, dvasinio pasaulio konstitucija, kūrėjo pasaulėvaizdis (Keliuotis 1997: 35). Vis dėlto neneigiama, kad net individualiame autoriaus patyrimo yra universalumo: „Juk pagaliau visi žmonės turi tą pačią žmogišką prigimtį – ir menininkas, kūrinį realizuodamas savo individualinę asmenybę tuo pačiu jau simbolizuoja ar pareiškia visuotinąjį žmonijos turinį“ (Ten pat: 26). Kritikas kūrinyje turi įžvelgti ir visuotinumą, ir individualumą: „<...> kiekvienas žmogus yra visiškai originali, savotiška ir nepakartotina būtybė <...> todėl atskiram individui pažinti nepakanka susipažinti tik su bendraisiais visus žmones valdančiais principais, bet reikalinga juo susidomėti individualiai, nes ir visi žmonės turi tų pačių pradų, tai vis dėlto šie pradai kiekviename vis kitaip kombinuoti <...>“ (Ten pat: 22). Čia akivaizdi H. Bergsono

įtaka, nes vertinamas individualumas ir universalumas. J. Keliuotis žavisi jo įkvėpta kritika: „Bergsoninės kritikos neginčytinas nuopelnas yra tas, kad ji nurodė kritikai dinaminį kūrybos pradą, <...> išmokė kritikus žodžiuose ieškoti visuotinės prasmės, stiliuje – žmogaus ir jo sielos“ (Ten pat: 28). Juozo Keliuočio manymu, iškoduoti kūrinio prasmę gali padėti intuicija, kuri, pasak B. Croce's, yra patikimiausia pažinimo priemonė.

J. Keliuotis neapėjo ir kai kurių kritikos problemų. Tarpukario kritiko manymu, to meto literatūros kritika Lietuvoje buvusi gana žemo lygio, neobjektyvi, tendencinga. Tokia situacija, esą, susidariusi dėl to, kad trūko profesionalų, išmanančių savo darbą, turinčių savo įsitikinimus: „Ir kritikas, norįs, kad jo straipsniai būtų spausdinami ir skaitomi, vengia gilesnės ir subtilesnės kūrybos analizės, nes jis būtų nesuprantamas skaitytojams, neturintiems aukštesnės intelektualinės kultūros; jis vengia ir estetinių aukštybių, nes žmonės be estetiškos kultūros jų negali pasiekti“ (Keliuotis 1997: 15). Dėl tokios padėties, esą, kaltos išorinės aplinkybės ir patys kritikai, todėl J. Keliuotis išskyrė vidines ir išorines kritikos problemas.

Kaip nepalankią išorinę kritikos problemą *Naujosios Romuvos* redaktorius įvardijo tai, kad literatūra ir jos kritika tapo rinka. Joje – svarbiausia kiekybė, o ne kokybė. Kūryba tampa reklamuojama preke: „Knyga paverčiama skurdžia biznio priemone ir apgaulinga mados preke. Galvojama ne apie knygos vertingumą, bet apie reklamos organizavimą“ (Keliuotis 1997: 13). Kaip teigia Viktorija Daujotytė (2007: 201), J. Keliuočio manymu, kritika turinti atsilaukti prieš komercializmą. Straipsnyje „Kritikos psichologija“ kalbama apie kritikos problemas, apie tai, kad ji nebėra profesionalo išreikšta nuomonė, nes vyksta papirkinėjimas, spaudimas siekiant, kad būtų teigiamai pasisakoma apie vieną ar kitą autorių (Keliuotis 1997: 14). Tokie vertinimai smerkiami: „Ypatingai nepalankių kritikai sąlygų sudaro karjeristiniai ar partiniai draugų rateliai, kur draugas draugą giria kaip gegutė ir gaidys, kur nepriklausą prie jo kūrėjai tik toleruojami, net boikotuojami“ (Ten pat: 33). Tad, kritiko nuomone, skubi ir šališka kritika nesuteikia galimybės tinkamai įvertinti kūrinį.

Kitos išorinės problemos – masiškumo siekis ir laiko trūkumas. Pasak Juozo Keliuočio, ne visi turi išsiugdę aukštą intelektualinę kultūrą, todėl stengiamasi įtikti masėms. Dėl greitėjančio spaudos tempo, dėl reikalavimų kurti greitai ir kuo paprasčiau kenčia literatūros kritikų darbo kokybė. Šios dvi išorinės problemos nulemia ir vidines. Vidinės kritikos problemos yra pačių kritikų neprofesionalumas, vienašališkumas ir konservatyvumas.

Svarbiausia vidinė kritikos problema – vienašališkumas ir ideologiškumas. Kritikai J. Keliuotis kelia tuos pačius reikalavimus, kaip ir menui: universalumo, sintezės, dinamizmo. Dalinius metodus jis atmeta kaip klaidingus, negalinčius atskleisti kūrinio esmės. Teoriškai *Naujosios Romuvos* redaktorius pasisako prieš ideologiškumą vertindamas meną. Ideologiškumas siejamas su šališkumu, rėmimusi tik viena pasirinkta kritikos rūšimi, tam tikrų vertybių propagavimu. Jam kritikoje svarbu ne akiai sekti nusistovėjusiomis taisyklėmis, epochos reikalavimais, bet turėti savus principus: „Jie nenori būti gyvenamosios epochos prietarų vergai“ (Keliuotis 1997: 33). Tačiau būtina pasakyti, kad ir pats kritikas ne visada išlikdavo objektyvus – jo straipsniuose akivaizdi humanistinės literatūrologijos ir neokatalikybės įtaka, itin dažni katalikybės, tautiškumo, nacionalizmo konceptai.

Literatūros istorijos modelis – tarp tradicijos ir modernumo

Mokslininko darbuose galima įžvelgti savitą literatūros istorijos rašymo būdą. Čia reikšmingi straipsniai „Pasikalbėjimas su prel. prof. A. Dambrausku-A. Jakštu“ (1931), „M. Valančius – lietuvių grožinės prozos pradininkas“ (1943), „J. Lindė-Dobilas“ (1934), „Mūsų literatūros linkmės“ (1932), „Moterų romanai“ (1938) ir disertacija *Poezijos psichologija ir estetika* (1936). Viena vertus, J. Keliuotis žvelgia į istoriją per Mykolo Biržiškos siūlytą faktografinės literatūros istorijos prizmę, kai autoriaus biografija aprašoma visuomeninių gyvenimo įvykių kontekste, pristatomi aptariamoms asmenybės darbai. Kita vertus, šiame modelyje neišsitenkama: pateikiama plati visų autoriaus darbų panorama. Pavyzdžiui, apie Julijoną Lindę-Dobilą J. Keliuotis rašo: „Jis mums paliko didelį ir vertingą romaną *Blūda*, dvi dramas – *Širdis neišturėjo* ir *Kur laimė?*, visą eilę meno, filosofijos ir literatūrinės kritikos studijų ir kelias apysakaites“ (Keliuotis 1997: 211). Mokslininkas analitiškai įvertina autoriaus savitumą, pavyzdžiui, kalbėdamas apie Adomą Jakštą: „Jis buvo ir žymus publicistas, gal didžiausias po Kudirkos, kėlęs audringas diskusijas, ir populiarus poetas, kurį prieš karą tik Maironis pralenkdavo; ir rimtas mokslininkas – teologijos, filosofijos, kalbotyros ir matematikos srityse; ir pedagogas <...>; ir garsus literatūros ir meno kritikas, plačiąsias mases sudominęs grožinės kūrybos veikalais“ (Ten pat: 227). Kritikas konstatuoja filosofinių ir estetinių idėjų bei grožinės literatūros sąveiką svarstydamas apie O. Milašį: „*Ars Magna* yra tikras filosofinės lyrikos šedevras, kur subtiliausias minties plazdėjimas susietas su tyriausio grožio spindėjimu“ (Ten pat: 315). Akivaizdu, kad J. Keliuočiu tinkamai įvertinti kūrinį neįmanoma nepasitelkus platesnio konteksto, jam literatūros istorija turi būti susijusi su filosofija, estetika ir kritika.

J. Keliuotis tradiciškai suvokė literatūros istorijos pradžios tašką – tai folkloras: „Tautosakoj, liaudies dainoj mes nusileidžiame į giliausią ir pirmąją poezijos kūrybos šaknį <...>“ (Keliuotis 1997: 162). Jo glaudi literatūros mokslo ir folkloristikos sąsaja yra paveikta XIX amžiaus romantikų (plg. Viliūnas 2003: 272). Originalios poezijos „tėvu“ kritikas laikė Kristijoną Donelaitį, grožinės prozos pradininku – Motiejų Valančių. Analizuodamas tam tikrus kūrinčius, jis išliko istoriografinės tradicijos, išrenkančios „idealiuosius“ kūrėjus, lauke. Tai V. Krėvė, V. Kudirka, Maironis, Vaižgantas, J. Lindė-Dobilas.

Juozas Keliuotis moderniai suvokė literatūros istorijos kitimą ir savaip atskleidė to meto literatūros situaciją. Leidinyje *Naujoji Romuva* jis pateikė anketas bei interviu to meto kūrėjams, provokuodamas atvirumą modernumui ir naujovėms. Interviu žurnalistas ėmė ir anketas pateikė Vaižgantui, Juozapui Albinui Herbačiauskui, Petriui Vaičiūnui, Vytautui Alantui, Vytautui Bičiūnui, Gražinai Tulauskaitei, Kaziui Inčiūrai, Petriui Babickui, Antanui Vienuoliui, Julijonui Lindei-Dobilui, Juzei Augustaitytei-Vaičiūnienei, Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei, Ignui Šeiniui, Marijai Lastauskienei, Petronėlei Orintaitei, Antanui Miškiniui, Juozui Grušui, Broniui Rutkauskui. Kritikas paskelbė interviu su Adomu Dambrausku, Ignu Šeiniumi, Vincu Mykolaičiu-Putinu. Žinomos asmenybės papasakojo savo gyvenimo istoriją, išdėstė estetines pažiūras, atsakė į klausimus apie savo kūrybos vertinimus, rašymo priežastis, išreiškė nuomones apie lietuvių literatūros situaciją, literatūros sroves (Keliuotis 1997: 352). Pavyzdžiui, J. A. Herbačiauskas įvardijo, kieno įtaka kuriant buvusi lemtinga: „Daugiausia mane veikė prancūzų katalikų rašytojai – Ernestas Hello, Leon Bloy, Verlaine ir Barbeyd’ Aurevilly“ (Ten pat: 348–349). Tokia anketinio ar dialoginio pobūdžio literatūros istorija yra tikrai patrauklesnė jaunam skaitytojui savo objektyvumu, nes čia pats autorius kalba apie savo kūrybą.

J. Keliuočio tekstai to meto literatūros istorijos aspektu naujoviški ir tuo, kad svarstė negausios moterų literatūros galimybes ir atskleidė jų kūrybos brandumą. Paminėjęs pasaulinio garso rašytojas Virginiją Woolf, Emily ir Charlotte Brontë’s, jis teigė, kad „moterys vis dažniau pasireiškia savarankiška kūryba. Praeity atrodė, kad joms nelemta pasireikšti individualiai ir savarankiškai, kad joms skirta būti tik mūzomis <...>“ (Keliuotis 1997: 446). Tuo metu moterų kūryba ir visuomeninė veikla nebuvo labai aukštai vertinamos, tačiau kritikas pripažino, kad moterys literatūroje, tapyboje, pedagogikoje, medicinoje, visuomeninėje veikloje gali būti tokios pat kūrybiškos, kaip ir vyrai.

J. Keliuotis lietuvių literatūrą, kaip ir J. Lindė-Dobilas ar V. Mykolaitis-Putinas, vertino ne siaurame romantinės tradicijos lauke, bet matė kaip europinės kultūros dalį. Vertindamas lietuvius

kūrėjus, jis pasitelkė komparatyvistinį kontekstą, pavyzdžiui: „Jis neturi nei vaižgantiškų sparnų, nei maironinės energijos, nei kudirkinio aiškumo“ (Keliuotis 1997: 224), „Brazdžionis čia jokių baltrušaitišku septynių užsimiršimų nežino“ (Ten pat: 283). Kaip teigia Algis Kalėda (2003: 9), taip tarpukario kultūrininkas atskleidė lietuvių meno sanglaudas su Europos ir pasaulio kultūra: „Kossu poezijoje, kaip ir Baudelaire, aidi graudus išganymo šauksmas, troškimas išsivaduoti nuo klaikaus ir prakeikto šio gyvenimo, ir, kaip Paul Claudel, spindi kukli, bet tikra išganymo viltis“ (Keliuotis 1997: 491). Pavyzdžiui, rašydamas apie Oscarą Miloszą, kritikas pasitelkė platų simbolizmo kontekstą, minėjo Paulį Verlaine'ą, Maurice'ą Meaterlincką ir kitus tos srovės pagrindinius kūrėjus (Ten pat: 304). Skirtingų kūrėjų gretinimas atskleidė jų svarbą literatūros istorijoje ir J. Keliuočiui leido pastebėti tai, kuo jų idėjos išskirtinės: „Autorius nieko akilai neseka, jis tik eina tuo keliu, kuriuo ėjo Dostojevskis ir kuriuo eina pokarinė moderninė psichoanalitinė, Freudo paveikta, literatūra. Jis lietuviško gyvenimo fone savarankiškai kelia dostojevskinę problemą <...>“ (Ten pat: 439).

Apibendrinimas

Taigi Juozo Keliuočio istoriografija krypsta nuo pozityvistinio į estetinį vertinimą (plg. Skeivys 2004: 179). Ji panaši į sintetinę-interpretacinę, nes dėmesys skiriamas istoriniam, nacionaliniam, sociologiniam ir psichologiniam aspektams. Pateikiamos veikalo parašymo aplinkybės remiantis naujoviškai surinkta informacija (anketomis ir interviu), dėmesio centre – per socialinį kontekstą, pasitelkus filosofines ir estetiškes įtakas, atskleidžiamas literatūros fenomenas. Literatūros matymas Juozo Keliuočio literatūros kritikos tekstuose subjektyvus, estetiškai intuityvus ir kartu plačiakontekstis, argumentuotas, galintis pretenduoti į akademinį. J. Keliuotis literatūros istorijos rašymą laikė kūryba. Taigi jis artimas istorinei dvasios mokslų mokyklai (dar vadinamai intelektualiąja istorija), kurios akstinas buvo Friedricho Nietzsche's samprotavimai, Henri Bergsono intuityvizmo filosofija, Heinricho Rickerto kultūros mokslų teorija, Wilhelmo Windelbando ir Georgo Collingwoodo istorinės idėjos. J. Keliuočio straipsniai, studijos, disertacija siūlo tam tikrą tautos literatūros naratyvo rašymo modelį, kuris gali būti aktualus šiandien.

Šį tyrimą būtų galima tęsti Juozą Keliuotį lyginant su Antanu Vaičiulaičiu, Juozu Griniumi ar kitais neokatalikiškosios pasaulėžiūros kritikais, atskleidžiant literatūros, jos teorijos, istorijos ir kritikos santykį šių kritikų nemeniniuose darbuose. Dar neįvertintas neokatalikiškosios humanistinės literatūrologijos santykis su Balio Sruogos ir Vinco Mykolaičio-Putino, taip pat lietuvių išeivių fundamentaliais literatūros istorijos darbais.

Literatūra

DAUJOTYTĖ, V., 2007. *Lietuvių literatūros kritika. Akademinio kurso paskaitos*. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

DRAGENYTĖ, R., 2014. Vinco Mykolaičio–Putino literatūros istorija: metodologiniai pasakojimo ypatumai. *Colloquia*, 32, 14–34. Prieiga: http://www.liti.lt/failai/Colloquia32_spaudai_14-34.pdf (2016 08 15).

KALĖDA, A., 2003. Intelektualo laikysena: patriotas ir pasaulio kultūros pilietis. In: *Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos*. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 7–9.

KELIUOTIS, J., 1997. *Meno tragizmas. Studijos ir straipsniai apie literatūrą ir meną*. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos I-kla.

KUBILIUS, V., 1997. Kito pasaulio esu žmogus. In: J. Keliuotis. *Meno tragizmas. Studijos ir straipsniai apie literatūrą ir meną*. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos I-kla, 542–555.

SKEIVYS, R., 2004. Lietuviškojo literatūros istorijos modelio raidos tendencijos. *Senoji Lietuvos literatūra*. 17 kn., 171–180. Prieiga: <http://www.liti.lt/failai/e-zurnalai/SLL17/XVIIISen171-180.pdf> (2016 08 16).

VANAGAITĖ, G., 2003. Juozo Keliuočio literatūrinės kritikos perspektyvos ir ribos. In: *Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos*. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 31–39.

VILIŪNAS, G., 2003. Į žodžio meno gilumas. Lietuvių literatūros mokslas XX amžiaus pirmoje pusėje. *Darbai ir dienos*, 36, 261–279.

Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

Vilnius University

Gintarė Naujokienė

Vilnius University

VISION OF LITERATURE IN JUOZAS KELIUOTIS'S CRITICAL WORKS

Summary

Juozas Keliuotis (1902–1983) was a famous public figure in the interwar Lithuania: a neo-catholic, a creative translator, a critic, a journalist and editor. His critical texts are related to all branches of literaturology. Keliuotis's literary theory and criticism are referred to by contemporary critics in their articles even today. The object of this paper is literary theory, criticism and history in the works of Keliuotis. The paper investigates his articles from the book *Meno tragizmas* and his dissertation *Poezijos psichologija ir estetika*.

Several findings have been evaluated. Firstly, it has been observed that Keliuotis's neo-catholic criticism belongs to humanistic literaturology as he talks about writer's biography and identification of the nation in literature. Secondly, Keliuotis emphasizes the role of modern art. Furthermore, it has been noticed that the critic analyzes overt and covert problems of criticism. He states that literary criticism should depend on aesthetical value of the literary work which is related to the author's biography. Keliuotis focuses on the author's intentions, circumstances of literature creation and aesthetic values. The analysis of the critic's works has revealed that he was influenced by the ideas of such philosophers as Henry Bergson and Benedetto Croce. In addition, his historiography of literature is related to the aesthetical method of literature evaluation. Finally, the analysis has also shown that Keliuotis's literary history is similar to synthetic-interpretative historiography. The critic was also influenced by the ideas of Friedrich Nietzsche, Heinrich Rickert, Wilhelm Windelband and Georg Collingwood.

KEYWORDS: literary theory, literary criticism, history of literature, Juozas Keliuotis.

Ольга Бараиш

Интернет-журнал *Language Travel*

ул. Ирины Левченко, д. 1, 123298 Москва, Россия

E-mail: barasolga@yandex.ru

Область научных интересов автора: переводоведение, сопоставительная поэтика, поэтика И. Бродского

**КРУЖКОВАЯ СЕМАНТИКА КАК ПРОБЛЕМА ТРАНСЛАТОЛОГИИ
(И. БРОДСКИЙ «ПОЛОНЕЗ: ВАРИАЦИЯ» /
J. BRODSKY “POLONAISE: A VARIATION”)**

Цель данной статьи – на конкретном примере рассмотреть возможности и интенции автора, переводящего собственный текст. Предмет анализа – стихотворение И. Бродского «Полонез: вариация» и его автоперевод на английский язык “Polonaise: a Variation”. *Self-translations by I. Brodskij comprise a stumbling block in the adequate reception of his poetic work by the English-speaking audience (well-known are sharply negative reactions of British and American critics to his verses). В статье рассматриваются в первую очередь аллюзии и реалии оригинала, имеющие особое значение для определенного круга лиц («кружковая семантика»), их смыслообразующая роль в тексте, а также стратегия передачи их автором на другом языке. Поднимается вопрос о необходимости перевода подобных компонентов текста и о возможности их восприятия читателями, не входящими в референтную группу, на которую рассчитан оригинал. Следует ли вообще учитывать их при переводе и включать в текст, предназначенный для «посторонней» аудитории? И. Бродский, как автор и одновременно переводчик стихотворения «Полонез: Вариация» / “Polonaise: a Variation”, отвечает на этот вопрос отрицательно, отказываясь от передачи подобных элементов, что, как показывает анализ, обусловлено не только формальными требованиями (передача рифмы и метра), и выводя на первый план любовную линию, хорошо воспринимаемую читателем любой референтной группы на любом языке.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перевод, автоперевод, кружковая семантика, интертекст, смыслообразование, И. Бродский, J. Brodsky.

Любой поэтический текст ставит переводчика перед множеством проблем, которые, как представляется, не имеют однозначного, пригодного для всех случаев решения. Даже вопросы

поэтической формы до сих пор вызывают споры, в особенности когда в борьбу вступают разные традиции перевода. Автопереводы И. Бродского – один из камней преткновения в адекватном восприятии творчества поэта англоязычной аудиторией. Известны резко отрицательные отзывы о поэзии Бродского таких критиков, как, например, К. Рэйн или Р. Костелянец. Даже старающаяся казаться расположенной к Бродскому Эллендея Проффер (Тисли) в своей мемуарной книге «Бродский среди нас» оставляет благожелательный тон, как только речь заходит об автопереводах поэта. По ее мнению, «он жертвовал многим ради размера и рифмы, и, будь он двуязычным, у него могло бы получиться» (Проффер 2015: 117). А американский критик Ричард Костелянец характеризует Бродского как «безнадежного архаика, стихи которого дурны в тех отношениях, в которых ни один американский поэт его поколения не позволил бы себе писать дурно. В них плохо все» (Костелянец 1998: 78). Однако критик, прежде чем подвергнуть уничтожающему разбору стихи Бродского, признается, что не владеет русским языком и основывает свое мнение исключительно на переводах, точнее, автопереводах поэта.

Претензии Р. Костелянца отличаются от претензий Э. Проффер: если американской издательнице, по ее словам, важно видеть, «как развивается образность», знать, «что сказал поэт», то Костелянца не устраивает сама образность Бродского, именно то, «что» он сказал, то есть семантическая сторона его поэзии.

Если непонимание метафорики стихотворения «К Урании» («как может взгляд застревать в окне? Пустота – раздвигаться? Одиночество – быть человеком в квадрате? (Костелянец 1998: 78-79) – факт личного восприятия критиком поэзии, то претензия к содержанию стихотворения «Шесть лет спустя» имеет иной характер. «Так долго вместе прожили, что вновь//второе января пришлось на вторник...» – в переводе: “So long had life together been that now // the second of January fell again//on Tuesday...” «Не знаю, в чем поэтический смысл того, что второе января оказалось вторником (а не средой), но сообщаю, что такое было в 1996, 1990, 1984, 1979, 1973, а в следующий раз будет в 2001» (Костелянец 1998: 79). Если бы у критика хватило терпения пройти в перечислении дат до 1962 года, кое-что бы прояснилось для него, будь он знаком с биографией Бродского.

Если русский читатель, даже не знающий биографической подоплеки текста, усмотрит здесь подобие игры слов («второе» – «вторник»), то в переводе это созвучие пропадает, и читатель англоязычный действительно может испытать некое недоумение: дескать, ну и что? Между тем для Бродского 2 января 1962 года – знаменательная дата, это день его знакомства с

М.Басмановой, которой посвящено стихотворение, повествующее о разрыве с возлюбленной в 1968.

Здесь мы вступаем в область аллюзий и намеков, разделяющих аудиторию «на две категории: узкий круг близких друзей, прекрасно понимающих намек, и широкий круг читателей, которые понимают, что поэт на что-то намекает, но не могут вполне оценить скрытые от них подробности» (Пильщиков 2007: 70). По словам Ю. Тынянова, «домашняя, интимная, кружковая семантика всегда существует, но в известные периоды она обретает литературную функцию» (Тынянов 1993: 146). Собственно, понятие кружковой поэтической семантики не получило развития в трудах как Ю. Тынянова, так и других авторов, однако легко поддается расшифровке: в него входят любые аллюзии к элементам референтного пространства, общего лишь для ограниченного круга читателей. Речь идет об определенных цитатах, характерных поговорках, окказиональном употреблении тех или иных слов и выражений, событиях, датах, именах либо посвящениях. Широта или узость этого круга может быть разной: от одного человека – непосредственного адресата стихотворения до достаточно обширной группы, претендующей на некоторую замкнутость.

Понятно, что для того чтобы адекватно передать элементы кружковой семантики, переводчик должен почувствовать себя членом данной референтной группы, т. е. понимать намек так же хорошо, как и другие ее члены. Возникает вопрос: а следует ли вообще учитывать их при переводе?

И как донести скрытые смыслы до «посторонних», не владеющих кружковым кодом читателей? Как мы видим из вышеприведенного случая со стихотворением «Шесть лет спустя», это не удалось в полной мере даже автору оригинала и перевода.

Бродский не раз заявлял в интервью и беседах, что его стихи, как и стихи других авторов, не следует воспринимать сквозь призму биографического подтекста. С другой стороны, свой биографический миф в творчестве на русском языке он выстраивал весьма тщательно, нередко при этом вынуждая читателя играть в «дополнительные игры» с датами и посвящениями. Представляется интересным рассмотреть, каким образом поэт представлял свой поэтический мир англоязычному читателю на примере перевода стихотворения «Полонез. Вариация», которое, по словам Е. Погорелой, автора единственного на сегодняшний день пространного анализа этого текста, является «загадкой для читателя» (Погорелая 2012: 356). «Загадочность» его, как представляется, обусловлена, в первую очередь, обилием «кружковых» мотивов.

Стихотворение написано в 1981 (по некоторым источникам – в 1982) году. Принято считать, что поводом к написанию стихотворения послужило введение военного положения в Польше, в таком случае оно написано не раньше декабря 1981 года. Стихотворение привлекало к себе внимание ряда исследователей, но вызывало в первую очередь некоторое недоумение. Так, по словам И. Грудзиньской-Гросс, в нем «присутствуют польские мотивы, но их немного. Полонез как музыкальная форма был очень популярен в России и даже лег в основу ее первого гимна» (Грудзиньская-Гросс 2013: 107). Действительно, на первый взгляд польских мотивов в длинном стихотворении очень мало: упоминание Шопена, Коперника, реки Буг, полонизм «фольварк» и идишизм «балагола», который с натяжкой тоже можно принять как обозначение польско-еврейской реалии. На «польский след» наводит скорее посвящение Z. K. – Зофье Капуциньской (Ратайчак), польской подруге Бродского, с которой он познакомился в Ленинграде летом 1961 года. Однако ни в первой публикации в альманахе «Russica-81», ни в первых изданиях книги «Урания» (1987), ни в ее английском варианте «To Urania» посвящения не было – оно появилось лишь в последующих изданиях. Впервые Бродский его вписал в экземпляр книги, подаренной Е. Рейну¹. По мнению Л. Лосева, первоначальное отсутствие посвящения было продиктовано нежеланием «компрометировать старого друга в коммунистической Польше в период тоталитарных репрессий» (Лосев 2011: 367)

Не было посвящения и в первом польском переводе С.Бараньчака, опубликованном в 1983 году в журнале „Zeszyty literackie”. Так – без посвящения – оно переключалось в другие польские издания, вплоть до изданного в 2015 году в издательстве того же журнала сборника “Urania”. Это заставило адресата стихотворения – Зофью Ратайчак-Капуциньскую – обратиться в редакцию «Зешитов литератских» и письмом: „Wertując tom poezji Josifa Brodskiego “Urania” (Warszawa, Zeszyty Literackie, 2015), po raz kolejny z przykrością zauważyłam, że wiersz “Polonez: Wariacja” nie jest opatrzony inicjałami ‘ZK’ (inicjały te znów ‘świecą nieobecnością’, przynajmniej w moich przeczulonych oczach). <...> Złośliwy chochlik?” (Ratajczak 2015: 251).

«Исчезающее посвящение» – не просто сентиментальная деталь, а в большой степени ключ к разгадке стихотворения. Именно оно объясняет насыщенность его не столько польскими реалиями, сколько аллюзиями к произведениям ряда польских поэтов, а также автореференциями, которые, как представляется, существенно расширяют (и проясняют)

¹ См. Рейн Е. А. Мой экземпляр «Урании». Электронный ресурс, режим доступа: <http://br00.narod.ru/10660362.htm>

семантику этого произведения, написанного, опять же, на первый взгляд, о любви – „niegdysiejszej, na poły zapomnianej miłości” (Tarkowska 2006: 238).

Автоперевод Бродского был сделан в 1987 году и опубликован в журнале “The New Yorker” 21 сентября того же года. Посвящения не было – оно появилось лишь в сборнике Joseph Brodsky. “Collected Poems in English”. Что же прочитал американский читатель?

Уже в первой строке русского текста зашифровано название страны, о которой идет речь: «Осень в твоём ПОЛуШАРЬи кричит “курлы”...» Ключевое слово – «Польша» – в почти неизменном виде входит в лексему «полушарье» и «подтверждается» дальнейшими строками, в которых повторяется уже в «разлитом» виде тот же звуковой (или звуко-буквенный) ряд: «с обнищАвшЕй державы сПОЛзает границ подпруга», «а как «ЛАмПу зажжЕшь, хоть строчи донОс...», «...тридцать трех ПОЛюбиШЬ». Вариант данной комбинации: «...на себя в никуда, и ПерО – уЛиКА»; «ПрорывАть КоЛьцО»; «КОноПЛи, но КОЛьчугой...» (с заменой *Ш* на *К*) указывает на то, что героиня стихотворения – *полька*. Лишь в последней части трехчастного стихотворения эти комбинации отсутствуют. Имеется в тексте и анаграмма ключевого слова заглавия: «В ПОЛнОлуНЬЕ жнивье из чужой каЗны...»

В английском автоперевод Бродский сохраняет анаграмму топонима Poland: “Autumn in your hemisphere whooPs cranes AND OwLs”; “A lean nation’s frontier sliPs Off Like A looseNeD harness”. В пользу сознательности построения данного звукобуквенного ряда говорит выбор лексики: так, Бродский передает «курлыканье» словом “whoops”, употребленном в метафорическом значении; вводит в текст отсутствующих в оригинале «сов» (owls), причем едва ли для рифмы: в нормативном английском произношении owls – camisole’s рифмой не является. Однако здесь анаграмма присутствует лишь в первых двух строках и едва ли будет замечена читателем, не знакомым с оригиналом.

Далее начинаются разительные отступления от оригинала. Так, в строках «А как лампу зажжешь, хоть строчи донос // на себя в никуда. И перо – улика» присутствует второе лицо единственного числа, которое у Бродского может носить как коммуникативную, так и автокоммуникативную функцию, в данном случае может относиться как к герою, так и героине, указывая на их двойничество (этот мотив развивается в третьей части стихотворения). В английском стихотворении, несмотря на использование безличного местоимения one, речь, безусловно, идет о героине, что подтверждается как упоминанием в предыдущих строках “camisole’s cleavage” (вырез женской сорочки), так и “curves” («округлостей») в последующих.

«Плюс могилы нет, чтоб исправить нос // в пианино ушедшего Фридерика» – здесь все исследователи стихотворения усматривают аллюзию к стихотворению Ц. К. Норвида „Forterian Szorena”, а также намек на то, что в Польше действительно нет могилы Шопена. Аллюзия эта была, безусловно, ясна и адресату, и целому кругу советских интеллигентов-полонофилов (каковых было немало в окружении Бродского, так же как и собственно поляков), и создавала емкий образ, вмещающий и трагические события в Польше, и мотив пожизненного и посмертного изгнанничества, и намек на «неисправимость» таких изгнанников, как Шопен (и Бродский). В переводе эти строки заменены на: “... the rooms whose air savors every ounce // pecked by Frederyk’s keyboard-bedeviled nozzle”. Перед читателем неизбежно возникает образ салонной красавицы в неглиже, слушающей Шопена и думающей о том, что его нос «исковеркан клавиатурой». Кстати, обращает на себя внимание написание имени „Frederyk” – наполовину английское (Frederick), наполовину польское (Fryderyk), хотя это может быть и опечаткой.

«Повернешься на бок к стене, и сны // двинут оттуда, как та дружина, // через двор на зады, прорывать кольцо // конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ. // И затем что все на одно лицо, // согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь» – в этих строках нетрудно увидеть сложный контрапункт аллюзий. Конопля, растущая вокруг дома и «на задах» (z tyłu) описана А. Мицкевичем в поэме «Пан Тадеуш» как растение-защитник, живое ограждение от набегов. «Дружина» же опознается с помощью числительного «тридцать три» – «тридцать три богатыря» из пушкинской «Сказки о царе Салтане». Богатыри Пушкина, таким образом, прорывают коноплю Мицкевича, что ведет за собой цепь ассоциаций: Мицкевич и Пушкин как символы России и Польши (оба – «главные» поэты своих стран), их дружба и разрыв.

Но по-английски Бродский пишет следующее: “Roll on your side, and the dreams will blitz // out of the wall like those fabled warriors // heading east, through your yard, to dislodge the siege // of tall hemp. Still, their hauberks won’t hide their tatters. // Yet, since they look alike, you, by getting hitched//only once, let an army across your mattress”. Вероятно, Бродский понимал, что американскому читателю неизвестны ни поэма Мицкевича, ни сказка Пушкина. Поэтому «баснословные воины» никак не конкретизированы, отсылка к Мицкевичу затемнена, зато в текст введена лексика, ассоциирующаяся со Второй мировой войной: army; to dislodge the siege – прорывать блокаду; blitz (ср. “Blitz-Krieg”); heading east (ср. Drang nach Osten). Картина кардинальным образом меняется по сравнению с оригиналом – дом подвергается натиску с

запада, а не с востока (в этом случае удивление вызывает точный перевод фразы «Но кольчуге не спрятать рубищ»).

В переводе второй части стихотворения отступлений от оригинала меньше, чем в первой. Однако обращает на себя внимание, что первые его строки: “Reddish tiles of the homestead, and the yellow shade // of its stuccoed dwellings, beset with shingles” («Черепица фольварков да желтый цвет // штукатурки подворья, карнизы – бровью») не содержат образа «карнизы – бровью», указывающего на антропоморфность описываемого пейзажа, благодаря которой адресация стихотворения становится двойственной: стране придаются женские черты. То же самое происходит в стихотворении „Rozebrana” («Раздетая») Ц. К. Норвида, где «всегда раздетая» женщина является символом Польши. Норвидовская символика должна была быть понятна как полякам из окружения Бродского, так и таким полонистам и полонифилам, как Наталья Горбаневская или Томас Венцлова, а главное – адресату стихотворения; как сообщила автору данной статьи Зофья Ратайчак, Норвид, один из любимых поэтов Бродского, был для них общей темой бесед и переписки.

Норвидовские образы и мотивы сохранены в переводе, но описание пейзажа и описание героини функционируют по отдельности – вместо тождества «женщина=страна» из англоязычного стихотворения вычитывается образ «женщина в пейзаже». Причем, похоже, что американскому читателю не обязательно помнить, о какой стране идет речь: полонизм «фольварк» и идишизм «балагола» в тексте отсутствуют, и дело тут не в «трудностях перевода» – оба слова присутствуют в английском языке на правах барбаризмов. Строки «Балагола одним колесом в кювет, // либо – мерин копытом в луну коровью» в английском переводе звучат: “Either cartwheels are craving an oval shape, // or the mare’s hoof, hitting the cow-moon, shimmies”. Интересно, что буквальный перевод словосочетания «луну коровью» как “cow-moon” привел к неожиданному эффекту. Если у русскоязычного читателя здесь не возникает никаких дополнительных ассоциаций (просто поэтическое определение такого прозаического предмета, как коровья лепешка), то у американцев (по словам опрошенных автором данной статьи) это слово неизбежно ассоциируется с общеизвестной детской песенкой: “Hey, diddle, diddle, // The cat and the fiddle, // The cow jumped over the moon. // The little dog laughed. // To see such sport, // And the dish ran away with the spoon”. Едва ли Бродский предвидел такой эффект, играющий на дальнейшую «деполонизацию» пейзажа и подчеркивающий абсурдность происходящего. Гидронима «Буг» («И мелькают стога, завалившись в Буг») в

переводе также нет, вместо него выступает общее понятие *river*. Из четырех польских реалий второй части в переводе фигурирует лишь имя «Коперник»; однако оно общеизвестно и едва ли кто-либо, кроме самих поляков, думает о Копернике как о поляке – это имя скорее принадлежит к мировому, а не только к польскому культурному тезаурусу.

Третья часть стихотворения, в которой описание героини и ее мира сменяется описанием чувств героя и звучит частая у Бродского тема утраченной навсегда возлюбленной, переведена с наименьшими отступлениями от оригинала. За исключением одной, на первый взгляд, не существенной детали. В переводе строк «...можно, как сын Кибелы, // оценить темноту и, смешавшись с ней, // выпасть незримо в твои пределы», вместо «сын Кибелы» стоит “the son of Cronus”. С одной стороны, эта замена проясняет смысл перифраза²: «сын Кроноса» – это, безусловно, Зевс, и строки “one could, like the son of Cronus, // size up the darkness, perfect its lore, // and drop, unnoticed, within your contours” прочитываются как аллюзия к мифу о Данае. Однако образ оригинала восходит к «Энеиде» Вергилия, где именно Кибела (Рея-Кибела), пожертвовавшая деревья своей рощи на корабле Энея, просит сына – Юпитера (он же Зевс) – спасти эти корабли, что он и делает в IX песни поэмы. Следовательно, речь идет не столько о любовном, сколько о спасательном акте. Что заставляет вспомнить разговор, пересказанный Н. Горбаневской: «В декабре 80-го, когда угроза советской интервенции в Польше казалась неизбежной, мы сидели с Иосифом, Томасом Венцловой и еще одним литовцем и совершенно серьезно обсуждали план организации интербригад для защиты Польши. И, конечно, все четверо собирались высадиться, по возможности, с первым десантом» (Цит. по: Лосев 2006: 43). Но образ, нагруженный кружковыми реалиями польско-литовского окружения Бродского, в переводе не сохранен.

Напомним, перевод был сделан в 1987 году, когда острота восприятия событий в Польше притупилась, а угроза ввода советских войск в страну миновала. Однако оригинал был написан вскоре после начала «ярузельской войны», и в нем отразились как ощущение невозможности встречи с некогда любимой женщиной, так и обеспокоенность судьбой любимой страны – Польши. При пристальном прочтении и учете всех «кружковых» намеков и аллюзий такой текст

² «Сын Кибелы» объясняется Л.Лосевым следующим образом: «богиня Кибела (культ ее фригийского происхождения, распространившийся в Греции и Риме), Великая Мать, иногда отождествлявшаяся с природой вообще. Отсюда – “сын Кибелы”, просто человек» (Лосев 2011: 368). Вероятно, такое толкование, не вяжущееся с содержанием текста Бродского, вызвано не только незнанием подтекста, но и смешением фригийской богини Кибелы, олицетворявшей мать-природу, и греческой Реи-Кибелы – матери богов, в том числе Зевса.

действительно мог бы «скомпрометировать» адресата перед властями. В переводе же Бродский практически вычищает подобные аллюзии (и большую часть польских реалий) и выводит на первый план любовную линию, хорошо воспринимаемую читателем любой референтной группы на любом языке. Польский пласт содержания маловажен не только потому, что устарела его политическая подоплека, но и потому, что, иноязычный читатель его попросту не заметит, а посвящение Z. K. лишь ставит носительницу этих инициалов в один ряд с другими адресатами подобных текстов – F. W., E. R., M. K. – и не несет той смысловой нагрузки, какой обладает для тех референтных групп, на которые рассчитан оригинал, – как узкой, знающей, кто скрывается за инициалами, так и более широкой, знакомой с другими, в то время не опубликованными текстами Бродского, посвященными тому же адресату.

Автор благодарит Зофью Ратайчак-Капуциньску (Z.K.) за предоставленную информацию и дружескую поддержку.

Литература

- RATAJCZAK, Z., 2015. List do redakcji. *Zeszyty Literackie*, 131, 251–252.
- TARKOWSKA, J., 2006. Między Wschodem i Zachodem. Polska Josifa Brodskiego. In: Red. W. Pilat. *Acta Polono-Ruthenica*, XI, Olsztyn: Wyd. UWM, 229–238.
- ГРУДЗИНЬСКАЯ-ГРОСС, И., 2013. *Милош и Бродский. Магнитное поле*. Москва: НЛЮ.
- КОСТЕЛЯНЕЦ, Р., 1998. Иосиф Бродский и привилегия биографического мифа. In: Сост. О. Бараш, О. Татарина. *Американские поэты в Москве*. Москва: АВМ, 78–83.
- ЛОСЕВ, Л. В., 2011. *Комментарии*. In: И. А. Бродский. *Стихотворения и поэмы*. Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского дома. Изд-во «Вита Нова», 367–368.
- ЛОСЕВ, Л. В., 2006. *Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии*. Москва: Молодая гвардия.
- ПИЛЬЩИКОВ, И. А., 2007. Nomina si nescis... Структура аудитории и “домашняя семантика” Пушкина и Баратынского. In: Сост. Л. О. Зайонц. *На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян*. Москва: Новое издательство, 70–81.
- ПОГОРЕЛАЯ, Е. А., 2012. Еще раз о поэтике музыкальных заглавий И. Бродского. *Вопросы литературы*, 2, 346–370.
- ПРОФФЕР ТИСЛИ, Э., 2015. *Бродский среди нас*. Москва: АСТ.

ТЫНЯНОВ, Ю. Н., 1993. О литературной эволюции. In: Ю. Н. Тынянов. *Литературный факт*. Москва: Высшая школа, 137–148.

Olga Barash

Online magazine *Language Travel*

CIRCLE SEMANTICS AS A PROBLEM OF TRANSLATOLOGY (I. BRODSKIJ “POLONEZ: VARIATSIJA” VS. J. BRODSKY “POLONAISE: A VARIATION”)

Summary

The goal of the article is to consider the possibilities for and intentions of an author when translating his own poetic text. The object of analysis is the poem by I. Brodskij “Polonez: Variatsija” and his self-translation into English “Polonaise: A Variation”. Self-translations by I. Brodskij comprise a stumbling block in the adequate reception of his poetic work by the English-speaking audience (well-known are sharply negative reactions of British and American critics to his verses). The present article focuses on the allusions and realia of the original text which have a peculiar meaning for a definite circle of people (circle semantics), their sense-making role in the text, as well as the strategy of transferring them to a different language. The question arises concerning the necessity of translating such components of the text and the possibility of their perception by the readers not included in a definite referent group. Should they be taken in account by the translator and be included into a text aimed at a different audience? I. Brodskij (or, as an American author, J. Brodsky) translating his own poem “Polonaise: A Variation” answers negatively and rejects conveying such elements, which, as the analysis shows, is conditioned not only by the formal requirements (keeping meter and rhyme), stressing the “love line” of the poem which is well understood by readers of any reference group in any language.

KEYWORDS: translation, self-translation, circle semantics, intertext, sense-making, I. Brodskij/J. Brodsky

Olga Baraš

Internetinis žurnalas “Language Travel”, Rusija

GRUPĖS SEMANTIKA – VERTIMO TEORIJS PROBLEMA (J. BRODSKIO „POLONEZAS: VARIACIJA“)**Santrauka**

Straipsnio tikslas – aptarti autoriaus siekius verčiant savo sukurtą tekstą, pasitelkiant konkretaus teksto pavyzdį. Tyrimo objektas – J. Brodskio eilėraštis «Полонез: вариация» ir jo vertimas į anglų kalbą “Polonaise: a Variation”. Svarbu paminėti, kad britų ir amerikiečių kritikai neigiamai vertina J. Brodskio savų eilėraščių vertimus. Straipsnyje apžvelgiamos originalo aliuzijos ir realijos, jų svarba kuriant teksto prasmes bei autoriaus pasirinktos vertimo strategijos. Iškeliamas klausimas apie šių komponentų vertimo svarbą ir problemas, su kuriomis susiduria skaitytojai, nepriklausantys tikslinei grupei, kuriai skirtas originalas. Reikšmingas ir klausimas, ar tikslinga šiuos komponentus palikti verstiniame tekste, kurį skaitys netikslinė auditorija. J. Brodskis vertime šių elementų atsisako dėl kelių priežasčių: eilėdaros ypatumų (ritmo ir metro) bei meilės temos, aktualios visiems skaitytojams, akcentavimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertimas, savų kūrinių vertimas, grupės semantika, intertekstas, reikšmės kūrimas, Brodskis.

Вера Барбазюк

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Ленинградский проспект, 49, 125993 Москва, Россия

E-mail: vera087@mail.ru

Область научных интересов автора: лингвосинергетика, синергетика образа, дискурс-анализ

ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ»: КРАТКИЙ ОБЗОР

В статье предпринята попытка показать особенности трансформации концепта «ЖИЗНЬ» в контексте. В качестве материала исследования были выбраны русские художественные и публицистические тексты, в которых встречается выбранный для анализа концепт. На примере данного концепта было рассмотрено соотношение таких понятий как «образная основа», «концепт», «внутренняя форма», «наррация». Интересно, что при рассмотрении простых образных единиц речи (простая номинативная метафора) нет такого резкого противопоставления: «реальное < = > виртуальное». Скорее, наоборот, метафора поддерживает контекст, дублирует его, давая более емкую характеристику описываемому объекту в достаточно сжатой по объему форме. Сложные и составные образные единицы речи (контекстная аллегоризация) имеют номинальное значение, которое зачастую мешает понять то, о чем идет речь, рассеивая понимание читающего и уводя его в «дебри» понимания.

Проходя определенный путь развития, «эволюции» и трансформации образная единица речи перестает выполнять две основных функции: идентифицирующую и дефиниционную. Более того, аксиологическая и прагматическая нагрузка метафоры начинает возрастать. Таким образом, чем дальше оторвана образная единица от реального контекста, тем сложнее соотносить две ситуации описания и понять авторскую задумку.

Проведенный анализ позволил выделить несколько «этапов» метафоризации концепта «ЖИЗНЬ» и прийти к выводу, что метафора характеризуется неограниченным разнообразием (в плане выделяемых смысловых оттенков). Использование образных единиц речи позволяет выйти за рамки составляющих основу языка фиксированных структурных и семантических предписаний (т.е. метафора превышает устойчивые семантические параметры языка).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, наррация, эволюция, номинация.

На сегодняшний день проблема метафоризации привлекает умы лингвистов, литературоведов и даже психологов всего мира (см. Опарина 2004: 68-69). Все они рассматривают процесс метафоризации с разных сторон. Тем не менее, большинство из них сходятся на том, что метафоризация приводит к тому, что окружающий мир символизируется, т. е. метафора скрепляет незримыми нитями действительность, сознание и культуру. Ведь образные единицы речи способны отображать культурное самосознание народа, рассматриваемое как часть его ментальности.

В целом, в любом образе на первый план мы выдвигаем функцию символического замещения (руководствуясь в целом критериями, выделенными Н. В. Ивановым) (Иванов 2002: 114).

Особый интерес вызывают ситуации, в которых можно наблюдать образное усиление различных концептов в контексте. В качестве примера, нами был выбран концепт «ЖИЗНЬ». Проведенный анализ показал, что в общем и целом, можно выделить пять ситуаций виртуальной экспансии концепта «ЖИЗНЬ» в контексте: от простого однократного употребления до нарративного расширения в контексте. Причиной расширения образной стороны концепта в контексте может быть эмоциональное состояние автора, его субъективное отношение к проблеме или предмету речи. Обращаясь к образным единицам речи, говорящий задает более высокий эмоциональный тон своему рассуждению или описанию, желая раздвинуть границы текста, выделить как можно больше возможных смысловых ядер для дальнейшего обсуждения. Все это приводит к тому, что символическая нагрузка начинает возрастать.

Первая ситуация метафоризации концепта «ЖИЗНЬ»: простое номинативное применение метафоры в контексте. Метафора имеет вид ограниченного направленного образного переименования какого-то отдельного элемента описываемой ситуации. Чаще всего представлено словом, реже словосочетанием.

1. Получается, что у человека **жизнь** – это борьба³
2. **Жизнь** – это луч света⁴
3. Иногда нам кажется, что **жизнь** вокруг это беспросветный колодец⁵

³ <http://tv-soyuz.ru/qna/zhizn-eto-ezhednevnyaya-borba2>

⁴ <http://tv-soyuz.ru/qna/zhizn-eto-ezhednevnyaya-borba2>

⁵ http://www.chaskor.ru/article/dlya_teh_kto_v_yame_38876&ext=subscribe

Вторая ситуация метафоризации концепта «ЖИЗНЬ»: случаи метафорического переименования или использования нескольких образных единиц по отношению к одному и тому же объекту. Прагматическая и аксиологическая нагрузка метафоры возрастает. Применение автором такого способа характеристики объекта строиться по принципу градации. Такие случаи будут называться вертикальной метафорической конвергенцией.

1. **Жизнь** – *смысл, судьба, эмоции, безлимит, неординарное повторение*⁶
2. Получается, что у человека **жизнь** – *каждодневная борьба, каждодневный подвиг*⁷
3. **Жизнь** – это *сон, иллюзии*⁸

Третьим случаем метафоризации концепта можно считать горизонтальное распространение образных номинаций в контексте, т. е. последовательное использование метафор в соответствии с логикой описываемой ситуации. Таким образом, каждому объекту присваивается собственное метафорическое наименование. Образные единицы не связаны друг с другом концептуально. Автор как бы совершенно случайно обращается к метафоре для обозначения того или иного объекта. «Метафоры не формируются в единый сюжет» (Шнякина 2010: 71).

1. Закаты грандиознее восходов, потому что *насыщены жизнью дня*, а восходы *воют с ночью*⁹.
2. Именно из этого складывается *политическая картина населения и жизнь желудков советских людей*¹⁰.

Четвертым случаем смысловой эволюции метафоры является расширенная нарративно связанная конвергенция метафор. Метафоры связаны между собой и образуют единый сюжет, который, однако, продолжает находиться в полной зависимости от реальной ситуации описания. Наблюдается полный сюжетный параллелизм между виртуальным и реальным сюжетом, т.е. мы без труда понимаем какой элемент реальной ситуации описания стоит за тем или иным элементом виртуальной. При этом, однако, можно говорить о внутреннем сюжетном расширении метафоры, которое развивается параллельно реальной ситуации описания.

⁶ <http://www.inpearls.ru/>

⁷ <http://tv-soyuz.ru/qna/zhizn-eto-ezhednevnyayaborba2>

⁸ <http://www.inpearls.ru/>

⁹ http://citatu.com.ua/tsitatu_o_zhizni/zakaty_grandioznee_voshodov_potomu/

¹⁰ http://www.chaskor.ru/article/politicheskaya_dietologiya_16497

Образная наррация заменяет собой реальный сюжет. Образное остранение в данном случае сдерживается реальным контекстом. Метафора не аллегоризируется.

1. Моя жизнь – это программа, как WINDOWS на компах, только в данном случае её переустановить нельзя¹¹.

2. **Жизнь** – это неутомимая жажда насыщения, а мир – арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследует друг друга, охотится друг за другом, поедает друг друга; арена, где льется кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца¹².

3. У **жизни** все же существуют правила. Но среди нас так много нарушителей¹³.

Пятый случай – это расширенная, контекстная аллегоризация метафоры. Метафора, проходя очередной этап развития в контексте, прекращает подчиняться программе контекстной программе и следует собственной образной программе развития. Происходит внутренняя нарративно-образная трансформация. Концептуальная сторона метафоры теряет связь с референциальной основой, с возможным референциальным аналогом. При соотнесении элементов метафорического сюжета с элементами реальной ситуации описания возникают сложности. Возрастает символическая нагрузка метафоры. При этом на пике внутреннего сюжетного развития и символического усиления метафоры, автор может вновь возвращаться к реальному контексту в попытке соотнести оставшиеся непонятными элементы метафорической наррации с элементами реальной ситуации описания (Барбазюк 2013: 17).

1. **Жизнь** – это дождь. Сплошной дождь. Иногда он моросит мелкими капельками, иногда переходит в ливень. В жизни каждого бывает человек с зонтом. Он приходит неожиданно и дарит солнце, укрывает от всего плохого. Важно его не потерять – человека с зонтом, который приходит только раз¹⁴.

2. **Жизнь** – это многогранная призма. Луч света преломляясь в ней, дает лишь относительное мнение о существующем. Свет порой бывает брошен от уже погасшей звезды, а порой лишь отражением от реального источника. Вывод один: любое мнение иллюзия¹⁵.

3. **Жизнь** – источник радости; но всюду, где пьёт толпа, родники отравлены¹⁶.

¹¹<http://www.inpearls.ru/>

¹²Там же.

¹³Там же.

¹⁴Там же.

¹⁵Там же.

¹⁶Там же.

Приведенный анализ представленных выше ситуаций показывает, что авторское внимание может фокусироваться как на одном конкретном объекте, так и рассеиваться по всему контексту, т. е. быть обращено на ситуацию в целом в ее контекстом развертывании.

Во всех приведенных ситуациях метафора нарративно не противостоит реальной наррации, т. е. логика развертывания виртуальной ситуации описания подчинена реальной ситуации описания. Автор время от времени обращается к образным номинациям, именуя тот или иной элемент описываемой ситуации.

Литература

БАРБАЗЮК, В. Ю., 2013. *Смысловое развитие метафоры в текстах различных жанров: семиотический и синергетический аспекты интерпретации*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Москва: ВУ МО РФ.

ИВАНОВ, Н. В., 2002. *Символическая функция языка в аспектах семиогенеза и семиозиса*. Дис. ... д-ра. филол. наук. Москва: ВУ МО РФ.

ОПАРИНА, Е. О., 1988. Потенциальная метафора In: Е. О. Опарина. *Метафора в языке и тексте*. Москва: Наука, 65–78.

ПАДУЧЕВА, Е. В., 2004. *Динамические модели в семантике лексики*. Москва: Языки славянской культуры.

ШНЯКИНА, К.В., 2010. *Дискурсивная динамика образных форм в языке и тексте (семиотический анализ английских и русских пословиц и метафор)*. Дис. ... канд. филол. наук. Москва: ВУ МО РФ.

Vera Barbazyuk

Finance University under the Government of the Russian Federation, Russia

PECULIARITIES OF METAPHORISATION OF THE CONCEPT “LIFE”: GENERAL OVERVIEW

Summary

This article is devoted to the representation of the evolution and transformation of the concept “LIFE” in context. Materials of the study were selected from Russian artistic and journalistic texts, in which concept “LIFE” is presented. The article also describes the ratio of such notions as "image", "concept", "internal form" and "narration". Interestingly, there are no conflicts and oppositions among the real and virtual meaning when considering the simple figurative speech forms (nominative

metaphors). What is more, metaphors support context, duplicate it, thereby giving more capacious characteristics of the object in a fairly compressed form. Complex and compound shaped units of speech (contextual allegorization) prevent understanding of the main idea and “walk away” readers into the "wilds" of understanding.

Having passed a certain path of development, "evolution" and the transformation figurative speech units stop performing two basic functions: identifying and definitional. Moreover, axiological and pragmatic burden of a metaphor begins to increase. Thus, the real context is divorced from the virtual one making it harder to correlate the two situations and understand the author's ideas.

The analysis allowed to identify several "stages" of metaphorisation of the concept "LIFE" and come to the conclusion that metaphor can be characterized by unlimited variety of forms (in terms of allocated connotations). Use of figurative speech units allow authors to go beyond the fixed basis of structural and semantic requirements of the language.

KEYWORDS: metaphor, narration, evolution, nomination.

Vera Barbaziuk

Finansų universitetas, Rusija

KONCEPTO *GYVENIMAS* METAFORIZACIJOS YPATYBĖS: TRUMPA APŽVALGA

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiamos kontekstinės koncepto *gyvenimas* ypatybės. Tyrimo medžiagą sudaro meniniai ir publicistiniai tekstai, kuriuose pavartotas šis konceptas. Analizuojant pasirinktą konceptą, buvo lyginamos šios sąvokos: konceptas, vidinė forma, naracija. Įdomu pastebėti, kad nagrinėjant paprastuosius kalbos vienetus, neaptikta griežtos opozicijos: realus–virtualus. Atvirkščiai – metafora papildo kontekstą, jį dubliuoja suteikdama papildomų bruožų. Sudėtingesni kalbos vienetai kontekste įgauna atskiras reikšmes, kurios dažnai trukdo suprasti tekstą, nukreipia skaitytojo dėmesį ir jį sutrikdo. Transformuodamasi ši kalbos priemonė netenka tam tikrų funkcijų: identifikuojančios ir apibrėžiančios. Kuo labiau konceptas nutolsta nuo realaus konteksto, tuo sudėtingiau skaitytojui suvokti autoriaus tikslus ir susieti kontekstą su konceptu. Apibendrinant galima teigti, kad tyrimas parodė, jog metaforizacijos procese konceptui *gyvenimas* priskiriamos įvairios reikšmės, kurios praplečia šio koncepto semantinį lauką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: metafora, naracija, evoliucija, nominacija.

Moreno Bonda

Vytautas Magnus University

K. Donelaičio St. 52–512, 44244 Kaunas, Lithuania

E-mail: moreno.bonda@icloud.com

Research interests: Italian language, academic writing and historiography, the didactics of the Italian language, the linguistic construction of identity

TEACHING ITALIAN TO AN ALMOST-MONOLINGUAL AUDIENCE: PROCESSABILITY THEORY AND THE EMERGENCE OF SYNTAX BEFORE MORPHOLOGY

Our paper presents the results of a study on learning processes conducted over one academic year on four almost-monolingual groups of learners studying the Italian language (level A1) as L2. The four groups were composed mainly of Lithuanian speakers with only one or two elements coming from different countries – an increasingly common situation in a learning environment influenced by globalization trends. Our presentation tests the prediction made by the processability theory (Pienemann 1998; 2005) that morphological acquisition is the driving force in learning a second language. While it is true that processability theory has been used to refer mainly to the English language, it offers a handy framework to investigate the learning processes in other cases of the second language acquisition. Specifically, we investigated how the adoption of different teaching methods and, most important, teaching languages could influence the order of emergence of elements in the students' interlanguage.

KEY WORDS: *processability theory, learning process, teaching languages, Italian language.*

The aim of our study is, firstly, to investigate how most relevant *Processability Theory* findings emerge, in the concrete environment of second language classrooms, referring specifically to the relation between the didactical approach of the teacher and the unfolding of learners' competencies. Secondly, we aim at contributing to the evaluation of the viability and limits of the cognitive approach to the second language acquisition as described in the theoretical model called *Processability Theory*.

More specifically, we intend to challenge the idea of the possibility to predict *a priori* the development stages – intended not only as analytical tools, but rather as phases – in the interlanguage of the learners in the ambit of second language acquisition. With specific reference to the Italian language as L2, we intended to suggest that the adoption of different metalanguages for teaching influences the succession of developmental stages in the interlanguage as defined by *Processability*

Theory (PT) causing, in certain cases, even an inversion in the unfolding of morphological and syntactical consciousness. In turn, the reflection on the influence of the metalanguage on the acquisition process could be understood as a deliberation on more conscious and oriented teaching methods.

Indeed, the main findings unfolding from our study are some clues of a direct influence of the metalanguage adopted by the teacher on the development of the interlanguage of the learners: when L1 is adopted as teaching language the predictions made by PT seems to be respected; however, adopting a progressively more “neutral” language as English or the L2 itself apparently contributes to an early acquisition of syntactical rules which, in turn, in certain cases become the driving force in morphological consciousness denoting an inversion of the stages postulated by PT. It seems the theoretical model is influenced by a number of factors when practically implemented.

Speaking about the theoretical premises of our study, we have to recognize that rarely *Processability Theory* has been adopted as a model to explore the development of SLA referring to the Italian language as L2. There are a variety of possible causes that can explain this gap. A possible reason is this cognitive theory has been formulated and discussed mainly in the Anglo-Saxon academic world. *Processability Theory* is a theory of SLA or, more precisely, second language development elaborated by Manfred Pienemann in two works on the subject (Pienemann, 2011), and successively commented, discussed and implemented in the relevant collective study *Processability Approaches to Second Language Development and Second Language Learning* (Keßler, 2008). Secondly, as noted by Satomi Kawaguchi (Di Biase *et al.*, 2002; Keßler, 2008), there is a relation between languages’ typologies and the extent PT can be implemented as a study framework. Nonetheless, Romance languages seem to have the morphological and syntactical characteristics to make PT a viable theory to investigate them in the context of SLA. It is also worth mentioning that teaching of the Italian language as L2 has a relatively short tradition and only recently theoretical studies on the subject are being conducted more systematically even if rare references to a model like the one proposed by PT.

In extreme synthesis, PT is a stages-based theoretical model, elaborated by Manfred Pienemann, for investigating second language development. As perfectly summarized by his pupil Jörg-U. Keßler (Keßler 2008: 356).

The logic underlying Processability Theory <...> is the following: at any stage of development the learner can produce and comprehend only those L2 linguistic forms which the current state of the language processor can handle. It is therefore crucial to understand the architecture of the language processor and the way in which it

handles a second language. This enables one to predict the course of development of L2 linguistic forms in language production and comprehension across languages.

Moreover, adopting emergence as a criterion for the evaluation of the transitions from one stage to the other in the learners' interlanguage, PT individuates five steps through which apprentices go while acquiring the L2: in theory, they start with morphology, then simple constructions not requiring exchanges of information emerge, and, finally, they develop syntactical knowledge involving a greater exchange of information between the parts of the sentences.

More precisely, according to PT the first stage is that of the acquisition of lemmas, unconnected words or formulae. The second stage is characterized by the emergence of the conscious use of lexical morphemes: the learner can "play" with words 'which require no exchange of grammatical information' (Dyson 2009: 358). The emergence of the consciousness of the position, that is of phrasal morphemes involving an information exchange, signal the third stage. More complex exchanges of information on morphology and syntax (tense agreement and the selection of the auxiliary) are typical of stage four. Competences such as topicalization and inverted syntax (for English as L2, as an example) are typical of the fifth stage in the PT frame. Finally, a learner usually acquires the capability to mark, coordinate, agree different sentences. In other words, as summarized by Bronwen Dyson (Dyson 2009: 360)

Within these stages, morphological processing fuels development. Lexical morphology lays the foundation for the exchanges of information involved in stage three <...>. In contrast, the word order predictions only correspond to the procedures from stage 5 <...>.

Nonetheless, previous researches, and firstly the already mentioned study by Bronwen Dyson, pointed out the possibility of inversion of some of the stages under certain conditions. In other words, there are 'evidences for and against the PT predictions' (Dyson 2009: 370). Unfortunately, these evidences emerge almost exclusively in studies about the English language as L2. A few researches, however, demonstrated the possibility to adopt PT as a model for the analysis of SLA with reference to Romance languages. As an example, Carrie L. Bonilla investigated the plausibility of PT in L2 acquisition of Spanish syntax and morphology (Bonilla 2015; Bonilla 2012) concluding that the six postulated stages are evident in practice. Similarly, Bruno Di Biase presented a 'classroom-based study of development of Italian as a second language in primary school children' (Di Biase 2008: 198). Both these studies, while offering concrete data supporting the theoretical predictions of PT, do not take into account the influence of "external" factors in the order of developmental stages such as the teaching method or the metalanguage chosen to conduct classes.

Since we argue, in our thesis, that the metalanguage in particular influences the order in which emerge the morphological consciousness in presence of information exchange and, on the other hand, the syntactical awareness, we have opted for a comparative method. We investigated the oral and written data collected from four different groups of learners according to the criteria outlined by Lousie Jansen (Jansen 2008: 199): written sentences and utterances were categorized according to (a) the information exchange required at the morphological level and (b) the order of syntactic elements and then analysed statistically adopting the method of implication scaling (Hatch *et al.* 1991) to determine the learner's stage in the PT model. Some of the data were excluded either because differing greatly from the average (the case of a Chinese student not fully capable of understanding the peculiarities of neither Italian nor English), or because clauses were not intelligible.

The data analysed was collected during one semester (the autumn semester) of teaching activities in four different institutions in Lithuania in the academic year 2015–2016. All four groups consisted of the Italian language as L2 classes, A1 level. Since most of the institutions we were teaching in provided guidelines on the metalanguage and the textbooks to be used, we had an opportunity to conduct a comparative study, focused on the relation between didactics and PT stages, consisting of data from around 60 students. Accordingly, we will distinguish four groups as follows:

1. VDU (Vytautas Magnus University of Kaunas). A1 level of the bachelor programme of Italian Studies. 16 young (between 18 and 22) Lithuanian students. The teaching language was Lithuanian. Explanations, instructions and translation exercises in the textbook (unpublished at the time) were provided in Lithuanian. The didactical approach could be broadly defined as grammar-comparative.
2. IIC (Italian Institute of Culture, Vilnius). A1 level accessible to the general public. 10 mainly Lithuanian students (one Russian and one Polish) aged between 15 and 45. The teaching language was exclusively Italian. Explanations, instructions and translation exercises in the textbook (*Nuovo Progetto Italiano*) were provided in Italian. The didactical approach could be broadly defined as natural.
3. KTU (Kaunas University of Technology) A1 level of the Italian language as a second foreign language for bachelor students. 10 students from 8 different countries. The teaching language was mainly English with frequent recourse to Italian: explanations

and instructions were provided in English, exercises only in Italian (*Nuovo Progetto Italiano*).

4. AIL (Accademia Italiana) A1 level in a private language school affiliated to the AIL (Accademia Italiana di Lingua) accessible to the general public. 12 Lithuanian students aged between 18 and 48. The teaching language was Lithuanian. The textbook (unpublished) was provided in Italian.

Summarizing we define the four groups like this: (1) VDU only Lithuanian students, Lithuanian textbook, metalanguage – Lithuanian; (2) IIC almost only Lithuanian students, Italian textbook, metalanguage – Italian; (3) KTU almost only foreigners, Italian textbook, metalanguage – Italian; (4) AIL only Lithuanian students, Italian textbook, metalanguage – Lithuanian.

At the end of the semester, the great majority of the students showed a transition through stages 1 to 5 (37 students out of 48) with a great homogeneity across the four groups. In a quite small number of students (9 out of 48) emerged competences categorized as stage 4 but there were no elements of stage 5 – as an example they were not able to correctly place the clitic in originally composed sentences. Only two students seemingly did not show evidence for acquisition of stage 2 having problems to produce clauses with SVO. The statistical data demonstrated great homogeneity of the results, in terms of PT prediction, despite the different methodological approaches and metalanguages adopted for teaching.

The most interesting data, however, refers to the order of emergence of morphology and syntax. While the results in the classes where Lithuanian was used show the syntax and morphology emerged in the predicted sequences, in the groups where the natural method and the Italian language were employed there were evidences of some incongruences with the theoretical frame. It is evident that choosing to teach in a certain language rather than another offers advantages, but also weaknesses as in the example below (where *a.* stands for the basic structure students are going to learn; *b.* is the translation in the metalanguage; *c.* is the expected negative form; *d.* is the translation in the metalanguage of the negative sentence; *e.* is the most common utterance in the interlanguage):

VDU	IIC	KTU	AIL
a. Mi piace ballare	a. Mi piace ballare	a. Mi piace ballare	a. Mi piace ballare
b. Man patinka šokti	b. Mi piace ballare	b. I like to dance	b. Man patinka šokti
c. Non mi piace ballare	c. Non mi piace ballare	c. Non mi piace ballare	c. Non mi piace ballare
d. Man nepatinka šokti	d. Non mi piace ballare	d. I do not like to dance	d. Man nepatinka šokti
e. Mi non piace ballare	e. Non mi piace ballare	e. Non mi piace ballare	e. Mi non piace ballare

In the given table, it is immediately evident that Lithuanian students are facilitated in understanding the morphology of the pronominal particle: the dative of Lith. almost perfectly matches the form of the It. *mi*. On the other hand, learners listening to an explanation in Eng. either notice that there is an incongruence between the Eng. *I* and the It. *mi*, or simply learn the words by heart without understanding this verb government. Interestingly, in the two groups where Lithuanian is used to teach Lithuanians (supposedly providing the learners with the possibility to understand, by the means of a comparison, both the morphology and the syntax) the most frequent utterances mistakenly place the pronoun after the negation, while the other two groups do not: apparently to a morphological parallelism, learners associate a syntactical identity – which is not existent in this example.

On the contrary, when the learners do not have a morphological term of comparison, they usually do not fully understand agreement rules, as demonstrated by the example below where a plural noun requires a plural form of the verb – in opposition to both Lithuanian and English (*a.* stands for the basic structure students learnt; *b.* is the translation in the metalanguage; *c.* is the most frequent utterance; *d.* is the most frequent utterance when requested to produce a negative sentence):

VDU	IIC	KTU	AIL
a. Mi piaccio <u>no</u> gli spaghetti	a. Mi piaccio <u>no</u> gli spaghetti	a. Mi piaccio <u>no</u> gli spaghetti	a. Mi piaccio <u>no</u> gli spaghetti
b. Man patinka spagečiai	b. Mi piaccio <u>no</u> gli spaghetti	b. I like spaghetti	b. Man patinka spagečiai
c. Mi piaccio <u>no</u> spaghetti	d. Mi piace <u>o</u> gli spaghetti	d. Mi piace <u>o</u> spaghetti	d. Mi piaccio <u>no</u> spaghetti
d. Mi non piaccio <u>o</u> spaghetti	d. Non mi piace <u>o</u> spaghetti	d. Non mi piace <u>o</u> spaghetti	d. Mi non piaccio <u>o</u> gli spaghetti

The two “fully Lithuanian” classes are apparently understood and, most important, use the agreement even in an inverted X V S clause (where X stands for any other part of the discourse) despite the

agreement being non-existent in Lithuanian. Still the position of the pronoun is still incorrect in the negative. On the contrary, the two “natural method” groups demonstrate a lack of capability to actively use the agreement in inverted V S clauses, even though the position of the pronoun is correct.

At a higher stage, it was interesting to investigate the capability to select the correct auxiliary and evaluate the emergence of participle agreement using the Italian *passato prossimo* tense. For the purpose of this research a smaller number of verbs had been selected to collect data in order to reduce the influence of other problems connected with transitivity or government of the verbs (Bentley, 2006). Both in a written translation (except for the group IIC) and oral test, learners were induced to render into Italian *I worked two days / I have been working two days* and then put it in the negative form. The most frequent utterances are reported below (a. the correct / expected clause; b. and c. the two most common utterances or translations; d. the most common negative utterances):

a. **Ho** lavorato (per) due giorni

VDU

IIC

KTU

AIL

b. Ho lavorato due giorni

b. Ho lavorato due giorni

b. Ho lavorato due giorni

b. Ho lavorato due giorni

c. Ho lavorata due giorni

c. **Sono** lavorato due giorni

c. Ho **lavoro** due giorni

c. **Sono** lavorata due giorni

d. Non lavorato due giorni

d. Non lavorato due giorni

d. Non ho lavorato due giorni

d. Non lavorato due giorni

Three problems emerged in this example: firstly, the difficulty in choosing the correct auxiliary; secondly, the agreement of the past participle with the implied subject; thirdly, in the negative clause, the position of the verb and the negation. A great amount of information exchange is required and this explains why most of the utterances were incorrect. Nonetheless, the two groups not using L1 as metalanguage produced clauses syntactically more accurate both in the affirmative and in the negative: the structures (i)S V X and (i)S negation V X are reproduced correctly. The problems are connected with the exchange of information between the participle and the auxiliary. On the contrary, even if sometimes incorrectly, Lithuanian students learning through Lithuanian put a greater emphasis on the agreement between the auxiliary and the past participle showing a deeper grammatical consciousness. At the same time, when a negation “interferes” with the standard word order, the auxiliary is forgotten, though the form of the past participle is usually morphologically correct.

The emergence of this dichotomy between students showing, at the same learning (not PT) stage, a greater morphological awareness and students more capable of understanding syntactical rules

suggested the necessity to investigate cases where both Lithuanian and English syntactically differ from Italian even though the Lithuanians have a very similar structure. We opted for a question clause with a marked pronoun: *Di dove sei tu?* (Where are you from?). Students were requested to produce this question (they, supposedly, had never heard before) orally basing on lexical elements (lemmas) they already acquired. The task was assigned at a very early stage; therefore, it is not eligible for defining emergence in PT terms. However, it can illustrate the influence of the metalanguage on the emergency of syntax before morphology in certain contexts.

it. Di dove sei tu?

Lt. Iš kur (tu) esi?

Lt.2 Iš kur esi (tu)?

Eng. Where are you from?

The most common answers were:

VDU

1. Di dove sei? (only the pronoun in marked position is missing)
2. Di dove tu sei? (the position of the pronoun is unusual in this kind of questions)

IIC

- 1) Di dove sei tu? (correct question)
- 2) Di dove sei? (only the pronoun in marked position is missing)

KTU

- 1) Di dove sei tu? (correct question)
- 2) Di dove sei? (only the pronoun in marked position is missing)
- 3) Dove sei tu? (quite frequently the translation produced a question with a different meaning)

AIL

- a) Di dove sei? (only the pronoun in marked position is missing)
- b) Di dove sei tu? (correct question)

It seems that Italian and English acted as neutral metalanguages, that is they did not stimulate comparison between the learners' L1 and L2 (at KTU for most of the students English was the L2): the main problem, at KTU, was the missing preposition – which should be natural for English speakers –

and, consequently, the formulation of a wrong (different) question. In classes where Italian or English were adopted as metalanguage very rarely the Lithuanian inversion *tu esi* emerged. On the contrary, *di dove tu sei* was the second most common answer at VDU, where Lithuanian was used as a term of comparison.

The clue that a neutral metalanguage favours the emergence of syntax, independently from the learner's L1, before (or together with) morphology is supported by another case studied: the capability to correctly answer the question *Mi puoi aiutare?* (Can you help me?). Apart from *sì*, the student has to choose the correct person for the pronoun, select the indirect (dative) form, and check the agreement between the verb and the implied subject (which is not the pronoun). Syntactically the task is challenging both for a Lithuanian thinking *Taip, (aš) galiu (tau) padėti*, and an English speaker thinking *Yes, I can (help you)*. While students at VDU and AIL (Lithuanian metalanguage) had problems with the position of the pronoun, but selected its correct form (*sì posso aiutare; sì posso ti aiutare*), the learners at KTU and IIC (Italian or English metalanguage) had no big issues with the word order, but choosing the correct pronoun and verb forms proved challenging (*sì ti puoi aiutare; sì posso aiutare*). The same problems emerge in the same parted manner also when formulating analogous questions.

In conclusion, we can affirm that there are contexts in which *Processability Theory* predictions could be disturbed. While it seems that usually the emergence of morphology precedes that of syntax, the use of a “neutral” metalanguage could lead to an inversion or at least the parallel emergence. And we define “neutral” the L2 or any commonly understood metalanguage different from the L1 of the monolingual classes. On the one hand, teaching with a *direct* or *natural method* – thus using almost exclusively the L2 as metalanguage – seems to lead to an inversion suggesting the emergence of syntax before morphology in learners' interlanguage. On the other hand, adopting the *grammar-translation method* and, accordingly, using students' L1 as the teaching language, the stages in learning processes seem to be in line with those outlined by the theoretical model. In turn, the *grammar-translation method* offers the advantage to give students a greater morphological and grammatical awareness, while indirectly forces them to constantly compare L1 and L2 syntaxes: in this case, only the most gifted students benefit, the rest of the class is induced to passively reproduce L1 structures in the interlanguage until a later stage.

References

- BONILLA, CL., 2012. Testing Processability Theory in L2 Spanish: Can Readiness or Markedness Predict Development? Available from: *Proquest LLC*, ERIC, EBSCOhost (12.11.2016).
- BONILLA, CL., 2015. From number agreement to the subjunctive: Evidence for Processability Theory in L2 Spanish. *Second Language Research*, 31, 1, 53–74. Available from: Education Source, EBSCOhost (12.11.2016).
- Di BIASE, B., KAWAGUCHI, S., 2002. Exploring the typological plausibility of Processability Theory: language development in Italian second language and Japanese second language. *Second Language Research*, 18, 3, 274–302.
- DYSON, B., 2009. Processability Theory and the role of morphology in English as a second language development: a longitudinal study. *Second Language Research*, 25, 3, 355–376.
- HATCH, E., LAZARATON, A., 1991. *The Research Manual: Design and Statistics for Applied Linguistics*. Boston: Heinle & Heinle.
- JANSEN, L., 2008. Acquisition of German Word Order in Tutored Learners: A Cross-Sectional Study in a Wider Theoretical Context. *Language Learning*, 58, 1, 185–231.
- KESSLER, J., 2008. *Processability Approaches to Second Language Development and Second Language Learning*. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. Available from: eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost (12.11.2016).
- PIENEMMAN, M., KESSLER, J., 2011. *Studying Processability Theory: An Introductory Textbook*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Available from: eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost (12.11.2016).

Moreno Bonda

Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva

ITALŲ KALBOS MOKYMAS BEVEIK VIENAKALBĖJE GRUPĖJE: KALBOS ELEMENTŲ IŠMOKIMO TEORIJA IR SINTAKSĖS ELEMENTŲ IŠMOKIMAS ANKSČIAU NEI MORFOLOGIJOS**Santrauka**

Straipsnyje aptariami vienerius metus vykdyto tyrimo rezultatai. Tirtos beveik vienakalbės studentų grupės, kurios mokėsi italų kaip antrosios užsienio kalbos A1 lygmeniu. Keturiose grupėse mokėsi studentai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, tačiau buvo ir keli kitų tautybių žmonės.

Tyrimo tikslas buvo patikrinti hipotezę, iškeltą kalbos elementų išmokimo teorijos pagrindu (Pienemann 1998; 2005). Teorijoje teigiama, kad morfologijos elementų išmokimas yra svarbiausias mokantis užsienio kalbos. Kalbos elementų išmokimo teorija dažniausiai taikoma tiriant anglų kalbą, tačiau jos teorinis pagrindas yra tinkamas analizuoti ir kitų užsienio kalbų mokymosi ypatumus. Aiškintasi, kaip įvairių mokymo metodų ir kalbų taikymas mokant užsienio kalbos veikia kalbos elementų išmokimo eiliškumą.

Viena vertus, taikant gramatikos-vertimo metodą bei mokant italų kalbos studentus gimtosios kalbos pagrindu, paaiškėjo, kad mokymosi procesas atitinka teorinį modelį. Kita vertus, taikant tiesioginį ar natūralų mokymo metodą bei užsienio kalbą tos kalbos mokymo procese, buvo gauti priešingi rezultatai: sintaksės elementų yra išmokstama anksčiau, nei morfologinių elementų. Taigi norint pasiekti skirtingų rezultatų, vertėtų metodiškai naudoti įvairias mokymo kalbas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kalbos elementų išmokimo teorija, mokymosi procesas, kalbų mokymas, italų kalba.

Антони Бортновски

Университет им. А. Мицкевича в Познани

al. Niepodległości 4, 61874 Poznań, Polska

E-mail: a.bortnowski@amu.edu.pl

Область научных интересов автора: образы Киева и Украины в русской литературе XIX–XX вв., русскоязычная литература Украины, вопрос национальной идентичности в произведениях русских и украинских писателей

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ СТРАНЫ ДЕТСТВА И СОБСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОМАНЕ ИРЕН НЕМИРОВСКИ «ВИНО ОДИНОЧЕСТВА»

Предметом анализа в данной работе стал роман Вино одиночества, написанный в 1935 году на французском языке и переведенный на русский лишь в 2015 году. Автор произведения – Ирен Немировски – родилась в 1903 году в Киеве в зажиточной еврейской семье. Незадолго до революции девочка вместе с родителями переехала в Петербург, а затем, после октябрьских событий, во Францию. В эмиграции Немировски стала успешной писательницей, а ее самым известным произведением в наши времена является Французская сюита о бегстве из оккупированного немцами Парижа и оккупации. Роман Вино одиночества основан на автобиографических мотивах, а первые две его части посвящены детству, прошедшему в России на фоне сложной, полной исторических потрясений эпохи. Произведение, несмотря на французский язык оригинала, затрагивает важные в русской эмиграционной среде вопросы, связанные с поиском идентичности, понятием «родного». Элен Кароль, главная героиня Вина одиночества, так же как и сама Немировски, в какой-то степени олицетворяет проблему самоидентификации, с которой столкнулись многие представители русской диаспоры за рубежом. Однако лишенная сентиментальной окраски позиция Немировски отличается от взглядов других, навсегда покинувших Россию писателей. Уже выбор французского в качестве языка произведений, свидетельствует о том, что Немировски не стремилась держаться за утраченное навсегда прошлое. Целью данной работы является попытка раскрыть специфику восприятия Немировски «родного» и «чужого», а также определить причины отвержения её автобиографической героиней своего «нефранцузского» прошлого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ирен Немировски, Вино одиночества, самоидентификация, образ родины, автобиографичность.

С фамилией Ирен Немировски связано одно из наиболее громких открытий французской литературы начала XXI века. В 2004 г. вышел ее роман «Французская сюита», ставший книгой года и получивший вторую по престижности литературную премию Франции – «Ренодо». Произведение вскоре было переведено на 38 языков и получило общемировую известность, закрепленную дополнительно выпущенной в 2015 году англоязычной экранизацией.

Исключительность романа о немецкой оккупации Франции времен Второй мировой войны заключается, кроме всего, в том, что рукопись произведения, подготовленная к печати дочерью писательницы, пролежала в семейном архиве свыше 60 лет. Публикация «Французской сюиты», которую Немировски считала своим главным произведением, вызвала интерес также к другим ее романам, многие из которых были хорошо известны во Франции еще при жизни автора (прежде всего, «Давид Голдер», 1929). Благодаря появляющимся в последние годы русским и украинским переводам, творчество Ирен Немировски становится также все более доступным в стране ее происхождения.

Произведения писательницы не только являются важным материалом с точки зрения исследования явлений, связанных с французским культурным пространством, но могут быть также полезными для осмысления до сих пор недостаточно изученных процессов, развивавшихся в Российской империи в последние десятилетия ее существования. Такое положение вещей вытекает из специфики мировосприятия Ирен Немировски, на которое повлияли, несомненно, годы детства и юности, проведенные в дореволюционной России. Таким образом для исследования творчества писательницы, во многом отражающего одновременно ее личные переживания и исторические потрясения, свидетелем которых стало поколение Немировски, наиболее подходящими методами мы считаем биографический и культурно-исторический. Знание биографии Немировски, в свою очередь, кажется нам ключевым при анализе ее творчества, во многом основанного на автобиографических мотивах.

Ирина Львовна Немировская (так звали писательницу в России) родилась в 1903 году в Киеве в зажиточной еврейской семье. Отец будущей писательницы, Лев Борисович Немировский был успешным банкиром, а мать – Фанни Ионовна Моргулис – вела светский образ жизни, в которой периодически появлялись все новые любовники. Поскольку мать не

особо интересовалась воспитанием дочери, а отец был всегда занят, самым близким человеком для маленькой Ирины стала ее французская няня. Семья Немировских с началом Первой мировой войны переехала в Санкт-Петербург, а затем, после большевистского переворота, отправилась сначала в Финляндию, а потом через Швецию во Францию. Именно эта страна стала для Ирен Немировски самой родной, хотя она так и не добилась получения французского гражданства (в 1939 г. она вместе со всей семьей даже перешла в католицизм). В 1927 году молодая писательница вышла замуж за Михаила Эпштейна, также эмигранта еврейского происхождения, сына известного российского банкира. У них родились две дочери – Дениз (сохранившая впоследствии рукопись «Французской сюиты») и Элизабет. Семейное счастье и одновременно литературная карьера Ирен Немировски заканчиваются в 1940 году с приходом немецких войск. Писательницу сначала перестали печатать, а затем, в июле 1942 года, арестовали и как лицо еврейской национальности без гражданства отправили в Аушвиц. Согласно лагерным документам, Немировски скончалась 17 августа 1942 года. Несколько месяцев спустя там же погиб ее муж, Михаил Эпштейн, а чудом спасшихся дочерей взяли на воспитание чужие люди, так как их родная бабушка, мать Ирен, узнав, что Дениз и Элизабет – сироты, велела им отправляться в приют.

Жизнь и творчество Ирен Немировски может стать интересным предметом анализа для эмигрантологов. Писательница ведь прошла путь многочисленных представителей первой волны русской эмиграции, покинув навсегда родную страну и оказавшись в итоге в одном из основных центров русского зарубежья – Париже. Она так же, как и многие другие писатели-эмигранты из оказавшейся под власти большевиков России (И. Бунин, М. Осоргин, Б. Зайцев), обращаясь к автобиографическим мотивам, возвращалась к дореволюционному прошлому. На этом, однако, заканчиваются общие моменты в творчестве Немировски и других эмигрантов, и начинаются фундаментальные различия. Первым и основным следует назвать язык произведений Немировски – автор «Французской сюиты» еще до эмиграции выучила в совершенстве французский, ставший в результате сознательного выбора единственным языком ее творчества. С вопросом языка тесно связана другая проблема, детерминирующая специфику творчества Немировски, – ее самоидентификация. В творчестве писательницы постоянно появляются мотивы отчуждения, одиночества, ощущение ненужности, попытки преодоления статуса «чужого» и поиски «своего».

Ирен Немировски во многом олицетворяет трагизм тех представителей эмиграции, которые и в родных краях не могли почувствовать себя полностью «своими», и за рубежом, несмотря на усилия, остались «чужими»¹⁷. Недаром один из критиков называет «Французскую сюиту» «шедевром без отечества» (Файвушович 2010).

Проблемы поиска собственной идентичности наиболее ярко отражены в романе «Вино одиночества» (1935), впервые опубликованном на русском лишь в 2015 г. Именно он стал предметом анализа в данной статье, так как дает возможность понять, почему у Немировски воспоминания о потерянной родине лишены типичного для эмигрантов чувства тоски. Целью данной работы является попытка раскрыть особенности выраженной в «Вине одиночества» авторской позиции по отношению к стране детства и своему происхождению в контексте биографии самой Немировски.

В главной героине произведения – Элен Кароль – легко узнаются черты юной Ирины Львовны. Действие «Вина одиночества» проходит в дореволюционном Киеве, затем перемещается в Санкт-Петербург времен Первой мировой, потом в охваченную революционными событиями Финляндию и завершается в первые послевоенные годы во Франции. Интересно, что столь бурные исторические потрясения являются лишь фоном для описания переживаний девочки, лишенной материнской любви, самым близким человеком которой становится французская няня. Именно семейные страдания, а не воспоминания о родине, следует назвать главной темой «Вина одиночества». В произведении нет попыток ни осмыслить судьбу России, ни оценить революцию, ни, тем более, выразить отношение к украинскому вопросу (следует помнить, что главная героиня первые годы жизни провела в Киеве). Кое-где мелькают лишь мотивы взаимоотношения русских и евреев в дореволюционной России, но и они явно не находятся в числе проблем, наиболее интересующих Немировски. Тем не менее, можно прийти к выводу, что все эти вопросы, именно вследствие своей мнимой периферийности, указаны в «Вине одиночества» искренне и без каких-либо заранее намеченных идейных установок. В результате на материале текста романа можно показать сложность и противоречивость образа родной страны и самой себя в глазах Немировски.

Одним из основных моментов, на который следует обратить внимание при анализе образа страны детства в «Вине одиночества», является ее целостность. Как бы это ни казалось

¹⁷Достаточно подробно данную проблему в среде русской эмиграции во Франции (в том числе в контексте И. Немировски) представляет М. Рубинс в статье *Ирен Немировски. Стратегии интеграции*.

удивительным с современной точки зрения, Киев в сознании Немировски является интегральной частью России. Будущая столица Украины предстает перед глазами читателя как «сонный провинциальный городок, затерявшийся в российской глубинке» (Немировски 2015: 5). В начале романа может возникнуть даже впечатление, что Украина начинается за пределами Киева: «Ветер доносил до города запах украинских трав, слабый, но едкий запах дыма» (Немировски 2015: 2). Слово «Украина» упоминается в «Вине одиночества» лишь один раз, притом явно в качестве исключительно географического определения: «Разбогатов, Белла [мать Элен] сразу сделала вклад, обеспечивающий им [дедушке и бабушке] пожизненный денежный доход в Украине» (Немировски 2015: 68).

Если название «Украина» упоминается в произведении Немировски один раз, то топоним «Киев» вообще в нем отсутствует. Подобная ситуация имеет также место в «Белой гвардии» Михаила Булгакова, но на этом сходства двух образов Киева заканчиваются. В «Вине одиночества» повествователь явно хочет стереть, размыть нелюбимый город, в отличие от восторженных описаний Киева и его природы в произведениях Булгакова («Киев-Город») или Паустовского («Повесть о жизни»).

Вспоминая юность в «Киеве-Городе», Булгаков пишет: «Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...» (Булгаков 1976: 98). Немировски же в «Вине одиночества» представляет Киев в совершенно другом эмоциональном ключе, это город, в котором «...по вечерам поднимались густые клубы пыли» (Немировски 2015: 2), он «утонул в тяжелой, беспробудной, невыносимо грустной тишине» (Немировски 2015: 5). К. Паустовский, также выросший в Киеве, вспоминал много лет спустя, как в родном городе весной начинался разлив «солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра» (Паустовский 1982: 64). У И. Немировски, в свою очередь, даже в сфере запахов преобладают отрицательная окраска. Кроме уже упомянутого «едкого дыма», в «Вине одиночества» появляется также описание городского сада, где «в мутном от пыли воздухе пахло навозом и розами» (Немировски 2015: 49), а от сирени веяло приторным ароматом (Немировски 2015: 55). Образ Киева, представленный в преимущественно негативной эмоциональной окраске, словно сливается с картиной семейной жизни главной героини, Элен, дополняя ее страдания и чувство отчуждения

в собственном доме. В «Вине одиночества» можно отметить также свойственное детской психике, основанное на эмоциях восприятие окружающего пространства – дом, родители и город сливаются в одно общее воспоминание, в данном случае с преобладанием мрачных тонов. Киев у Немировски лишен не только названия, но и за несколькими исключениями, (Царский сад и памятник Николаю I) каких-либо урбанонимов. В итоге получается безликое пространство, наполненное негативными эмоциями, вплоть до отвращения. Особенно ярко это чувство заметно в описании православных паломников, которые, как известно, всегда были в Киеве обыденным явлением.

«Иногда по улице проходили процессии паломников, идущих в знаменитые монастыри на Днепре. Они брели, горлая церковные гимны и распространяя скверный запах грязного тела и застарелых ран, а за ними тянулось облако желтой пыли. (...) Толстые священники с длинными черными жидкими волосами несли на вытянутых руках тяжелые иконы в золотых, сверкающих на солнце окладах. Пыль, военная музыка, крики паломников, летающая в воздухе шелуха семечек создавали пьянящее ощущение дикого праздника, который дурманил, завораживал и в то же время вызывал у Элен смутное чувство отвращения» (Немировски 2015: 51).

В данном фрагменте прослеживается также ощущение дикости, нецивилизованности, присущее восприятию Немировски Киева в частности и России в целом. Повествователь в «Вине одиночества» периодически подчеркивает, что лишь французская няня в глазах Элен несет свет европейской цивилизации в варварскую и темную страну. Именно она, всегда спокойная, заметив, что девочка слишком близко подошла к паломником кричит: « – Иди скорее сюда! (...) Они грязные, от них можно заразиться всеми болезнями... Иди же, Элен!...» (Немировски 2015: 51). В «Вине одиночества» периодически можно заметить, как сквозь детское сознание главной героини пробивается взрослое восприятие действительности Немировски. В тексте ощущается стремление отделить себя от всего, связанного с прошлым в дореволюционной России, подчеркивается ее дикость, отдаление от каких-либо европейских ценностей. Итак, Киев представлен пыльным захолустным городишком, хотя еще до Первой мировой войны он уже успел стать современной для тех времен метрополией и важным культурным центром с населением в 520 тысяч человек (Рашин 1956). Город детства главной героини «Вина одиночества» находится словно за пределами цивилизованной Европы, там «сухой, резкий ветер дул из Азии, через Уральские горы и Каспийское море. Он закручивал в воронки желтую, хрустящую на зубах пыль, наполнял воздух глухим свистом, который постепенно отдалялся и исчезал где-то на западе» (Немировски 2015: 2). Создается впечатление, что Элен с самого рождения была «чужой» в своей стране, предназначалась для того, чтобы

стать француженкой, понимала, что именно Франция станет для нее ближе и роднее Киева и России. Сложно себе представить такие ощущения у маленькой девочки, даже воспитываемой французской няней (это, впрочем, не было исключением в те времена).

Киев изменяется лишь во взрослых воспоминаниях главной героини «Вина одиночества»: «Макс [любовник матери] и Элен говорили о городке на Днепре, где прошло их детство. (...) С наслаждением они вспоминали прозрачный морозный воздух осени, спящие улицы, воркование голубей, старый Царский парк, реку с ее зелеными островками и монастыри с золотыми куполами...» (Немировски 2015: 177). Однако даже в данном фрагменте нет уверенности, не являются ли воспоминания о Киеве игрой Элен, желающей отомстить матери и забрать у нее любовника, или же очередным указанием на полное непонимание между чувствительной дочерью и безразличной, лишенной каких-либо сантиментов матерью. (Та обрывает воспоминания иронической фразой: «а я счастлива здесь...») (Немировски 2015: 177).

Одинокой Элен не становится легче также после переезда в Санкт-Петербург. Следствием фрагментарности композиции «Вина одиночества» становится ситуация, в которой киевское повествование неожиданно обрывается: нет ни прощания, ни каких-либо ощущений по отношению к покидаемому навсегда городу. В начале второй части романа сухая констатация факта переносит неожиданно главную героиню в российскую столицу: «Элен и мадемуазель Роз с последней повозкой багажа прибыли в Санкт-Петербург» (Немировски 2015: 66). На фоне удивительного безразличия по отношению к самому городу, также безликому в романе, как и Киев, опять выделяются отрицательные обонятельные ощущения и странная на первый взгляд предвзятость героини. «Как сильно задувал в тот день этот резкий северный ветер! Как пахла гниющая вода Невы!.. (...) Элен сразу же возненавидела этот незнакомый город, при виде которого ее сердце сжалось в предчувствии беды» (Немировски 2015: 67). Симптоматично, что чувство ненависти к Петербургу сочетается в тексте с нежными мыслями о Париже: «Ужасный город, – прошептала Элен с отчаянием. – А в Париже сейчас все деревья в золоте» (Немировски 2015: 67). В очередной раз появляется знакомая уже оппозиция близкой к сердцу, даже родной Франции и чужой, отвратительной России. В такого рода фрагментах Немировски словно пытается убедить читателя (а возможно и саму себя) в своей «нерусскости» и одновременно показать всегда присутствовавшее в ней ощущение духовной связи с Францией. В результате образ столицы Российской империи, с ее бледными, как цветы в подвале, жителями (Немировски 2015: 71), детьми с зеленовато-мертвенным оттенком кожи (Немировски 2015: 71)

и затхлым дыханием города (Немировски 2015: 115) создает впечатление места омертвевшего, душащего и обреченного. Данную картину органично дополняют равнодушные наблюдения за революционным Петербургом: «Город разлагался, медленно рушился под напором вод. Город из дыма, грез и тумана, постепенно уходящий в небытие» (Немировски 2015: 108). На фоне мрачного образа Петербурга ярко выделяется один из нескольких, названных в тексте городских объектов – собор Нотр-Дам де Франс, «где французский священник рассказывал детям, родившимся в других странах, о Франции (...)» (Немировски 2015: 93). Для юной Элен католический храм становится словно оазисом, предвещанием будущего счастья, невозможного в России и так естественно в романе связанного с Францией. «В церкви Элен ни о чем не тревожилась, ни о чем не думала, а просто предавалась умиротворяющим мечтам, но, как только переступала порог, как только оказывалась на темной улице, как только начинала шагать вдоль мрачного зловонного канала, сердце ее вновь сжималось от смертельной тоски» (Немировски 2015: 94). Учитывая автобиографичность «Вина одиночества», совершенно закономерным кажется факт перехода Немировски в католицизм в 1939 г., спустя несколько лет после написания романа.

Любовь к Франции, стремление стать француженкой и отмежеваться и от всего «русского» и «еврейского» пронизывает насквозь все произведение. Однако с каждой попыткой доказать свое безразличие по отношению к своему происхождению, становится все более ясно, что не Элен, а скорее сама Немировски не в состоянии преодолеть свое прошлое. Это касается также языка, о котором, прочитав «Вино одиночества», высказался известный французский литературовед первой половины XX века: «Немировски пишет на русском по-французски» (Philipponnat, Lienhardt 2010). Эти слова, скорее всего, не могли обрадовать писательницу, неоднократно в произведении подчеркивающую, что французский всегда был ее первым языком. Во фрагментарной структуре романа не может быть случайной сцена, в которой еще в Киеве мадам Манассе (один из эпизодических персонажей, возможно, француженка) восхищается языком Элен: «Как прелестно она говорит по-французски! (...) – Вы не находите, что ее безупречный акцент просто восхитителен?..» (Немировски 2015: 45). Язык главной героини также становится фактором, определяющим о ее самоидентификацию, отделяет ее от России, в которой она с детства не хотела жить. В мечтах Элен ей можно было «не трястись пять дней в поезде, чтобы снова вернуться в ту варварскую страну, которую она не могла

считать своей, потому что говорила по-французски лучше, чем по-русски» (Немировски 2015: 59).

Иногда в «Вине одиночества» сквозь восторженные слова о любви к Франции и всему французскому прорывается грустное осознание героиней, что полноценной француженкой она стать не может. «Как же она завидовала им [французам], неустанно наблюдала за ними! И почему она не родилась в одном из этих неприглядных тихих райончиков, где все дома похожи один на другой? Родиться и вырасти в Париже... Быть дома...». Будучи уже во Франции, при виде которой сердце Элен билось так радостно, как никогда не билось при возвращении в Россию (Немировски 2015: 163), героиня в отчаянии осознает, что, несмотря на все усилия она все еще часть своего прошлого: «Мне нужен мужчина, который не знал бы моей матери, моего дома, моего языка, моей страны, который увез бы меня далеко, куда угодно, хоть к черту, лишь бы подальше отсюда» (Немировски 2015: 213). Данный фрагмент показывает, насколько воспоминания о своем происхождении тесно связаны в сознании Элен (и самой Немировски) с ее личными детскими переживаниями. Героиня романа хочет начать все с чистого листа, забыть о прошлом, о ненавистной матери и несчастных годах, пережитых в дореволюционной России. Она хочет избежать любых напоминаний о предыдущей жизни, даже если это будет любимый мужчина, происходящий из той же, что и сама Элен, страны.

Таким образом, память о навсегда покинутой России, столь священная для многих представителей русского зарубежья, для Ирен Немировски совершенно лишена подобного статуса. Писательница обращается к прошлому не для того, чтобы вспомнить родную страну, светлые годы первых лет жизни, а лишь потому, что хочет понять процесс формирования собственной личности и окончательно справиться с травмой детства, превращенного ее матерью в полосу страдания. Дореволюционная Россия в данном контексте размывается на втором плане, сводится до минимума. Возникает впечатление, что для Немировски лучше было бы, если бы страна детства, как и Петербург в «Вине одиночества», постепенно ушла в небытие. Оказывается, однако, что жизнь в России – это слишком существенный этап в биографии писательницы, прошлое, от которого Немировски не в состоянии освободиться.

Литература

- PHILIPPONNAT, O., LIENHARDT., P, 2010. *The Life of Irène Némirovsky*. Режим доступа: http://www.nytimes.com/2010/05/09/books/excerpt-life-of-irene-nemirovsky.html?_r=0 (11.05.2016).
- БУЛГАКОВ, М., 1976. *Киев-город*. In: Сост. Ф. Левин. *Ранняя неизданная проза*. Munchen: Verlag Otto Sagner in Kommission, 98–107.
- НЕМИРОВСКИ, И., 2015. *Вино одиночества*. Москва: Текст.
- ПАУСТОВСКИЙ, К., 1982. *Собрание сочинений в девяти томах*. Т. 4. *Повесть о жизни. Книги первая-третья*. Москва: Художественная литература.
- РАШИН, А., 1956. *Население России за 100 лет (1813–1913). Статистические очерки*. Режим доступа: <http://istmat.info/node/76> (11.05.2016).
- РУБИНС, М., 2008. *Ирэн Немировски. Стратегии интеграции*. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nj/2008/253/ru15.html> (11.05.2016).
- ФАЙВУШОВИЧ, И., 2010. *Антисемитизм и еврейство Ирэн Немировски*. Режим доступа: <http://www.jewish.ru/history/press/2010/06/news994286118.php> (11.05.2016).

Antoni Bortnowski

Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

THE PERCEPTION OF CHILDHOOD LAND AND OWN NATIONAL IDENTITY IN THE NOVEL *THE WINE OF SOLITUDE* BY IRENE NEMIROVSKY

Summary

The subject of analysis in this study is *The Wine of Solitude*, a novel written in 1935 in French and translated into Russian only in 2015. The author of the novel – Irene Nemirovsky – was born in 1903 in Kiev to a wealthy Jewish family. Shortly before the Revolution, the girl and her parents moved to St. Petersburg, and then, after the events of October, to France. During the emigration Nemirovsky became a successful writer, and her best-known work nowadays is *Suite française*, where she tells about escaping from German-occupied Paris and the occupation. The novel *The Wine of Solitude* is based on the autobiographical motifs, and the first two parts are devoted to Nemirovsky's childhood, which she spent in Russia, with the background of a complex era, full of historical turmoil. Despite being originally written in French, Nemirovsky's work addresses issues crucial to the Russian emigration environment, such as the search for identity and the concept of "native". Helene Karol, the main character in *The Wine of Solitude*, as well as Nemirovsky herself, to some extent represents the

identity problem faced by many representatives of the Russian diaspora abroad. However, Nemirovsky's unsentimental position is different from the views of other writers who also left Russia forever. Even making French the language of her works suggests that Nemirovsky did not seek to hold on to the past lost forever. The aim of this work is an attempt to reveal the specifics of Nemirovsky's perception of "native" and "foreign", and to determine the reasons why her autobiographical character decides to reject her "non-French" past.

KEYWORDS: Irene Nemirovsky, *The Wine of Solitude*, autobiographism.

Antoni Bortnovski

A. Mickevičiaus universitetas, Poznanė, Lenkija

VAIKYSTĖS IR TAUTINIO IDENTITETO SUVOKIMO YPATUMAI IRENĖS NEMIROVSKI ROMANE *VIENATVĖS VYNAS*

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas romanas *Vienatvės vynas*, kuris 1935 metais buvo išspausdintas prancūzų kalba, o 2015 metais išverstas į rusų kalbą. Kūrinio autorė Irenė Nemirovski gimė 1903 metais Kijeve, turtingoje žydų šeimoje. Prieš pat revoliuciją šeima išvažiavo gyventi į Sankt Peterburgą, o po spalio revoliucijos įvykių – į Prancūziją. Emigracijoje I. Nemirovski tapo sėkminga rašytoja, vienas iš žinomiausių jos kūrinių – *Prancūziška siuita*, kurioje pasakojama apie pabėgimą iš vokiečių okupuoto Paryžiaus ir gyvenimą okupacijos metu. Romanas *Vienatvės vynas* – iš dalies autobiografinis kūrinys. Pirmosiose dvejose jo dalyse pasakojama apie rašytojos vaikystę Rusijoje sudėtingu politiniu laikotarpiu. Romane nagrinėjami svarbūs rusų emigrantams klausimai: identiteto paieška, *gimtinės* sąvoka. Elen Karol, pagrindinė romano veikėja, kaip ir daugelis rusų emigrantų, susiduria su saviidentifikavimo problema. Tačiau I. Nemirovski pozicija skiriasi nuo dominuojančios sentimentalios, ilgesingos kitų emigrantų pozicijos. Net ir jos pasirinkimas rašyti prancūzų kalba parodo, kad rašytoja nebando pasislėpti prisiminimuose. Šio tyrimo tikslas – aprašyti savybes, kurias I. Nemirovski priskiria sąvokoms *gimtas* ir *svetimas*, bei nustatyti, kodėl romano veikėja atsisako savo praeities, kuri nesusijusi su Prancūzija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Irenė Nemirovski, *Vienatvės vynas*, autobiografija.

Eglė Gabrėnaitė

Vilniaus universitetas

Kauno fakultetas

Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva

El. paštas: egle.gabrenaite@knf.vu.lt

Moksliniai interesai: retorika, paveikioji komunikacija ir propaganda, lingvistinė ir stilistinė diskurso analizė

POLITINĖ RETORIKA: VERTYBINĖS TOPIKOS DĖMENYS

Politinė komunikacija neatsiejama nuo retorikos – įtikinimo meno, gebėjimo kurti paveikųjį diskursą, kurio pamatas yra „metodiškas atskleidimas to, kas, kalbant apie bet kokią dalyką, gali būti įtikinama“ (Aristotelis). Politinis diskursas išskirtinai stipriai aktualizuoja pragmatiškąją retorinio paveikumo funkciją ir jėgą. Ši funkcija ypač išryškėja rinkimų metu, politikams ir jų rinkiminių kampanijų kūrėjams disponuojant gausiais retorikos ištekliais paveikiamam diskursui kurti. K. Burke teigia, esą politinės retorikos funkcija – pasitelkus kalbines priemones formuoti auditorijos pažiūras bei įsitikinimus bei paveikti elgesį, kitaip tariant, manipuluoti auditorija. Tai lemia politinės komunikacijos specifika: politiko siekis patraukti ir išlaikyti auditorijos dėmesį, reprezentuoti ir įtvirtinti savo įvaizdį, diegti parankius vertinimus, pažiūras, formuoti įsitikinimus.

Politinės retorikos analizė gali atskleisti, kokias vertybes aktualizuoja politikai, kreipdamiesi į rinkėjus, taip pat – kokias retorinės persvazijos strategijas – „pažado retorikos“ topus – pasitelkia šiam tikslui. Pranešime pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti 2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių partijų programose iškeltus vertybinius prioritetus, t. y. išanalizuoti vertybinę retorinę topiką. Taip pat siekiama nustatyti, kokia šių prioritetų pasirinkimo motyvacija. Politinis diskursas analizuojamas iš retorikos, kaip paveikiosios komunikacijos, mokslo pozicijų. Retorinė paveikaus diskurso tyrimo prieiga leidžia apibendrintai vertinti ir tam tikrų retorinių topų galimą poveikumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: politinė retorika, politinis diskursas, vertybė, topika.

Įvadinės pastabos

Retorikos tikslas – kurti paveikųjį diskursą, metodiškai atskleisti tai, kas „kalbant apie bet kokią dalyką, gali būti įtikinama“ (Aristotelis 2005: 9 1355b 25–26). Antikos oratoriai, pasitelkę didžiulius

kalbinių ir stilistinių priemonių išteklius, kūrė *ars bene dicendi* (gero kalbėjimo meną) – ši Kvintiliano suformuluota retorikos definicija šiandien vadinama klasikine. „Geras kalbėjimas“ retorių suprastas ne tik kaip tiesioginis kalbinės elgsenos atitikmuo, bet, visų pirma, kaip įtikinamo kalbos akto kūrimas, nurodantis „tam tikras estetines kalbėjimo charakteristikas, tinkamą, deramą kalbėjimą, paklūstantį tiek kalbinėms, tiek etinėms bei moralinėms taisyklėms“ (Gabrėnaitė 2010: 7).

Nors antikinė retorikos definicija kito¹⁸, pagrindinis jos dėmuo išliko nepajudinamas: tai Platono, Sokrato, Aristotelio veikaluose aktualizuota persvazijos kategorija, pabrėžianti įtikinimo, įtaigos ir skatinimo galią. Ši galia – pragmatinė retorinio poveikumo funkcija – yra politinės retorikos siekiamybė, Platono vadinta protų valdymo menu, kurio esmę Platonas atskleidžia palyginimu: „Gydymo meno pobūdis tam tikru požiūriu yra toks pat, kaip ir iškalbos meno. Abiejuose reikia išmanyti prigimtį, pirmu atveju – kūno, o antru – sielos, jei ketini pasitelkti ne vien įgudimą bei patyrimą, bet ir meistriškumą, gydymo mene griebdamasis vaistų ir mitybos sveikatai ir jėgai grąžinti, o iškalbos mene – kalbomis ir tinkamais užsiėmimais suteikdamas [taip] trokštamą gebėjimą įtikinti.“ (Platonas 1996: 80, 270b).

Politinės retorikos kūrėjai, disponuodami gausiais persvazijos instrumentais, siekia rasti ir išnaudoti efektyviausius ir efektingiausius įtikinimo būdus, kurti diskursą, „kuriam svarbus pasakyto žodžio poveikis, jo galia įtikinti“ (Buckley 2007: 67). Tokio diskurso analizė atskleidžia, kokius vertybinius prioritetus aktualizuoja politikai, kreipdamiesi į potencialius rinkėjus, kokias persvazijos strategijas pasitelkia šiam tikslui.

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti 2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių partijų programose dominuojančią vertybinę invencinę topiką, t. y. pagrindinius temų ir argumentų lygmenyje funkcionuojančius prasminius „pažado retorikos“ topus.

Pagrindinė tiriamoji medžiaga – Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisijos išleistame informaciniame leidinyje rinkėjams „Kauno miesto (Nr. 15) pirmi tiesioginiai merų rinkimai“ pateiktos politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų programos.

Vertybinė topika tirama kaip viena iš paveikiojo diskurso argumentacijos priemonių – manipuliatyvios prigimties eristinis argumentas (plg. Donskis 1994; Verdery 1996; Tismaneanu 2003; Bielinis 2003, 2004; Laurėnas 2004). Taigi politinis diskursas analizuojamas iš retorikos, kaip

¹ Pasak profesorės E. Ulčinaitės, šį kismą iliustruoja ir retorikos sąvokos daugiareikšmiškumas: „iškalba“, „gražbylystė“, „iškalbos teorija“, „iškalbos meno mokslas“, „iškalbos mokslas“, „puošnaus kalbėjimo menas“, „kalbėjimo teorija“ ir t. t. (Ulčinaitė 1976: 7).

įtikinamosios komunikacijos, mokslo pozicijų, taip pat pasitelkiami tyrimui būtini viešojo valdymo ir administravimo mokslo instrumentai.

(Socialinės) vertybės ir vertybinės topikos samprata

Vertybės samprata yra filosofinės prigimties, kylanti iš probleminio klausimo, kas suponuoja vertę: objekto vertingumas ar jo vertinimas (Rohan 2000: 255–257). Vertybės apibrėžčių gausa ir jų turinio įvairovė liudija šio klausimo sudėtingumą ir aktualumą. Empirinio vertybių raiškos tyrimo diskurse prieiga verčia atsisakyti vertybės kaip transcendentinėje būtyje slypinčio idealaus absoliuto sampratos (Hitlin, Piliavin 2004: 365) ir ieškoti labiau apčiuopiamų vertybės kaip sąmoningos refleksijos apibrėžčių. Socialiniai mokslai eliminuoja vertybės „objektyvumo“ problemą ir telkia dėmesį į vertybių identifikavimo klausimą. Čia vertybėmis vadinami sąmoningos subjekto psichinės veiklos metu susiformavę arba perimti abstraktūs įsitikinimai, padedantys struktūruoti patirtį ir teikti tam tikroms veikloms prioritetus pagal (ne)pageidautiną rezultatą (Rohan 2000: 255–277; Kraujulaitytė 1998: 64–65; Hitlin, Piliavin 2004: 363).

Vertybės ir socialinės vertybės terminai neretai vartojami sinonimiškai. Tačiau pastebėtina, kad preciziškų į empirinį politinio diskurso tyrimą nukreiptų apibrėžčių turinys papildomas socialinės aplinkos įtakos subjektui dėmeniu: „Socialinė vertybė yra konkretaus tiriamo subjekto susikurti ar perimti abstraktūs įsitikinimai apie tai, kas pageidautina arba nepageidautina gyvenamo plataus masto ir profilio sociumo atžvilgiu“ (Morkevičius 2005: 34).

Politinis diskursas – viena iš pagrindinių socialinių vertybių raiškos vietų. K. Burke teigia, esą, politinės retorikos funkcija – pasitelkus kalbines priemones formuoti auditorijos pažiūras bei įsitikinimus bei paveikti elgesį, kitaip tariant, manipuliuoti auditorija (Burke 1969: 343). Tai lemia politinės komunikacijos, kuri, kaip pastebi L. Bielinis, „funkcionuoja kaip kalbinė tikslų ir ketinimų sistema“ (Bielinis 2002: 49), specifika: politiko siekis patraukti ir išlaikyti auditorijos dėmesį, reprezentuoti ir įtvirtinti savo įvaizdį, diegti parankius vertinimus, pažiūras, formuoti įsitikinimus. Politinės lyderystės reiškinį analizuojantys mokslininkai vienbalsiai sutinka, kad retorika yra viena iš pagrindinių lyderystės formavimo(si) ir įtvirtinimo priemonių, politinės įtakos ir galios šaltinis.¹⁹ Taigi

¹⁹ Skirtinga retorinė tradicija yra susiklosčiusi totalitarinėse valstybėse, čia retorinę persvaziją užgožia imperatyvas – įsakymas (plačiau žr. Koženiauskiene 2005b).

politinė lyderystė formuojama ir įtvirtinama per kalbą, apeliacinę²⁰ jos galią, pasitelkus gausius vertybinės topikos išteklius.

Atkreiptinas dėmesys, kad vertybinės topikos ir socialinės vertybės sampratos netapačios, tačiau retorinės topikos paradigmos centrą sudaro būtent vertybinės nuostatos ir orientacijos, įsitikinimai, idėjos. Kiekvienai diskurso rūšiai būdinga tam tikra topika, turinio suvokimo schema – kokybinis diskurso invariantas, tačiau ryškiausiai topikos funkcionalumas skleidžiasi įtikinėjamuosiuose (taigi ir politiniame) diskursuose, kuriuose topų paskirtis – aktualizuoti tikrovės suvokimo ir vertinimo modelius, o esant reikalui – inspiruoti jų pokyčius.

Vertybinės topikos – vertybių, nuostatų, įsitikinimų – sklaida diskurse tiriama analizuojant jų verbalinę raišką – vertybinė topika yra *įžodinama*, t. y. išreiškiama teiginiais, susijusiais su poreikiais (Lasswell 1965: 13).

Metodologinės gairės

Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų programose vertybinė topika projektuojama į valstybėje veikiančių ir autonominių funkcijų turinčių darinių – savivaldybių – veiklos sferą, konkrečiu tiriamuoju atveju – į Kauno miesto savivaldybės veiklą. Koncentruojamasi į miesto gyventojų gerovę ir pasitenkinimą (tikėtina) lemiančias sritis.

Atlikus 18-kos programų turinio analizę, jose išdėstytos nuostatos pagal apeliavimo objektą suskirstytos į tam tikras sritis. Atraminis klasifikacijos šaltinis – gyvenimo kokybės vertinimo metodika „Gyvenimo mieste kokybės indeksas“, teikiamas tarptautinės konsultacijų bendrovės *Mercer Human Research*. Indekso apskaičiavimo dėmenys pritaikyti būtent gyvenimo kokybės mieste vertinimui: bendrovė sistemingai kasmet atlieka gyvenimo kokybės miestuose vertinimą, kuris apima 39 gyvenimo kokybės dėmenis iš dešimties sričių.²¹

²⁰ Apeliacinę kalbos funkciją retoriniu aspektu išsamiai analizuoja R. Koženiauskiene monografijoje „Retorika: iškalbos stilistika“. Profesorė pabrėžia, kad apeliacinė (impresinė) viešosios kalbos funkcija nukreipta į „klausytojų valią, mintis, nuostatas, įsitikinimus bei elgesį“, ji pasitelkiama norint „nugalėti auditoriją“ (Koženiauskiene 2001: 52–53).

²¹ *Political and social environment* (political stability, crime, law enforcement, etc.); *Economic environment* (regulations, banking services); *Socio-cultural environment* (media availability and censorship, limitations on personal freedom); *Medical and health considerations* (medical supplies and services, infectious diseases, sewage, waste disposal, air pollution, etc.); *Schools and education* (standards and availability of international schools); *Public services and transportation* (electricity, water, public transportation, traffic congestion, etc.); *Recreation* (restaurants, theatres, cinemas, sports and leisure, etc.); *Consumer goods* (availability of food/daily consumption items, cars, etc.); *Housing* (rental housing, household appliances, furniture, maintenance services); *Natural environment* (climate, record of natural disasters). Priega internete: <http://www.mercer.com/newsroom/western-european-cities-top-quality-of-living-ranking-mercero.html>

Taigi įvertinus diskurso specifika ir metodologines alternatyvas, išskirtos šios miestiečių gerovę kuriančios bazinės veiklos sritys (10): gyvenamoji aplinka, ekonominė aplinka, socialinė rūpyba, švietimas, kultūra, valdymas, sveikatos apsauga, transporto paslaugos, sportas ir rekreacija, viešasis saugumas. Reikia pastebėti, kad šie dėmenys iš esmės apima visą programose išdėstytą nuostatų spektrą. Apibendrinus duomenis, išskirti aktualiausi dėmenys – kiek kartų kuri sritis paminėta politinėse programose. Kitaip tariant, nustatyta, kokioms veiklos sritims programose teikiami prioritetai.²²

1 lentelė. Partijų programose numatytos veiklos sritys

Veiklos sritys		Paminėta kartų	
Valdymas	Valdymo efektyvumas	14	25
	Valdymo decentralizacija	11	
Ekonominė aplinka	Mokestinė aplinka	6	20
	Investicijos ir plėtra	14	
Gyvenamoji aplinka	Renovacija	5	16
	Gatvių, kiemų infrastruktūra	11	
Socialinė rūpyba			12
Kultūra			12
Švietimas			12
Transporto paslaugos			11
Sportas ir rekreacija			10
Sveikatos apsauga			6
Viešasis saugumas			6

Gauti duomenys leidžia pažvelgti į diskursą per retorinės topikos prizmę – identifikuoti invencinius topus ir įvertinti tam tikrų prasminių modelių produktyvumą. Bazinės vertybinės kategorijos išskirtos vadovaujantis Europos politologų „Lyginamojo partijų programų“ projekto metu sukurtu empiriniu socialinių vertybių ir nuostatų tyrimo politiniame diskurse modeliu (Budge, Klingemann 2001).²³ Išskirti šie vertybinės topikos dėmenys: orientacija į valdymą – (ne)efektyvus ir skaidrus valdymas, decentralizacija ir gyventojų įgalinimas; orientacija į ekonominę aplinką – investicijos ir iniciatyvos, palanki mokestinė aplinka; orientacija į gyvenamosios aplinkos kokybę –

²² Pirmosios trys sritys – valdymas, ekonominė aplinka ir gyvenamoji aplinka – papildytos aiškiai išsiskyrusiais sudedamaisiais dėmenimis: valdymas – valdymo efektyvumas ir valdymo decentralizacija (miestiečių įgalinimas); ekonominė aplinka – mokestinė aplinka ir investicijos bei plėtra; gyvenamoji aplinka – daugiabučių renovacija ir gatvių bei kiemų infrastruktūra.

²³ Kadangi modelis pritaikytas politinių partijų programų valstybės lygiu tyrimui, savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių partijų programų analizės atveju tam tikros kategorijos (pvz., tarptautiniai santykiai) eliminuojamos.

būsto ir aplinkos komfortabilumas; orientacija į gyvenimo kokybę: kultūra, švietimas, socialinė rūpyba, rekreacija ir sveikatingumas, viešasis saugumas.

Pažado retorika arba „ŽALIA ŠVIESA VERTYBĖMS!“

Analizuotų partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų programų politinė retorika iš esmės atitinka chrestomatinę politinę topiką – „pažado retoriką“, kurios ištakas randame Antikos retorių iškalbos mokymuose. Viena vertus, tai klasikinės, laiko patikrintos, taigi, atrodytų, „saugios“ retorinės strategijos, antra vertus – jomis iš dalies bandyta kompensuoti ir maskuoti asmeninės politikų charizmos ir iškalbos stoką. Žvelgiant iš perspektyvos, iš dalies naudotos politinės retorikos (ne)sėkmę atskleidžia rinkimų rezultatai. Vis dėlto primintina, kad nors politikų pasitektos strategijos yra universalios, jų poveikumas neatsiejamas nuo retorinių tinkamumo (gr. *prepon*) ir tikėtinumo (gr. *dynaton*) kategorijų, kitaip tariant, optimalių aplinkybių argumento įtikimumui skleisti: „Tikėtinumas yra susijęs su skelbiamos idėjos įtikimumu, tinkamumo kategorija nusakomas oratoriaus santykis su tikrove“ (Gabrėnaitė 2014: 88).

Plačiai žinoma, kokią svarbą klasikinė retorika teikia oratoriaus asmenybei – jos intelektualumui, dorai, moralumui. Romėnai oratoriaus idealu laikė dorą ir iškalbos patirties turintį pilietį, kalbantį deramai ir teisingai („Orator est vir bonus dicendi peritus“ (Kantonas Vyresnysis).²⁴ Šiandienos visuomenėje garbingo ir doro lyderio politiko samprata dažniau siejama ne su realiais praktiniais atvejais, bet su idealizuota siekiamybe. Taigi paralelių tarp antikos oratoriaus idealo ir moderniosios politinės retorikos ieškojimas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti naivokas ar net ironiškas. Vis dėlto, politinės retorikos prigimtyje slypi manipuliacijos elementas, dėl kurio ji visais laikais nevenge spekuliatyvumo.

Vienas iš charakteringiausių pavyzdžių yra „Mažasis rinkimų kampanijos vadovas“ – taip anglakalbėje literatūroje vadinama, spėjama, Marko Tulijaus Cicerono brolio Kvinto Tulijaus²⁵ parašyta instrukcija „Commentariolum petitionis“, turėjusi iš provincijos atvykusiam Ciceronui, 64 m. pr. Kristų kandidatavusiam į Romos konsulo postą, padėti pasiekti pergalę rinkimuose. Retorinėmis

²⁴ Profesorė R. Koženiauskiene primena būtinuosius oratoriaus asmenybės ugdymo principus, „septynias didžiąsias E“: „Tai oratoriaus asmenybės ugdymo formulė, į kurią įeina per ilgus amžius minimi oratoriaus asmenybės ugdymo komponentai: erudicija, etika, etiketas, emocijos, energija, estetika, elokvencija“ (Koženiauskiene 2005a: 692). Kitaip tariant, oratoriaus – politiko, teisininko – sėkmės formulė neapsiriboja talentu, erudicija ir profesionalumu, vienas pagrindinių kompetencijos dėmenų yra – etika: „klasikinėje retorikoje pateikta garbingo, teisingo politiko, tikro piliečio ir iškalbaus žmogaus asmenybės vienovė“ (Koženiauskiene 2001: 21–22).

²⁵ Mokslinėje literatūroje autorystės klausimas yra diskutuotinas.

kategorijomis kalbant, šioje instrukcijoje Kvintas Tulijus išdėsto politiniam (rinkimų) diskursui pritaikytas semantines-logines struktūras – invencinę topiką. Kitaip tariant, teikia struktūrinius-prasminius modelius, paveikijame diskurse galinčius atlikti potencialių argumentų funkciją. Autorius siūlo Ciceronui pasinaudoti šiais topais ir juos „įgarsinti“, t. y. formą užpildyti retoriniu turiniu.²⁶ Instrukcijoje Kvintas ragina Ciceroną pirmiausia išnaudoti nepatrauklias oponentų savybes – nusikalstamą elgesį, palaidą gyvenimo būdą, nesaikingumą, nesugyvenamą charakterį; kurti ir eskaluoti negatyvų priešininkų paveikslą; atrasti, viešinti ir, progai pasitaikius, kartoti varžovų praeities nuodėmes; nesibodėti dalinti abejotinų pažadų; stengtis įtikti kuo platesnei rinkėjų auditorijai, net jei tam tektų pasitelkti klastą.²⁷

Pažvelkime į šios topiko *įžodinimą* prabėgus 2000 metų, pavyzdžiui, koks partijų programose yra pagrindinių topų – vertybinės orientacijos į valdymą ir į ekonominę aplinką – verbalinis turinys.

Kaip minėta, programose dominuoja orientacija į valdymą – jo efektyvinimą, skaidrinimą, korupcijos išgyvendinimą. Ši nuostata išsakoma 14 programų iš 18. Toks gausus dėmesys valdymo sričiai aiškintinas keletu priežasčių. Iš vertybinės topikos pozicijų valdymo decentralizacija ir gyventojų įgalinimas yra demokratinės valdymo sistemos pamatas, pasitikėjimo ir atvirumo raiška: „Visa savivaldybės veikla bus vieša ir skaidri, kaip to reikalauja įstatymas.“ (Kovotojų už Lietuvą sąjunga); „Užtikrinti, kad bendruomenės nariai turėtų daugiau teisių sprendžiant kultūros, švietimo, ir socialinės apsaugos klausimus.“ (Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“); „Suteiksime daugiau savarankiškumo seniūnijoms, bendruomenėms, teritorijų savitumo išsaugojimo iniciatyvoms. <...> Įgyvendinsime e-demokratiją visose savivaldos grandyse ir taikysime gyventojų apklausas. <...> Palaikysime kuo platesnį visuomenės atstovavimą miesto valdžios institucijose.“ (Partija Tvarka ir teisingumas). Antra vertus, korumpuota, nelanksti biurokratija yra tradicinis ir nuolatinis kritikos objektas bet kurio lygmens politikų rinkimų kampanijose (Peters 2002: 134). Tai būdas diskredituoti ir demonizuoti oponentą: „Mes prieš korupcinį ir oligarchinį šalies ir miesto valdymą“ (Lietuvos

²⁶ Kad Ciceronas buvo meistriškai įvaldęs politinės retorikos subtilybes ir gebėjo jas taikyti pagal aplinkybes, atskleidžia išlikę jo raštai: „Ciceronas neretai galvojo viena, kalbėjo kita, o jo ilgametė advokato praktika, kaip ir politinių intrigu praktika, jam suteikė labai daug patirties ir išmokė, pasak jo paties, nupiešti „šešėlį ant giedro dangaus mėlio“. Jis, nors buvo įnirtingas Cezario kritikas, vėliau ne kartą gražbyliauja apie draugystę su Cezariu laiškuose savo broliui Kvintui Tulijui, tuo metu tarnavusiam Cezario štabe ir, tikėtina, galėjusiam šiam perduoti brolio pagyras. Cezaris minėtuose laiškuose pagarbiai vadinamas imperatorium, „pačiu garsiausiu ir dosniausiu žmogum“, „geriausiu ir galingiausiu žmogum“; Ciceronas broliui teigia, esą, „po tavęs ir mūsų vaikų man jis artimiausias – ir toks artimas, kad beveik lygus jums.“ (Utčenka 1990: 8–16).

²⁷ Išsamiau šį veikalą ir rinkimų kampanijos antikoje ypatumus yra analizavęs M. Adomėnas straipsnyje „Rinkimų kampanija: ko mus gali pamokyti Antika?“.

pensininkų partija); „<...> rezervų rasime pašalinę korupciją savivaldybės įmonėse“ (Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“); „Valdžia dirbs geriau ir kainuos mažiau. Savivaldybės įmonės nebebus partijų „šėryklomis“ (Lietuvos liberalų sąjūdis). Netinkamas savivaldybės valdymas yra spekuliatyvus, todėl politikams parankus (ir skambus) retorinis argumentas. Be to, siūlomų administracijos ir personalo valdymo pokyčių nauda ir veiksmingumas yra subjektyvūs, priklausantys nuo vertinimo kriterijų ir vertintojų interesų. Su sąlyga, kad jie apskritai įmanomi, nes dalis programose išsakytų teiginių-pažadų nesuderinami su savivaldybės funkcijomis ir įgaliojimais, taigi – niekiniai.

Programose kuriamos kone apokaliptinis vaizdinys: „Savivaldybės skendi skolose, gatvės ir kiemai kaip po karo, ir kas metais blogėja. Smulkus verslas sužlugdytas“ (Kovotojų už Lietuvą sąjunga), kuriam čia pat siūloma alternatyva: „Pasisakome tik už sąžiningus, teisingus sprendimus, kurie atitinka gyventojų interesus, už savivaldybės tarnautojų atsakomybės didinimą“ (Darbo partija). Analogiškas eristinės „prometėjiškosios“ argumentacijos topas: „Mes, Kauno miesto patriotai, negalėdami ramiai stebėti, kaip nugyventas mūsų miestas, pasiryžome kardinaliai pakeisti grėsmingą situaciją mieste, t. y. pirmiausia išgyvendinti korupciją visose srityse ir sukurti skaidrų savivaldybės darbą“ (V. r. k. „Kaunas – kitokia Lietuva“).

Daugelis vertybių raišką tiriančių mokslininkų išskiria materialių ir nematerialių vertybinių prioritetų tipus. Pavyzdžiui, R. Inglehartas (pagal Maslow poreikių hierarchiją (1954) prie *materialių* vertybių priskiria fiziologinius ir saugumo poreikius; prie *nematerialių* (jas vadina *po-materialiomis*) – prisirišimo ir meilės, pagarbos ir pripažinimo, savirealizacijos, žodžio laisvės ir įtakos valstybės sprendimams poreikius. Socialinių vertybių raiškos politiniame diskurse tyrimų korifėjus H. Lasswellas (1998) skiria šias bazines vertybių grupes: *gerovės* (angl. *welfare*) ir *garbės* (angl. *deference*). Pirmosios apima fizinę asmens gerovę kuriančius poreikius (sveikata, pajamos, profesiniai įgūdžiai); *garbės* vertybių grupei priskirti tokie poreikiai kaip galia (turima ir daroma įtaka), pagarba (statusas, prestižas, reputacija), teisumas, emocinis ryšys.

Šiame kontekste įdomu pastebėti, kad rinkimų programose dominuojančią poziciją užima orientacija į nematerialias vertybes – įtaką valdančiųjų sprendimams, miestiečių įgalinimą, valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą, miestiečių ir miesto (savi)vertę ir pagarbą. Negana to, daugelis programų pradedamos politinių partijų šūkiu, orientuotu į bendrystę, netgi partnerystę su adresatu: „Keiskime sistemą kartu!“, „Auginkime Kauną kartu!“, „Keiskime Kauną kartu!“, „Kartu mes tai galim!“. Toks identifikavimasis su adresatu yra klasikinė *captatio benevolentiae* topo raiška – siekis pelnyti palankumą, geros valios demonstravimas. Tai adresato motyvacijos sužadindimas, sudarantis prielaidas pradėti sėkmingą komunikaciją.

Į miestiečių savivertę apeliuojama programiniais šūkiais, aktualizuojančiais miesto statuso bei reputacijos vertybinius dėmenis: „Sugrąžinsime Kaunui garbę“ ir „Aplensime Vilnių ir viskas bus gerai!“. Pirmasis šūkis reprezentuoja visuomeninio rinkimų komiteto „Kaunas – kitokia Lietuva“ programą, kurioje, vertybinės orientacijos požiūriu, dominuoja vien tik į valdymo efektyvumą ir miestiečių įgalinimą nukreipta topika: „Kad kauniečiai galėtų tiesiogiai dalyvauti miesto valdyme, naujoji miesto taryba kartu su meru turės: ✓ savo sprendimus grįsti gyventojų apklausomis bei svarbiausius sprendimus priimti tik atsiklaususi miestiečių nuomonės visuotinėje apklausoje; ✓ įtraukti piliečius į savivaldybių biudžetų formavimą <...>; ✓ tiesiogiai bendraujant su miestiečiais periodiškai pristatyti nuveiktus ir planuojamus darbus; ✓ parengti miesto referendumų tvarką <...>; ✓ parengti tvarką, kaip miestiečiai gali atšaukti tarybos narį <...>.“ Aplenkti Vilnių siūlęs „Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis“ apeliuoja į rinkėjus, kurie „tebetūno sostinės šešėlyje“, nors Kaunas turi „milžinišką potencialą“.

Kita daugiausia dėmesio sulaukusi savivaldybės veiklos sritis – orientacija materialias miestiečio gerovę kuriančias vertybes – į ekonominę aplinką. Čia aktualizuojami du dėmenys – investicijos ir plėtra bei mokestinė aplinka: „Pritrauksime tarptautines investicijas. Sukursime daug gerai apmokamų darbo vietų kauniečiams! Kaunas taps patraukliausiu šalyje tarptautinių investicijų centru!“ (TS–LKD); „Pigesnė šiluma ir elektra“ (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).

Minėtasis Kvintas Tulijus mokė Ciceroną pagrindinės pergalės link vedančios taisyklės: kiekvienam žadėk tai, ko šis geidžia, net ir nebūdamas tikras dėl galimybių pažadą tesėti, antraip sulauksi priešiško ir prarasi paramą. Šios auksinės taisyklės laikytasi ir programose rinkimuose į Kauno miesto savivaldybės tarybą. Daugelis kandidatų naudoja identišką „pažado retoriką“, kurios pamatas – ryžtas ir įsipareigojimas pateisinti miestiečių lūkesčius: „Kaune bus įregistruojama daugiausia naujų įmonių ir smulkių verslų, tai kurs naujas darbo vietas“ (Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“); „Remsime smulkų ir vidutinį verslą, jaunimo iniciatyvas, daugiau lėšų skirsime nevyriausybinių organizacijų projektams“ (LSDP).

Kvintas Tulijus, prieš rekomenduodamas švaistytis pažadais, įspėja: nereikėtų duoti pernelyg konkrečių įsipareigojimų, derėtų laikytis bendrybių, kitaip tariant, valdantiems ir galingiems reikia žadėti išsaugoti jų valdžią ir galią, turtingiesiems – užtikrinti stabilumą ir taiką, o paprastą žmogų reikėtų patikinti, kad visada busi jo pusėje. Retorikos, komunikacijos, propagandos, politinės rinkodaros teorijos šią kreipimosi į adresatą strategiją vadina įvairiai – apeliavimu į emocijas, skambių žodžių technika, blizgančiais teiginiais, pabrėždamos, kad tokio kreipimosi esmė yra orientacija į

adresato vertybinius prioritetus, verbalizuota apibendrinančiais teiginiais. Reikia pastebėti, kad rinkimų programose abstraktūs teiginiai, kaip ir moko politinės retorikos teorija, nusveria konkrečius įsipareigojimus, pavyzdžiui, žada „teisingą mokesčių politiką“ (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)); „Pritraukti investicijas į miestą“ (Darbo partija).

Tiesa, būta atvejų, kai pabrėžtinai imituotas konkretumas. Tikėtina, jog tokia strategija pasirinkta kaip priešprieša rinkėjus nuviliantiems apibendrintiems politikų pažadams, neįgyvendintiems įsipareigojimams: „Pirmajame darbiniam tarybos posėdyje bus panaikintas nuo 2012 metų įvestas savivaldybės nuomojamų patalpų plėšikiškas (ypač lūšnų gyventojams) kaupimo mokestis“ (Kovotojų už Lietuvą sąjunga); „Įkurti jaunimo rėmimo fondą jaunimo verslui skatinti, kurio tikslas – teikti beprocentes paskolas, kurias gražinti reikės tik po trijų metų. Paskolos dydis iki 30.000 €.“ (Respublikonų partija).

Dėmesys gyvenimo kokybę ir gyvenamosios aplinkos kokybę kuriančios savivaldybės veiklos sritims (socialinei rūpybai, transportui, kultūrai ir laisvalaikiui, infrastruktūrai) nepaisant jiems skirtos gerokai mažesnės miesto biudžeto dalies, programose neabejotinai aktualizuotas dėl atitinkamų problemų svarbos miestiečiams. Apskritai akivaizdu, kad programose dominuoja tos į materialiąsias vertybes nukreiptos veiklos, kurios gyventojams yra aktualiausios, neatsižvelgiant ir niekaip neįvertinant ribotų savivaldybės kompetencijų ir finansinių galimybių jas spręsti.

Apibendrinamosios pastabos

Ką atskleidžia vertybinės topikos politiniame diskurse tyrimas? Galima idealistinė ir kritinė rezultatų vertinimo prieiga. Tikėtina, kad tam tikrų vertybių eksplikavimas atspinti diskurso kūrėjų pasaulėžiūrą. Vis dėlto, seniai įrodyta, kad politiko iškalba, asmenybės žavesys jam pelno kur kas daugiau rinkėjų simpatijų nei profesionali politinė programa. Daugelis rinkėjų pasitenkina abstrakčia informacija apie savo favoritų pažiūras ir nuostatas; retas turi laiko ir noro, galiausiai – pakankamai kompetencijos analizuoti sudėtingas politines ir socialines problemas (Počepcov 2005). Taigi šiandien politikai tarpusavyje varžosi ne tik politinėmis programomis, ideologinėmis nuostatomis, bet ir kuriamais įvaizdžiais (Šuminas, Vernickaitė 2010). Programų turinio analizė atskleidžia, kad neretai vertybinė topika pasitelkiama kaip makiaveliškų manipuliacijų instrumentas, oponentų diskreditavimo priemonė, vargu, ar turinti daug bendro su tikraisiais diskurso kūrėjų idealais. Pastaruosius įtarimus turėtų įrodyti arba paneigti laikas, iš perspektyvos galima spręsti apie politinio diskurso patikimumą, diskurso turinio atitikimą elgsenai.

Atliktas tyrimas leidžia suformuluoti, į kokias vertybes orientuojasi, kokį valdymo ir veiklos modelį mato kandidatai į Kauno miesto tarybą. Išskirtinai pabrėžiama būtinybė tobulinti, skaidrinti ir viešinti administracinį aparatą. Pagrindinis efektyvios savivaldos dėmuo yra dėmesys gyventojų poreikiams, aktualizuojamos ir tos problemos, kurių sprendimas peržengia savivaldybės galių ribas. Rinkimų programų retorika – pozityvaus pažado retorika, nukreipta į gyventojų lūkesčius ir pasitikėjimą.

Šaltiniai

Kauno miesto (Nr. 15) pirmi tiesioginiai merų rinkimai. Kaunas: Kauno miesto savivaldybės rinkimų komisija. Prieiga:

<http://www.vrk.lt/documents/10180/558970/15.Kauno+miestas.compressed.pdf/75a52755-924e-4125-870e-6d6a956ac76c> (2016 09 01).

Mercer Human Research. Prieiga: <http://www.mercer.com/newsroom/western-european-cities-top-quality-of-living-ranking-merc.html> (2016 09 01).

Literatūra

ADOMĖNAS, M., 2015. Rinkimų kampanija: ko mus gali pamokyti Antika? *15min.lt*. 2015 03 15. Prieiga: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/mantas-adomenas-rinkimu-kampanija-ko-mus-gali-pamokyti-antika-582-488731> (2016 09 01).

ARISTOTELIS, 2005 – АРИСТОТЕЛЬ, 2005. *Риторика. Поэтика*. Москва: Лабиринт.

BIELINIS, L., 2002. Lingvistiniai politinės komunikacijos supratimo aspektai. *Respectus Philologicus*, 2 (7), 49–59.

BIELINIS, L., 2003. *Prezidento rinkimų anatomija. 2002 metų prezidento rinkimai Lietuvoje*. Vilnius: Versus Aureus.

BIELINIS, L., 2004. Mieganti sąmonė gimdo populizmą. *Kultūros barai*, 2, 2–5.

BUCKLEY, I., 2007. Tylos retorika: vienas XIX a. literatūros modernėjimo aspektas. *Lituanistica*, 1, 66–73.

BUDGE, I., KLINGEMANN, H. D., VOLKENS, A., BARA, J., TANENBAUM, E., 2001. *Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945–1998*. Oxford: Oxford University Press.

BURKE, K., 1969. *A Rhetoric of Motives*. Berkeley: University of California Press.

- DONSKIS, L., 2004. Imagologija, manipuliacijos ir viešoji erdvė postmodernioje politikoje. *Politologija*, 1, 3–38.
- GABRĖNAITĖ, E., 2010. *Reklamos topika: persvazijos instrumentai*. Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
- GABRĖNAITĖ, E., 2014. Paveikiojo diskurso argumentacija: *argumentum ad tempus*. *Verbum*, 5, 86–95.
- HITLIN, S., PILIAVIN, J. A., 2004. Values: Reviving a Dormant Concept. *Annual Review of Sociology*, 30, 359–393.
- INGLEHART, R., 1971. The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies. *American Political Science Review*, 65, 991–1017.
- KOŽENIAUSKIENĖ, R., 1999; 2001. *Retorika: iškalbos stilistika*. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
- KOŽENIAUSKIENĖ, R., 2005a. *Juridinė retorika*. Vilnius: Teisinės informacijos centras.
- KOŽENIAUSKIENĖ, R., 2005b. Politinė retorika etiniu požiūriu. *Parlamento studijos*, 3. Prieiga: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr3/kalba_Kozeniauskiene.htm (2016 09 01).
- KRAUJUTAITYTĖ, L., 1998. Vertybės sampratos apžvalga. *Filosofija, sociologija*, 33, 60–66.
- LASSWELL, H. D., 1965. The Language of Power. In: *Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics*. New York: George Stewart, 13–19.
- LASSWELL, H. D., KAPLAN, A., 1998 (1950). *Power and Society*. London: Routledge.
- LAURĖNAS, V., 2004. Pilietinės visuomenės dilemos Lietuvoje. *Sociologija. Mintis ir veiksmai*, 1, 5–21.
- MORKEVIČIUS, V., 2006. *Socialinių vertybių raiška politiniame diskurse: Lietuvos Seimo debatų turinio analizė (1992–2004 m.)*. Daktaro disertacija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
- PETERS, B. G., 2002. *Biurokratijos politika*. Vinius: Pradai.
- PLATONAS, 1996. *Faidras*. Vilnius: Aidai.
- РОЧЕРЦОВ, Г. Г., 2005 – ПОЧЕПЦОВ, Г. Г., 2005. *Паблик рилейнз для профессионалов*. Москва: Рефл-бук.
- ROHAN, M. J., 2000. A Rose by Any Name? The Values Construct. *Personality and Social Psychology Review*, 4, 255–277.
- ŠUMINAS, A., VERNICKAITĖ, A., 2010. Politinės komunikacijos praktinė problematika: Prezidentės D. Grybauskaitės retorikos ypatumai. *Parlamento studijos*, 9, 65–78. Prieiga:

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr9/9_informacija_3.htm (2016 09 01).

TISMANEANU, V., 2003. *Išsivadavimo fantazijos: pokomunistinės Europos mitai, demokratija ir nacionalizmas*. Vilnius. Mintis.

ULČINAITĖ, E., 1976. Literatūros teorijos klausimai antikinėje retorikoje. *Literatūra*, XVIII (3), 7–20.

UTČENKA, S., 1990. *Julijus Cezaris*. Vilnius. Mintis.

VERDERY, K., 1996. *What was socialism, and what comes next?* Princeton: Princeton University Press.

Eglė Gabrėnaitė

Vilnius University, Kaunas, Lithuania

POLITICAL RHETORIC: COMPONENTS OF VALUE TOPIC

Summary

Political communication is inseparable from rhetoric – the art of persuasion, ability to create persuasive discourse, whose foundation is “methodical disclosure of something that can be persuasive in any topic” (Aristotle). Political discourse exceptionally strongly actualizes the pragmatic function and power of rhetorical affectivity. This function is particularly noticeable during elections, when politicians and their electoral campaign developers have in their disposition various resources of rhetoric to create persuasive discourse. According to Kenneth Burke, the function of political rhetoric is to affect the audience’s views, beliefs and behavior with the help of linguistic tools, in other words, to manipulate the audience. This is determined by particularity of political communication: the politician’s aim is to attract and keep the attention of the audience, to represent and strengthen the image, to form beliefs.

The analysis of political rhetoric can reveal the values which politicians actualize in their appeals to voters and what strategies of rhetorical persuasion – topoi of the rhetoric of promise – are used for this aim. The aim of the research presented in this report is to determine value priorities raised in programs of the parties participating in the municipal election of the Republic of Lithuania in 2015, i.e. to analyze the topic of value rhetoric. The research also seeks to determine the motivation for choosing these priorities. Political discourse is analyzed from a position of the science of rhetoric as the persuasive communication. Rhetorical approach to persuasive discourse research allows for estimation of potential persuasiveness of particular rhetorical topoi.

KEY WORDS: political rhetoric, political discourse, value, topic.

Нана Гаприндашвили

Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили

пр. Чавчавадзе, д. 1. 0128 Тбилиси, Грузия

E-mail: nana.gaprindashvili@tsu.ge

Область научных интересов автора: сравнительное литературоведение, история грузинской литературы, колониальная и постколониальная грузинская литература и литературоведение

**ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ГРУЗИНСКОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: ИМАГОЛОГИЯ**

После распада Советского Союза на политической и культурной картах мира появились новые независимые государства. В том числе и Грузия, продолжившая свое существование в новой, постколониальной социально-культурной и политической обстановке. Эпоха постколониализма, ее культура и искусство, с ее деконструктивизмом, новым историзмом, психоанализом, феминизмом и другими признаками, представляет собой интересный материал для различного рода исследований и обобщений. Грузинская постколониальная литература сформировалась после распада Советского Союза и получения Грузией независимости.

Цель нашего исследования продемонстрировать, что имагология важнейший аспект и перспективное направление постколониального грузинского литературоведения, которое раскрывает перед исследователями новые перспективы.

В работе применяются некоторые классические методы: сравнительный метод, метод литературной герменевтики, культурно-исторический метод.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *грузинское литературоведение, постколониальная эпоха, литературоведческая имагология, литературная иконография, межкультурный диалог.*

Имагология – «общегуманитарная научная дисциплина, занимающаяся изучением создания, восприятия и преобразования образов чего-либо (страны, народа, культуры и т. д.), а также практическая деятельность по созданию имиджей» (Теория 2014: 122–123). Существует литературоведческое, лингвистическое, культурологическое, социологическое, историческое и др. направления имагологии.

Основным предметом исследований имагологии, по М. Алёшину, является «образное восприятие «чужого» представителями разных культур (стран, народов); предметом имагологии также являются: 1) устойчивые образы, объективированные в литературе (в

литературоведении); 2) национальные образы и этнические стереотипы, их влияние на общество (в этнологии), 3) стереотипы в том или ином языке (имагология лингвистическая); 4) представления участников культурного диалога друг о друге (в культурологии); 5) социальные функции представлений (в социологии)» (Алёшин 2016).

Литературоведческая имагология, которая признана актуальным направлением современной литературной компаративистики (Chevrel 2006: 7), является в Грузии новой отраслью, хотя литературоведение в целом представляет собой одну из традиционных, непрерывно развивающихся научных отраслей грузинской гуманитарной науки, которая преследует цель на современном уровне развития филологических наук наиболее полно отразить историю грузинской литературы, текущие литературные процессы. Нам представляется, что развитие литературоведческой имагологии и исследование грузинской литературы с точки зрения имагологии, создание нового научного опыта с точки зрения литературной иконографии постколониальной эпохи внесет значительный вклад в изучение грузинской литературы, включенной в интеркультурный диалог. Несмотря на то, что существуют отдельные исследования, в которых рассматривается имагологическая проблематика (работы Н. Гаприндашвили, М. Миресашвили и др.), множество ее теоретических и практических аспектов остается все еще неизученными. К сожалению, в грузинском литературоведении до сих пор не существует фундаментальных трудов, в которых грузинская литература постколониальной эпохи²⁸ была бы изучена с точки зрения межкультурного диалога; была бы исследована имагологическая проблематика, то есть образы (имидж) людей, различающихся с этнической и культурной точек зрения в текстах грузинской литературы и в грузинском литературно-культурном сознании после 1991 года; глубинно был бы осмыслен основной концепт имагологии, его основная бинарная оппозиция («свое» – «чужое»).

Однако значение и функция этой отрасли, призванной создавать атмосферу доверия и взаимопонимания между людьми, становятся особо значимыми для нашей страны на ее современном культурно-политическом и общественном этапах развития. Как справедливо отмечает Хуго Дизеринк, на имагологию возложена важнейшая гуманитарная функция, она способствует лучшему познанию людьми друг друга в современной, достаточно сложной и разнообразной мультидисциплинарной обстановке (Dyserinck 1988:13). Имагология является

²⁸ Как известно, постколониализм – это не только литературоведческий термин, но и хронологический, который используется по отношению к постсоветской грузинской литературе.

крайне перспективной сферой гуманитарного исследования. Известно, что материалы литературоведческой имагологии обладают высоким уровнем надежности. Несмотря на то, что в литературе много условностей, она может полнокровно и живо воссоздать взаимоотношения людей, их особенный характер, правдоподобно и непосредственно отразить укоренившиеся стереотипы и оказать большое влияние на широкие круги читателей.

Необходимо, однако, отметить, что за последние годы были опубликованы крайне важные для грузинского литературного и академического пространства монографии и пособия, в которых с современной позиции оценивается идейно-эстетический опыт грузинской литературы колониальной эпохи (см.: გაფრინდაშვილი 2012; გაფრინდაშვილი და სხვ. 2008; გაფრინდაშვილი ა და სხვ. 2010; გაფრინდაშვილი ბ და სხვ. 2010), что является хорошей предпосылкой для проведения исследования постколониальной грузинской литературы, в частности, анализ ее имагологических литературоведческих аспектов.

С этой точки зрения исследователи должны наметить цель своей дальнейшей работы:

- глубинное изучение теоретических аспектов литературоведческой имагологии;
- критическое рассмотрение грузинской литературы 1991-2016 гг. с точки зрения этноимагологии с учетом широкого культурно-исторического контекста;
- анализ постколониальных грузинских литературных процессов, их общетеоретических характеристик и специфических идейно-эстетических особенностей с позиций художественно-эстетического мышления XXI века;
- создание этноимагологических моделей постколониальной грузинской литературы;
- выявление роли переведенной литературы в истории грузинской литературы постколониального периода с точки зрения формирования этноимагологических моделей;
- изучение влияния на литературу постколониальной эпохи экстралитературных (политических, общественных и др.) процессов, протекающих наряду с литературно-эстетическими факторами как внутри страны, так и за ее пределами, ее развитие.

В грузинских постколониальных литературоведческих имагологических исследованиях особое внимание необходимо уделить вопросам культурной иконографии, в целях изучения сложного механизма формирования имиджа грузина в инонациональной литературе, а также «чужого» образа в грузинской литературе в результате влияния политических, исторических, социокультурных и других факторов. Разумеется, целью литературоведения не должно стать

выяснение того, насколько верно показан дискурс другой страны в грузинской литературе. Постановка вопроса таким образом будет некорректна. Грузинские литературоведы должны изучить, каким будет этот дискурс, каковы приемы и принципы конструирования образа грузина в иностранной литературе и «чужого» лица в грузинской литературе, а также какова роль стереотипов вообще и этностереотипов, в частности, в данном процессе.

Грузинская литература исторически предоставляет собой более богатый материал с точки зрения художественной обработки имагологических вопросов. Грузия никогда не развивалась в отрыве от других стран, от культурно-литературного мира; на всех этапах своего развития она поддерживала активные историко-литературные контакты, что успешно и интересно отразилось в грузинской литературе с точки зрения художественной обработки имагологических аспектов. Уже о многом говорит ссылка на то, что Царица Шушаник, главная героиня дошедшего до нас первого грузинского оригинального творения, агиографического произведения пятого века «Мученичество Шушаник» Якоба Цуртавели, является инонациональным персонажем. Она была дочерью армянского полководца Вардана Мамиконяна, жила и мученически скончалась в Квемо Картли. Художественное отображение инонациональных персонажей или «чужого» мира не чуждо и другим памятникам литературы древних грузинских писателей. Грузинские писатели еще в период древней грузинской письменности не ограничивались только отображением грузинской действительности и знакомили читателя с миром других народов, благодаря чему обогащали собственную палитру, грузинскую литературу, культурные и историко-географические знания грузинского читателя, и, в целом, расширяли его кругозор. Разумеется, это было крайне сложно, но в то же время необходимо, в особенности в древние века. Значение этих литературных факторов усиливалось и тем обстоятельством, что в старину нелегко было перемещаться на дальние расстояния, а также обмениваться информацией, а увидеть зарубежные страны и собрать о них информацию могли лишь единицы. И поэтому посредством произведений, созданных на основе инонациональной тематики, происходило привнесение в родную страну знаний о новом мире и их популяризация, ознакомление читателей с «чужой» литературой, искусством, образом жизни и традициями, особенностями быта.

Исходя из этого, если рассуждать на примере грузинской литературы, инонациональная тематика, имагологическая проблематика в грузинской письменности и оригинальная грузинская письменность по возрасту являются «одногодками». А «почву» в вопросе

воспроизведения инациональной тематики, со своей стороны, подготовили мифология и фольклор, ведь бинарная оппозиция «свое» – «чужое» в сознании человека существовала с древнейших времен: «Для первобытного племени другие – это уже не „мы“, „нелюди“, часть природы» (Гачев 2008:15).

Несмотря на то, что быстрое развитие техники в наше время удивительно ускорило передвижение и обмен информацией, инациональная тематика и имагологическая проблематика все равно играют значительную роль в деле предоставления информации об инациональном мире и формирования стереотипов. Возрастает ее значение для национальной литературной жизни, и становится актуальной необходимостью ее изучения. Исследование практико-теоретических аспектов имагологической тематики должно дать ответы на множество вопросов, которые текущие литературные процессы и история современной грузинской литературы ставят перед сравнительным литературоведением, так как инациональная тематика одновременно оказывает влияние, как на национальную литературу, так и на национального читателя и писателя, который намерен художественно обработать инациональную тематику. Важнейшей проблемой нам видится изучение влияния инациональной тематики на творчество писателя, что выражается в его обогащении с тематической точки зрения. Отображение новой тематики и нового мира, со своей стороны, обуславливает создание новых художественных образов, что вызывает многообразие художественно-выразительной палитры писателя, обогащает его поэтический язык и стилистику.

Таким образом, чрезвычайное внимание необходимо уделить инациональной тематике как важнейшему аспекту восприятия «чужого» мира, который, как нам представляется, теоретически изучен в наименьшей степени. Однако на примере взаимодействия конкретных литератур данный вопрос в определенной мере изучен в грузинском литературоведении, в частности, в тех литературоведческих исследованиях, в которых рассматривается инациональная тематика. Однако необходимо особо отметить и то, что эти исследования проводились в основном в грузинском советском литературоведении, и большая часть литературного материала была соцреалистической и, соответственно, с идеологической точки зрения в основном соответствовала «социалистической» эстетике и идеологии (см.: Джинчарадзе 1974: 66–80; Картвелишвили 1974: 199–209; Эрадзе 1976: 153–162; Хундадзе 1974: 53–62 и др.).

Исходя из особенностей инациональной тематики при изучении данной проблематики с современных позиций, наряду с чисто литературоведческим анализом, исследователи должны учесть и использовать данные истории, этнографии, психологии, фольклористики и других смежных наук, так как проведение имагологических исследований не будет полным без учета достижений указанных выше дисциплин.

В течение долгого времени недостатком изучения национальных литератур являлся эмпиризм. В должной мере не учитывались национальные, социальные, исторические и культурные контексты отдельных литературных фактов. Необходим комплексный подход к проблеме; определение общей методологии исследования; интердисциплинарный подход к изучению литературоведческих проблем. Возможна и такая конкретизация комплексного метода литературоведческого анализа, которая применима в отношении исследуемой культурно-исторической эпохи. В исследованиях такого типа необходимо предусмотреть теоретический подход, основанный на современной филологической методике. Можно так же использовать статистико-аналитический, личностно-рецептивный и др. подходы. В целом же очень важной проблемой видится создание теоретико-методологических проблем литературной имагологии и определение терминологического аппарата.

Имагологические исследования не могут быть полными без изучения стереотипов. Мы разделяем мнение Е. Папиловой о том, что «в основе стереотипизирования лежит исторический опыт народа – опыт взаимодействия с той или иной нацией. Фактором, побуждающим к познанию и оценке всякого «чужого», «другой» культуры, часто является удивление перед непривычным, незнакомым. В условиях глобализации культуры вопрос о путях возникновения стереотипных представлений о «чужестранце», представителе той или иной нации, и о трансформации этих стереотипов – истинных и ложных – в массовом сознании стоит очень остро» (Папилова 2011: 31).

Для проведения глубокого имагологического исследования для грузинских исследователей будет важным изучение отраженных в грузинской литературе и сформировавшихся в социально-культурной среде стереотипов других народов, качества раскрытия инациональных характеров, которое может быть разным: от концептуализированного отображения до обычного упоминания. Стереотипные представления могут не изменяться в течение длительного периода, а могут быстро измениться, что, как правило, связано с изменением межнациональных отношений. Необходимо учесть и то

обстоятельство, что в основе стереотипизации заложен опыт исторических отношений одного народа с другим.

Мы думаем, будет не менее познавательно исследование того, какой интерес вызовут в грузинской художественной литературе конструированные «чужие образы» в том социокультурном мире, тематику которого они воссоздают. Этот интерес может быть обусловлен множеством факторов. Например, взгляд инационального писателя отличается от взгляда национального писателя и, в силу этого, представляет интерес то, что увидят, как увидят, как отразят отдельные стороны инациональной жизни и «чужие» характеры грузинские писатели. Будет интересно также исследование того, насколько обуславливает этот интерес «возврат» к созданному на инациональную тему грузинскому сочинению в виде перевода в том культурно-литературном мире, тематику которого оно воссоздает.

В контексте культурной иконографии необходимо исследовать творчество грузинских писателей Г. Дочанашвили, Н. Шатаидзе, Г. Одишария, В. Чхиквадзе, Д. Турашвили, А. Морчиладзе и других. Необходимо изучить отображенные в их произведениях образы европейцев, американцев, русских, осетин, абхазов и других. В изображении характеров инациональных героев авторы постколониальных художественных произведений часто выражают ироническое отношение и к колониальному прошлому, и к постколониальному настоящему, отображая подобным образом как вчерашних идеологических оппонентов, так и идейных единомышленников.

В постколониальной литературе интересный материал нам может предоставить изучение отображения культурной ментальности, вызванной различием традиций²⁹. Также достаточно продуктивным будет исследование вопроса селекции памяти, выдвинутого постколониальной эпохой и литературой: что мы должны использовать из колониального прошлого, а что мы должны начать с нуля, с чистого листа. Это серьезная тема для членов общества, которые стоят перед проблемой мировоззренческого выбора и ревизии собственной памяти.

До сих пор никто не исследовал грузинские произведения на рубеже веков с лингвистическо-имагологической точки зрения. Мы имеем в виду лингвистическое многообразие речи персонажей, логически связанное с содержанием произведений и эстетикой постколониальной прозы. В этих произведениях встречаются диалоги на английском, русском,

²⁹Возможно, традиция одного народа оказывается не только непонятной, но и неприемлемой для другого.

турецком языках, также отдельные иноязычные слова, выражения и иностранные варианты грузинских лексических единиц. Персонажи очень часто говорят на английском языке. Распространение английского языка и перспективы на будущее находятся в тесной взаимосвязи с постколониальной культурой и литературой. Эта связь имеет множество аспектов.

Определенное представление о культурно-политической обстановке создают и русскоязычные диалоги, которые интересны как по форме и объему, так и с точки зрения содержащейся в них имплицитной информации. Русизмы, русские варваризмы и применение жаргона органично представлены в грузинских литературных памятниках постсоветской культуры.

Исследование имагологических аспектов постколониальной грузинской литературы является актуальной задачей грузинского литературоведения. Изучая важнейшие вопросы восприятия инонационального мира, литературоведческая имагология тем самым отражает интегральные процессы мировой литературы. Вместе с тем, она заостряет внимание на взаимодействии литератур и сущности типологического единства литературных явлений.

Грузинское литературоведение с учетом указанных проблем стоит перед необходимостью решать новые задачи и намечать новые перспективы. Развитие имагологических исследований, новое видение, отраженное в фундаментальных трудах данного научного направления, окажут влияние на дальнейшее развитие литературоведения и компаративистики и будут содействовать созданию и накоплению новых знаний о весьма интересном и многообразном периоде истории грузинской литературы.

Изучение постколониальной грузинской литературы с точки зрения имагологии должно помочь получению ответов на следующие вопросы:

- как ответила грузинская литература на серьезные потрясения, вызванные изменениями общественных формаций; как в связи с этим изменился вектор изображения инонациональных характеров;
- как повлияли историко-политический, общественно-культурный контексты, контекст глобализации и другие факторы на формирование и художественное воспроизведение бинарной оппозиции «свое» – «чужое» в грузинской литературе постсоветской эпохи;
- как отображены образы других стран, других народов, их характеры, особенности в образах культурной иконографии.

Актуальной задачей грузинского литературоведения остается:

- ✓ изучить на примере грузинской литературы особенности формирования этноимагологических моделей;
- ✓ отобразить имагологический дискурс истории постколониальной грузинской литературы;
- ✓ проанализировать исторические и эстетические предпосылки грузинской действительности, которые определили происхождение особенностей, характеризующих грузинскую постколониальную литературу;
- ✓ исследовать, как в теоретическом плане, так и на примере грузинской литературы последнего периода, три основных составляющих аспекта, представленных в художественной литературе стереотипов: познавательный, прагматический и эмоциональный;
- ✓ изучить вопрос значения художественной литературы в связи с укоренением национальных стереотипов в представлении того или иного народа или, наоборот, отрицанием существующих стереотипов, а также проблему использования в произведении стереотипных образов в отличительной форме для отображения авторской концепции взаимоотношения человека и окружающего мира.

Результаты имагологического исследования будут важны не только с чисто литературно-эстетической, но и общественно-политической точек зрения. В особенности это касается тех работ, в которых будут изучены образы новых политических союзников Грузии – американцев, представителей стран Евросоюза и других. В особенности важна будет литературная иконография абхазов и осетин в современной грузинской литературе (из-за осложненной политической обстановки как для грузинского, так и для абхазского и осетинского народов очень важно осознать, как видит грузинский писатель абхазский и осетинский народы, как видит он их характеры, созданию каких ценностей он содействует и какие тенденции укрепляют с этой точки зрения мастера грузинской художественной литературы).

Интересно, как просматривается ментальность бывшего «старшего брата» (России и русских) и взаимоотношения русских и грузин в грузинской художественной литературе постколониального периода. Как отображает грузинская литература постколониальной эпохи обстановку, при которой со стороны бывшего доминатора (России) все еще ощущается воздействие; существует и определенное ментальное влияние, то есть в жизни бывшей колонии в определенной степени все еще присутствует метрополия, что отражается на сознании населения.

Необходимо освещать проблемы литературы в политическом, идеологическом, культурологическом разрезе, так как так называемые внешние факторы привносят определенные изменения в эволюцию любой литературы.

В заключение отметим, что развитие этой отрасли внесет значительный вклад в полноценное отражение многовековой истории грузинской литературы и в определение роли и места грузинской литературы в мировых литературных процессах.

Литература

CHEVREL, Y., 2006. *La litterature comparee*. Paris: Presses Universitaires de France.

DYSERINCK, H., 1988. *Komparatistische Imagologie. Zur politischen Tragweite einer europäischen Wissenschaft von der Literatur. Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst and Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts*. Bonn: Bouvier.

АЛЁШИН, М., 2016. Имагология. Режим доступа: <http://ponjatija.ru/node/10342> (5. 08. 2016).

ГАЧЕВ, Г., 2008. *Ментальности народов мира*. Москва: Эксмо.

ДЖИНЧАРАДЗЕ, Д., 1974. Грузинская тема в русской советской поэзии. *Литературные взаимосвязи*. Вып. V. Тбилиси: Мецниереба.

КАРТВЕЛИШВИЛИ, М., 1974. Украинская тема в творчестве С. Эули и С. Шаншиашвили, *Литературные взаимосвязи*. Вып. V. Тбилиси: Мецниереба.

ПАПИЛОВА, Е. В., 2011. Имагология как гуманитарная дисциплина. *Филологические науки*, 4, 31–40. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/imagologiya-kak-gumanitarnaya-distsiplina> (5. 08. 2016).

Теория 2014. *Теория и методология исторической науки*. Терминологический словарь, 2014. Отв. ред. А.О. Чубарьян. Москва: Аквилон.

ХУНДАДЗЕ, Н., 1976. Грузинская тема в русской прозе (Анна Антоновская). *Литературные взаимосвязи*. Вып. IV. Тбилиси: Мецниереба.

ЭРАДЗЕ, Л., 1976. Грузинская тема в азербайджанской прозе. *Литературные взаимосвязи*. Вып. IV. Тбилиси: Мецниереба.

გაფრინდაშვილი, ნ., 2012. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის თეორიული საფუძვლები, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი. – გაპრინდაშვილი, ნ., 2012.

Теоретические основы сравнительного литературоведения. Тбилиси: Меридиани, (на груз. языке).

გაფრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი მ., 2008. ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლები, გამომცემლობა „ინტელექტი“, თბილისი. – გაპრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი, მ., 2008. *Основы литературоведения*. Тбилиси: Интеллект, (на груз. языке).

გაფრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი, მ., წერეთელი, ნ., 2010. a სოციალისტური რეალიზმის თეორიული ისტორია (ქართული ლიტერატურის მაგალითზე); ტომი 1: სოციალისტური რეალიზმის იდეურ-ესთეტიკური თავისებურებანი. გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი. – გაპრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი, მ., ცერეტელი, ნ., 2010. *Теоретическая история социалистического реализма (на примере грузинской литературы)*. Т. I: *Идейно-эстетические особенности социалистического реализма*. Тбилиси: Некери, (на груз. языке).

გაფრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი, მ., წერეთელი, ნ., 2010. b სოციალისტური რეალიზმის თეორიული ისტორია (ქართული ლიტერატურის მაგალითზე); ტომი 2: სოციალისტური რეალიზმის განვითარების ეტაპები საქართველოში., გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი. – გაპრინდაშვილი, ნ., მირესაშვილი, მ., ცერეტელი, ნ., 2010. *Теоретическая история социалистического реализма (на примере грузинской литературы)*. Т. II: *Этапы развития социалистического реализма в Грузии*. Тбилиси: Некери, (на груз. языке).

Nana Gaprindashvili

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

THE PERSPECTIVE DIRECTION OF POST-COLONIAL GEORGIAN LITERARY STUDIES: IMAGOLOGY

Summary

The given paper discusses the perspectives of the development of imagology – an actual direction of the contemporary literary comparativistics and post-colonial literary studies, which is a new branch in Georgia. It is worth mentioning, that the problematics of imagology was studied in Georgian colonial literary studies, especially in the research which dealt with the foreign-national topic. However, a major part of the studied literary material was socrealistic and therefore, corresponded to the “socialistic” esthetics and ideology.

Georgian literary studies attach the greatest importance to the fundamental works: studying the Georgian literature of the post-colonial epoch from the point of view of an intercultural dialogue; comprehending the major concept of imagology and its binary opposition (“own” – “other’s”); researching images of ethnically and culturally different people in the texts of Georgian literature and Georgian literary-cultural perception of the post-colonial epoch.

The results of the imagological research are important from the literary-esthetic and socio-political points of view. A special significance acquires the literary iconography of Abkhazians and Ossetians – the representatives of new political allies of Georgia and post-Soviet area.

The development of the imagology of literary studies, the study of Georgian literature from the imagological viewpoint and the creation of a new scientific experience from the point of view of the literary iconography of the post-colonial epoch will play a significant role in the study of Georgian literature, in the full reflection of its centuries-long history and in the determination of its place and role in the world literary processes.

KEYWORDS: Georgian literature and literary studies, imagology of literary studies, intercultural dialogue, literary iconography, post-colonial epoch.

Nana Gaprindašvili

Valstybinis Tbilisio universitetas, Gruzija

IMAGOLOGIJA – PERSPEKTYVI POKOLONIJINĖS GRUZINŲ LITERATŪROLOGIJOS

KRYPTIS

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiama imagologijos, perspektyvios šiuolaikinės lyginamosios ir pokolonijinės literatūrologijos krypties, taikymo galimybė Gruzijos literatūrologijoje. Būtina paminėti, kad tam tikru lygmeniu imagologija buvo studijuojama gruzinų kolonijinėje literatūrologijoje, ypač darbuose kitų tautų tematika. Tačiau dauguma šių darbų yra ideologizuoti ir parašyti apie socialinio realizmo kūrinius. Gruzinų literatūrologijai itin svarbūs fundamentalūs darbai, kuriuose tarpkultūrinio dialogo kontekste būtų aptariama pokolonijinio laikotarpio gruzinų literatūra. Tarp svarbių tyrimo objektų reikia paminėti literatūros kūrinių veikėjų, priklausančių įvairioms etninėms ir kultūrinėms bendruomenėms, portretus ir jų vietą literatūriniam-kultūriniam pokolonijiniame periode. Taip pat svarbūs yra vieno iš pagrindinių imagologijos konceptų *savas–svetimas* tyrinėjimai. Svarbu tirti

abchazų, osetinų, naujųjų politinių sąjungininkų bei postsovietinės erdvės atstovų vaizdavimą literatūroje. Imagologijos tyrimai literatūrologijoje padės identifikuoti naujus tyrimo objektus, įtrauks gruzinų literatūros kritikus į tarpkultūrinį dialogą ir padės gruzinų literatūrologijai atrasti savo vietą pasauliniuose literatūros tyrimuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: gruzinų literatūrologija, pokolonijinis laikotarpis, imagologija, tarpkultūrinis dialogas.

Алла Диомидова

Каунасский факультет Вильнюсского университета, Литва

Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas, Lietuva

E-mail: ala.diomidova@khf.vu.lt

Научные интересы: лингвистический ландшафт, языковая политика, дискурс-анализ

Йорис Казлаускас

Филологический факультет Вильнюсского университета, Литва

Universiteto g. 5, LT-01122 Vilnius

E-mail: joriskk@yahoo.com

Научные интересы: лингвистический ландшафт, языковая политика, дискурс-анализ

**ВИЛЬНИОС VS. ТБИЛИСИ: ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА**

В данном исследовании проводится сопоставительный анализ лингвистического ландшафта двух столиц постсоветского пространства – Литвы и Грузии – Вильнюса и Тбилиси. Процессы глобализации, заинтересовавшие лингвистов несколько позже, чем представителей других наук, меняют условия существования языков и требуют своего осмысления в современной лингвистике. Общие черты в ЛЛ Вильнюса и Тбилиси – это повышенное присутствие английского языка как в официальном, так и неофициальном сегментах ЛЛ. Кроме того, обе столицы определенным образом вынуждены выстраивать новые отношения с русским языком. Здесь наблюдаются наибольшие отличия в ЛЛ Вильнюса и Тбилиси: от полного отсутствия в официальном сегменте ЛЛ Вильнюса до причудливого разнообразного вкрапления в ЛЛ Тбилиси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвистический ландшафт, общественные знаки, пост-советская языковая политика, Вильнюс, Тбилиси.

Понятие лингвистического ландшафта

Исследования лингвистического ландшафта городов и/или регионов – сравнительно новое направление в социолингвистике. Первый номер журнала “Linguistic Landscape” вышел только в 2015 г., однако ему предшествовал выход важных, ставших уже классическими монографий, посвященных изучению лингвистического ландшафта (далее – ЛЛ). Интерес к ЛЛ ученые связывают с актуальными для современного общества процессами. В первую очередь, это

процесс глобализации, который называют причиной повсеместного распространения английского языка. Кроме глобализации, это процессы миграции, в результате которых создаются мультикультурные сообщества, нуждающиеся с тем, чтобы репрезентировать себя на своем языке в пространстве мест проживания – как правило, городов. Также популярным направлением изучения ЛЛ являются туристические места.

Под лингвистическим ландшафтом (далее ЛЛ) авторы представленной работы понимают систему письменных знаков, используемых в общественной сфере (публичном пространстве) городской среды (Backhaus 2007) и выполняющих две основные функции: информативную и символическую. Степень и плотность присутствия конкретного языка в ЛЛ всегда есть показатель значимости, силы, релевантности языка в социуме. Современные исследователи признают, что именно лингвистический ландшафт дает яркое представление о реально существующих в умах населения идеях многоязычия (Shohamy 2009: 110). Он символичен и может служить определенным индикатором настроений отдельных групп, общества и регионов. В научной литературе утвердилось классическое определение понятия «лингвистический ландшафт», которое было сформулировано в работе Landry и Bourhis (1997). Приведем полное определение ЛЛ: “the language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration” (Landry, Bourhis 1997: 25). Таким образом, к знакам лингвистического ландшафта относятся все надписи и рисунки (рекламные плакаты), в которых используется язык, также – официальные надписи, такие как названия улиц, официальных учреждений и т.п. Так как концентрация таких знаков очень высока в крупных городах, именно они находятся в центре изучения лингвистов.

Несмотря на то, что изучение ЛЛ является достаточно новым направлением в исследовании городских сообществ, оно уже столкнулось с некоторыми проблемами методологического характера. Во-первых, стоит отметить проблему определения языка. Эта проблема важна как для исследований ЛЛ в общем, так и для нашего конкретного материала. Не всегда представляется возможным точно определить язык надписи. Например, такси в Тбилиси снабжены надписью на латинице “TAXI”. Стоит ли в данном случае говорить о надписи на английском языке или, возможно, считать эту надпись неким международным знаком, а не надписью на определенном языке. Также неясно, куда относить надписи, в основе которых созданные жителями Тбилиси или Вильнюса слова, которые похожи на английские, но

такowymi не являются. Например, в Тбилиси примером такой творческой игры «на основании английского языка» будет название художественной школы для детей в центре Тбилиси: ArtEast (АртИст; надпись на грузинском читается как «артисти»). Здесь соединяются значения двух английских слов (art, east) и одного грузинского (artisti). Сеть вильнюсских кофеен Caif cafe может служить примером аналогичной языковой игры – название нельзя отнести к английскому языку, но и к другим языкам (литовскому, например) его невозможно отнести. Исключить же подобные надписи из анализа (как поступают некоторые исследователи) также будет неправильно. Поэтому, думается, что можно ввести определенный термин (например, «квазианглицизмы») для таких надписей, который бы отражал их роль в ЛЛ города.

Во-вторых, не менее важной проблемой изучения ЛЛ является проблема сбора материала. Какое число надписей является достаточным – такой вопрос часто ставят исследователи. Нужно ли исследовать все надписи в городе, чтобы говорить о ЛЛ определенного города. Учитывать ли повторяющиеся надписи? Некоторые надписи города являются однотипными (таблички с названием улиц, площадей, названия официальных учреждений), однако они могут определять характер ЛЛ определенного городского района, поэтому неверным будет исключать их из подсчетов. Однако количественный анализ может исказить данные не меньше, чем не проведение такового. Статистические подсчеты не учитывают параметра авторитетности надписи, то, что в лингвистике принято называть сильными и слабыми позициями. Пока исследователи ЛЛ не включают данный параметр в условия сбора материала, также слабо задействованы в исследованиях такие параметры общественных знаков как величина надписи по сравнению с другими, ее яркость, размер букв и т.п.

Как пример конкретного выбора ключевого места можно привести памятники А. С. Пушкину, которые можно найти и в Вильнюсе, и в Тбилиси. Памятник А. С. Пушкину в Тбилиси находится в том же сквере в центре города, в котором он и был установлен в XIX в. Памятник А. С. Пушкину в Вильнюсе с обретением Литвой независимости был перемещен из центра города (ключевое место) на территорию музея А. С. Пушкина в Маркучяй. На тбилисском памятнике сохранилась историческая надпись – фамилия поэта изначально была написана на русском языке с «ять». Ныне буква отколота, но след от нее сохранился и хорошо виден. В Вильнюсе фамилия поэта на памятнике написана по-литовски: PUŠKINAS.

В данном исследовании мы старались обращать внимание на параметр авторитетности надписи (учитывали ее официальный /неофициальный характер, вели исследование в основном

в ключевых местах города – центре, туристических местах, обращали внимание на надписи на памятниках, язык памятных досок и т.п.).

Лингвистический ландшафт Тбилиси и Вильнюса: общие наблюдения

Выбор темы для данного исследования был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, Вильнюс и Тбилиси – это столицы постсоветских государств – Литвы и Грузии. В существовании этих городов есть как общее, так и отличия. Общим для Вильнюса и Тбилиси является советское прошлое, обе страны были советскими социалистическими республиками в составе СССР с доминированием русского языка. Отличия связаны с настоящим обеих стран: с различной степенью их интеграции в структуры Европейского союза и «западную» жизнь. Если Литва уже какое-то время является и членом Евросоюза, и НАТО, и членом «западного мира», то Грузия находится на пути к евроинтеграции.

Гипотезу, которая предшествовала полевым исследованиям ЛЛ, можно сформулировать следующим образом:

- Принимая за исходное положение о большей открытости европейского пространства по сравнению с советским, мы предполагали, что ЛЛ страны Евросоюза будет более открытым, чем ЛЛ страны, которая находится на пути интеграции в западные структуры.
- Учитывая процесс дерусификации, которые проходили во всех постсоветских странах с обретением ими независимости, мы предполагали доминирование национального языка, определенное присутствие английского языка и отсутствие русского. Поэтому первоначально было решено исследовать только надписи на английском языке в Тбилиси.
- Учитывая общее историческое прошлое обеих стран (то, что обе они были республиками в составе Советского союза), предполагалось, что сходств в ЛЛ Тбилиси и Вильнюса будет больше, чем отличий.

Однако данные полевых исследований не столько подтвердили исходные гипотезы, сколько дали неожиданные результаты. В данной статье, которая является начальной частью более обширного исследования ЛЛ Тбилиси и Вильнюса, будет дана общая характеристики ЛЛ в столицах Грузии и Литвы, а также будет положено начало описанию ситуации с русским языком, которая оказалась не идентичной в двух городах.

Кроме того, отметим, что в результате исследования была установлена неоднородность ЛЛ данных городов. Поэтому в дальнейшем будет целесообразно сопоставлять не только ЛЛ городов в целом, но и ЛЛ отдельных районов.

Тбилисский ЛЛ по сравнению с ЛЛ литовской столицы исторически многослоен: в нем сохранились элементы предыдущей, советской исторической эпохи. Старые надписи, которые мирно соседствуют с новыми, обозначают названия улиц, названия станций в тбилисском метро и т.д. Под старыми надписями мы имеем в виду не только советские, но и относящиеся к XIX веку, когда Грузия была частью Российской империи. В Тбилиси и других туристических местах Грузии сохранились советские таблички на достопримечательностях на двух языках: русском и грузинском. В Национальной художественной галерее сохранились надписи на картинах Н. Пиросмани, которые, вероятно, были сделаны еще в досоветское время. К тому же времени можно отнести надпись на памятнике А. С. Пушкину. В Литве двойные надписи на литовском и русском языках, которые существовали в советское время, уже не встречаются. Они заменены на моноязыковые, написанные только на литовском языке. В Тбилиси же новые надписи (например, названия улиц) содержат и передачу названия улицы на английском.

И в Вильнюсе, и в Тбилиси в центральных районах городов используется английский язык. Однако для Тбилиси дублирование названий всех официальных учреждений на английском является правилом, а для Вильнюса это не так. Вильнюсу свойственны моноязыковые, написанные только на литовском языке, надписи на официальных учреждениях.

Общественные знаки с названиями улиц и названиями официальных учреждений на английском создают более открытый лингвистический ландшафт Тбилиси по сравнению с Вильнюсом.

Русский язык в лингвистическом ландшафте Вильнюса и Тбилиси

Как уже говорилось выше, авторы данного исследования не предполагали обнаружить общественные знаки на русском языке в Тбилиси, кроме того, опираясь на собственный опыт, выдвинули гипотезу об отсутствии русского языка в Вильнюсе. Однако полевые исследования не подтвердили полного отсутствия русского языка в городах. Кроме того, обнаружилась некоторая разница в функционировании русского языка в столицах Литвы и Грузии. Русский язык представлен в тбилисском ЛЛ гораздо шире, чем в вильнюсском. Вильнюсский

лингвистический ландшафт можно назвать моноязыковым. В нем преобладает литовский язык. Можно сказать, что русский не является частью лингвистического пейзажа Вильнюса.

Очевидным отличием ЛЛ Тбилиси от ЛЛ Вильнюса было более широкое присутствие в нем русского языка. Нами было установлено 5 типов русскоязычных надписей в центральных и туристических районах Тбилиси: 1) Советские и досоветские надписи, которые сохранились до сих пор. Это официальные надписи, они уже не возобновляются. Скорее всего, через какое-то время, такие надписи полностью исчезнут; 2) Коммерческие надписи, которые адресованы туристам; 3) Некоммерческие (то есть не рекламирующие, не сообщающие о каких-либо услугах) надписи, адресованные туристам; 4) Надписи на русском языке в нетуристических районах (их было обнаружено не так много); 5) Надписи на товарах в магазинах и супермаркетах на русском языке. Если обнаружение первых трех типов надписей на русском языке было легко ожидаемо, то надписи, адресованные не туристам, которые встречаются в Тбилиси (к примеру, вывеска на небольшом магазинчике в нетуристическом районе «Овощи и фрукты», объявление о приеме детей в детский садик на грузинском и на русском языках, объявления о работе на столбах ул. Абашидзе) заслуживают отдельного исследования и могут быть также подвергнуты классификации по типу адресата.

Ярким и неочевидным на первый взгляд отличием тбилисского ЛЛ от вильнюсского были надписи на русском языке на товарах в супермаркетах. Полка с товарами, на которых информация о товаре представлена на русском языке, в магазинах и супермаркетах Тбилиси нам встретилось достаточно много. Это контрастирует с вильнюсским «магазинным» ландшафтом, где преобладают надписи на товарах на английском языке (мы имеем в виду иноязычные надписи на товарах популярных международных брендов). Например, средства по уходу за волосами Гарнье: надписи на шампунях и бальзамах для волос русские в Тбилиси и английские в Вильнюсе. Информация на грузинском/литовском языках на флаконах есть на небольших по размеру наклейках. Обычно этот вид надписей не включается исследователями в ЛЛ. Однако он может дать исследователю важную информацию. Внешним наблюдателем (которым в данном случае является международная компания) рынок как Литвы, так и Грузии воспринимается как небольшой (поэтому не производятся флаконы с надписями на грузинском и литовском языках). Рынок Грузии воспринимается как принадлежащий скорее русскоязычному языковому пространству (как такой, на котором русский язык является более понятным, чем английский), а

рынок Литвы, напротив, как такой, в котором надписи на английском языке будут более уместны.

Лингвистический ландшафт вильнюсского района Науининкай

Далее в этой статье анализируется ЛЛ вильнюсского микрорайона Науининкай. Этот микрорайон расположен в южной части столицы. От Старого города и центра Вильнюса Науининкай отделен железной дорогой. Территория района включает в себя Вильнюсский международный аэропорт, именно поэтому гости города, прилетающие в Вильнюс, именно через Науининкай попадают в Вильнюс. На первый взгляд Науининкай может показаться типичным районом Вильнюса с многоэтажками, крупными торговыми центрами, поликлиникой, школами и детскими садами. Однако Науининкай – это старинный район Вильнюса, поэтому здесь можно найти и памятники архитектуры: старообрядческую церковь (Свято-Покровский молельный дом) и прилегающее к ней старообрядческое кладбище, древнее караимское кладбище.

Эти памятники и названия улиц, говорят о том, что раньше здесь жили представители различных народностей. Пестрый национальный состав Науининкай сохранили до сих пор. Здесь живут не только литовцы, но и русские, поляки, ромы, а также караимы и татары.

Лингвистический ландшафт Науининкай на первый взгляд может показаться однородным: здесь можно увидеть множество надписей на литовском языке (например, названия учреждений: „Stomatologijos klinika *Lijana*“, „Grožio salonas“, „Kirpykla“, „Mėsos gaminiai“, „Aibė“, названия улиц, названия остановок общественного транспорта); названий международных брендов (например, „Maxima“, „Ikea“, „Eurokos“), а также несколько смешанных надписей – когда литовский язык соседствует с названием бренда (например, „*Ikea* Jūsų namams“).

Однако, если посмотреть на объявления на столбах, на автобусных остановках, на досках объявлений, в подъездах многоэтажек, то можно заметить, что лингвистический ландшафт Науининкай не так однороден, как может показаться на первый взгляд: с литовским языком здесь соседствует русский. Большинство таких надписей – это объявления о купле продаже жилья (квартир, дач, гаражей). Часть объявлений написаны на двух языках – наряду с русским используется и литовский (рис. 1, 2, 3, 4, 5). Однако в Науининкай не редкость и объявления только на русском языке (рис. 6, 7, 8, 9, 10). Автор данного исследования является уроженцем

другого литовского города – Каунаса, поэтому для него очевидна нетипичность данной ситуации для Литвы. В микрорайонах Каунаса неофициальные объявления в подъездах, на столбах, автобусных остановках написаны на литовском языке.

Для экономии места, приведем лишь два типичных примера объявлений на русском языке в вильнюсском микрорайоне Науининкай.



Рис. 1. Коммерческое объявление на русском и литовском языках. Микрорайон Науининкай, Вильнюс, 2016 г. Фото Й. Казлаускас

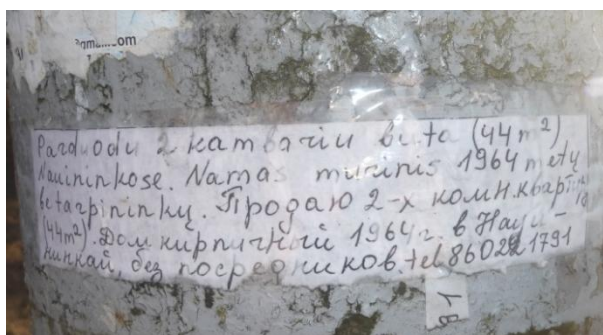


Рис. 2. Частное объявление на русском и литовском языках. Микрорайон Науининкай, Вильнюс, 2016 г. Фото Й. Казлаускас

Как видно на фотографиях (также см. ПРИЛОЖЕНИЕ к статье), большинство объявлений на русском языке принадлежат не предприятиям или учреждениям, а самим жителям этого микрорайона – объявления носят частный характер, многие написаны от руки. Можно сделать предположение, что авторы пишут объявления на том языке, которым хорошо владеют сами или предполагают, что им владеют адресаты их объявлений: в микрорайоне Науининкай традиционно проживает много русскоязычных. Официальные надписи на литовском языке (названия учреждений, улиц и т.п.) в данном микрорайоне преобладают, так как их авторы должны следовать Закону о государственном языке (Valstybinės kalbos įstatymo), в

котором указано, что в официальных надписях использование литовского языка является обязательным. А вот объявления самих жителей, которые они развешивают в общественных местах, можно назвать неофициальными надписями – на надписи такого рода закон не распространяется. Кроме того, использование русского языка объяснимо и тем, что для многих жителей данного микрорайона русский язык является родным, и они говорят на нем ежедневно – с родными, соседями, знакомыми, используют его в магазине и на рынке (по наблюдениям автора статьи, который проживает в данном микрорайоне, но не является его уроженцем). Наблюдая за повседневной жизнью микрорайона можно отметить, что жители Науйининкай часто на улице заговаривают с прохожими на русском, а не на литовском языке, как это обычно для центральных районов Вильнюса. Как утверждают Rodrigue Landry и Richard Bourhis (1997), язык, употребляемый в лингвистическом пейзаже города, может выполнять не только информационную функцию (т.е. в нашем случае – объявления не только информируют адресата о продаваемой недвижимости или желании таковую приобрести), но и символическую – показывают статус данного языка, в нашем случае русского, на данной территории. Хотя официально более высокий статус в этом районе города имеет литовский язык, как уже упоминалось, русский важен для ежедневного общения жителей.

Известный лингвист Дэвид Кристал (David Crystal 2003) отмечает, что большее разнообразие языков показывает и более сильную языковую экосистему территории. Применительно к нашему материалу это означает, что использование русского языка имеет не только практическую (передачи информации), но и экзистенциальную ценность – авторы объявлений и надписей на русском языке отождествляют себя с носителями русского языка.

В заключении можно предположить, что такое языковое разнообразие в публичных надписях, когда в частных объявлениях используется как русский, так и литовский язык, скорее всего, свойственно не только микрорайону Науйининкай. Возможно, аналогичную ситуацию можно будет зафиксировать и в других микрорайонах столицы. Для этого важно продолжать исследования лингвистического ландшафта как Вильнюса, так и других городов Литвы.

Выводы

Таким образом, можно говорить о том, что ЛЛ Тбилиси и Вильнюса имеет определенные сходства: 1) Результатами дерусификации в Грузии и Тбилиси стало отсутствие официальных надписей на русском языке. Дерусификация в Литве была проведена более решительно и

последовательно, поэтому там надписей на русском языке, сохранившихся с советских времен, мы не обнаружили. 2) Надписей на английском языке (как официальных, так и не официальных) больше в Тбилиси. Например, названия всех официальных учреждений обязательно дублируются на английском языке. В Литве преобладают надписи монопольные. 3) Русский язык более распространен в Тбилиси, чем в Вильнюсе. Однако и в Вильнюсе нельзя говорить о его полном отсутствии. Представители русскоязычного меньшинства «заявляют о себе» объявлениями на русском языке в пределах «своего» района (пример микрорайона Науининкай).

Таковы первые результаты сопоставительного исследования ЛЛ Грузии и Литвы, которые определили направления дальнейшего исследования. В будущем сопоставление может охватить ЛЛ центральных и периферийных районов крупных городов, туристических мест и столичного центра, места компактного проживания национальных меньшинств и т.д. Также исследование может быть продолжено в пространстве Интернета: исследование того, каким образом и на каких языках представляют себя официальные лица и официальные учреждения, а также коммерческие предприятия могло бы дать информацию об интернет-ЛЛ обеих стран.

Литература

- BACKHAUS, P., 2007. *Linguistic Landscapes. A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo*. Clevedon–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters Ltd.
- CRYSTAL, D. 2003. *English as a global language*. London: Cambridge University Press.
- LANDRY, R., BOURHIS, R., 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study. *Journal of language and Social Psychology*, 16 (1), 23–49.
- Linguistic Landscape 2015–2016*. An International Journal. John Bendjamine ed. London.
- SHOHAMY, E. 2009. Language policy as experiences. *Language Problems and Language Planning*, 33, 2, 185–189.

Alla Diomidova

Vilnius University, Lithuania

Joris Kazlauskas

Vilnius University, Lithuania

LINGUISTIC LANDSCAPE OF VILNIUS AND TBILISI

Summary

In this study we performed a comparative analysis of the linguistic landscape of two capitals of the former Soviet Union – Lithuania and Georgia – Vilnius and Tbilisi. The processes of globalization, which has interested linguists later than representatives of other sciences, is changing the conditions for the existence of languages and require their reflection in modern linguistics. The general features of the linguistic landscape of Vilnius and Tbilisi is an increased presence of English language in both formal and informal segments of linguistic landscape. In addition, both the capital in a certain way are forced to build a new relationship with the Russian language. Here are the greatest differences in linguistic landscape of Vilnius and Tbilisi: from complete absence of Russian in the official segment linguistic landscape to its fancy in informal segments of Vilnius and Tbilisi.

KEY WORDS: linguistic landscape, public signs, post-Soviet language policy, Vilnius, Tbilisi.

Ala Diomidova

Vilniaus universitetas, Lietuva

Joris Kazlauskas

Vilniaus universitetas, Lietuva

VILNIUS IR TBILISIS: KITAKALBIO LINGVISTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO YPATUMAI

Santrauka

Straipsnyje pateikiamas lyginamasis lingvistinio kraštovaizdžio tyrimas, atliktas dviejose postsovietinių šalių – Lietuvos ir Gruzijos – sostinėse Vilniuje ir Tbilisyje. Globalizacija, kurios poveikis kalbininkus sudomino vėliau, nei kitų mokslo šakų atstovus, keičia kalbų egzistavimo aplinkybes ir skatina nagrinėti jos poveikį kalbai. Nustatyti bendri lingvistinio kraštovaizdžio bruožai Vilniuje ir Tbilisyje – anglų kalbos dominavimas oficialiuose ir neoficialiuose užrašuose. Abiejose sostinėse taip pat pastebimas naujo santykio su rusų kalba formavimasis. Didžiausi skirtumai tarp lingvistinio kraštovaizdžio Vilniuje ir Tbilisyje – oficialiuose užrašuose Vilniuje rusų kalba nėra vartojama, Tbilisyje rusų kalba vartojama, tačiau tai nėra reglamentuota ir todėl kiek chaotiška.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lingvistinis kraštovaizdis, oficialūs užrašai, postsovietinė kalbinė politika, Vilnius, Tbilisis.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЗНАКИ МИКРОРАЙОНА НАУЙИНИКАЙ



Рис. 1



Рис. 2

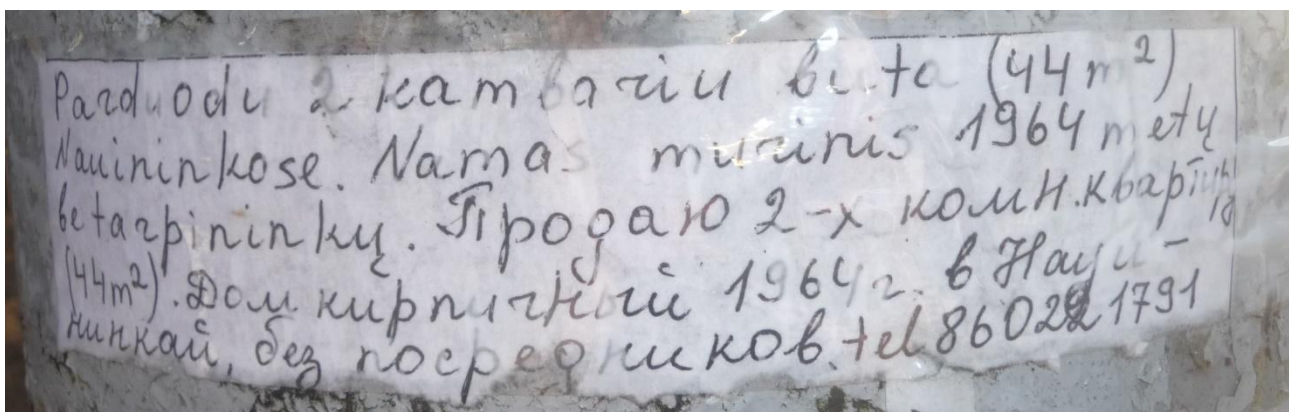


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

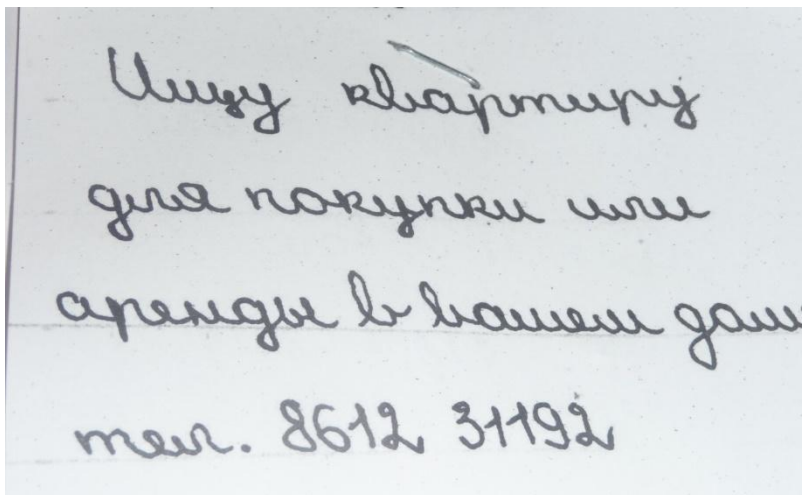


Рис. 6

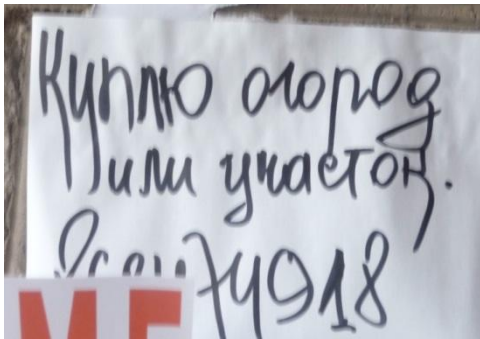


Рис. 7



Рис. 8

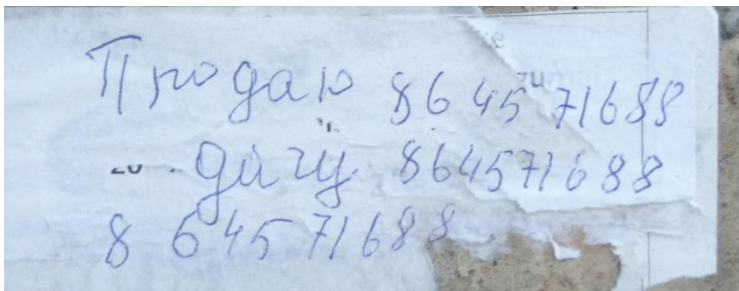
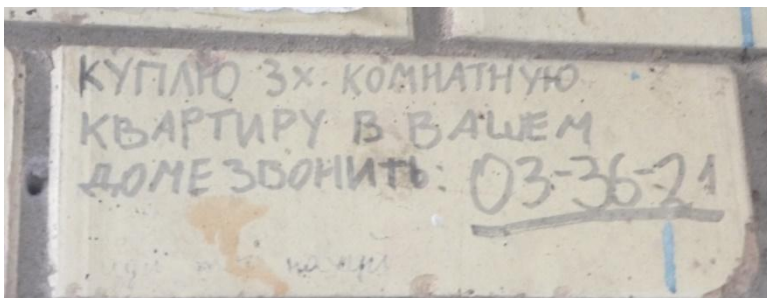


Рис. 9



Oleksandr Kapranov

University of Bergen, Norway

PO Box, Bergen, Norway

Email: Oleksandr.Kapranov@uib.no

Research interests: cognitive linguistics, psycholinguistics

CONCEPTUAL METAPHORS INVOLVING RENEWABLE ENERGY IN CORPORATE DISCOURSE BY BRITISH PETROLEUM AND THE ROYAL DUTCH SHELL

This article involves a qualitative study of corporate discourse by British Petroleum (further in the article abbreviated to BP) and the Royal Dutch Shell Group (further referred to as Shell) pertaining to the issue of renewable energy (referred to as 'renewables' in the article). The aim of the study is to identify how discourse involving renewables is framed by BP and Shell in their annual reports. This study employs cognitive linguistic methodology in order to elucidate the framing. The focal point of the framing identification within the tenets of cognitive linguistics involves conceptual metaphor as a means of structuring corporate discursive spaces of BP and Shell respectively. The hypothesis in the present study is based upon the assumption that both BP and Shell employ similar conceptual metaphors in framing the issue of renewables. The corpus of the annual reports by BP and Shell is comprised of the reports published within the period from 1 January 2011 until 1 April 2016. The corpus is analysed qualitatively for the presence of conceptual metaphors associated with renewables. Results of the data analysis reveal that BP frames its discourse concerning renewables by means of conceptual metaphors Renewables as Business, Renewables as a Means of Climate Change Mitigation, Renewables as a Commercial Science Project, Renewables as a Path, and Renewables as Investment. Shell frames the discourse about renewables via conceptual metaphors Renewables as Investment, Renewables as a Path, Renewables as a Means of Climate Change Mitigation, Renewables as Business, and Renewables as a Commercial Science Project.

KEY WORDS: *cognitive linguistics, conceptual metaphor, corporate discourse, renewable energy sources.*

1. Introduction

The issue of renewable energy (further in the article – renewables) is considered a key element in climate change mitigation, as well as in ecological and sustainable development (Kern *et al.* 2015: 344–350). International corporate and government actors, especially the EU member states, are in the process of deploying industrial scale renewables technology to tackle the issue of climate change (Batel, Devine-Wright 2015: 331). Whilst fossil fuels have been traditionally used geo-strategically in the industry, capital markets and in the economy (Kilinc-Ata 2016:87), renewable energy is regarded as a desirable feature of low carbon ‘green’ future (Strachan *et al.* 2015: 96). The desirability of renewables lies in their ecological friendliness, in contrast to fossil fuels and atomic energy, which are associated with significant accidents and environmental risks (Batel, Devine-Wright 2015). Additionally, renewables are deemed to play a substantial role in the reduction of dependence on oil, coal and natural gas (Pacesila *et al.* 2016: 157). In this regard, it should be noted that such corporate actors as BP and Shell emphasise that they aim at incorporating renewables into their routine practices. In particular, BP positions itself not only as a fossil fuels corporation, but rebrands its name as ‘BP – Beyond Petroleum’. A relatively recent focus on renewables in BP’s and Shell’s corporate activities is reflected in these corporations’ annual reports (further in the article referred to as ‘ARs’). However, to-date there are insufficient studies which elucidate corporate discourse involving renewables. Specifically, no linguistic research has been undertaken to elucidate BP’s and Shell’s corporate discourse pertaining to renewables from the vantage point of cognitive linguistics.

This article involves a qualitative study of BP’s and Shell’s discourse associated with renewables. The study focuses on the identification and juxtaposition of conceptual metaphors associated with renewables in these two corporations’ ARs published within the period of time from 1 January 2011 until 1 April 2016. The identification and subsequent analysis of conceptual metaphors associated with BP’s and Shell’s discourse on renewables is executed within the framework of cognitive linguistics. This article is structured as follows: first, an outline of previous discourse studies associated with renewables will be presented; second, a summary of previous research involving conceptual metaphors in corporate discourse will be given; third, the present qualitative analysis of conceptual metaphors in BP’s and Shell’s corporate discourse involving renewables will be presented and discussed.

1.1. Previous Studies on Discourse Associated with Renewables

Previous studies indicate that corporate discourse involving renewables has increased in volume due to the growing number of corporate disclosures and reports (Lauber, Jacobsson 2016). In particular, the increase in corporate communication associated with renewables is reported by the major fossil fuels corporations, e.g. by BP, Exxon, Dutch Royal Shell, Statoil, etc. (Gasbarro, Pinkse 2015; Haque *et al.* 2016). This increase can be accounted by the fact that fossil fuels corporations are under significant pressure from the investors, government agencies and the non-government organisations (NGOs) to disclose information regarding their environmental practices, and, specifically, their climate change-related activities and policies (Elefthiadis, Anagnostopoulou 2015: 781–782).

Corporate disclosures and voluntary reporting pertaining to the issues of sustainable development, environment, climate change and renewables have become an intrinsic part of the ARs by major actors on the fossil fuels market. For instance, subsections of the ARs by BP and Shell are dedicated exclusively to the issues of climate change, environment and renewables. It can be assumed that environmental and climate change reporting is a part of the corporate impression management strategy (Beattie, Dhanani 2008). Arguably, corporate reporting involving renewables is a facet of this strategy.

Assuming that a positive and ecologically-friendly corporate image appeals to the consumers, environmental as well as climate change disclosures allow fossil fuels corporations to construe a self-image of the climate change aware entities. The inclusion of the reporting about renewables into corporate ARs by the fossil fuels corporations reinforces their image of the ecologically aware corporations. Official corporate disclosures and voluntary reporting about renewables create a ‘green’ consumer-friendly context, which facilitates the fossil fuels corporation’s dissociation from its perception as a polluter of the environment (Talbot, Boiral 2014: 332).

Corporate disclosures and reports involving renewables have been extensively studied in linguistics (Curran 2012; Kapranov 2015), business communication (Batel, Devine-Wright 2015), and psychology (Pidgeon 2012). It should be noted that previous studies involving corporate discourse associated with renewables are characterised by multidisciplinary perspectives, drawing from anthropology, psychology, social sciences and political theories. Arguably, the cross-disciplinary framework adopted in the majority of previous studies can be accounted by ‘*multiple interdependent social and environmental causes, multiple incomplete or contested areas of scientific research, and multiple uncertain or unknown future impacts*’ (Pidgeon 2012: 87).

Multiple facets of corporate discourse involving renewables are reported by Curran (2012), who views renewable energy through the lenses of discourse narratives. The narratives are assumed to be embedded into the frames of feasibility, security, cost and employment (Curran 2012: 236). These frames form the basis of the energy plans involving renewables. Curran (2012: 243) indicates that the narratives about renewables are structured around reasonableness and common sense concerns, for instance job security, climate change, the maintenance of the lifestyle and the current level of energy consumption.

Whilst Curran (2012) emphasises the common-sense notions associated with renewables discourse, Batel and Devine-Wright (2015) have found that the public's at large discourse about renewables is polyphonic. Specifically, it is reported that simultaneously with the people's positive narratives associated with renewables, there is a negative perception of renewables and the infrastructure associated with renewables. The polyphony of the public's at large narratives concerning renewables involves communication, representational and identity processes which take into account cultural, institutional and contextual dimensions (Batel, Devine-Wright 2015: 320).

The polyphonic nature of non-specialist public discourse involving renewables is studied in detail by Devine-Wright (2012), who posits that people's discourse about renewables is framed by socio-demographic characteristics, degree of awareness and understanding, political beliefs, environmental beliefs and concerns, place attachment, perceived fairness and levels of trust. However, other variables have been found to influence public discourse associated with renewables. These variables involve institutional factors (e.g. ownership, the distribution of benefits, etc.), as well as spatial factors, represented by regional and local context, and spatial proximity to the renewables infrastructure (Devine-Wright 2012).

1.2. Previous Research Involving Conceptual Metaphors Associated with Renewables

Whilst metaphor in general appears to be extensively employed in corporate discourse, there is still insufficient research involving the role of metaphor as a conceptual mechanism in framing corporate discourse about renewables. In this regard, it seems pertinent to elaborate upon two notions, namely i) what is considered a conceptual metaphor and ii) what is understood under 'framing'.

In cognitive linguistics, metaphors are regarded as a conceptual mechanism of cognition rather than merely a stylistic element of ornate imagery (Lakoff, Johnson 1980). As posited by Atanasova and Koteyko (2015: 2), metaphors in cognitive paradigm '*allow complex subjects to be understood*

through concrete phenomena and everyday experiences by linking two conceptual domains'. Conceptual metaphors facilitate the comprehension and communication of complex phenomena by referencing to the frameworks of understanding that are mutually comprehensible (Kövecses 2013). The facilitation is enabled by projecting knowledge about the known, familiar domains of experience onto an unknown, more abstract domain (Renzi *et al.* 2016: 4). This process is often referred to as a metaphoric cross-domain mapping, grounded in the perceived structural analogies between two different domains. Cornelissen (2003) posits that conceptual metaphors are the end result of the mapping between two separate and apparently dissimilar domains, which are brought into cognitive and emotional association.

Conceptual metaphors are deemed a critical element in framing. Framing is often operationalised as a dynamic process of opinion formation, which defines and constructs a specific issue from a particular perspective (Entman 1993; Nerlich, Jaspal 2013). Conceptual metaphors in discourse function as frames to enable the interpretation of an event or a narrative, and the foregrounding of a particular element in a positive or a negative manner (Craig, Amernic 2004: 826). Framing involves synergies and conflicts of multiple actors under multiple realities (Keenan *et al.* 2016: 263). Conceptual metaphors in framing set the agenda of the narrative and, concurrently, serve as an anchoring mechanism which structures the frame. For instance, in political discourse it is typical to frame the EU enlargement discourse via the conceptual metaphor 'EU as a Family' (Musolff 2015). This metaphor foregrounds the narrative of an EU-candidate country, which is framed within the parameters of the EU as a parent, a typically older family member who awaits and welcomes the accessions of another European country into the family lap.

Whilst conceptual metaphors in political discourse are widely studied, there are currently a few research papers addressing the issue of renewables through the lenses of conceptual metaphor. One of the recent studies of conceptual metaphors in renewables discourse is a qualitative diachronic investigation of political discourse by Ukrainian Prime Ministers involving renewables (Kapranov 2015). The results of the study indicate that Ukrainian Prime Ministers' discourse on renewables involves the following conceptual metaphors: *Renewables as Money*, *Renewables as Independence*, *Renewables as Ukraine's European Choice*, *Renewables as a Path to the EU* and *Renewables as Survival* respectively. These findings suggest that renewables are critically important in reducing Ukraine's strategic import of traditional energy supplies, such as natural gas. It is inferred from the Ukrainian Prime Ministers' political discourse that renewables are subject to a substantial monetary

value. Additionally, it has been found that renewables are associated with energy efficiency and ecological standards applied by the EU to the potential candidate countries. However, data in Kapranov (2015) indicate that the monetary, ecological and EU-related values of renewables appear to be irrelevant in the context of a military conflict.

2. The Present Qualitative Analysis of Conceptual Metaphors in Corporate Discourse Involving Renewables

As previously mentioned, there is insufficient research involving conceptual metaphors in corporate discourse about renewables. The present study seeks to generate new knowledge about this issue by examining corporate ARs by BP and Shell in relation to renewables. To do so, corporate ARs by BP and Shell published within the period from 1 January 2011 until 1 April 2016 have been analysed and further described in this article.

2.1. Hypothesis

The hypothesis is based upon a contention (Livesey 2002) that corporate discourse by BP and Shell is characterised by similar conceptual metaphors associated with renewables. Following the hypothesis, specific research aim of this study involves the identification of conceptual metaphors associated with renewables in corporate ARs by BP and Shell in order to elucidate whether or not these metaphors are qualitatively similar or different.

2.2. Materials

The corpus of the study comprised BP's and Shell's ARs available online at the corporations' official websites www.bp.com and www.shell.com. The time frame of the analysis is within the period from 1 January 2011 until 1 April 2016. Both BP and Shell publish their ARs in February and/or March each calendar year. Hence, the ARs from the following calendar years have been analysed in the present study: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015.

2.3. Procedure and Methods

ARs by BP and Shell have been searched electronically for the key words '*renewables*', '*renewable energy*', '*solar power*', '*wind power*', '*biofuel*', '*alternative energy*'. Then, the corpus has been examined manually for the presence of conceptual metaphors. Metaphors have been identified according to the methodology provided by Musolff (2015), where conceptual metaphors are regarded as cross-domain mappings of conceptual elements between two unrelated domains of experience.

2.4. Results and Discussion

The results of the qualitative analysis have been summarised in Table 1 below.

Table 1. Conceptual metaphors in BP's and Shell's ARs 2010–2015

Year	Conceptual Metaphor	Corporate ARs
2010	<i>Renewables as a Commercial Science Project</i> <i>Renewables as Business</i> <i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i> <i>Renewables as Investment</i> <i>Renewables as a Path</i>	BP, Shell BP Shell Shell BP, Shell
2011	<i>Renewables as a Path</i> <i>Renewables as Investment</i> <i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i> <i>Renewables as a Commercial Science Project</i>	BP, Shell BP, Shell Shell Shell
2012	<i>Renewables as Investment</i> <i>Renewables as a Commercial Science Project</i> <i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i> <i>Renewables as Business</i>	BP, Shell BP, Shell Shell Shell
2013	<i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i> <i>Renewables as Business</i> <i>Renewables as Investment</i> <i>Renewables as a Path</i>	BP, Shell BP, Shell Shell BP, Shell
2014	<i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i> <i>Renewables as Business</i> <i>Renewables as Investment</i>	Shell Shell Shell
2015	<i>Renewables as Business</i> <i>Renewables as Investment</i> <i>Renewables as a Means of Climate Change Mitigation</i>	BP, Shell Shell Shell

As seen from the data presented in Table 1, BP frames its discourse concerning renewables by means of the following conceptual metaphors: *Renewables as Business*, *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation*, *Renewables as a Commercial Science Project*, *Renewables as a Path*, and *Renewables as Investment*. Interestingly, there is no direct reference to renewables in BP's AR dating to 2014. Arguably, the absence of the BP's explicit discourse associated with renewables in the 2014 AR can be accounted by the corporation's focus on safety operations in the wake of the Deepwater Horizon oil spill, rather than other issues, such as climate change and renewables.

Data analysis indicates that Shell frames its discourse about renewables via conceptual metaphors *Renewables as a Path*, *Renewables as Investment*, *Renewables as a Means of Climate*

Change Mitigation, Renewables as Business, and Renewables as a Commercial Science Project. The juxtaposition of conceptual metaphors employed by these two corporations in the framing of their discourse about renewables reveals that the framing is executed by qualitatively similar metaphors. Specifically, both BP and Shell frame their renewables discourse by such identical conceptual metaphors as *Renewables as a Path, Renewables as a Means of Climate Change Mitigation, Renewables as Business, Renewables as Investment, and Renewables as a Commercial Science Project.* As evident from the data, BP's framing of its discourse involving renewables exhibits a tendency for variation over time. However, whilst conceptual metaphors associated with renewables tend to vary over time, both BP and Shell exhibit a strong tendency to frame their corporate discourse involving renewables via a set of qualitatively identical metaphors. These identical conceptual metaphors are discussed in detail in the subsections 2.4.1.– 2.4.5. below.

2.4.1. Conceptual Metaphor *Renewables as a Path*

The conceptual metaphor *Renewables as a Path* is given rise by a cross-domain mapping from the domain *Path* onto the domain *Renewables*. Conceptual elements of the domain *Path*, such as concepts STEPS, WAY, etc. are mapped onto *Renewables*, thus instantiating the conceptual metaphor *Renewables as a Path*. This conceptual metaphor has been identified in ARs by BP (2011) and Shell (2010), as seen in Excerpts 1–2 below:

- (1) BP is **taking a number of practical steps**, including investing in lower-carbon energy products such as **biofuels and wind**... (BP 2011)
- (2) We see **biofuels** as the most practical and commercially viable **way to reduce CO2 emissions** from transport fuels over the coming years. (Shell 2010)

It should be noted that the *Path* metaphor is employed by BP in conjunction with the *Investment* metaphor, which is amply used by both BP and Shell (see Table 1). Specifically, BP frames its discourse about renewables BP as '*a number of practical steps, including investing in lower-carbon energy products ...* (BP 2011). In contrast with BP, Shell embeds its discourse about renewables into the practical way to reduce the emissions of the green-house gasses. Additionally, in (2) Shell uses the conceptual metaphor *Renewables as a Path* concurrently with another conceptual metaphor, namely *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation*.

2.4.2. Conceptual Metaphor *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation*

The conceptual metaphor *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation* is instantiated by a cross-domain mapping from the domain *Climate Change* onto the domain *Renewables*. Echoing

Martinez Alonso *et al.* (2016), it can be assumed that both BP and Shell share a consensus involving the threat posed by climate change. Hence, these two corporations emphasise their strategies of using renewables as a means of addressing the issue of climate change, as evident from Excerpts 3–4 below:

(3) **Climate change** represents a **significant challenge** for society and the energy industry, including BP. **In response to the challenges and opportunities**, BP is ... investing in lower-carbon energy products. (BP 2013)

(4) Our main **contributions to reducing CO2 emissions** are in four areas: supplying more natural gas; **supplying more biofuels**... (Shell 2013)

The above-mentioned findings can be taken to indicate that both BP and Shell regard renewables as a means of climate change mitigation. The consistency of use of the conceptual metaphor *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation* by BP and Shell is suggestive of the importance of renewables in the efforts to offset and mitigate the negative consequences of climate change by these two corporations. Interestingly, BP frames the conceptual metaphor *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation* together with the *Investment* metaphor, e.g. ‘*BP is ... investing in lower-carbon energy products*’ (BP 2013).

2.4.3. Conceptual Metaphor *Renewables as Investment*

The cross-domain mapping from the domain *Investment* onto the domain *Renewables* instantiates the conceptual metaphor *Renewables as Investment*. The framing of renewables via this conceptual metaphor constitutes a recurrent feature in the ARs by both BP and Shell, as illustrated by Excerpts 5-6:

(5) BP **is ... investing** in lower-carbon energy products such as **biofuels and wind**, and ventures focused on sustainable energy solutions. (BP 2012)

(6) We **continue to invest** in developing **more advanced biofuels** for the future (Shell 2014)

As can be observed from (5) and (6), BP and Shell regard their investments into renewables as an on-going process, e.g. ‘*BP is ... investing...*’ (BP, 2012) and ‘*We continue to invest...*’ (Shell 2014). Whilst BP emphasises the notion of sustainability in its investments into renewables, Shell underscores the far-reaching implications of renewables for the corporate future, e.g. ‘*...invest in developing more advanced biofuels for the future.*’ (Shell 2014). Concurrently with the conceptual metaphor *Renewables as Investment*, in (6) Shell alludes to another conceptual metaphor, namely *Renewables as a Commercial Science Project*. It is implied in Shell’s discourse that the investment into renewables takes a variety of forms, one of which is the investment into the development of advanced biofuels.

2.4.4. Conceptual Metaphor *Renewables as a Commercial Science Project*

Data analysis indicates that concurrently with the conceptual metaphor *Renewables as Investment*, both BP and Shell frame their discourse associated with renewables via the metaphor *Renewables as a Commercial Science Project*. This conceptual metaphor is illustrated by Excerpts (7) and (8) below:

(7) BP has **significant, long-term research programmes with major universities and research institutions** around the world, exploring areas from energy bioscience and conversion technology to carbon mitigation and nanotechnology in solar power. ... the investment in **foundational research platforms** has started to generate innovations with **direct commercial relevance**. The first of these are being adopted by the **biofuels** business into **commercial practice**. (BP 2010)

(8) We are also investing in **research to develop and commercialise advanced biofuels**. (Shell 2011)

In (7) and (8), conceptual elements from the domain *Science*, for instance, RESEARCH, UNIVERSITY, etc., are mapped onto the domain *Renewables*, thus giving rise to the metaphor *Renewables as a Commercial Science Project*. However, it should be observed that both BP and Shell imply a commercial side of science, as evident from these quotations: i) ‘... *the investment in foundational research platforms has started to generate innovations with direct commercial relevance*.’ (BP 2010); ii) ‘...*investing in research to develop and commercialise advanced biofuels*.’ (Shell 2011). Obviously, BP and Shell as international profit-driven corporate actors express their focus on profit in their discourse associated with renewables. Presumably, these corporations view renewables as having a concrete commercial value.

2.4.5. Conceptual Metaphor *Renewables as business*

In addition to the investment into scientific research projects concerning renewables, another shared aspect of the framing of renewables by BP and Shell involves the focus on business. The framing of renewables as a business and profit-making activity is represented by the conceptual metaphor *Renewables as Business*. This metaphor is instantiated by a cross-domain mapping from the domain *Business* onto the domain *Renewables*. As seen from the Excerpts (9) and (10) below, both BP and Shell foreground such conceptual elements in the domain *Business*, as PRODUCTION, PRODUCE, PRODUCER which are mapped onto the domain *Renewables*:

(9) BP has the largest operated **renewables business** among our oil and gas peers. Our activities are focused on biofuels and onshore wind. BP is working **to produce** biofuels that are low cost, low carbon, scalable and **competitive** without subsidies. (BP 2015)

(10) We are one of the **world’s largest biofuels producers**. ... We are developing our own capabilities **to produce** sustainable biofuels components. (Shell 2013)

Conclusions

This article involves a qualitative study of corporate discourse by BP and Shell pertaining to the issue of renewables. The study seeks to identify how discourse associated with renewables is framed by BP and Shell in their ARs by means of cognitive linguistic methodology. The study focuses on conceptual metaphors as a means of framing corporate discursive spaces of BP and Shell, respectively. The hypothesis in the present study is based upon the assumption that both BP and Shell employ similar conceptual metaphors in framing the issue of renewables.

In the present study, the corpus of the ARs by BP and Shell is comprised of the reports published within the period from 1 January 2011 until 1 April 2016. The corpus is analysed qualitatively for the presence of conceptual metaphors associated with renewables. The results of the qualitative analysis reveal that BP frames its discourse concerning renewables by means of conceptual metaphors *Renewables as Business*, *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation*, *Renewables as a Commercial Science Project*, *Renewables as a Path*, and *Renewables as Investment*. Shell frames the discourse about renewables via conceptual metaphors *Renewables as Investment*, *Renewables as a Path*, *Renewables as a Means of Climate Change Mitigation*, *Renewables as Business*, and *Renewables as a Commercial Science Project*. It is concluded from the data analysis that BP and Shell frame their corporate discourse involving renewable energy sources via qualitatively identical conceptual metaphors.

Whilst the distribution of these metaphors varies over time, the qualitative analysis of the metaphors indicates they are identical between the two corporations. Additionally, the data analysis suggests that both BP and Shell seem to embed one conceptual metaphor into another in their framing of the issue of renewables. For instance, the *Investment* metaphor has been found to be concurrent with *Renewables as a Commercial Science Project* in ARs by BP and Shell, respectively. These findings are suggestive of a common discursive space construed by these two corporate actors in relation to renewables. Judging from the data, this discursive space is framed by qualitative identical conceptual metaphors.

Acknowledgements

The author of this article wishes to acknowledge the funding by the Norwegian Research Council and University of Bergen within the framework of the LINGCLIM project.

Sources

www.bp.com

www.shell.com

References

- ATANASOVA, D., KOTEYKO, N., 2015. Metaphors in Guardian Online and Mail Online Opinion-page Content on Climate Change: War, Religion, and Politics. *Environmental Communication*, 1–17.
- BATEL, S., DEVINE-WRIGHT, P., 2015. Towards a better understanding of people's responses to renewable energy technologies: Insights from Social Representations Theory. *Public Understanding of Science*, 24 (3), 311–325.
- BEATTIE, V., DHANANI, A., 2008. Investigating presentational change in U. K. annual reports. *Journal of Business Communication*, 45 (2), 181–222.
- COFFEY, B., 2016. Unpacking the politics of natural capital and economic metaphors in environmental policy discourse. *Environmental Politics*, 25 (2), 203–222.
- CORNELISSEN, J. P., 2003. Metaphor as a Method in the Domain of Marketing. *Psychology and Marketing*, 20 (3), 209–225.
- CRAIG, R. J., AMERNIC, J. H., 2004. Enron discourse: the rhetoric of a resilient capitalism. *Critical Perspectives on Accounting*, 15(6), 813–852.
- CURRAN, G., 2012. Contested energy futures: shaping renewable energy narratives in Australia. *Global Environmental Change*, 22 (1), 236–244.
- DEVINE-WRIGHT, P., 2007. Reconsidering public attitudes and public acceptance of renewable energy technologies: a critical review. Available from: http://www.sed.manchester.ac.uk/resarch/beyond_nimbyism/ (1.08. 2016).
- ELEFTHERIADIS, I. M., ANAGNOSTOPOULOU, E., 2015. Relationship between Corporate Climate Change Disclosures and Firm Factors. *Business Strategy and the Environment*, 24, 780–789.
- ENTMAN, R. M., 1993. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43 (4), 51–58.
- GASBARRO, F., PINKSE, J., 2015. Corporate Adaptation Behaviour to Deal with Climate Change: The Influence of Firm-Specific Interpretations of Physical Climate Impacts. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 2–30.

- HAQUE, S., DEEGAN, C., INGLIS, R., 2016. Demand for, and impediments to, the disclosure of information about climate change-related corporate governance practices. *Accounting and Business Research*, 1–45.
- JASPAL, R., NERLICH, B., 2014. Fracking in the UK press: Threat dynamics in an unfolding debate. *Public Understanding of Science*, 23 (3), 348–363.
- KAPRANOV, O., 2015. Conceptual Metaphors in Ukrainian Prime Ministers' Discourse Involving Renewables. *Topics in Linguistics*, 16 (1), 4–16.
- KEENAN, J., KING, D. A., WILLIS, D., 2016. Understanding Conceptual Climate Change Meanings and Preferences of Multi-Actor Professional Leadership in New York. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18 (3), 261–285.
- KERN, F., VERHEES, B., RAVEN, R., SMITH, A., 2015. Empowering sustainable niches: Comparing UK and Dutch offshore wind developments. *Technological Forecasting & Social Change*, 100, 344–355.
- KILINC-ATA, N., 2016. The evaluation of renewable energy policies across EU countries and US states: An econometric approach. *Energy for Sustainable Development*, 31, 83–90.
- KÖVECSES, Z., 2013. The Metaphor-Metonymy Relationship: Correlation Metaphors Are Based on Metonymy. *Metaphor and Symbol*, 28, 75–88.
- LAKOFF, G., JOHNSON, M., 1980. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- LAUBER, V., JACOBSSON, S., 2016. *The Environmental Innovations and Societal Transitions*, 18, 147–163.
- LIVESEY, S., 2002. Global Warming Wars: Rhetorical and Discourse Analytic Approaches to ExxonMobil's Corporate Public Discourse. *The Journal of Business Communication*, 39 (1), 117–148.
- MARTINEZ ALONSO, P., HEWITT, R., PACHECO, J. D., BERMEJO, L.R., JIMENEZ, V. H., GUILLEN, J. V., BRESSER, H., de BROER, C., 2016. Losing the roadmap: Renewable energy paralysis in Spain and its implications for the EU low carbon economy. *Renewable Energy*, 89, 680–694.
- MUSOLFF, A., 2015. Metaphor Interpretation and Cultural Linguistics. *Language and Semiotic Studies*, 1 (3), 35–51.
- NERLICH, B., JASPAL, R., 2013. UK media representations of carbon capture and storage: actors, frames and metaphors. *Metaphor and the Social World*, 3 (1), 35–53.

- PACESILA, M., BURCEA, S. G., COLESCA, S. E., 2016. Analysis of renewable energies in European Union. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 156–170.
- PIDGEON, N., 2012. Public understanding of, and attitude to, climate change: UK and international perspectives and policy. *Climate Policy*, 12, 85–106.
- RENZI, B. G., COTTON, M., NAPOLITANO, G., BARKEMEYER, R., 2016. Rebirth, devastation and sickness: analyzing the role of metaphor in media discourses of nuclear power. *Environmental Communication*, 1–17.
- STRAHAN, P. A., COWELL, R., ELLIS, G., SHERRY-BRENNAN, F., TOKE, D., 2015. Promoting Community Renewable Energy in a Corporate Energy World. *Sustainable Development*, 23, 96–109.
- TALBOT, D., BOIRAL, O., 2014. Strategies for Climate Change and Impression Management: A Case Study among Canada's Large Industrial Emitters. *Journal of Business Ethics*, 132, 329–346.

Oleksandr Kapranov

Bergeno universitetas, Norvegija

KONEPTUALIŲJŲ METAFORŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSINAUJINANČIAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS, NAUDOJIMAS KOMPANIJŲ *BRITISH PETROLEUM* IR *ROYAL DUTCH SHELL* KOMERCINIUOSE DISKURSUOSE

Santrauka

Šiame straipsnyje pateikiamas kokybinis kompanijų *British Petroleum* (toliau *BP*) ir *Royal Dutch Shell Group* (toliau *Shell*) komercinių diskursų, kuriuose naudojama atsinaujinančių energijos šaltinių tema, tyrimas. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, kaip atsinaujinančių energijos šaltinių tema yra pateikiama *BP* ir *Shell* kasmetinėse ataskaitose. Taikyta kognityvinės lingvistikos metodika. Laikantis kognityvinės lingvistikos principų, tyrime buvo siekiama nustatyti, kaip kurdamos komercinį diskursą, *BP* ir *Shell* naudoja konceptualiąsias metaforas. Iškelta hipotezė, kad abi kompanijos naudoja panašias konceptualiąsias metaforas, susijusias su atsinaujinančių energijos šaltinių tema. Tyrimo medžiaga – abiejų kompanijų ataskaitos nuo 2011-01-01 iki 2016-04-01. Tyrimo metu buvo identifikuotos konceptualiosios metaforos, susijusios su atsinaujinančiais energijos ištekliais. Išsiaiškinta, kad *BP* kompanijos komerciniame diskurse naudoja šias konceptualiąsias metaforas, susijusias su atsinaujinančiais energijos šaltiniais: „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai verslas“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai priemonė, stabdanti klimato pokyčius“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai komercinis mokslo projektas“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai kelias“ ir „atsinaujinantys

energijos šaltiniai – tai investicija“. *Shell* naudoja šias konceptualiąsias metaforas: „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai investicija“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai kelias“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai priemonė, stabdanti klimato pokyčius“, „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai verslas“ ir „atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai komercinis mokslo projektas“.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kognityvinė lingvistika, konceptualioji metafora, atsinaujinantys energijos išteklių.

Victoriia Katerniuk

Borys Grinchenko Kyiv University

Vul. Zhovtneva 28, kv.8, Vishneve 08132, Ukraine

E-mail: v.katerniuk@kubg.edu.ua

Research interests: onomastics, names, branding

RESTAURANT NAMES IN LONDON, BERLIN, AND KYIV: A COMPARATIVE ONOMASTIC RESEARCH

Creating a name which is attractive for customers from different cultures has become one of the main factors of successful business at every level – from small next door cafes to big international chains. Restaurant names in London, Berlin, and Kyiv are analysed to find out how globalization has influenced the onomastic landscape in the three multicultural cities belonging to different cultural areas. To investigate the problem, we have applied an interdisciplinary approach including general linguistic and onomastic methodology. We have studied several thousand names in three cities, which gave us an opportunity to describe semantic characteristics of restaurant names in London, Berlin, and Kyiv. Such characteristics appeared to be common for commercial names originating from different languages since such proper names are derived not only from English and German, but also from Spanish, Italian, French, Portuguese, Japanese, and other languages.

KEY WORDS: commercial name, restaurant name, secondary nomination, onimisation, transonimisation.

The system of business names as a subsystem of any national lexicon is one of the most attractive materials for realisation and application of such a promising kind of modern linguistics as typological studies. Commercial names more and more often become the object of modern linguists' studies. Such problems as origin, communicative status, structural and semantic models of commercial names have been discussed and described to some extent, but there has been no complex study to compare and summarize this linguistic phenomenon in different languages.

The onomastic system of any language is in constant development: at all historic periods, new objects of reality appear demanding new names while other objects disappear leaving behind their names. This trend is easily observed in commercial names. The 20th and 21st centuries are characterized by active business development in different spheres of economy which led to a

considerable increase in the number of names that became a fruitful source of material for linguistic studies.

Modern onomastics is characterized by analysis of different names in areal and typological, derivational, functional, and stylistic aspects (Катерньюк 2010: 3). But most scientists study one language material, usually examining regional names. Results of such research cannot give general understanding of this phenomenon. That is why we think that studying commercial names in different languages will give us an opportunity to describe this linguistic fact fully to find out its peculiarities and common characteristics for the studied language, which explains the aim of our research. The studied material contains restaurant names from London (15,733 units), Berlin (6,576 units) and Kiyv (1,500 units). All the names were found on tripadvisor.com. Among the material there are names originating from English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Russian, Ukrainian, Georgian, and other languages. The aim of the research is to find out general tendencies in creating commercial names for economic activity. It means we need to define what a commercial name is, describe what a nomination means, to work out how any commercial name can originate, and to group the material according to its semantic and motivational basis.

Commercial names as any other names are used to identify the object among other objects, that is to make it individual. Commercial names as secondary nomination exist in most onomastic systems. They make a considerable part of onomastic system in any language owing both to their nominal function and number.

As many other urban names, restaurant names belong to secondary nomination type because it is usually a case of using already existing names to identify another object. According to Gak (Гак 1998: 358), such type of nomination can also be called non-direct as far as a word which is used as a name obtains certain social meaning not connected with the original nominative meaning of the word and depending on conditions of communication.

In the case of secondary nomination, dependence between the meaning of the word, the situation when it is used as a name, and social relations of communicators becomes the thing of primary importance (Суперанская 1978). And this linguistic case is observed when restaurant names are used in speech. Thus we see that commercial names can be an ideal example of secondary nomination. Moreover, the examined restaurant names are in many cases determined by the culture of the country where they are created or by the culture of the name creator which can be reflected in any type of names (Wierzbicka 1992).

Like other names, restaurant names are created in three ways (as the results of our research show): 1) when a general name becomes a commercial one, 2) when another name transfers to a commercial one, 3) when both general and proper name transfer to a commercial name, creating a two- or three-component restaurant name which very often can be in the form of a free-word group (Подольская 1990). All three ways of creation are present among London, Berlin, and Kyiv restaurant names.

The first way of creation is a very simple linguistic phenomenon when we see a transfer from unlimited number of denoted objects to a unique one. N. Podolskaya, who suggested and described many onomastic terms, calls this process onimisation of an appellative (Подольская 1990). We would like to draw attention to the fact that appellative is not necessarily a name but any word or even a word combination which can become a name. Among the material we have found the following examples of various appellatives: *Adobo, Iskele, Origem, The Porch, The Diner, The Railway, Longhorn, Wildwood, Wasabi* – names originated from nouns; *The Old Swan, Tortilla's Home, Boat House, Eastern Cuisine, Avenue Bar & Lounge, White Horse, Bear and Wolf Cafe, 8 Treasures, Ohota Na Ovets* – names originated from free word groups; *Itsu* – a name originated from Japanese question word “when”; *Oh My Cod!* – a name originated from an exclamation with pun; *Bud'mo!* – one more name originated from an exclamation; *Watch Me* – a name originated from an order.

Onimisation of an appellative is the oldest way to create any name. Becoming a name means that this word can be transformed further into other onomastic forms usually through derivation. In case when a name starts to be used to identify another object, we have got the second way of name formation, transonimisation, a term suggested by Podolskaya (Подольская 1990).

When a commercial name originates from another name existing in speech, for instance personal names or toponyms, we have got a case of transonimisation, which is as productive as the first. In English, it is a popular way to form a name of a restaurant with the help of a possessive form denoting the owner of the business. Apart from this form, there are commercial names presented just by nominative or genitive cases, e.g. *Ed's, Hung's, Gail's, Nando's, Little Frankie's, Byron, George, Valentina, Mr. Wu, Boulestin*. Among restaurant names we can see a number of them originating from toponyms. There can be two types of them: 1) this way owners try to orientate visitors how to find the location, e.g. *No. 11 Pimlico Road* (addresses), *@15 Abchurch Lane*, 2) or such names can be used metaphorically to denote important cultural places from the countries the cuisines of which they represent, e.g. *Meghna* (an Indian female name and a Bangladesh river name). In addition to personal

and geographic names, there are restaurant names originating from other types of names, e.g. *Midori* (the name for a Japanese drink), *Shalamar* (the name of a musical band).

The third way to create a restaurant name is a combination of the first and the second ways. The peculiarity of such names is that they originate from both general and proper names uniting two main models of motivation. As a result, a new commercial name consists of two parts: an appellative and a proper one. The latter can belong to any other type of names such as, names of mythological heroes, stars, places, etc. After analysing the material, we make a conclusion that this way is really productive because a considerable number of restaurant names are created this way, e.g. *Tastes of the Nile*, *George's Fish and Souvlaki Bar*, *Bill's Restaurant*, *Oliver's Village Cafe*, *San Miguel's Restaurant and Tapas Bar*, *Ivy's Mess Hall*, *Rosa's Thai Cafe*, *Buckingham Balti House*, *Auberge – Waterloo*, *Bistro 1 – Beak Street*, *Prezzo New Oxford Street*, *La Boheme*, *New York Pizza*.

While describing the origin of restaurant names, we have mentioned such characteristics as motivation. In addition to the mechanisms of creating, it is necessary to consider the meaning that is motivation for this or that commercial name like for any other name (Суперанская 1979: 47). As commercial names are usually examples of secondary nomination, after analysing the material we could divide them into two groups: metaphorically and metonymically motivated. This gave us an opportunity to distinguish several lexical groups among restaurant names:

- 1) The most numerous group presents restaurant names originating from the names of dishes served in the restaurant. Such names are attributed to metonymic ones, e.g. *Spaghetti House*, *Charcoal Grill Kebab House*, *Ducksoup*, *Belash*, *Pizza Express*, *One Stop Caribbean Eat In And Take Away*, *Upper Crust Pizzeria* (this name also includes a pun as “upper crust” means “high society”), *Perfect Pizza*, *Pizza Hut*, *Briciole*, *Steak & Lobster*, *Steak & Co*, *Ye Olde Cheshire Cheese*, *Afghan Kitchen*, *Zeytoon*, *Entricot*, *Wine & Bread*, *Chocolate & Champagne*, *Pervak*, *Varenye*, *Gorchitsa*, *Galytskiy Shtrudel*, *Khinkali*.
- 2) The second big group of names includes commercial names originating from names of cutlery, plates and other kitchen dishes. This group is also metonymic, e.g. *The Big Plate Cafe*, *Blue Plate*, *Plateau*, *Saucer & Cup*, *Half Cup Cafe*, *Forks & Corks*, *Spoons Restaurant*, *Dish and Spoon*, *Kuvshin*, *Tarelka*, *Tri Vilki*.
- 3) Geographically motivated restaurant names can be both metaphoric and metonymic. When they denote a real address of a restaurant, we attribute them to a metonymic group, e.g. *Le Pont de la Tour*, *Berkeley Square*, *The Dock*, *The Ice Wharf*. In other cases, such names play the role of a

cultural sign reminding visitors about the country the cuisine of which is served at that restaurant. Sometimes these names are even mythological if the mythology of the country is well known for customers, e.g. *Venezia, Simply Paris, The Courtfield, Hampshire Bar And Restaurant, Beijing House, La Basque, Eastern Empire, Cafe Italia, Old Delhi, Lanes of London, Siam Garden, Buenos Aires, The Avalon, Wahaca, Babylon Tower, Taverna Olympia, Friedrichshain, Paris Saigon, La Paz, Restaurant Dubrovnik, Orly Cafe, Enghave Kaffe, Cafe Dyrehaven, Gronnegade, Lazio, Tsarske Selo, Stare Zaporizhzhia, Krym.*

- 4) The restaurant name can be motivated by a famous person connected to the culture of the country the cuisine of which is served in the restaurant. Such names we consider to be metaphoric, e.g. *Caravaggio, Lord Nelson, Shakespeare Tavern, The Pompidou Cafe, Villa Medici, Lumumba, Mademoiselle Choco, Taras, Onegin, Taras Bulba, Roksolana.*
- 5) Another group of names have their origin in general names of animals and plants which can be both real and fantastical. These names, to our mind, belong to metaphoric ones, e.g. *Le Chardon, The Bear Bar, Rose & Fennel, Thyme, Roots and Bulbs, Dancing Elephant, Golden Chicken, Happy Dragon, Spice & Herbs, Nautilus Fish, The Greedy Cow, The Three Greyhounds, Red Dragon, Das Pfeffer, Gruenfisch, Essenza, Wolf's Inn, Zitrone, Oliva, Geranium, Black Swan, Sobaki ta Chvosty, Imbir', Chorone Porosya.*
- 6) Among the material there are names motivated by art, music styles, music instruments, poetry, etc, e.g. *Hard Rock Café, Osteria dell'Arte, The Lyric Pub, Piano Bar and Restaurant, Jazz After Dark, Jazz Cafe, La Piano, Ristorante Pianoforte, Speiches Rock & Blueskneipe, Irish Harp Pub, ProRock Pub.*
- 7) Many names of restaurants have their origin from nouns denoting social ranks sometimes even with national specification or geographic belonging, e.g. *The Royal Bengal, Royal Court Bar and Kitchen, Earls Court Tavern, The Earl of Essex, Earl of Camden, Dukes Bar, Duke of York, The Archduke, The Duke and Duchess, Duke Thai, Duke of Wellington, Maharadscha, Baron, Red Baron, Koenig 19, Burgermeister, Myslyvets.* Such names are considered to be also metaphoric.
- 8) One more group of names originated from nouns denoting jewellery, e.g. *La Perla, New Diamond, Diamond Restaurant, 8 Treasures, Mini Perle, Perle, Schatz, Schatzkammer, Spaghetteria La Perla, Zoloty Dukat,* which we refer to metaphoric ones.

- 9) Some restaurant names come from the names of parts of the body. They can denote parts of both human and animal bodies. Some parts of animal bodies can be used to specify preferable dishes in the menu of the restaurant. Thus we add them to metonymic ones, but the case with human parts is different. These appeared in the medieval times to underline the geographic position and belonging to some trade union, as at that time representatives of one profession were usually located in one district of the town. However, such names very often have unclear motivation and they need more detailed research, e.g. *Bulls Head, The Kings Head, The Queens Head, Old Doctor Butler's Head, Paxton's Head, Elephants Head, The Old Nuns Head, Sacro Cuore, Herz & Niere Restaurant, Zur Haxe, Maven, Ruda Boroda*. Moreover, a special case is a group of names having in its structure the noun “arms”. Such restaurant names were found among London research material, e.g. *The Camberwell Arms, Coopers Arms, Pakenham Arms, The Devonshire Arms, Grand Junction Arms, The Carpenter's Arms, The Churchill Arms, Buckingham Arms, The Queens Arms, Warwick Arms, Sussex Arms*. In this case, the first meaning of a part of a body is lost and the second one appears – the meaning of a part of a “wing” of a building (Minton 1945). As we see in the examples, these names can denote either direction of the part of the building or the owner of this wing.
- 10) Theologically and mythologically motivated metaphoric restaurant names often, but not always, come from Eastern culture phenomena, e.g. *Jai Shri Krishna, Sree Krishna, Radha Krishna Bhavan, The Life Goddess, The Elephant God, Le Pain Quotidien, Trishna, Gottlob, Serene Bar, Krishna*.
- 11) Architecture can also be a source of metaphoric naming, e.g. *Golden Pagoda, Fantasia Palace, Dragon Palace, Mango Palace, The Kitchen@Tower, Maiden's Tower, Tower Bar and Grill, Schlosscafe, Under Uret, Kongens Hytte, Lipsky Osobnyak, Puzata Khata*.
- 12) In German, we have determined some metaphoric names originating from nouns denoting restaurant business workers, e.g. *Dicke Wirtin, Koch Berlin, Neugruens Koche, Thanh Koch, Zum Topfgucker*.
- 13) Some restaurant names can denote specific national things recognized by representatives of other cultures, e.g. *Sombrero, Kazatskaya Gramota*.
- 14) Different objects of interior can become names too. We attribute these to metonymic ones, e.g. *Gruene Lampe, Banka Bar, Tsiferblat, Dukhmyana Pich, Volshebnaya Lampa*.

15) Among restaurant names in Berlin and Kyiv we have distinguished metaphoric names originating from adjectives, e.g. *Uferlos, Zeitlos, Svetloe&Temnoe, Syto-Pyano*.

16) Restaurant names originating from their owners' names and real addresses can be considered metonymic, e.g. *Marney's, Le Pont de la Tour, Berkeley Square, Kenny's, Giovanni Rana, Joe Allen, The Dock, The Ice Wharf, Roberta Kocht, Rosa Lisbert, Traktir Na Basseynoy, Yaroslava, Solomia, Botsad*.

As the results of our research show, semantic groups of restaurant names coincide in different languages. In all groups, we have names which developed from English, Spanish, Italian, French, Ukrainian, and Russian. Eastern names are presented by transcribed lexemes which can belong to any of the above-mentioned groups. Many restaurant names in all three cities are presented by barbarisms – names which do not belong to the native language. Such names are usually of Italian or French origin. All these facts are signs of urban international onomastic landscape where cultural and linguistic borders disappear.

References

MINTON, A., 1945. Apartment-house Names. *American Speech*, 20 (3), 168–177.

WIERZBICKA, A., 1992. *Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configuration*. New York, Oxford: Oxford University Press.

ГАК, В., 1998. *Языковые преобразования*. Москва: Высшая школа.

ПОДОЛЬСКАЯ, Н., 1990. *Ономастическое словообразование (сопоставительный анализ на мат. восточнославянской онимии)*. Москва.

КАТЕРНЮК, В., 2010. *Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах*. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.

СУПЕРАНСКАЯ, А., 1978. *Имя нарицательное и собственное*. Москва: Наука.

СУПЕРАНСКАЯ, А., 1979. *Языковые и внеязыковые ассоциации собственных имен*. Москва: Наука.

Viktorija Katerniuk

Boriso Grinčenko vardo Kijevo universitetas, Ukraina

RESTORANŲ PAVADINIMAI LONDONE, BERLYNE IR KIJEVE: LYGINAMASIS

ONOMASTIKOS TYRIMAS

Santrauka

Sukurti pavadinimą, kuris būtų patrauklus įvairių kultūrų klientams, yra vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria visos sėkmingos verslo įmonės – nuo mažų kavinių iki didelių tarptautinių tinklų. Tirti restoranų pavadinimai Londone, Berlyne, Kijeve siekiant išsiaiškinti, kaip globalizacija paveikė onomastinį peizažą trijuose daugiakultūriuose miestuose, priklausančiuose skirtingiems kultūriniais arealams. Tyrime taikyta tarpdisciplininė tyrimo metodika: bendrosios lingvistikos ir onomastikos tyrimo metodai. Ištirti keli tūkstančiai pavadinimų, aprašytos Londono, Berlyno ir Kijevo restoranų pavadinimų semantinės charakteristikos. Išsiaiškinta, kad egzistuoja tam tikri bendri komercinių pavadinimų bruožai: restoranų pavadinimai dažnai yra kilę iš kitų kalbų, pavyzdžiui, anglų, vokiečių, ispanų, italų, prancūzų, portugalų, japonų ir kitų kalbų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: komerciniai pavadinimai, restoranų pavadinimai, antrinė nominacija, onimizacija, transonimizacija.

Раиса Козак

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

вул. Івана Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, Україна, 32300

E-mail: R-KOZAK@yandex.ru

Научные интересы: экспрессивный синтаксис, когнитивная лингвистика, дискурс

**ОБРАЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА ЭКСПРЕССИВ И ЕГО
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНСКОМ, БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ**

В статье подчеркнуто, что новый взгляд на экспрессивность в целом и экспрессивный синтаксис в частности, их изучение на основах когнитивной лингвистики обусловили в последние десятилетия активное развитие когнитивных исследований и, прежде всего, разработки теории концепта. Повышенный интерес к синтаксическим концептам за незначительный отрезок времени от момента их выделения не позволил всесторонне изучить все вопросы образования, функционирования, объективации терминов синтаксический концепт, концепт экспрессив, используемых в работе.

Исследование экспрессивов-обращений позволяет презентацию глубинных механизмов моделирования синтаксически репрезентируемых концептов и в целом динамику речемыслительных процессов через языковые образы-концепты. Языковой образ-концепт обращение рассматривается как фрагмент целостной языковой картины мира.

Акцент сделан на фактах, свидетельствующих о том, что на протяжении многих столетий украинский, белорусский и русский речевые этикететы не были лишены инокультурных выявлений, поэтому следует с пониманием относиться ко всему, что вошло в национальные системы речевого этикета с других языков и не противоречит традициям. Правильное и уместное использование этикетных формул обращения свидетельствует о воспитании, вежливости и высокой культуре говорящего либо об обратном.

Автор рассматривает культуру речи как составную общей культуры человека, речевой этикет справедливо считает культурным лицом этноса, воплощающем в украинском, белорусском и русском языках наиболее типичные черты речевого поведения людей в разнообразных жизненных ситуациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *экспрессивный синтаксис, синтаксический концепт, концепт экспрессив, концепт обращение, речевое поведение, национально-культурная специфика.*

Когнитивный подход к изучению языка, распространившийся на рубеже двух веков (XX и XXI) является необходимым и в сопоставительной славянской синтактологии. Синтаксические структуры имеют свои означаемые – синтаксические концепты, без которых не могут существовать семантические пространства языков.

Научно интересным в этой связи считаем исследование сущности национальной специфики экспрессивных синтаксических конструкций украинского, белорусского и русского языков, учитывая, что происхождение этих славянских народов «и их языков (украинского, русского и белорусского) интересовало много поколений исследователей. На каждом историческом этапе ученые толковали эти проблемы по-разному, в зависимости от имеющегося у них материала, идеологических позиций исследователей, господствующей в то время политической конъюнктуры и т.д.» (Півторак 2001: 3). И сегодня нет единого мнения по этой проблеме, а значит есть темы, требующие пристального изучения и описания.

В исследовании мы руководствуемся тем, что «новейшие концепции славянского генеалогического и типологического родства славянских языков, объединение этнологических и грамматических параметров дало возможность по-новому освещать проблему восточнославянского языкового родства» (Гуйванюк 2009: 169). А, выбирая языки для сопоставительного анализа (украинский, белорусский, русский), исходили из того, что при установлении языковой близости украинского языка, необходимо, – подчеркивал А. Царук, – «обращаться, прежде всего, не к русскому, а хотя бы к белорусскому, потом польскому, чешскому, сербо-хорватскому, верхнелужицкому, словенскому и др. языкам. <...> Признание живого древнерусского языка не только вносит ненужную путаницу в глотогенез украинского, русского и белорусского языков, но и не создает предпосылок для исследования эволюции других славянских языков» (Царук 1998: 285).

При выборе проблемы исследования мы не забывали и о том, что, «несмотря на определенные успехи в изучении синтаксиса каждого из славянских языков, сопоставительная славянская синтактология остается в настоящее время наименее разработанной областью языкознания. Поэтому одной из актуальных задач этой науки по-прежнему является конфронтационный анализ синтаксических явлений, открывающий новые возможности более глубокого познания синтаксической системы каждого из современных славянских языков» (Рылов 2010: 697). Более того, нет сопоставительного описания экспрессивного синтаксиса

славянских языков, не исследованы синтаксические концепты, без которых не могут существовать семантические пространства языков.

Поэтому одной из актуальных задач для нас является конфронтационный анализ синтаксических явлений, открывающий новые возможности более глубокого познания синтаксической системы каждого из современных славянских языков, что мы частично и делаем в нашем исследовании, цель которого – анализ того, как экспрессивные синтаксические конструкции – этикетные обращения (звертанья (укр.), зваротак (белор.)) – в коммуникативном акте украинца, белоруса и русского отображают их национальную специфику и ценности говорящего как носителя определенной культуры. Рассматриваем проблему вербализации концепта «обращение» синтаксическим способом.

Национально-культурная специфика речевого поведения отображается несоответствием стратегической, дискурсивной и социолингвистической компетенции разноязычных лиц, что предопределяется сформированными национально-культурными стереотипами в коммуникации (В. Красных 2002, А. Павловская 2009, И. Стернин 2001, 2002, Н. Шумарова 2000 и др.). Различия в языковых картинах мира выявляются не только на разных уровнях языковой системы (А. Вежицкая 1997, И. Голубовская 2002, Е. Сепир 1993), но и в коммуникативных стратегиях и тактиках, социальных ролях коммуникантов, принадлежащих к той или иной лингвокультуре (А. Леонтьев 1969, 1975, И. Стернин 2002, В. Телия 1996, Ч. Филлмор 1988 и др.). Ведь речевой акт отображает ценности субъекта речи как носителя определенной культуры и формирует в конкретный период времени позицию народа по отношению к другим народам и странам, с которыми постоянно изменяются отношения. Других мы можем представлять себе и друзьями, и врагами. Это значит, что мнение о других народах формируется не на основании реальных фактов, а исходя из своей народной самоидентификации. Такое сравнение не всегда является справедливой оценкой других лиц: чаще относительно своего народа – это прежде положительные черты, и только потом – негативные, а по отношению к другим – наоборот. Например, поляки считают англичан жадными, а себя бережливыми; украинцы считают русских ленивыми, а себя трудолюбивыми; американцы отмечают стереотип «азиатской жестокости» и т. д.

Методологической и теоретической основой статьи являются труды известных российских, украинских, белорусских и других зарубежных исследователей-лингвистов в отрасли когнитивной лингвистики, функционального и семантического синтаксиса (А. Загнитко

2008, Е. Селивановой 2008, Б. Нормана 2013, В. Масловой 2011, И. Карамышевой 2008, Н. Арутюновой 1999, Г. Волохиной 1999, Г. Золотовой 1982, Л. Фурс 2004, Е. Падучевой 1985, З. Поповой 2009, И. Стернина 2001, М. Булыниной 2005, Н. Krizkova 1973, и др.).

В работах по исследованию этикетных форм обращения (Н. Фармановская 1989, 1998, 2005, В. Трофименко 1972, А. Чашина 2008, Л. Кожухова 2009, Т. Савчук 1996, Ю. Бушляков 2013, И. Капцюг 2014, и др.) подчеркивается, что речевой этикет позволяет правильно установить отношения между коммуникантами. Обращения направлены на то, чтобы собеседники могли понять друг друга и решить необходимые вопросы.

В синтаксическом аспекте природа обращения во всех трех языках рассматривается либо как слово или словосочетание вне предложения (Н. Валгина 2009, 2002, Д. Овсяннико-Куликовский 1902, А. Пешковский 2001, А. Прияткина 1990, А. Шахматов 2001, О. Мизин 1980), либо как особый член предложения (А. Абрамова 1958, Т. Аль-Кадими 1968, О. Мизин 1973, А. Руднев 1955, 1963), либо как самостоятельное высказывание (В. Адмони 1964, Л. Булаховский 1949, В. Кузьмичева 1964, В. Проничев 1971, Г. Торсуев 1950). В последнее время обращение рассматривают в коммуникативно-прагматическом аспекте как средство для обслуживания человеческого общения (В. Гольдин 2009, З. Дворная 1995, М. Драздаускене 1990, М. Кронгауз 1997, Л. Рыжова 1981, 1982, Н. Фирсова 1987, Н. Фармановская 2005, М. Петросян 2013, В. Пономаренко 2008, Л. Фионова 2003, С. Язерская 2007 и др.). Очень показательно, что и в последних научных публикациях мысль о синтаксической изолированности обращений предпочитают не абсолютизировать: «... надо иметь в виду, что изучаются не обращения, а предложения с обращениями» (Бабайцева 1999: 187), таким образом выделяют обращение как синтаксическую единицу. Основная функция обращения очень часто сочетается с экспрессивной оценкой, которая выражается по-разному: интонацией, повторением обращения, сопровождающими его междометиями или частицами.

Исследований, рассматриваемых обращение в когнитивном аспекте, ни в одном из анализируемых языков мы не встретили.

Обращение является категорией экспрессивного синтаксиса. В этнокультурологии экспрессивность – яркое проявление чувств, настроений, мыслей. В широком смысле – повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника; в узком – проявление темперамента художника в его творческом почерке, в фактуре мазка, в

рисунке, в цветовом и композиционном решениях произведения живописи, скульптуры (Кругосвет 2015).

Мы относим обращение к синтаксическим концептам, используя толкование термина *синтаксический концепт*, данное С. Кузьминой, и считаем, что «это выражаемая структурной схемой предложения и представленная в виде типовой пропозиции (структурированной совокупности смыслов) информация о типе ситуации (совокупности предметов и связывающего их отношения), к которому мышление человека относит наблюдаемый фрагмент действительности» (Кузьмина 2012: 88). *Синтаксический концепт обращение* понимаем как разновидность фиксации концептуализации особенностей определенного фрагмента действительности, характеризующего отношения между коммуникантами внутри события или ряда событий, а также выбор языковых средств, необходимых для вербализации результатов такой концептуализации. При этом применение принципа антропоцентризма позволяет учесть роль человека в формировании синтаксического концепта обращение, выделить его как посредника между синтаксическим знаком и окружающей действительностью.

Жизнь любого общества невозможна без соблюдения социальных норм и обычаев, регулирующих общественную деятельность и отражающих данное общество, которые условно можно было бы разделить на этикетные и неэтикетные. По условиям и содержанию речевой ситуации А. Акишина и Н. Формановская (Акишина, Формановская 1983: 40–55) выделяют пятнадцать разновидностей речевого этикета. Опираясь на определение, приведенное выше, их можно назвать «фреймами». Отбор концептов для этого фрейма речевого этикета диктуется условиями общения, а также национальностью, полом, личностными качествами коммуникантов. А. Вежбицкая выделяет признаки, отчетливо выступающие в русском самосознании: 1. Эмоциональность, 2. Иррациональность, 3. Неагентивность – ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, склонность русского человека к фатализму, смирению и покорности, 4. Любовь к морали – абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла, любовь к крайним и категоричным моральным суждениям (Вежбицкая 1997: 33). Опираясь на исследования А. Вежбицкой (Вежбицкая 1997), Ф. Паппа (Папп 1985), рассмотрим, учитывая объем статьи, наиболее активные вербализаторы фрейма «обращение» в украинском, белорусском и русском языках.

«Українська мова. Енциклопедія» толкует обращение как «интонационно выделенный компонент предложения, называющий воодушевленные или персонифицированные предметы, к

которым обращена речь. Специализированным средством выражения в украинском языке является кличний відмінок» (Українська мова 2000: 184).

В белорусском языке «зваротак – гэта слова ці спалучэнне слоў, што называе асобу або прадмет, якім адрасавана пэўнае выказванне: заклік, просьба і пад. Асобы, да якіх звяртаюцца, называюцца па імені, прозвішчы, сваяцтве, узросце, родзе заняткаў, пасадзе, нацыянальнай прыналежнасці і пад. Зваротак членам сказа не з’яўляецца. Асноўная форма выражэння зваротка – форма назоўнага склону назоўніка або субстантываванага часціны мовы (прыметніка, дзеепрыметніка, часам займенніка або лічэбніка). Зваротак можа выражацца ўстарэлай формай клічнага склону (Яўневіч 2006: 129–131).

В русском языке обращение – «обособленный интонационно и грамматически самостоятельный компонент предложения или сложного синтаксического целого, служащий для обозначения лица или предмета, являющегося адресатом речи. Обращение обычно не относят к членам предложения и не включают в синтаксическое дерево зависимостей или составляющих» (ЛЭС 1990: 327-328). Обращение в русском языке вербализуется именительным падежом существительных или других субстантивированных частей речи.

Как видим, анализируемые языки отличаются средствами выражения обращения: укр. – звательный падеж, белорусский – именительный падеж и звательная форма, русский – именительный падеж.

В речи обращение выполняет две функции, обычно реализующиеся совместно: апеллятивная (призывная) функция, экспрессивная (оценочно-характеризующая) функция. Самостоятельно апеллятивная функция обращения характерна для официальных сфер общения (лозунги, предписания, воззвания и т. п. В двух совмещенных функциях обращение употребляется в обиходно-бытовой сфере, в художественно-изобразительной речи, выражая не только призыв к адресату высказывания, но и отношение говорящего. Значительна роль обращения как стилистической фигуры поэтического синтаксиса.

Концепту *этикетное обращение* – мыслительной единице, являющейся результатом познания, – чтобы стать социально значимым, коммуникативно востребованным, требуется вербализация, которая обеспечивает ему репрезентацию. Концепт *этикетное обращение* вербализуется лексемами, словообразовательными средствами, фразеологизмами, отражающими типовые пропозиции. Такое разнообразие языковых средств вербализации позволяет говорить о лексических, фразеологических и синтаксических концептах-обращениях.

Однако возможности выражения этих единиц смысла синтаксическими конструкциями недооцениваются учеными и вопрос о существовании синтаксических концептов в целом и концепта обращение (этикетное обращение в частности) остается дискуссионным.

Одним из способов традиционного украинского проявления уважения является употребление множественности. Сегодня много недоразумений и дискуссий вызывает проблема: как традиционно украинцы обращались к родным – на «ты» или «вы»? Какая форма более давняя, ведь в современном украинском языке обе считаются нормативными? Тем более, что исчезновение «Вы» в обращении к родным, особенно в последние десятилетия, многие люди воспринимают очень болезненно. Источники свидетельствуют, что в Киевской Руси обращения на «Вы» не знали, оно пришло в украинский язык позже, где-то в конце XIV столетия. Такая грамматическая форма этикета стала традиционной для национальной речи в кругу семьи. В современном общении общепринятым является обращение на «Вы» к малознакомым, незнакомым лицам, а также это нормативное обращение в деловой коммуникации.

Местоимение «ты» выражает близкие отношения между людьми: передает уважение, чувство дружбы, товарищества или любви. На «ты» общаются между собой товарищи, коллеги, сотрудники, друзья, представители одной семьи. Употребление речевой этикетной формы обращения на «ты» или «вы» в большинстве случаев регулируется ситуацией.

Вербализаторы обращения «ты» и «Вы» в русском языке отображают: 1) степень знакомства с адресатом; 2) официальность обстановки общения; 3) характер взаимоотношения говорящих; 4) ролевые позиции собеседников. Кроме взаимного «тыкания» («выкания»), отражающего социальное равноправие говорящих, есть «тыкание» – «выкание», выражающее неравноправные социальные отношения между собеседниками, когда вышестоящий обращается к нижестоящему на «ты», а тот в обращении использует почтительное «Вы».

Но мы встречаем и другие типы обращения. В русской деревне широко распространено взаимное обращение на «ты», мы это рассматриваем как выражение протеста, нарушение этикета, отраженного во фрейме «просьба».

Кроме употребления собственных имен, можно обращаться к собеседнику, используя личные местоимения. В русском языке имеются две формулы обращения к одному лицу: «ты» и «вы». Употребление ты / вы-формы зависит от возраста собеседников, социального положения, степени знакомства и обстановки общения.

Общий принцип состоит в том, что форма «вы» соответствует более формальному общению и выражает уважение к собеседнику; форма «ты», напротив, – неформальному общению между равными и считается непринужденной. В русском языке это строго соблюдается.

В речевом этикете ощутимы социально-биологические различия, где пол детерминирует речевое поведение. Можно говорить о разной гендерной отмеченности фреймов, основанных на актуализации биологического поля («знакомство», «ухаживание», «пол»), и фреймов, закрепленных за деловой сферой общения. Трансакция «женщина-женщина» организуется своим типом манипуляции, искренность – в виде запрограммированных поисков «задней мысли» (Маслова 1999). Это проявляется и в этикете.

В русском языке в функции обращения употребляется имя существительное в именительном падеже или равнозначная словоформа в сочетании со специальной звательной интонацией, а иногда и с вокативной частицей «о!». В некоторых языках (в большинстве древних индоевропейских – древнегреческом, латыни, старославянском, из современных славянских языков это украинский, чешский, из неиндоевропейских грузинский язык) у обращения имеется специализированное средство выражения, уже указанное выше, так называемый *звательный* падеж. В болгарском языке звательная форма является остатком древнего звательного падежа. В современном русском языке развивается новая разговорная звательная форма путем усечения именительного падежа (мам, Петь, Серёж). В этом выражается и экспрессивность этих разговорных звательных форм.

Экспрессивность мы понимаем как реализацию экспрессивной функции национального языка, что заключается в обеспечении через сознательный выбор этнонациональных языковых средств интенсивности, оценки, эмоциональности и образности, передаваемого содержания лингвокультурологического наследия.

Основываясь на положениях этих исследований, можем утверждать, что этикетные слова-обращения в украинском, белорусском и русском языках – экспрессивные синтаксические конструкции, экспрессивы, вербализаторы речевого поведения человека в разнообразных жизненных ситуациях. Речевой этикет является этнокультурным лицом говорящего, воплощением наиболее типичных признаков языкового поведения в разнообразных жизненных ситуациях, универсальной моделью речевой деятельности украинцев, белорусов и русских, выявляющейся в системе устойчивых языковых выражений, а знание этой системы каждым

представителем своего народа и «еще больше – ежедневная ее реализация, гармония знаний и внутреннего мира человека, без преувеличения, является своеобразным барометром духовной зрелости нации» (Богдан 1998: 7).

Поэтому через экспрессивы – обращения возможна презентация глубинных механизмов моделирования синтаксически репрезентируемых концептов, а в целом – динамики речевомыслительных процессов через языковые образы-концепты. Языковой образ-концепт обращение является фрагментом целостной языковой картины мира.

В структуре речевого этикета внимание акцентируем на обращениях, употребляемых при установлении контакта между собеседниками.

Обращение – элемент речевого этикета, прежде всего сигнализирующий о социальных взаимоотношениях, устанавливаемых в рамках коммуникативного акта. Поэтому основным фактором, влияющим на выбор того или другого обращения, является социальный статус коммуникантов, ситуация общения. При общении мы, безусловно, используем обращение. Это та «волшебная палочка, что отыскивает тропинки к людям» (Богдан 1998: 86).

Выбирая обращения, необходимо учитывать ситуацию общения (в семье, с друзьями, на работе, с незнакомыми людьми, в транспорте) и фактор адресата (его возраст, пол, должность, специальность). Использование того или другого обращения может ограничиваться сферой общения, то есть закрепляться за определенным функциональным стилем: *високоповажний пане голову, глибокоповажні пані й панове, шановні колеги, блаженний митрополите, преосвященні владики, чесні отці, дорогі брати і сестри, любі діти* и т.п.

Особенностью белорусского этикета можно считать апеллятивы, структурированные по модели «национальная этикетная форма + имя», которые являются более мягкими, универсальными и «этно-типичными», чем структуры «национальная этикетная форма + фамилия» (сравним: бел. *Пане Іване!, Дзядзька Панас!, Спадар Максім!* или рус. *Господин Иван!*).

До недавнего времени считалось, что уважительно-вежливые формы обращения *пане, пані, панове* распространились в Украине под влиянием польского языка и является характерным для речи жителей Западной Украины. Анализ текстов устного народного творчества, исторических текстов и летописей убеждает в давности этой этикетной формулы в Украине.

Вербализаторы *пан, пані, панове* в украинском языке могут употребляться самостоятельно или в соединении с именем, фамилией, наименованием лица по специальности или роду занятий: *пане професоре, панове присутні, пані Ніно* и др. Обращение «пан» активно функционировало во времена УНР (Украинская народная республика была провозглашена III Универсалом Центральной рады от 7 (20) ноября 1917 года как широкая автономия при сохранении федеративной связи с Россией. Этому предшествовало провозглашение национальной автономии Украины 13 (26) июня 1917 года и подписание А. Ф. Керенским протокола о признании Генерального секретариата Центральной рады. УНР просуществовала до 1920 года. Большая часть территории, на которую она претендовала, вошла в состав Украинской ССР, территория Западной Украины (Восточная Галиция, Волынь, Подляшье) отошла к Польше, Кубанская область и Область Войска Донского остались в составе Советской России) и использовалось с украинскими прилагательными: *високоповажний, високодостойний, вельмишановний*. В связи с обретением Украиной независимости в 1991 году эта форма снова активно употребляется.

Центром украинского этикетного поведения является доброжелательность, поэтому морфема *добр-* очень продуктивна в формулах этикета. Очень распространена она в непосредственных обращениях, функционирующих чаще всего в дружественной (фамильярной) тональности: *Чоловіче добрий!, Людино добра!, Добра душа!, Люди добрі!*

«Добродію», «добродійко» – специфичное украинское уважительное обращение ко знакомому и незнакомому и считается «старым уважительным названием лиц, хорошо работающих» (Богдан 1998: 92). Этот этикетный вербализатор фиксируется словарями украинского языка еще с XVII века. Это обращения используется самостоятельно и с этикетными определениями: *шановний (шановна), ласковий (ласкава), високошановний (високошановна), вельмишановний (вельмишановна), високоповажний (високоповажна)*, а также с именами по отчеству. Употребляются такие обращения и с наименованием титулов (*пане добродію, пані добродійко*), и с атрибутивными прилагательными. В украинской речи используются параллельные формы обращения: *пане добродію, чоловіче добрий, люди добрі* и др.

Главное, чтобы в обращении всегда было выражено чувство собственного достоинства и почтения к тому, с кем общаешься. Любое обращение допустимо, когда оно одинаково комфортно для обеих сторон. Поэтому «господин» и «госпожа» в русском языке желательно

использовать только в строго официальных ситуациях, и то лишь при условии, когда они звучат абсолютно нейтрально. Это делается всегда с указанием занимаемой должности – *господин директор, господин учитель, господин судья*. Или еще лучше – с добавлением фамилии. Без добавлений можно употреблять их во множественном числе, обращаясь к залу, – *Господа!* или *Дамы и господа!*. Не принято говорить, например, «выступающий господин» или «на сцену приглашается господин». Без дополнительного поясняющего слова такая форма, пусть даже не прямого обращения, а косвенного, всегда оскорбительна.

В результате революции были упразднены прежние сословия. Все обращения старого строя были заменены на два – *гражданин* и *товарищ*. Обращение *гражданин* приобрело негативную окраску, оно стало нормой в применении заключенными, судимыми, арестантами по отношению к представителям органов правопорядка. Обращение *товарищ*, напротив, закрепилось в значении *друг*.

Во времена Советского Союза было всего два типа обращения (а по сути, только одно – *товарищ*), образовавшие своего рода культурно-речевой вакуум, который был неформально заполнен такими обращениями, как *мужчина, женщина, дяденька, тетенька, парень, девушка* и пр. во всех трех языках. Они остались и после развала СССР, однако в современном обществе воспринимаются как фамильярность и свидетельствуют о низком уровне культуры того, кто их использует.

В посткоммунистическом обществе постепенно стали вновь появляться прежние виды обращения: *господа, сударыня, господин* и др. Что касается обращения *товарищ*, то оно законодательно закреплено в качестве официального обращения в силовых структурах, вооруженных силах, коммунистических организациях, в коллективах заводов и фабрик в России. В Украине и Беларуси такие формы не функционируют.

Полное русское имя включает в себя имя, отчество и фамилию. Отчество выражает связь детей с отцом. В русском языке в зависимости от степени знакомства, положения и условий общения употребляются формулы обращений-антропонимов типа *господин, товарищ, гражданин + фамилия*, например: *господин (товарищ) Смирнов*; имя + фамилия: *Иван Петров*; имя + отчество: *Николай Петрович*; имя + отчество + фамилия: *Николай Петрович Смирнов*; отчества: *Петрович*; фамилии: *Смирнов*.

Бывают ситуации, когда вместо «господин» пользуются разными «заменителями». Часто, например, чтобы подчеркнуть доброжелательное отношение, начинают фразу вместо

обращения словами «будьте добры», «извините», «скажите, пожалуйста» и т.п. Вновь входят в речь такие «заменители», как «любезный», «дорогой мой», «милейший», «почтеннейший».... В интеллектуальной среде закрепилось слово «коллега».

Особенным признаком дифференциации речевого этикета украинцев является употребление звательного падежа при обращении к собеседнику. Звательный падеж как исконно славянское грамматическое явление – равноправный член падежной парадигмы современного украинского языка. Он сформировал свои флексийные выражения на основе древнеукраинского языка и сейчас имеет большое количество флексий, употребление которых регламентируется литературными нормами. Эти законы культуры речи зафиксированы в украинском прописании, справочниках, словарях, учебниках.

Описывая особенности коммуникативного поведения собственной нации, украинцы указывают, прежде всего, на иные, чем у русских, этикетные нормы. Например, общение старшего с младшим у украинцев гораздо более вертикально, чем у русских. В семье принято общение с отцом и матерью только на "Вы" и только на украинском языке. Нарушение подобной традиции осуждается общественным мнением. Русскими эта особенность воспринимается как отчужденность родителей и детей, неприемлемая для русских.

На протяжении столетий украинский речевой этикет не был лишен инокультурных влияний, поэтому нужно с пониманием относиться ко всему, что пришло в национальную систему речевого этикета из других языков и не противоречит украинским традициям. Правильное и уместное использование этикетных формул обращения свидетельствует о воспитанности, высоком уровне культуры говорящего.

Речевой этикет считают культурным лицом нации. Он отображает типичные черты человека в разнообразных жизненных ситуациях.

В украинском языке речевыми этикетными формами обращения являются: *Пані!, Пане!, Панно!, Панове!, Пані й панове!, Пане добродію!, Пані добродійко!, Вельмишановний(-а), (Вельмиповажний, Вельмиповажаний) пане (пані)!, Шановний (дорогий, ласкавий) пане!, Гречна пані!, Гречний пане!, Гречні газди і газдині і газдівські діти!, Глибокоповажні пані і панове!, Пане Андрію!, Пані Тетяна!, Панно Іванно!, Паничу Олександрє!, Пане Шевчук!, Пані Гончаренко!, Пане професоре!, Пані вчителько!, Пані бабусю!, Пане господарю!, Пане – товаришу!, Шановне товариство!, Шановна громадо!, Дорогі друзі!, Дорогі гості!, Товариші!, Шановні колеги!, Преосвященні владика, чесні отці, дорогі брати і сестри!, Блаженніший*

митрополите!, Товаришу!, Товаришко!, Товариші!, Громадяни!, Громадянине!, Громадянке!, Добродію!, Добродійко!, Добрродіі!

Белорусский язык использует этикетные формы обращения: *Спадар!, Спадарка!, Гаспадар!, Гаспадыня!, Гаспадары!, Таварыш!, Таварышы!, Громадзянін!, Громадзянка!, Громадзяне!, Калега!, Калегі!, Калежанка!, Калежанкі!, Пан!, Пані!, Панове!, Дамы!, Сябры!, Сяброўкі!*

Русский язык имеет такие этикетные формы обращения: *Сударь!, Сударыня!, Барин!, Барышня!, Милостивый государь!, Господин!, Госпожа!, Дамы и господа! Гражданин!, Товарищ!, Братья и сестры!, Друзья!, Коллега!, Уважаемый!*

Как видим, наиболее разнообразны этикетные формы обращения в украинском языке.

Таким образом, проведенное исследование формул обращения в украинском, белорусском и русском языках позволило прийти к выводу, что в речевой этикете этих лингвокультур имеется своеобразие, отражающее национально-специфические особенности каждого языка и каждой культуры.

Рассмотренные нами вербализаторы этикетных форм концепта «обращение» не поддаются анализу и описанию с позиций традиционных и однозначных: они дифференцируются в зависимости от национальности, гендера, культурного уровня говорящего, возраста, социального положения коммуниканта. Мы не смогли в этой статье описать все вербальные средства и экспрессивные признаки: будем расширять свои исследования в последующих работах.

Литература

- АБРАМОВА, А. Т., 1958. *К вопросу об обращении в современном русском языке*. Воронеж: изд-во Воронежского ун-та.
- АДМОНИ, В. Г., 1964. *Основы теории грамматики*. Ленинград: Наука.
- АКИШИНА, А. А., ФОРМАНОВСКАЯ, Н. Д., 1983. *Русский речевой этикет*. Москва: Наука.
- АЛЬ-КАДИМИ, Т. Т., 1968. *Обращение в современном русском языке*. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Баку.
- АРУТЮНОВА, Н. Д., 1999. *Язык и мир человека*. Москва: Языки русской культуры.
- БАБАЙЦЕВА, В. В., 1999. *Русский язык. Синтаксис и пунктуация*. Москва: Просвещение.
- БОГДАН, С. К., 1998. *Мовний етикет українців: традиції і сучасність*. Київ: Рідна мова.

- БУЛАХОВСКИЙ, Л. А., 1949. *Курс русского литературного языка*. 4-е изд. Киев: Радянська школа.
- БУЛЬНИНА, М. М., 2005. *Глагольная каузация динамики синтаксического концепта*. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Воронеж: изд-во Воронежского гос. ун-та.
- БУШЛЯКОВ, Ю., 2013. *Живая речь*. Минск: Радио Свобода.
- ВАЛГИНА, Н. С., 2009. *Синтаксис современного русского языка*. Москва: Наука.
- ВАЛГИНА, Н. С., РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э., ФОМИНА, Н. И., 2002. *Современный русский язык*. Москва: Логос.
- ВЕЖБИЦКАЯ, А., 1997. *Язык. Культура. Познание*. Москва: Русские словари.
- ВОЛОХИНА, Г. А., ПОПОВА, З. Д., 1999. *Синтаксические концепты русского простого предложения*. Воронеж.
- ГОЛУБОВСКАЯ, И. А., 2002. *Этнические особенности языковых картин мира*. Киев: Киевский университет.
- ГОЛЬДИН, В. Е., 2009. *Обращение: теоретические проблемы*. Москва: Книжный дом.
- ГУЙВАНЮК, Н. В., 2009. *Слово – Речення – Текст*. Чернівці: Чернівецький національний університет.
- ДВОРНАЯ, З. М., 1995. *Коммуникативно-функциональные особенности обращения в современном русском языке: на материале художественных произведений*. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург.
- ДРАЗДАУСКЕНЕ, М. А., 1990. *Контактоустанавливающая функция речи в разных функциональных стилях английского языка*. Докторская диссертация. Вильнюс.
- ЗАГНІТКО, А. П., 2008. Типологія категорій та одиниць когнітивного синтаксису. *Наукова скарбниця освіти Донеччини*, 2 (3), 45–51.
- ЗОЛотова, Г. А., 1982. *Коммуникативные аспекты русского синтаксиса*. Москва: Наука.
- КАПЦЮГ, І. У., 2014. *Зваротак у сучаснай беларускай літаратурнай мове: Структурна-семантычны і функцыянальны аспекты*. Мінск: МДУ.
- КАРАМИШЕВА, І. Д., 2008. Дискусійність виокремлення «синтаксичного концепту» в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях. *Лінгвістичні студії: зб. наук. праць*. Вип. 17, 308–314.
- КОЖУХОВА, Л. В., 2009. *Обращение как индикатор социальных и межличностных отношений*. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь.

- КРАСНЫХ, В. В., 2002. *Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология*. Москва: Гнозис.
- КРОНГАУЗ, М. А., 1997. Обращения как способ моделирования коммуникативного пространства. *Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке*. Москва: Флинта.
- КУЗЬМИНА, С. Е., 2012. Понятие «синтаксический концепт» в лингвистических исследованиях. *Вестник Челябинского государственного университета*, 17 (271). *Филология. Искусствоведение*. Вып. 66, 87–90.
- КУЗЬМИЧЕВА, В. К., 1964. *Интонация обращения в современном русском литературном языке*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев.
- ЛЕОНТЬЕВ, А. Н., 1975. *Деятельность. Сознание. Личность*. Москва: Политиздат.
- ЛЕОНТЬЕВ, А. Н., 1969. *Психоллингвистические единицы и порождение речевого высказывания*. Москва: Наука.
- ЛЭС, 1990. *Лингвистический энциклопедический словарь*. Под ред. В. Н. Ярцевой. Москва: Советская энциклопедия.
- МАСЛОВА, В. А., 1999. *К вопросу о мужском и женском языках и о вербальном поведении мужчины и женщины*. Женщина. Образование. Демократия. 2-я международная междисциплинарная научно-практическая конференции 3–4 декабря 1999 г. Режим доступа: <http://cnvila.iatp.by/info/courses/confercnce 99> (10.11.2015).
- МАСЛОВА, В. А., 2011. *Введение в когнитивную лингвистику*. Москва: Флинта: Наука.
- МИЗИН, О. А., 1973. *Структурно-семантические и функциональные особенности обращений в публицистическом стиле русского языка*. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Москва.
- МИЗИН, О. А., 1980. К морфологии обращения. *Русский язык в школе*, 5, 75–77.
- НОРМАН, Б. Ю., 2013. *Когнитивный синтаксис русского языка*. Москва: Флинта.
- ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ, Д. Н., 1902. *Синтаксис русского языка*. Санкт-Петербург: изд-во Жуковского.
- ПАВЛОВСКАЯ, А., 2009. *Русский мир. Характер, быт и нравы*. Комплект в 2-х томах. Москва: СЛОВО / SLOVO.
- ПАДУЧЕВА, Е. В., 1985. *Высказывание и его соотношенность с действительностью*. Москва: Наука.
- ПАПП, Ф., 1985. Паралингвистические факты. Этикет и язык. *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 15. Москва: Прогресс, 66–74.

- ПЕТРОСЯН, М. М., 2013. Средства обращения в системе речевого этикета. *Молодой ученый*, 9, 461–462.
- ПЕШКОВСКИЙ, А. М., 2001. *Русский синтаксис в научном освещении*. Москва: Языки славянской культуры.
- ПІВТОРАК, Г. П., 2001. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. / *Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски"*. Київ: ВЦ «Академія».
- ПОНОМАРЕНКО, В. П., 2008. *Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах – етапи історичного розвитку і сучасність*. Київ: видавничий дім Дмитра Бурого.
- ПОПОВА, З. Д., 2009. *Синтаксическая система русского языка в свете теории синтаксических концептов*. Воронеж: Истоки.
- ПРИЯТКИНА, А. Ф., 1990. *Русский язык: синтаксис осложненного предложения*. Москва: Высшая школа.
- ПРОНИЧЕВ, В. П., 1971. *Синтаксис обращения*. Ленинград: изд-во Ленинградского ун-та.
- РУДНЕВ, А. Г., 1955. Обращение. *Учен. зап. ЛГПИ им. А.И.Герцена*. Т.104, 49–53.
- РУДНЕВ, Г. А., 1963. *Синтаксис осложненного предложения*. Москва: Высшая школа.
- РЫЖОВА, Л. П., 1981. Коммуникативные функции обращения. *Семантика и прагматика синтаксических единств*. Межвуз. темат. сб. Калинин: изд-во Калининского гос. ун-та, 76–86.
- РЫЖОВА, Л. П., 1982. *Обращение как компонент коммуникативного акта*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Калинин.
- РЫЛОВ, С. А., 2010. Сопоставительная славянская синтактология: когнитивный аспект (на материале русского и чешского языков). *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*, 4 (2), 697–700.
- САВЧУК, Т. Н., 1996. *Речевой этикет в русских и белорусских народных сказках*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск: БГУ.
- СЕЛІВАНОВА, О. О., 2008. Когнітивний аспект синтаксису. *Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми*. Полтава: Довкілля-К, 469–475.
- СЕПИР, Э., 1993. *Избранные труды по языкознанию и культурологии*. Москва: Прогресс.
- СТЕРНИН, И., 2001. *Введение в речевое воздействие*. Воронеж: изд-во Воронежского госуд. ун-та.

- СТЕРНИН, И., 2001. *Коммуникативные аспекты толерантности*. Воронеж: изд-во Воронежского госуд. ун-та.
- СТЕРНИН, И., 2002. *Язык и национальная картина мира*. Воронеж: изд-во Воронежского госуд. ун-та.
- ТЕЛИЯ, В. Н., 1996. *Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*. Москва: Языки русской культуры.
- ТОРСУЕВ, Г. П., 1950. *Фонетика английского языка*. Москва: Высшая школа.
- ТРОФИМЕНКО, В. П., 1972. Социальная дифференциация обращений. *Языкознание и литературоведение*. Ростов-на-Дону: изд-во Р.-н.-Д. ун-та, 41–45.
- Українська мова. Енциклопедія*, 2000. Київ: Укр. Енциклопедія.
- ФИЛЛМОР, Ч., 1988. Фреймы и семантика понимания. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. *Когнитивные аспекты языка*. Москва: Прогресс, 52–92.
- ФИОНОВА, Л. Р., 2003. Национальные особенности делового общения. Важны ли они при встрече? *Секретарское дело (РФ)*, 8, 56–58.
- ФИРСОВА, Н. М., 1987. *Обращение в современном испанском*. Москва: изд-во УДН.
- ФОРМАНОВСКАЯ, Н. И., 1998. *Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения*. Москва: Наука.
- ФОРМАНОВСКАЯ, Н. И., 2005. *Культура общения и речевой этикет*. Москва: Наука.
- ФОРМАНОВСКАЯ, Н. И., 1989. *Речевой этикет и культура общения*. Москва: Наука.
- ФУРС, Л. А., 2004. *Синтаксически репрезентируемые концепты*. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина.
- ЦАРУК, О., 1998. *Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри*. Дніпропетровськ: Наука і освіта.
- ЧАЩИНА, А. М., 2008. Вербальные средства реализации манипулятивной стратегии в англоязычном политическом интервью. *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. Тамбов: изда-во Тамбовского ун-та, 202–205.
- ШАХМАТОВ, А. А., 2001. *Синтаксис русского языка*. Москва: Эдиториал УРСС.
- ШУМАРОВА, Н. П., 2000. *Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму*. Київ: КЛДУ. Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/EKSPRESSIVNOST.html. (29.11.2015).
- ЯЗЕРСКАЯ, С. А., 2007. Маўленчы этыкет. *Беларуская мова і літаратура*, 11, 32–35.

ЯЎНЕВІЧ, М. С., 2006. *Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы*. Мінск: Аверсэв.

KŘIŽKOVÁ, H., 1973. Větná paradigmatica a modalita. *Slavica slovaca*.

Raisa Kozak

Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

ADDRESSING IN THE SYSTEM OF SYNTACTIC CONCEPT *EXPRESSIVE* AND ITS VERBALIZATION IN THE UKRAINIAN, BELARUSIAN AND RUSSIAN LANGUAGES

Summary

The article points out that a new look at the expressiveness in general and expressive syntax in particular, as well as their studying through the basics of cognitive linguistics in recent decades have led to the active development of cognitive research and, above all, the development of the theory of concept. The increased interest in syntactic concepts over the short period from the moment of their defining has not allowed to explore fully all the issues of the establishment, functioning and objectification of the terms *syntactic concept* and *concept of expressives*, used in the work.

The research of expressives for addressing, allows the presentation of the underlying mechanisms of modeling syntactically represented concepts and the overall dynamics of speech and thinking processes through language concepts-images. Linguistic image-concept of addressing is viewed as an integral fragment of a language picture of the world.

The emphasis is made on the facts testifying that for many centuries, Ukrainian, Belarusian and Russian speech etiquettes were not deprived of other cultures' influence, so it is necessary to be sensitive to everything that was included in the national system of speech etiquette from other languages, and does not contradict the tradition. Proper and appropriate use of etiquette formulas of addressing indicates the upbringing, politeness and the high culture of the speaker or otherwise.

The author studies the culture of speech as part of the general human culture; they consider the speech etiquette to be the cultural ethnic face, embodying the Ukrainian, Belarusian and Russian languages, the most typical features of speech behavior of people in various situations.

KEYWORDS: expressive syntax, syntactic concept, the concept of expressives, concept of addressing, verbal behavior, cultural identity.

Raisa Kozak

Kamenec-Podolskij universitetas, Ukraina

**SINTAKSINIO KONCEPTO *IŠRAIŠKINGUMAS* SISTEMA IR JOS ŽODINĖ RAIŠKA
UKRAINIEČIŲ, BALTARUSIŲ IR RUSŲ KALBOSE****Santrauka**

Straipsnyje pristatomas naujas požiūris į išraiškingumo konceptą bei sintaksinę išraiškingumo formą. Naujus šios temos tyrimus paskatino susidomėjimas kognityvine lingvistika bei koncepto teorija. Nors susidomėjimas sintaksiniais konceptais yra didelis, per trumpą vykdomų tyrimų laikotarpį dar nėra surinkta pakankamai informacijos apie tokių konceptų atsiradimą, funkcijas. Kelia klausimų ir terminų sintaksinis konceptas bei koncepto *išraiškingumas* apibrėžimas. Šio koncepto tyrimai atskleidžia giluminius sintaksinių reprezentacinių konceptų modeliavimo mechanizmus bei kalbos ir mąstymo procesų dinamiką. Tyrime akcentuojama, kad dėl istoriškai susiformavusių aplinkybių rusų, ukrainiečių ir baltarusių kalbos etiketas buvo paveiktas kitų kultūrų; todėl, tiriant šių kalbų etiketą, svarbu atsižvelgti į šią aplinkybę. Teisingas ir taisyklingas kalbos etiketo naudojimas parodo asmens išsilavinimą arba jo spragas. Kalbos kultūra tirta kaip bendrosios asmens kultūros elementas. Kalbinis etiketas priskirtas kultūriniam šalies etosui ir atskleidžia tipines elgsenos normas tam tikroje kultūroje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: išraiškingumo sintaksė, sintaksinis konceptas, kreipinio konceptas, kalbinė elgsena, nacionaliniai-kultūriniai ypatumai.

Нина Козловцева

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

ул. Академика Волгина, 6, Москва, 117485, Россия

E-mail: ninelkorch@yandex.ru

Область научных интересов автора: теория и практика культурной политики, государственная и национальная культурная политика, лингвокультурология, теория и практика межкультурной коммуникации

**РУССКИЙ МИР И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ**

Процесс глобализации в условиях обострения геополитической ситуации и поиска приемлемых решений требует особого внимания к Русскому миру, который традиционно понимается как трансконтинентальное сообщество, объединяющее носителей русской коллективной памяти, разделяющих ценности русской культуры, говорящих на русском языке и лояльных к России. Именно коллективная, в частности, культурная память обуславливает и стабилизирует идентичность и специфику любого сообщества. Россия как страна многовековой культуры, имеющей неопределимое гуманитарное значение для цивилизации, должна заботиться о сохранении, обеспечении понятности русских культурных ценностей, шедевров русской культуры на русском языке и ценностей самого русского языка как носителя этой культуры, их доступности для всех нуждающихся. Представляется, что оптимальная организация деятельности в этом направлении строится с привлечением русской диаспоры. Однако возникает вопрос, являются ли её представители носителями той же идентичности, что и современные россияне. Учёт имплицитных в коллективной памяти соотечественников ценностных идей, культурных и исторических реалий, представлений об основных признаках русскости необходимы для сохранения, поддержки и дальнейшего развития Русского мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *Русский мир, соотечественники за рубежом, культурная память, культурная политика.*

Наступление XXI века ознаменовалось интенсификацией глобализационных процессов, сопровождающихся обострением геополитической ситуации в мире, которое связано, в том

числе, с желанием представителей отдельных культур сохранить свою идентичность и самобытность под нарастающим влиянием иных культур (американизация, вестернизация).

Для России этот период характеризуется распадом Советского Союза, вследствие чего возникла необходимость создания новых принципов цивилизационного взаимодействия с мировым сообществом. Этим объясняется создание на рубеже веков концепции «Русского мира», авторами которой стали политтехнологи Ефим Островский и Пётр Щедровицкий.

Данная концепция заключалась в формировании Русского мира как *сетевой структуры больших и малых сообществ в разных странах, думающих и говорящих на русском языке*, основной целью которого являлось создание на мировой арене принципиально нового имиджа России (не агрессивного, а прогрессивного) и разработка новой системы геоэкономических и культурных связей между русскими (Островский и др. 1999: 5–7).

Между тем спустя почти двадцать лет происходит трансформация значения Русского мира как явления, обусловленная изменением геополитической ситуации и появлением широкого спектра исследований данного явления с позиций не только политологии, но и философии, социологии, культурологи и других наук. В научной среде появились различные точки зрения о сущности Русского мира как уже сформировавшейся общности. Его отождествляют с русской цивилизацией (Никонов 2010:4) или же говорят о нём как о новом типе государственности и геоэкономической вселенной (Столяров 2004:10).

По словам Президента РФ В. В. Путина, данная общность объединяет всех, кому дорого русское слово и русская культура, вне зависимости от страны их проживания (Путин 2006: 2). В связи с этим Русский мир понимается в контексте государственной политики по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом. Он трактуется как цивилизационное, социокультурное и наднациональное пространство, объединяющее людей, обладающих *духовными и ментальными признаками русскости и неравнодушных к судьбе и месту России в мире* (Батанова 2008: 3018).

Однако на сегодняшний день отсутствуют исследования, учитывающие взгляд на Русский мир его потенциальных членов: россиян и соотечественников за рубежом. В связи с этим *целью* проведённого исследования, о котором пойдёт речь в данной статье, было определение сущности Русского мира с позиции объединяемых им людей.

Как известно, в начале XXI века продолжалась тенденция к росту русской³⁰ диаспоры (сейчас она занимает по численности второе место в мире после китайской, включая в себя более 300 миллионов человек по всему миру) (Пивовар 2010: 168). Современная русская диаспора, представляя собой мощный ресурс влияния (а её численность более чем в 2 раза превышает численность жителей России), могла бы использовать опыт взаимодействия других диаспор со своими странами исхода (например, израильская и армянская диаспоры), способствуя формированию привлекательного образа исторической родины в мире, а также созданию благоприятных условий для расширения экономического и гуманитарного сотрудничества России, пониманию её политики в мире. Для реализации такого взаимодействия русской диаспоры и России необходимо понимать, что представители диаспоры являются носителями той же идентичности, что и современные жители России, разделяют одни и те же ценности.

В связи с этим важной задачей данного исследования является ответ на вопрос: содержит ли коллективная память россиян и соотечественников за рубежом, проживающих в инокультурной среде, одни и те же признаки русскости, какие из них являются более релевантными для россиян, а какие – для соотечественников за рубежом?

Для получения современных данных и достаточной выборки респондентов в социальных сетях ВКонтакте и Facebook нами было проведено *анкетирование* россиян и соотечественников за рубежом, в котором приняло участие 454 человека из 56 стран мира, из которых 287 соотечественников за рубежом из 55 стран мира (ближнее и дальнее зарубежье) и 167 россиян.

Участниками опроса стали представители всех континентов (см. рис. 1).

³⁰ Говоря о русской диаспоре, мы имеем в виду всех людей, разделяющих ценности русской культуры и владеющих русским языком. Слово «русский» в данном случае (как и в названии «Русский мир») является наднациональным, как и многонациональная русская культура, создававшаяся не всегда этнически русскими (например, А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым).



Рис. 1. Карта участников опроса

Возрастной состав каждой из групп участников был эквивалентен друг другу, в основном это были представители среднего возраста (от 21 до 49 лет), т.е. социально активные граждане, способные реализовывать возлагаемые на них функции «мягкой силы»³¹ (см. рис. 2 и 3).

Соотечественники за рубежом

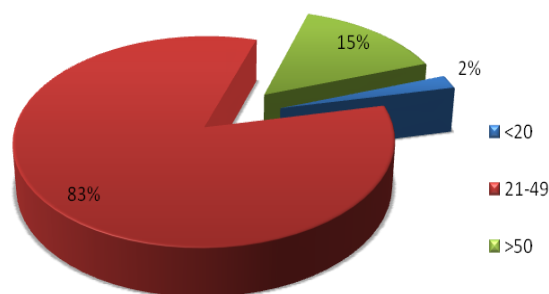


Рис. 2. Возраст респондентов (соотечественники за рубежом)

³¹ Под «мягкой силой» (soft power) традиционно понимается одна из форм политической власти, отличающаяся способностью добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жесткой силы» (hard power), подразумевающей принуждение. Тремя элементами, формирующими «мягкую силу», считаются культура и ценности нации, её идеология и внешняя политика (дипломатия). (Nye 2004)

Россияне

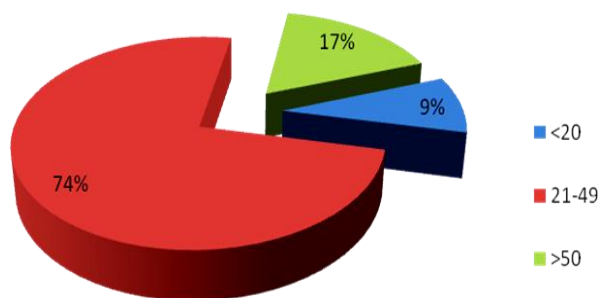


Рис. 3. Возраст респондентов (россияне)

Важным вопросом, на который был получен ответ в ходе исследования, был вопрос: «Кого объединяет Русский мир?» Результаты показали, что мнение по данному вопросу у россиян и соотечественников за рубежом в основном совпадает. По мнению опрошенных, Русский мир включает всех, кого привлекает русская культура вне зависимости от владения русским языком и национальности (так считают 39 % россиян и 34 % соотечественников за рубежом). Существенные различия связаны с вариантом ответа «все, говорящие по-русски». Эта позиция является более значимой для проживающих вне языковой среды соотечественников, чем для россиян, погруженных в данную среду. Соотношение ответов на вопрос «Кого объединяет Русский мир?» представлено на рис. 4.

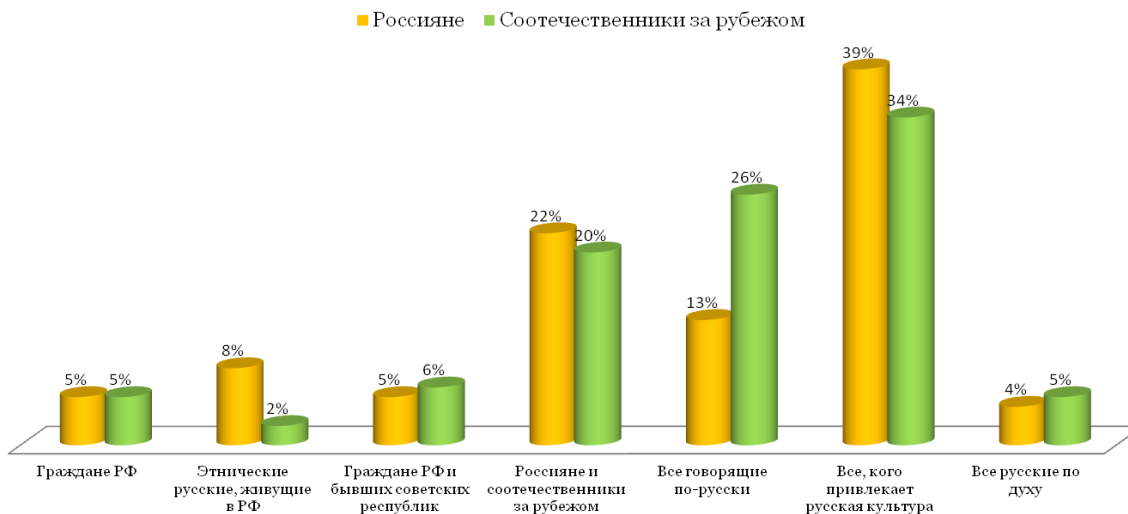


Рис. 4. Кого объединяет Русский мир?

Любая идентичность, как известно, находится в тесной взаимосвязи с коллективной памятью сообщества. Последняя формирует символическое пространство общности, границы которого маркируются смыслами, нормами и эмоциями. С помощью этих маркеров определяются «свои» и «чужие». Предполагается, что коллективная память Русского мира базируются на общем прошлом данного сообщества, интегрирующем отдельные конструкты памяти в единую картину. Ею определяется не только отношение Русского мира к своему прошлому, но и картина настоящего и желаемого будущего, а также его смысл и место в истории. В перечень маркеров (конструктов) Русского мира, по мнению большинства исследователей, входят русский язык и русскоязычная культура вместе с исторической памятью, а также лояльность к России (Тишков 2007: 7).

Одной из задач проведённого нами исследования было определение релевантности различных потенциальных конструктов, характеристик и представителей Русского мира для россиян и соотечественников за рубежом. Ответы респондентов на вопрос «Что входит в Русский мир?» представлены на рис. 5.

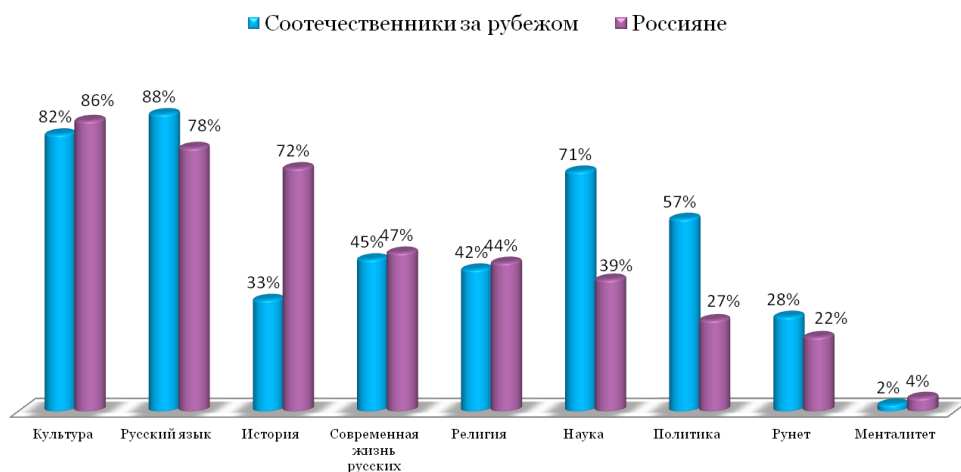


Рис. 5. Что входит в Русский мир?

Следует отметить, что общая картина ответов россиян и зарубежных соотечественников, как и в предыдущем вопросе, практически совпадает: наиболее значимыми компонентами для обеих групп являются русский язык и культура. Однако для россиян более значимым конструктом представляется история, в то время как для соотечественников на первый план выходят наука и политика. Эта тенденция объясняется потребностью соотечественников в

государственной поддержке России, а также пониманием важности научных достижений Русского мира как элемента его «мягкой силы».

Дальнейшей задачей исследования было определение *признаков русскости*, отраженных в коллективной памяти российских соотечественников. Респондентам было предложено написать три ассоциации со словосочетанием «Русский мир». Всего было получено более 250 различных вариантов. Были названы как элементы русской культуры (рис. 6), персоналии (рис. 7), блюда русской кухни (рис. 8), так и целый спектр моральных и мировоззренческих черт, присущих русским (наиболее частотные из них приведены на рис. 9).



Рис. 6. Культура Русского мира с точки зрения российских соотечественников

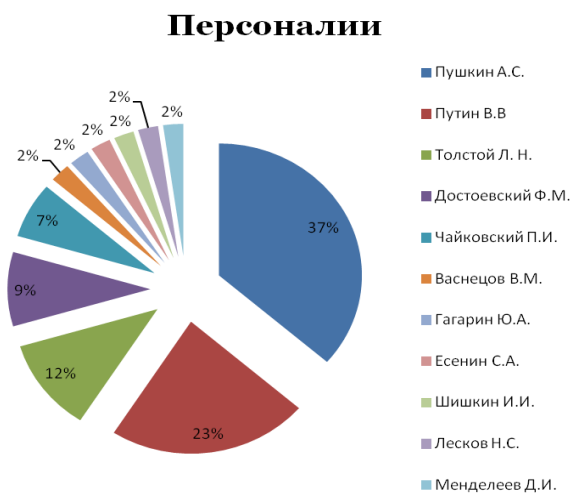


Рис. 7. Персоналии Русского мира с точки зрения российских соотечественников



Рис. 8. Кухня Русского мира с точки зрения российских соотечественников

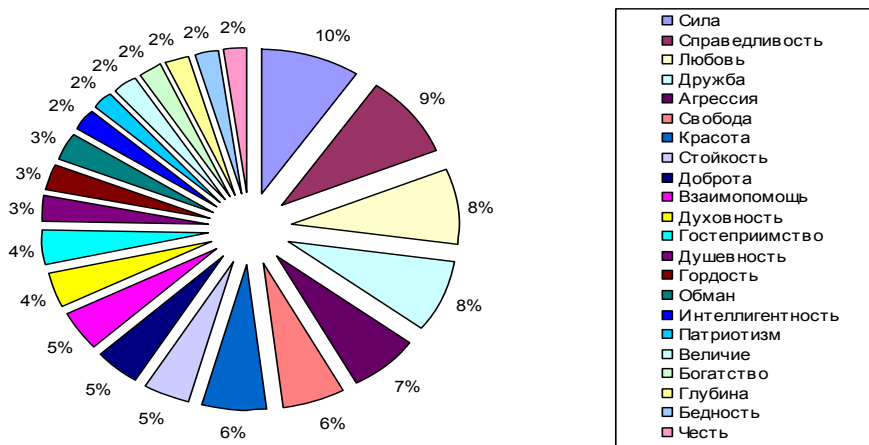


Рис. 9. Моральные и мировоззренческие черты членов Русского мира с точки зрения российских соотечественников

Отметим, что, характеризуя Русский мир, рядом соотечественников ему даются негативные характеристики (такие как, агрессия, обман). Около 8% всех опрошенных отмечали, что с их точки зрения, Русский мир является искусственно навязываемой им политической идеологией или сообществом, в которое их записывают без их согласия. Данная точка зрения, безусловно, требует учёта реализаторами деятельности по консолидации Русского мира, т.к.

исходя из названных выше конструктов, одним из которых является лояльность к России, данное объединение абсолютно добровольно.

Наблюдается несоответствие важности политики как конструкта Русского мира для соотечественников и практически полного отсутствия политических реалий и персоналий в перечне ассоциаций с Русским миром (за исключением действующего Президента РФ В.В. Путина).

Анкетирование выявило значительное количество стереотипных представлений о Русском мире (рис. 10), формирующих клишированное мнение о России (водка, медведи, балалайка). В связи с этим важной задачей политики по работе с соотечественниками видится формирование в данной среде образа современной разнообразной поликультурной России.

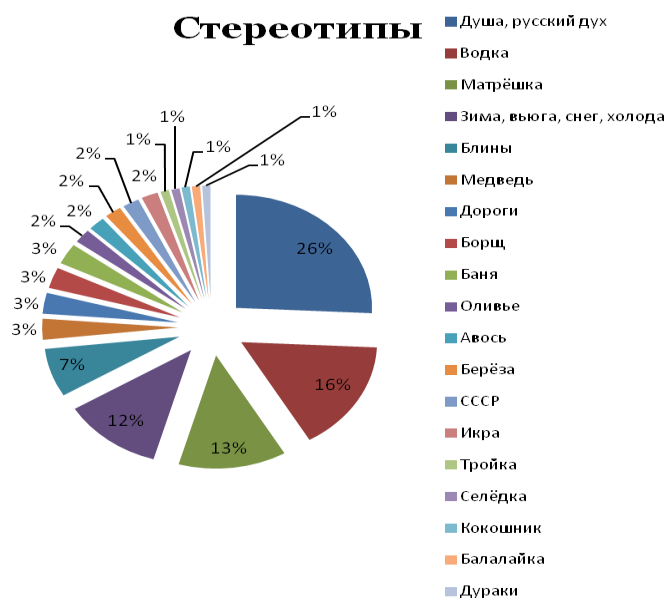


Рис. 10. Стереотипные представления российских соотечественников о Русском мире

Результаты проведённого опроса позволяют считать россиян и русскую диаспору носителями одной коллективной памяти, а следовательно, идентичности. Как те, так и другие могут внести свой вклад в дело сохранения, поддержки и развития Русского мира.

В рамках проводимого нами исследования в дальнейшем планируется сбор дополнительного материала, выявление и классификация общих и различных элементов коллективной памяти представителей Русского мира.

Литература

NYE, JR., JOSEPH, S., 2004. *Soft Power. The means to success in world politics*. N. Y.: Public Affairs.

БАТАНОВА, О. Н., 2008. Русский мир как реальность и глобальный проект. *Право и политика*, 12, 3017–3021.

НИКОНОВ, В. А., 2010. *Не воспоминание о прошлом, а мечта о будущем. Смыслы и ценности Русского Мира*. Режим доступа: <http://ruskiymir.ru/events/docs/СмыслыиценностиРусскогомира202010.pdf> (08.04.2016).

ОСТРОВСКИЙ, Е., ЩЕДРОВИЦКИЙ, П., 1999. *Россия: страна, которой не было*. Режим доступа: http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/history99-00/shedrovicky-possia-no/ (8.08.2016).

ПИВОВАР, Е. И., 2010. Русский язык и русский мир как факторы социокультурного диалога на постсоветском пространстве. *X Международные Лихачевские научные чтения*, СПбГУП, 167–170.

ПУТИН, В. В., 2006. Письменное интервью газете «Русская мысль» Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23919> (10.02.2016).

СТОЛЯРОВ, А. М., 2004. *Русский мир*. Режим доступа: http://www.e-reading.club/bookreader.php/73613/Stolyarov_-_Russkiii_mir.html (8.08.2016).

ТИШКОВ, В. А., 2007. Русский мир: смысл и стратегии. *Стратегия России*, 7, 5–15.

Nina Kozlovtsava

Pushkin State Russian Language Institute

RUSSIAN WORLD AND THE CULTURAL MEMORY OF RUSSIAN COMPATRIOTS

Summary

The process of globalization in the conditions of aggravation of the geopolitical situation and finding acceptable solutions requires special attention to the Russian world, which is traditionally understood as a transcontinental community of carriers of Russian collective memory who share the values of Russian culture, speak Russian and are loyal to Russia. Collective, in particular cultural memory determines and stabilizes the identity and specificity of any community. Russia as a country of centuries-old culture which has an inestimable humanitarian value to civilization, should maintain and provide understanding of Russian cultural values, masterpieces of Russian culture in the Russian language and values of the Russian language as the carrier of this culture as well as their accessibility

to those in need. It appears that the optimal organization of activities in this area is built with the involvement of the Russian Diaspora. However, the question arises whether its representatives are carriers of the same identity as the modern Russians. Taking into consideration value-based ideas, cultural and historic realia and perceptions of the basic signs of Russian-ness which are embedded in the collective memory of compatriots is necessary to preserve, support and further the development of the Russian world.

KEYWORDS: Russian world, compatriots abroad, cultural memory, cultural policy.

Nina Kozlovtseva

Aleksandro Puškino valstybinis rusų kalbos institutas, Maskva, Rusija

RUSŲ PASAULIS IR RUSŲ KULTŪRINĖ ATMINTIS

Santrauka

Globalizacijos procesai ir pablogėjusi geopolitinė situacija atkreipė dėmesį į *rusų pasaulio* sąvoką. Ši sąvoka tradiciškai apima tarpkontinentinę bendruomenę, kurią vienija šie bruožai: bendra kolektyvinė atmintis, rusų kultūros vertybių branginimas, kalbėjimas rusų kalba ir lojalumas Rusijai. Kolektyvinė kultūrinė atmintis yra vienas iš svarbiausių bendruomenę formuojančių faktorių. Rusija, kuri svarbi visai mūsų civilizacijai, yra senos kultūros šalis ir privalo rūpintis rusų kultūros vertybių išsaugojimu, pačios rusų kalbos puoselėjimu ir jos pasiekiamumu visiems besidomintiems. Teigtina, kad šiuose procesuose svarbų vaidmenį atlieka rusų diaspora užsienyje, tačiau kyla klausimas, ar jų tapatybė sutampa su Rusijoje gyvenančių žmonių tapatybe. Rusų pasaulio vystymuisi ir išsaugojimui svarbu, kad sutaptų žmonių vertybės, kultūrinės ir istorinės realijos, supratimas apie pagrindinius rusiškumo bruožus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rusų pasaulis, rusai užsienyje, kultūrinė atmintis, kultūrinė politika.

Наталья Лихоманова

Киевский университет имени Бориса Гринченко

ул. Тимошенко 11Б, Киев, Украина

E-mail: likhomanovan@gmail.com

Область научных интересов автора: современный литературный процесс, постколониальные студии, нарратология

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСИИ И НАРРАТИВ

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам нарративных стратегий постколониальной литературы. Теоретической основой служит работа Хоми Бхабха «Нация и наррация», в которой основоположник метода постколониального анализа рассматривает отдельные произведения как форму текстуальной самоидентификации нации, а также комплекс работ современных украинских исследователей постколониальной проблематики на постсоветском пространстве (М. Павлышина, Т. Гундоровой, Н. Рябчука, О. Юрчук). Практическое применение метода демонстрируется на примере анализа произведений современных украинских авторов (Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Сергея Жадана, Свитланы Пыркало).

Анализируется образ рассказчика, как правило, это поэт, путешествующий за пределами родной страны и демонстрирующий как личные, так и общекультурные национальные рефлексии. Характерно, что авторы таких произведений часто используют особую жанровую форму – прозиметр (или мениппея, согласно определению М. Бахтина), соединяющий прозу и поэзию в одном тексте и создающий таким образом особое доверительное отношение к образу нарратора.

Результатом статьи становятся выводы о характерном для формирования современного украинского постколониального дискурса «номадического мышления» (Жиль Делез).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: постколониальные рефлексии, нарратив, номадическое мышление, современная украинская литература.

Британский литературовед Питер Барри считает, что постколониальная критика отрицает «универсальный» стандарт литературы, канон как безоговорочный образец письма и

репрезентации реальности, поскольку выводит маргинальные литературы из круга явлений второстепенного плана, а также нивелирует периферийную отстраненность от «центра» интеллектуальных и культурных исканий.

Как отдельная гуманитарная дисциплина постколониализм утверждается в 90-х годах XX века с появлением исследований Эдварда Саида («Культура и империализм»), Хоми Бхабха («Нация и наррация»), Гаятри Чакраворти Спивак («В иных мирах»). В своем развитии она преодолела этапы, которые, по мнению Питера Барри, совпадают с этапами развития феминизма: от критики колонизатора к исследованию самого себя (Барри 2008: 229).

Два течения постколониализма формируют и разную методологическую основу подобного типа исследований. Одно из них сформировано работой Эдварда Саида «Ориентализм», в которой ученый анализирует особенности письма О. де Бальзака, Ш. Бодлера, Лотреамона и демонстрирует их влияние на формирование социального образа европейского расового превосходства. Истоком второго являются работы Хоми Бхабха «Нация и наррация» и «Местонахождение культуры», в которых анализируется сложный комплекс вычленения текстуальности, а также процесс формирования национального дискурса, формирующий амбивалентность нации в контексте определенной нарративной стратегии, когда такие понятия как «народ», «меньшинство», «культурное отличие» воспринимаются либо как метонимические категории, либо как постоянно сливающиеся в процессе сотворения («написания») (Х. Бгабха) нации. Постколониальная мифологизация в таких текстах часто сосуществует и одновременно противопоставляется постколониальной рефлексии. Также в своей работе американский исследователь утверждает, что разнообразность нарративной модели нации обусловлена прежде всего ее разнородностью и гибридностью.

Предметом нашего исследования выступают нарративные особенности постколониального романа в украинской литературе последних десятилетий. Поскольку сам термин (наряду с постмодернистским романом) достаточно часто употребляется в современном литературоведении, мы не останавливаемся на вопросе целесообразности его использования в контексте данной статьи. На примере произведений Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Свитланы Пырколо, Сергия Жадана мы можем проследить процесс формирования и разрушение национальных стереотипов, поиск и воплощение идентичности путем преодоления постколониальной рефлексии, а также сосуществование в одном текстуальном поле письма оппозиции «своего» и «чужого».

«Характерно, что постколониальные писатели обновляют или создают доколониальную версию собственной нации, отрицая новейшее и современное, испорченное колониальным статусом их стран» (Барри 2008: 231). Именно под таким углом формируется наррация в произведениях таких современных авторов как Мария Матиос, Василь Шкляр, Юрий Винничук, Оксана Забужко, Володимир Лыс, Лариса Деннисенко, Андрий Кокотюха, демифологизирующих советское прошлое.

Существенным, на наш взгляд, является и распространение в современной украинской литературе так называемого «номадического мышления» (Жиль Делез), пространственного и временного отстранения от «своего», способствующего переосмыслению собственной личностной и национальной идентичности, находясь за границей своей страны .

В современном украинском литературоведении методологический инструментарий постколониальных студий используется в работах М. Павлишина, Н. Зборовской, Я. Полищука, П. Иванишина, А. Синченко и др. Знаковыми явлениями стали публикации исследований Мыколы Рябчука «Постколониальный синдром. Наблюдения» (2011), Тамары Гундоровой «Транзитная культура. Симптомы постколониальной травмы» (2013), Олены Юрчук «В тени империи. Украинская литература в свете постколониальной теории» (2013).

Отдельно следует остановиться на монографии Тамары Гундоровой, поскольку данная книга - своеобразное продолжение предыдущего исследования украинского литературоведа под названием «Постчернобыльская библиотека. Украинский литературный постмодерн» (2005) и посвящена анализу понятия постколониальной травмы в украинской культуре, которую исследователь представляет как единый нарратив. Транзитная культура, по мнению Гундоровой, является своеобразным переходным этапом, когда чувствуется присутствие прошлого в настоящем, и в тоже время есть угроза, что прошлое может повториться в будущем. Поэтому тема защиты объекта (тела, границ) является сквозной в творчестве анализируемых нами писателей: «Не руш моїх кіл – мої кола тобі не належать», – пишет Оксана Забужко, вынося в эпитафию и напоминая нам слова Архимеда, сказанные им римскому легионеру, когда римляне захватили Сиракузы (ведь, как известно, у древних греков круг выступал символом целостности и суверенности) (Забужко 2000: 11).

Травмированное постколониальное сознание, травмированная история, травмированное тело являются не только убежищами новых смыслов, но и угрозами для сознания, истории, тела. Травматические события возвращаются через симптомы, повторяются в снах, событиях, жестах.

Нужны особые усилия, особенное прорабатывание памяти, чтобы оторваться от травматического прошлого, освободить современность и локализовать собственное «я»: исчезнувший, «потерянный объект становится частью субъекта и продолжает существовать в нем как «другой», влияя на самоощущение себя, ориентацию в мире, этические и культурные ценности» (Гундорова 2013: 15). Именно такие усилия прорабатывания собственного «я», по мнению Т. Гундаровой, и фиксирует современная украинская литература.

Цитата из романа современной украинской писательницы Свитланы Пырало «Не думай о красном» может служить иллюстрацией данного тезиса: «Українці не люблять інших українців за кордоном. Ми наганяємо одне на одного депресію. Коли за кордоном зустрічаються двоє поляків чи бразилійців, вони радіють одне одному. А коли зустрічаються двоє українців, вони обоє тільки кажуть: о, і ти теж з України, потім буде розгублена мовчанка, а потім вони намагатимуться якомога швидше розбігтися. <...> Можливо, ми не знаємо, якою мовою говорити – російською чи українською, чи нам не хочеться визнавати, що ми покинули Україну, коли всі її покидають <...> Можливо, нам подобається бути унікальними представниками неznаної країни, розповідати людям, де знаходиться Київ і що він далеко від Сибіру, казати, що Україна – це така невідкрита Європа...» (Пырало 2006: 51–52)³².

На наш взгляд, при анализе особенностей постколониальной наррации целесообразно использовать метафору «номадического мышления» Жюлья Делеза, о которой французский философ говорит в своей работе «Логика смысла». С его точки зрения, номадическое (кочующее) мышление противостоит оседлому, рационалистическому мышлению. «Номадическое мышление» стремится сохранить различие и разнородность понятий там, где «государственное мышление» выстраивает иерархию и сводит все к единому центру-субъекту. Понятие, освобожденное от структуры репрезентации, представляет собой точку воздействия различных сил, которые противопоставляются власти. Последняя является продуктом репрезентации и направлена на создание иерархии, в то время как свободная игра сил разрушает

³² «Украинцы не любят других украинцев за рубежом. Мы наганяем друг на друга депрессию. Когда за рубежом встречаются двое поляков или бразильцев, они радуются друг другу. А когда встречаются двое украинцев, они оба лишь говорят: о, и ты тоже из Украины, потом следует пауза растерянности, а затем они постараются как можно быстрее разбежаться <...> Возможно, мы не знаем, на каком языке говорить – русском или украинском, или нам не хочется признаться, что мы бросили Украину, когда все ее бросают <...> Возможно, нам нравится быть уникальными представителями неизвестной страны, рассказывать людям, где находится Киев и что он далеко от Сибири, говорить, что Украина – это такая неоткрытая Европа...» (Перевод наш – Н. Л.).

любой централизованный порядок: «вместо замкнутого пространства, поделенного между фиксированными результатами, в соответствии с гипотезами [о распределении], подвижные результаты распределяются в открытом пространстве уникального и неделимого броска. Это – номадическое, а не оседлое, распределение, где каждая система сингулярностей коммуницирует и резонирует с другими, причем другие системы включают данную систему в себя, а она, одновременно, вовлекает их в самый главный бросок. Это уже игра проблем и вопроса, а не категорического и гипотетического» (Делез : 89).

Используя метафору номадического мышления Жюлья Делеза, мы можем говорить и о понятии номадического нарратива, а также формирования его специфики, например, в современном украинском романе. Достаточно распространенный сюжет: писатель, ученый или журналист, путешествуя за пределами родной страны, демонстрирует читателю собственные интеллектуальные, национальные и автобиографические рефлексии (роман Юрия Андруховича «Московиада» (1993), в котором центральным персонажем и рассказчиком выступает Отто фон Ф. – поэт и студент Литературного института имени А. М. Горького и события, соответственно пародийно-игровому названию, происходят в Москве, роман Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса» (1996), героиня которого приезжает в США по программе академического обмена Фулбрайт, роман Свитланы Пырколо «Не думай о красном» (2004), в котором повествование идет от имени журналистки, несколько лет проработавшей на украинских телеканалах и получившей приглашение работать в офис ВВС (Лондон).

Все три романа имеют автобиографическую основу, поскольку Ю. Андрухович в свое время учился в Московском Литинституте, О. Забужко с 1992 по 1994 годы была в Пенсильванском, Гарвардском и Питсбургском университетах в качестве «приглашенного писателя» и фулбрайтского стипендиата, а Свитлана Пырколо до сих пор работает в лондонском офисе ВВС. Объединяющим началом творчества этих авторов есть то, что все они изначально презентовали себя как поэты, о чем и пишет С. Пырколо: «Робота ж мені подобалася. У ній не було майже нічого творчого, і це було чудово. Я не люблю творчих робіт, бо тоді немає натхнення і сили писати вірші ночами» (Пырколо 2006: 20)³³.

Освоение чужого пространства в номадическом нарративе романа заканчивается изданием сборника любовной поэзии: «Незабаром я вже тримала в руках книгу. Мені погано

³³ «Работа мне нравилась. В ней не было ничего творческого и это было прекрасно. Я не люблю творческих работ, потому что нет вдохновения и сил писать стихи ночами» (Перевод наш – Н. Л.).

вірилося в те, що я маю дотичність до цих англомовних віршованих текстів із дикими римами. <...> Скоро відбулася і презентація <...> До мене підходили різні незнайомі пані і панове, із якими ми говорили про абсолютно недотичні до поезії речі, наприклад, про те, як, живучи в Лондоні, іноді страшенно хочеться борщу <...> Хтось мені говорив, що моя поезія продовжує якусь традицію, яка, своєю чергою, продовжує іншу традицію» (Пыркало 2006: 349)³⁴. Як видим, і Хоми Бхабха аналізує націю як нарративну модель і прежде всего сосредоточивается на соотношении «своего» и «чужого», подчеркивая значимость «пограничного» пространства. Осмысление «себя» и «другого» всегда находилось в силовом поле конфронтации и противопоставления, таким образом создавая мифологическую картину мира, но именно в постколониальном нарративе «чужое» может заменить «свое», так как чуждым становится собственная страна и собственный язык. Таким образом, и героиня романа Светланы Пыркало приходит к открытию собственного Я через осмысление и восприятие Чужого, чувство собственной идентичности происходит путем временного, географического и языкового дистанцирования. Хоми Бхабха непосредственно прошел через испытания эмиграции и лично почувствовал момент «потери своего сообщества, чтобы уже в другое время и в другом месте пережить ситуацию сборов. Сборы изгнанников и беженцев; сборы на окраинах «иностранной» культуры; сборы на границах; сборы в гетто и кафе городских центров; сборы в полу-знании и полу-понимании иностранных языков или сбор среди Других, естественно владеющих языком; сбор знаков подтверждения и одобрения, степеней, дискурсов, дисциплин; сбор воспоминаний о недоразвитости или о иных мирах; сбор крупниц прошлого в ритуале возрождения; сбор настоящего» (Бхабха 2005: 161). В своей работе «Местонахождение культуры» на вопрос о сосуществовании идентичности и ассимилятивности отвечает так: «Нарративная структура *исторического* вытеснения «призрачного» или «двойственного» прослеживается в интенсификации нарративной синхронии в качестве наглядно наблюдаемой позиции в пространстве: «схватить неуловимый ход чистого исторического времени и понять его через непосредственное созерцание» (Бхабха 2005:161).

³⁴ «Незадолго я уже держала в руках книгу. Мне плохо верилось в то, что я имею отношение к этим англоязычным стихотворным текстам с дикими рифмами <...> Скоро была презентация <...> ко мне подходили разные незнакомые люди, с которыми мы говорили про абсолютно безотносительные к поэзии вещи, например, как, живя в Лондоне, иногда жутко хочется борща <...> Кто-то мне говорил, что моя поэзия продолжает какую-то традицию, которая, в свою очередь, отрицает какую-то другую традицию.» (Перевод наш – Н. Л.).

Ироничный взгляд на свой мир демонстрирует главная героиня романа «Не думай о красном» при описании вечера прощания с друзьями перед отъездом в Великобританию, полностью подтверждая культурные стереотипы «своего» и «чужого»: «Ми пили горілку, їли сало, солоні огірки та квашені помідори, а зі стіни на нас, молодих українських письменників та журналістів, з надією й жахом дивився вишитий Шевченко» (Пырколо 2006: 4)³⁵. Впрочем, и мир чужого, хотя и оттеняет собственное мировосприятие, но вовсе не разрушает гастрономические стереотипы культурной идентичности: «На сніданок у готелі давали вівсяні пластівці з молоком і тости з маслом. Для британця це – смачний сніданок, після якого треба натягнути костюм у смужечку і поїхати на потязі в Сіті стежити за ринком цінних паперів. Для молодій відносно здорової українській людині – загрозливий симптом» (Пырколо 2006: 13).³⁶

Автор вводит в текст автобиографические и фактографические детали, иронически упоминает о культовых личностях современности, например, рассказывая о встрече с пророком украинской литературы господином Андруховичем, который приезжает на славистический конгресс, где должен прочитать лекцию на тему: «Как плохо, или наоборот, как хорошо, или вообще как быть писателем в стране, языка которой никто не знает, толком тебя перевести не может, а в самой стране народ бедный и книги не покупает, и бог его знает, что с этим делать, но все-таки постмодернизм и гибель цивилизации, что есть очень хорошо», или на какую-либо подобную тему» (Пырколо 2006: 221).

Важно заметить, что вновь актуализируется столь редко встречающаяся литературная форма как прозиметр, соединяющая в одном литературном произведении элементы прозы и поэзии. Наиболее известным прозиметром является «Новая жизнь» Данте, где знаменитая поэтическая история любви, изложенная в «сладком новом стиле», соединяются с прозаическими авторскими комментариями, уточнениями относительно жизненных обстоятельств и размышлениями о поэзии. Термин «прозиметр» (prosimetrum) появляется в XII веке, хотя подобная форма литературного произведения уже существовала в III веке до н. э. и связана она с именем философа Мениппа из Гадары, известного своими сатирами, которые позже были названы менипповыми. До наших дней его произведения не дошли, хотя известно,

³⁵ «Мы пили водку, ели сало, соленые огурцы и квашеные помидоры, а со стены на нас, молодых украинских писателей и журналистов, с надеждой и ужасом смотрел вишитый Тарас Шевченко» (Перевод наш – Н.Л.).

³⁶ « На завтрак в гостинице давали овсяные хлопья с молоком и тосты с маслом. Для британца это – вкусный завтрак, после которого нужно одеть костюм в полосочку и поехать на поезде в Сити наблюдать за рынком ценных бумаг. Для молодого относительно здорового украинца – угрожающий симптом» (Перевод наш – Н.Л.).

что в античности они пользовались особой популярностью, поскольку соединяли в себе не только стихи и прозу, но элементы серьезного и смешного, высокого и низкого, обыденного и фантастического.

Произведения, жанровые особенности которых генетически связаны с Менипповой сатирой, Михаил Бахтин назвал обобщающим термином «мениппея» и определил как жанр «конечных вопросов». Очевидно, что анализируемые нами произведения содержат не только общие черты мениппеи, но и композиционно часто строятся по принципу прозиметра.

Например, в одном из последних своих романов «Месопотамия» Сергей Жадан соединяет девять рассказов, каждый из которых носит имена персонажей книги и содержит их личную историю, и «тридцать поэтических уточнений» (Жадан 2013: 3). Общим пространством мениппеи С. Жадана становится Харьков советского времени. Рассказы объединены общей сюжетной линией, в которой переплетаются мистичность и обыденность, а поэзия служит своеобразным фоном («как музыка в фильмах Хичкока» (У. Эко), повышающая степень доверия к рассказчику).

Или, например, роман «Московиада» Ю. Андруховича, в котором присутствуют все жанровые черты мениппеи: мотив путешествия в потусторонний мир, элементы карнавализации художественного пространства, а также мотив инициации, перерождения и, возможно, дальнейшего возрождения главного героя. Отметим, что и архитектурно произведение делится на две части: основную (повествовательную) прозаическую (роман «Московиада») и «дополнение к роману» - лирическую (избранная поэзия «Из цикла «Письма в Украину»).

Главный герой Отто фон Ф. часто вспоминает малоизвестные стихи Ю. Андруховича, написанные в 1990 г. в Москве, которые, возможно, и стали отправной точкой трансцендентного путешествия студента Литинститута, либо точкой невозвращения в Украину. Цикл поэзий не столько демонстрирует лирическое «я» главного героя (если вспомнить подобный прием соединения и идейно-эстетического дополнения поэзии и прозы в одном произведении, то можем к примеру вспомнить роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака), сколько представляет предысторию героя, автора и самого произведения (в комментариях к роману сказано, что цикл был написан и опубликован значительно раньше романа). Перед нами лирический портрет как самого рассказчика, так и города, в котором происходят события: « А тим часом я мандрую Московою, / де метро трагічне і стратегічне, / що не є такою же лафою, / чи халвою (слово яке магічне!), / адже це всього лиш система сховищ / у сусідстві з пеклом, і вкрай сумнівно, / щоб

такий собі простий Андрухович / розкусив систему. Й коли о пів на / першу ночі ходиш підземним холмом / кільцевої лінії, ще в тридцяті / героїчно зданої комсомолом, / мимоволі згадуєш не Буццати / і, тим більше, не Кафку, а щось дорожче, / як, наприклад, розстріли, наркомати, / портупей...» (Андрухович 1997: 255).³⁷

Родная страна для лирического героя остается страной «подпольного барокко», потерянным раем, отправной и конечной точкой его путешествия: «Україна ж – це країна бароко. / Мандрувати нею – для ока втіха» (Андрухович 1997: 250).

Литература

АНДРУХОВИЧ, Ю., 1997. *Рекреації. Московіада*: Романи. Київ: Час.

БАРРІ, П., 2008. *Вступ до теорії: літературознавство та культурологія*. Київ: Смолоскип.

БХАБХА, Х., Местонахождение культуры. *Перекрестки*, 3–4, 161–192.

ГУНДОРОВА, Т., 2013. *Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми*. Статті та есеї. Київ: Грані-Т.

ДЕЛЕЗ, Ж., 1998. *Логика смысла*. Москва: Раритет. Екатеринбург: Деловая книга.

ЖАДАН, С., 2014. *Месопотамія*: Роман. Харків: Клуб сімейного дозвілля.

ЗАБУЖКО, О., 2000. *Новий закон Архімеда*: Вибрані вірші 1980-1998. Харків: АКТА.

ПИРКАЛО, С., 2006. *Не думай про червоне*. Роман не для молодшого шкільного віку: Роман. Київ: Факт.

Natalia Likhomanova

Kyiv Boris Hrinchenko University, Ukraine

POSTCOLONIAL REFLECTION AND NARRATIVE

Summary

The article is devoted to theoretical and practical aspects of the narrative strategies of post-colonial literature. The theoretical basis is the work of Homi Bhabha, *The Nation and Narration*, in which the founder of the method of the post-colonial analysis considers individual works as a form of textual

³⁷ «А я странствую сквозь Москву. / Здесь метро трагическое и стратегическое, / не похоже это совсем на лафу / и халву (какое слово магическое!) / По соседству от ада, химер и фурий, / по системе убежищ. Сомнительно ныне, / чтоб какой-то там просто Юрий / Андрухович ее раскусил. В половине / первого бродишь глубоким холлом / кольцевой, что еще в тридцатые / героическим строена комсомолом, / и приходят на ум не Буццати / и не Кафка, не будь он к ночи, / а расстрелы и наркоматы, / портупей» (Перевод Андрея Пустогарова).

identity of the nation, as well as a set of works of modern Ukrainian researchers of postcolonial perspective on the post-Soviet space (M. Pavlyshina, T. Gundorova, M. Ryabchuk, O. Yurchuk). Practical application of the method is demonstrated in the analysis of the works of contemporary Ukrainian writers (Yuriy Andrukhovych, Oksana Zabuzhko, Sergiy Zhadan, Svitlana Pyrkalo).

The article includes analysis of the narrator image, who, as a rule, is a poet, traveling outside their home country and demonstrating both personal and cultural national reflections. It is significant that the authors of such works often use a particular genre form – prosimeter (or Menippea, as defined by M. Bakhtin) – connecting prose and poetry in a single text and thus creating a special trusted relationship with the image of the narrator.

The article concludes with findings about “nomadic thinking” (Gilles Deleuze) which is characteristic of the formation of modern Ukrainian postcolonial discourse.

KEYWORDS: postcolonial reflection, narrative, modern Ukrainian literature.

Natalija Lichomanova

Boriso Grinčenko vardo Kijevo universitetas, Ukraina

POKOLONIJINĖS REFLEKSIJOS IR NARATYVAS

Santrauka

Straipsnyje aptariami teoriniai ir praktiniai pokolonijinio naratyvo strategijų aspektai. Teoriniu pagrindu pasirinktas Homi Bhabha darbas *Tauta ir naratyvas*, kuriame atskiri grožiniai tekstai tiriami kaip priemonė formuoti tautos identitetą. Teorinėje apžvalgoje taip pat aptariami ukrainiečių tyrėjų darbai apie pokolonijonę problematiką postsovietinėje aplinkoje. Praktinėje dalyje analizuojami šiuolaikinių ukrainiečių autorių kūriniai. Aptariamas pasakotojo įvaizdis – dažniausiai tai poetas, keliaujantis už savo gimtosios šalies ribų bei apmąstantis gimtosios šalies bei asmenines realijas. Būdinga, kad rašytojai dažnai naudoja specifinę žanro formą – menipėją, kuri viename tekste jungia poeziją ir prozą bei padeda sukurti skaitytojo pasitikėjimą pasakotoju. Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikiniam ukrainiečių literatūros diskursui būdingas „keliautojo mąstymas“.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pokolonijinė refleksija, naratyvas, keliautojo mąstymas, šiuolaikinė ukrainiečių literatūra.

Ольга Макаровска

Университет им. А. Мицкевича в Познани

al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

E-mail: filin@wp.pl

Область научных интересов автора: лингвоконцептология, теория межкультурной коммуникации, интернет-коммуникация, лингводидактика

РЕДИРЕКТИВНОСТЬ КОТОМАТРИЧНЫХ ТЕКСТОВ

В статье рассматриваются избранные особенности котоматрицы как одного из жанров Интернета, единодушно относимого учеными к средствам новых медиа. Ряд основных черт котоматрицы (интерактивность, автономия, людичность) идентичны признакам Интернета, другие присущи визуально-вербальным интернет-мемам (напр., (псевдо)анонимность, креолизованность), третьи – любым авторским текстам, отсылающим к иным, вербальным и визуальным, источникам (креативность, редирективность). В статье сопоставляются понятия „интертекстуальность” и „редирективность”, а также обосновывается необходимость введения последнего. Выделяются и описываются разные виды редирективности, а также выявляется степень связи котоматричного текста с первоисточником. В ходе исследования обращается внимание на то, что редирективность котоматричных текстов, благодаря их популярности и возможности распространяться посредством новых медиа (сеть Интернет, электронная почта и др.), играет определенную роль в процессе оказания культурного влияния на межпоколенческом и межкультурном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интернет-мем, котоматрица, креолизованный текст, интертекстуальность, редирективность.

Технические возможности интернета, одного из наиболее репрезентативных видов новых медиа, способствуют возникновению новых сетевых жанров, к которым относятся интернет-мемы. Несмотря на возрастающий интерес к ним, явление сетевого мема изучено слабо. Неразрешенной остается проблема его определения (Śliz 2014: 154–158), жанровой принадлежности, «онтологической природы» и «методики сбора материала» (Выналек 2014: 59). Не очерчены «границы изучаемого явления» (Выналек 2014: 59) и закономерности его функционирования. Многомерность и многоплановость интернет-мемов, наряду с другими

факторами, обуславливает их неоднозначное понимание. Они трактуются как: э-знак (М. Kamińska); явление сетевого фольклора (Д. Радченко); текст культуры (J. Nowak); средство межкультурной и интернет-коммуникации (Ю. В. Щурина); элемент массовой культуры (Т. Е. Савицкая). Предпринимаются попытки классификации интернет-мемов (W. Kołowiecki, Ю. В. Щурина, Е. А. Выналек), анализируется специфика отдельных меметических жанров (Н. Kudlińska, М. Kamińska, А. Walkiewicz, И. В. Бугаева, Л. В. Ухова). При этом результаты научных изысканий разбросаны по множеству источников, что затрудняет их отслеживание, установление степени их разработанности и составления целостного образа состояния методов меметических исследований. Кроме того, одни мемы описаны более подробно (демотиваторы), другие лишь в общих чертах (лолкоты), третьи вообще не попали в поле зрения специалистов (лолдоги).

К малоизученным мемам относится котоматрица (КМ), т. е. фотографии животных с надписями. В единственной работе по теме в польской и доступной русскоязычной литературе по предмету (на момент написания этих строк) была дана лишь общая характеристика КМ как лингвовизуального феномена и разработана методология исследования (Макаровска, в печати).

Цель настоящей статьи – рассмотреть специфику редирективности как одного из основных признаков КМ. Для ее реализации нужно решить следующие задачи: выявить главные признаки КМ; установить специфику отношений между компонентами КМ как креолизованного текста; обосновать введение термина *редирективность*; охарактеризовать связи КМ с культурными источниками; раскрыть значение редирективности как культуросохраняющего фактора. В качестве ведущих методов применяется описание и дискурс-анализ. Дискурс есть «особый способ общения» (здесь компьютерно-опосредованный, в режиме отсроченного времени) и понимания «какого-то аспекта мира» (Йоргенсен, Филлипс 2008: 18), т. е. текстов КМ. Поскольку дискурс-анализ «исходит из признания тесного взаимодействия дискурса» с культурой (Колокольникова 2012: 7), то цель его применения – выявить особенности формирования культурного затекста КМ как эффекта связи текста с экстерофактами (Белянин 2004: 112). Исследовательский материал (около 3000 КМ) и примеры взяты с сайта <http://kotomatrix.ru>, надписи даются без правки.

Итак, основные признаки КМ определяются местом функционирования, принадлежностью к вербально-визуальным мемам, способом создания, поэтому ей присущи: *интерактивность*, предполагающая взаимодействие человека и компьютера (Czajkowski 2002:

263) в ходе создания, передачи и приема КМ; **автономия**, заключающаяся в возможности свободного распространения; **людичность** или использование КМ обычно в развлекательных целях; **(псевдо)анонимность**, т. е. Частичная / полная безымянность ее автора/-ов; **доступность**, начиная от простоты создания КМ и заканчивая легкостью распространения любого содержания, не исключая информации спорного и негативного характера, в том числе с употреблением общенной лексики (<http://kotomatrix.ru/search.php?q=пиздец>); **креативность** как результат умственного преобразования на уровнях мысли и языка (Flusser 2014: 195); **креолизованность**, иначе, сочетание «элементов различных семиотических систем» (Громова 2014: 60).

Специфика связи элементов этих систем, точнее, вербального и иконического компонентов, в ее двунаправленности, обусловленной особенностями текста и фотографии. Например, асимметричность и фрактальность связи компонентов КМ определяется возможностью снимка функционировать независимо от надписи и быть основой любого количества КМ.

Связь текста с фотографией во многом зависит от того, является ли он прецедентным, редирективным или оригинальным. Так, **автосемантические отношения**, подразумевающие смысловую полноту и самостоятельность текста, наблюдаются между снимком и:

- прецедентным текстом, например, *Баба с возу кобыле легче* (лошадь запряжена в микроавтобус, завалившийся на бок). Полностью цитируемые прецедентные тексты к редирективным не относятся;

- редирективным текстом, являющимся фрагментом прецедентного текста, например, строки припева из песни «Притяженья больше нет», слова и музыка К. Меладзе *Сто шагов назад... // Тихо, на пальцах...* (котик «идет» на задних лапках спиной к объективу);

- редирективным текстом, являющимся трансформацией прецедентного текста, но удерживающимся в границах «чистой» прецедентности, например, при усечении фразеологизмов *Баба с возу...?* (лошадь удивленно смотрит в объектив) или их контаминации *Баба с возу, потехи час* («мартующая» пара котов);

- оригинальным текстом, что встречается не часто. В таких случаях текст отличается малоформатностью, четкой жанровой принадлежностью и формально-содержательной завершенностью. Например, частушка *Ох, замучили вы Мусю! // Хватит тут, сюсю-мусю! // А не то я вас поку' сю! // Или даже покусю' !* (котик стоит на задних лапках и «поет»).

Отдельные оригинальные и редирективные тексты обладают автосемантической потенциальностью, т. е. могут употребляться в определенных ситуациях общения, например: *Налегай, Васятка! Где ты такое еще попробуешь...* (малыш склонился над кошачьей миской с кормом, рядом «подбадривающий» его котик) – фразу может произнести бабушка, угощая внука чем-нибудь вкусным.

Синсемантические отношения, т. е. «взаимозависимость частей, их отдельная смысловая неполнота» (Яковлева 2013: 160), характерны для большинства оригинальных и редирективных текстов.

Редирективность (от англ. *redirect* – перенаправлять, переадресовывать) текста означает смысловую отсылку к другим культурным (смысловым) источникам; культура – «мир смыслов» (Кармин 2001: 15–16).

Ввод нового понятия в свете уже существующей *интертекстуальности* может вызвать сомнения. Но их не избежать и в связи с переносом последней в область исследований интернет-коммуникации (в частности интернет-жанров) по ряду причин, как то:

- нерешенность вопроса о специфике категории интертекстуальности в интернет-коммуникации, где она «имеет иную значимость и иное звучание по сравнению с коммуникацией традиционной» (Колокольцева 2016: 72);

- сложность, многоаспектность, незавершенность категоризации и неопределенность границ интертекстуальности (Gajda 2010: 14, 17). Говорится даже о «девальвации термина и девальвации его „практической работоспособности“, операциональной значимости» (Чернявская 2014: 76). Автор термина Ю. Кристева в своей докторской диссертации 1974 г. отказалась от него ввиду неправильной трактовки учеными (Шайтанов 2005);

- недостаточная разработанность проблемы интертекстуальности в польском языковедении из-за незначительного интереса к ней со стороны лингвистов (Gajda 2010: 14), контрастирующая с широкомасштабными литературоведческими исследованиями. В них интертекстуальность рассматривается как интеракция (Markiewicz 1989: 215–216) на линии *текст – текст/-ы, текст – архитекст, текст – контекст, текст – жанр и жанр – жанр* (Gajda 2010: 11; Wójcicka 2010: 148–151). Многомерность же взаимодействия нередко разрастается, пересекая границы текстовых источников и переходя в выявление далеко идущих связей. Суть этой проблемы, затронувшей и российский научный дискурс, представил

И. Шайтанов: «... скажем, если в рассказе Зощенко появляется кочегар Петр и с ним выпивает сантехник Андрей, то вся сцена начинает светиться новозаветным светом» (Шайтанов 2005);

- изучение интертекстуальности преимущественно на текстовом материале, вышедшем из-под пера специалистов (писателей, журналистов). Тексты же интернет-мемов – продукт деятельности непрофессионалов, обладающий, пользуясь словами С. Гайды, «иными делимитационными и межтекстовыми механизмами, в сравнении с классическими письменными/печатными текстами [перевод наш – О. М.]» (Gajda 2010: 14).

Понятие *редирективность* не только интерпретационно не перегружено, но и аннулирует вопрос корреляции текста с экстеромиром. Если интертекстуальность суть связи текста с другими текстами, а не его отнесенность «к явлениям действительности за пределами интерпретируемого текста» (Москвин 2016: 16), то редирективность изначально предполагает отсылку к любым экстерофактам.

Редирективность текстов КМ есть результат смыслопорождения, для которого источниковой базой служит личный опыт (со)переживания ее автора и всевозможные знания о реальной действительности (знания по А. С. Кармину – вид смыслов). Многие знания конкретизированы, т. е. «привязаны» к экстерофактам (к чему/кому угодно). Факты, «всплывающие» в сознании автора в процессе создания котоматричных надписей и закрепляющиеся в них или подразумевающиеся, и есть **культурные (смысловые) источники**.

От степени распознавания источников во многом зависит степень понимания текстов КМ, хотя их идентификация реципиентом может не совпадать с тем, что подразумевал автор. Например, текст *Откушав яблок молодильных, Кот в сапогах прилёг поспать...* (котенок спит в красном резиновом сапоге) отсылает к русским народным сказкам и сказке Ш. Перро «Кот в сапогах» (элементы источников подчеркнуты). Однако на их основании возникли другие произведения, могущие служить культурным источником в ходе придумывания надписи и ее осмысления. Это мультфильм «Молодильные яблоки» (1974), одноименная книга Д. В. Мансурова в жанре фэнтези и др., а также экранизации сказки Ш. Перро и детская опера Ц. Кюи.

Иногда КМ сразу отсылают к вторичным источникам, созданным с опорой на первоисточники (ПИ) или вбирающим их элементы. Например, КМ с надписью *Маша выросла, // Но манер у нее не прибавилось*. (сцена в троллейбусе: медведь смотрит в окно, а Маша, корпулентная женщина в сарафане и кокошнике, кого-то ругает) отсылает не к сказке *Маша и*

медведь, а к одноименному мультсериалу, критикуемому за неуважительное отношение Маши к медведю.

Связь текстов КМ с первоисточниками определяется с помощью количественных и качественных характеристик. Количество привлеченных ПИ указывает на связь: **одномерную** (*Весна. Коты прилетели* – береза, густо «усеянная» котами; ПИ – картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели»); **многомерную** при использовании двух и более источников (*Трое в лодке, не считая...* // *Да! Теперь уже НЕ СЧИТАЯ Герасима*. – три английских бульдога, стоя на краю лодки, смотрят на воду; ПИ – повесть Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и рассказ И. С. Тургенева «Муму»).

При многомерной связи особое значение приобретает принадлежность ПИ к одному или нескольким тематическим кругам, что позволяет разделить тексты КМ на две группы. Первая включает тексты, чья связь с ПИ является **монотематической**. Например, тематический круг надписи *Ай да Пушкин, ай да сукин сын! // Ты сам-то изумруды ГРЫЗТЬ пробовал?* (на снимке удивленная белка) – творчество А. С. Пушкина. Он очерчен с помощью отсылки к «Сказке о царе Салтане...» и письму поэта П. А. Вяземскому, где говорится об окончании работы над трагедией «Борис Годунов».

Вторая группа охватывает тексты с **политематической** связью с ПИ. Например, тематические круги надписи *Кот – без сапог... // Конь – без пальто... // Нет... Что-то в этом мире НЕ ТО!* (котик сидит на крупе лошади) задаются сказкой Ш. Перро и шутивным ответом «Конь в пальто!» на вопрос «Кто?».

По качественным характеристикам связей КМ с первоисточниками выделяется несколько видов редирективности.

О наличии **латентной редирективности** говорит слабая, обычно ассоциативная связь надписей с ПИ, чьи указатели-стимулы могут находиться в тексте и на снимке. Например, первоисточник-ассоциат текста *Трын-трава оказалась // весьма питательной* (мужчина держит огромного зайца) – «Песня про зайцев» (слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина) из кинофильма «Бриллиантовая рука» (1968), на что указывают слово *трын-трава* и заяц на снимке.

В ряде случаев КМ вызывают внетекстовые ассоциации с помощью лишь иконических указателей. Например, КМ с надписью *А что это мы, такие вкусные // в лесу одни бродим?* (лисица, хитро щурясь, обращается к невидимому собеседнику) может отсылать к сказке

«Колобок» или к стереотипу лисы (хитрая хищница), раскрывающемуся в ситуации ее возможной встречи с потенциальной жертвой.

Для генерирования текстовых ассоциаций, ведущих к распознаванию ПИ, достаточно одного указателя-стимула, скажем, прецедентного имени (подчеркнуто): – *Иваныч, от имени нашей стаи просим тебя, дай нам телефон Герасима, а то Шарик с соседнего двора надоел...* (сидящего во дворе дедушку окружила группа котов).

Понимание латентно редирективных текстов требует от реципиента знания фактов, «стоящих» за их элементами:

- вербальными, например, употребление глаголов *лежать* и *кричать* как безличных в надписи *И где меня только не лежало ... // А тебя, хозяйка, где только не кричало!* (котик, лежа на сушилке с полотенцами, обращается к невидимой собеседнице) отсылает к выражению *Вас здесь не стояло*, распространившемуся в разговорной речи в 90-х гг. XX в.;

- визуальными, например, надпись *Взялся было Стивен Спилберг экранизировать русские народные сказки...* (при знании, кто такой С. Спилберг) наполняется комическим смыслом лишь при ее отнесенности к снимку (из пасти лягушки торчит хвост золотистой рыбки). Образ лягушки отсылает к сказке «Царевна-лягушка», цвет рыбки – к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, а жуткая ситуация – к саспенсу и фильмам ужасов;

- вербальными и визуальными, например, снимок с котом, грызущим сосульку, в сочетании с надписью *Средство для ликвидации сосулей* отсылает к дискуссии, развернувшейся в 2010 г. после предложения В. Матвиенко (в то время губернатора Санкт-Петербурга) ликвидировать сосульки с помощью лазера (<https://www.youtube.com/watch?v=Rt4695XoQS4>). Было раскритиковано не только оно, но и слово *сосули*, употребленное ею вместо привычного *сосульки* (Макаровска, в печати).

Умеренные и сильные связи КМ с первоисточниками наблюдаются при **явной редирективности**, затрагивающей те же стороны КМ (примеры умеренной связи):

1) вербальную, например, подчеркнутые слова *Лежу, ударенный трубой...* // *...Какое небо голубое...* (котик обхватил лапками металлическую трубу) указывают на песню из фильма «Приключения Буратино» (1976), слова Б. Окуджавы, музыка А. Рыбникова;

2) визуальную, например, надпись – *Мишки где?!!! // – А нечего нашу коготочку занимать!* размещена на обработанной в фотошопе репродукции картины И. Шишкина и К. Савицкого «Утро в сосновом лесу», где вместо медвежат – рыжие коты;

3) визуально-вербальную, например, композиция снимка (собаки, стоящие на задних лапах в угрожающей позе перед пустой миской, между ними котенок с круглыми обиженными глазами) и надпись *И кто тут котенку еду не докладывает?! отсылают к картине В. Ложкина Кто тут котиков не любит?* (http://www.denisus.com/photo/vasja_lozhkin/kto_tut_kotikov_ne_ljubit/37-0-19387).

Умеренные связи текстов КМ с первоисточниками обуславливают разновидности редириктивности, которые условимся называть текстовой, жанро-текстовой и жанровой.

В первом случае словесная ткань надписей содержит фрагменты прецедентных текстов, в т. ч. незначительно модифицированных, например, – *Подскажите, как пройти к дому попа, у которого была собака...* (котик сидит на снегу с веткой красной гвоздики в зубах). По выделенным словам легко восстанавливается бесконечный стишок *У попа была собака*.

Текстовые связи встречаются реже, чем жанро-текстовые как результат сочетания фрагментов прецедентных текстов и некоторых жанровых признаков ПИ. Именно при наличии жанро-текстовых связей между компонентами КМ обнаруживаются сильные синсемантические связи. И дело даже не в том, что надпись без снимка обесмысливается, например, *Муха денежку нашла, // В клуб ночной, она пошла! // Там нарезалась самбуки // и по-полной отождгла!* (муха стоит на голове кверху лапками; ПИ – сказка в стихах «Муха-Цокотуха» К. Чуковского).

Имеется в виду, что в одних случаях фотография восполняет отсутствие вербальной информации. Например, ПИ надписи «Прикол», - *подумал Мурзик. // «Мурло», – подумал ежик.* являются анекдоты про Штирлица. Каждый из них начинается предложением, описывающим ситуацию (<http://www.kulichki.com/~vovka/apodumal.html>). Фотоснимок (котик касается носиком колючек ежика) как раз и замещает первое предложение типа «Встретил как-то кот ежа».

В других случаях понять КМ можно, лишь зная содержание ПИ. Например, на снимке вереница котов устрашающего вида приближается к приостановившемуся вожаку. Надпись – *А кто такая Элис? // И где она живет? // – А вдруг она - собака? // А вдруг она – бульдог?* отсылает к словам М. Башакова, написанным на музыку хита *Living Next Door to Alice* английской рок-группы *Smokie* (<http://www.karaoke.ru/song/2492.htm>). Только знание подчеркнутого фрагмента, не введенного в текст КМ, позволяет осознать выбор именно этой фотографии:

«А что это за девочка и где она живет?

А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?

Ну а мы в такой компании возьмем да и припремся к Элис»

Жанровая редирективность часто сопутствует латентной: КМ с надписью *Гимн города Тамбова. // Исполняет группа товарищей.* (на снимке воюющие волки) отсылает к поговорке-ассоциату *Тамбовский волк тебе товарищ* и к жанру объявления выступлений на концерте.

Конечно, существуют надписи с чисто жанровой редирективностью, когда связь с ПИ прослеживается только на уровне жанровых признаков, ср.: *Петя из дома принес кошака. // Детки в детсадик не ходят пока.* – тигр лежит в центре трехэтажной клумбы, обнесенной низким заборчиком голубого цвета с божьими коровками; ПИ – «садистские стишки». Однако такие надписи более оправданно рассматривать как промежуточную форму между оригинальными и редирективными текстами.

Сильные связи надписи с первоисточником, характерные для КМ с явной редирективностью, предполагают схожесть с ним или его фрагментом: а) почти близнечную (*Счастья полные коты!*, на снимке два красивых толстых кота; прототекст – разговорное выражение *Счастья полные штаны*); б) общую (*Как на Васькины именины // мы купили буженины // ВООТ такой ширины, // ВОООТ такой высоты!*, на снимке котик стоит на задних лапках, вытянув кверху передние; прототекст – русская народная песня *Каравай*, сопровождающаяся танцевальными движениями).

Смешанной редирективности как соединению латентной и явной свойственна комбинация умеренных и слабых связей КМ с первоисточниками и визуально-вербальная форма объективации. Например, подчеркнутые слова в надписи *Опытный пластический хирург сделает ГРЕКА из кого угодно!!!* явно отсылают к объявлениям, начинающимся этой фразой; слово *ГРЕК* в сочетании с раком, вцепившимся клешней в нос рыбака, подспудно указывают на такие первоисточники-ассоциаты как скороговорка *Ехал Грека через реку* и понятие *греческий профиль*.

Воплощение явного, латентного и смешанного видов редирективности с помощью элементов разных семиотических систем/их комбинаций позволяет говорить о ее **вербальной, визуальной и вербально-визуальной** разновидностях.

Парадоксальность редирективности в том, что ее наличие, затрудняющее понимание текстов КМ, содействует их культурному влиянию на межкультурном и межпоколенческом уровне. Культурное влияние КМ заключается не столько в трансляции смыслового и эмотивного посыла или в раскрытии особенностей мировосприятия ее авторов, сколько в

стимуляции стремления (инокультурного) реципиента понять их смысл, побудить его к действию. В идеале – восполнить пробелы в знаниях, начиная с перевода надписей на родной язык (касается инокультурников) и заканчивая поиском и усвоением сведений относительно мало- или неизвестных фактов. Активизация когнитивной деятельности, однако, может не состояться ввиду нежелания реципиента углубляться в познание своей/чужой реальности и культуры.

Несмотря на это, КМ благодаря редирективности служит своеобразным культурным «депозитарием», где «оседают» концепты, информация, факты ушедшей и актуальной действительности. Одни из них больше известны представителям старших поколений (сведения о реалиях СССР), другие с точностью до наоборот (информация о молодежных субкультурах). Иначе говоря, КМ вовлекается в процесс сохранения, воспроизведения и распространения элементов своей и чужой культуры, фактов прошлого и настоящего, напр., исторических (революция, перестройка), событий и проблем современности (президентские выборы, терроризм) и многого другого.

Смысловая отсылка к экстерофактам осуществляется прямо или косвенно, поэтому редирективность вербальных текстов КМ, с учетом визуального компонента, бывает **непосредственной** и **опосредованной**. Первая воплощается в прямом указании на факт, ср.: на снимке кот «переговаривается» с соседом (формой головы, лысиной и очками мужчина напоминает М. С. Горбачева) – *Эх... Ну что за 1991-й! / Правда, Михаил Сергеевич? // Всё раскалывается: / то хозяйкина ваза, то СССР.*

КМ с опосредованной редирективностью отсылают не к фактам, а к связанным с ними источникам, напр., текст *Уходили КОТсомольцы... // На ГАВжданскую войну!!!* (четыре рыжих кота воинственно маршируют) отсылает к песне «Прощание» 1937 г., слова М. Исаковского, музыка Д. Покрасса. Песня, описывающая момент расставания отправляющихся на фронт комсомольцев, парня и девушки, перенаправляет к временам гражданской войны (1917–1922) и к факту, что вступление в комсомол означало мобилизацию.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Тексты КМ есть продукт смыслопорождения, инициированного экстерофактором (фотоснимком). При активизации процессов, происходящих в голове и психике индивида, из памяти могут «извлекаться» удерживаемые в ней культурные источники. Их элементы (с учетом иконического компонента) или прямо закрепляются в тексте КМ, или привлекаются к установлению (вне)текстовых

латентных связей с источниками, или образуют комбинацию латентных и явных связей с ними, формируя таким образом культурный затекст. В итоге создается редирективная КМ, требующая восприятия и понимания во всей смысловой вербально-визуальной комплексности. Специфика функционирования редирективных КМ (свободный доступ, копирование, пересылка, сохранение на разных носителях) способствует передаче, распространению и воссозданию концептов культуры на межпоколенческом и межкультурном уровне.

В целом редирективность КМ, обеспечивающая спаянность с культурными источниками и сохранение памяти о них, возводит ее в ранг текста культуры, прочтение и осмысление которого требует от реципиента знания множества фактов настоящего и прошлого.

Перспектива дальнейших исследований редирективности видится в изучении других (не)креолизованных мемов, плакатов, карикатур, рекламных текстов и пр., в рассмотрении специфики использования и преобразования вербальных элементов культурных источников (буквализация языковых единиц, словообразовательная контаминация, семантическая окказионализация, игра слов и др.), а также в создании концептуария культурных источников объяснительного типа на базе котоматричных текстов.

Литература

- БЕЛЯНИН, В. П., 2004. *Психолингвистика*. Москва: ФЛИНТА, МПСИ.
- ВЫНАЛЕК (СЛОБОДЯН), Е. А., 2014. О природе интернет-мема. In: *Современный русский язык в интернете. Сборник статей*. Москва: Языки славянской культуры, 53–60.
- ГРОМОВА, Н. С., 2014. Креолизация текстов печатных СМИ как способ манипуляции адресатом. In: *Филологические науки. Вопросы теории и практики*, (38) 2014, часть 1, 59–63. Режим доступа: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2014_8-1_15.pdf (См. 31.03.2017).
- ЙОРГЕНСЕН, М. В., ФИЛЛИПС, Л. ДЖ., 2008. *Дискурс-анализ. Теория и метод*. Харьков: Гуманитарный центр.
- КАРМИН, А. С., 2001. *Культурология*. Санкт-Петербург: Лань.
- КОЛОКОЛЬНИКОВА, М. Ю., 2012. *Дискурсивный анализ как метод исследования лексических единиц*. Саратов: СГУ. Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/674.pdf (31.03.2017).
- КОЛОКОЛЬЦЕВА, Т. Н., 2016. Интертекстуальность и гипертекстуальность в интернет-коммуникации. In: *Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов. Коллективная монография*. Москва: Флинта, Наука, 71–95.

- МАКАРОВСКА, О. *Особенности котоматрицы как креолизованного текста* (в печати).
- МОСКВИН, В. П., 2016. Теория интертекстуальности: категориальный аппарат. In: *Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов. Коллективная монография*. Москва: Флинта, Наука, 16–51.
- ШАЙТАНОВ, И., 2005. Триада современной компаративистики: глобализация – интертекст – диалог культур. *Вопросы литературы*, 6, 130–137. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sh7.html> (31.03.2017).
- ЧЕРНЯВСКАЯ, В. Е., 2014. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса, Москва: Флинта, Наука.
- ЯКОВЛЕВА, Е. А., 2013. Юрислингвистика: креолизованный текст как объект экспертизы. In: *Вестник Челябинского государственного университета*, 1 (292). *Филология. Искусствоведение, выпуск 73*, 157–163. Режим доступа: <http://www.lib.csu.ru/vch/292/037.pdf> (31.03.2017).
- CZAJKOWSKI, M., 2002. *Wielka Encyklopedia Internetu i Nowych Technologii*. Kraków: Wydawnictwo Edition 2000.
- FLUSSER, V., 2014. Poza papier. In: *Teksty drugie: Сб. Статей*. Warszawa: Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, 194–198.
- GAJDA, S., 2010. Intertekstualność a współczesna lingwistyka. In: *Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej: Сб. Статей*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 11–23.
- MARKIEWICZ, H., 1989. *Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- ŚLIZ, A., 2014. Demotywator – emblemat kultury uczestnictwa? (wokół problemów definicyjnych memów oraz memów internetowych). In: *Zagadnienia Rodzajów Literackich*, tom LVII, zeszyt 1 (113), 151–165. Режим доступа: http://www.ltn.lodz.pl/streszczenia/ZRL_57_z_1_str_afil.pdf (31.03.2017).
- WÓJCICKA, M., 2010. Przejawy intertekstualności w tekstach kultury popularnej i współczesnych tekstach folkloru. In: *Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 143–151.

Olga Makarowska

Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

THE QUALITY OF “REDIRECTING” IN CAT MEME CAPTIONS

Summary

This article discusses selected features of cat memes, classified as an Internet genre and thus belonging to the type of new media. A number of features of memes with cats is identical with Internet features, for example interactivity, autonomy and ludic element. Some other features of cat memes are typical of other memes on the Internet, because they combine visual and verbal components, for example hybridity and (pseudo)anonymity. The third type of cat memes is characteristic of texts relating to other verbal and visual sources which involve, for example, creativity and redirecting. The article compares the notions of “redirecting” and “intertextuality”, postulating that the definition of “redirecting” should be introduced into scholarly discourse. The article identifies and describes different types of “redirecting”. Moreover, it investigates the level of association of the verbal component in cat memes with the texts constituting its main source. The quality of redirecting in cat meme captions (owing to their popularity and viral spread in the new media) plays a significant role in the process of cultural interaction in terms of intercultural communication and cultural exchange among different generations.

KEY WORDS: Internet memes, cat memes, hybrid text, intertextuality, “redirecting”.

Olga Makarovska

Adomo Mickevičiaus vardo universitetas, Poznanė, Lenkija

MEMŲ SU KATINĖLIAIS NUKREIPIMAS

Santrauka

Straipsnyje analizuojami memų su katinėliais ypatumai. Tai vienas iš internetinių žanrų, mokslininkų priskiriamas naujosioms medijoms. Pagrindiniai šių memų bruožai (interaktyvumas, autonomiškumas, žaismingumas) priskirtini internetiniam naratyvui, kiti (hibridiškumas, pseudoanonimiškumas) būdingi vizualiems-žodiniams interneto memams, tretį – bet kokiems autoriniams tekstams, cituojantiems kitus šaltinius (kūrybingumas, nukreipimas). Straipsnyje vartojamos tokios sąvokos, kaip *intertekstualumas*, *nukreipimas*, ypač didelis dėmesys kreipiamas į pastarąjį terminą. Išskiriami ir aprašomi įvairūs nukreipimo tipai, taip pat aptariamas ryšys tarp

pirminio teksto ir memų su katinėliais. Apibendrinant teigiama, kad memų su katinėliais nukreipimas dėl savo populiarumo ir greito plitimo vaidina tam tikrą vaidmenį tarpkultūriniame bendravime bei įvairių amžiaus grupių komunikacijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internetinis memas, memas su katinėliu, hibridinis tekstas, tarptekstualumas, nukreipimas.

Глеб Маслов

Болонский университет

Via Zamboni 33, 40126 Bologna, Italia

E-mail: gleb.maslov3@unibo.it

Область научных интересов: славистика, философская антропология, модернизм

ПОЭТ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В МОДЕРНИЗМЕ: ОТ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ К ГОТФРИДУ БЕННУ

Модернистский проект тотального преобразования жизни средствами искусства в той или иной мере упирался в вопрос об антропологической сущности поэтов, о генеральной линии трансформации человеческой природы. Теоретической основой для дискуссий по данному кругу проблем служили в среде представителей нового искусства естественнонаучные идеи, к которым модернисты всегда проявляют повышенный интерес, и концепция Ницше о сверхчеловеке, возникшая под несомненным влиянием дарвинизма. Парадоксальным образом русские символисты и немецкие экспрессионисты обнаруживают неожиданное единство в утверждении внебиологических критериев развития человека. В отличие от дарвинизма, где мериллом эволюции является увеличение степени адаптируемости к внешним условиям и рост продолжительности жизни, эстетика модернизма бичует опасные симптомы социального приспособленчества как антропологический упадок. Мережковский встревожен повсеместным распространением в Европе нового человеческого типа – мещанина, который, по мнению Блока, появился вследствие вытеснения из народных масс духа музыки, в эпоху цивилизации открытого лишь поэту. Модернисты указывают, что поэты часто манифестируют собой выпадение из социального фона, эволюционный скачок. В системе «прогрессивной антропологии» Бенна главным вектором эволюции человека становится не повышение природной устойчивости (гении часто несли в себе следы биологического вырождения – болезни и асоциальное поведение), но способность к созданию искусства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философская антропология, русский символизм, сверхчеловек, модернизм, теория эволюции.

Среди бесконечного множества определений модернизма, данных как художественными критиками, так и самими творцами, можно выделить несколько существенных. Стремление к

новизне этого сложного феномена культуры выразилось в утверждении отличной от предшествующего искусства технической и тематической нормы (вплоть до отказа от трехмерности изображения и перспективы в изобразительном искусстве, утверждения атональной музыки, верлибра, эстетизации примитива, экзотики и порока). Происходит вытеснение этических устремлений эстетическими. В пределе своей эволюции искусство должно было, по мысли некоторых представителей модернизма, поглотить в себе не-искусство (как, например, в жизнетворческом проекте русского символизма). Устанавливается и новый взгляд на поэта, который предстает образцом будущего человеческого типа. Целью нашего исследования является анализ *антропологической* проблематики в дискуссиях о природе поэта в русском символизме, который будет рассмотрен в контексте литературного модернизма Европы, а также естественнонаучных и философских теорий. В работе используются подходы историко-философской, герменевтической и компаративистской методологий.

Проблема человека всегда была центральной темой культуры. После того, как христианская антропология, – с идеями богоподобия человека, его особого положения среди других созданий, его существования в историческом промежутке между двумя событиями – Творения и Страшного Суда, – была оттеснена с авансцены сознания европейца концепцией антропогенеза в рамках эволюционной теории Дарвина (которая сама по себе являлась вариантом воззрения на мир как на самоорганизующуюся материю, не требующую верховного руководства), культура столкнулась с необходимостью защиты либо переосмысления антропологических ценностей теоцентристской эпохи в контексте естественнонаучного эволюционизма.

Общеизвестно, что в XIX веке в России научный прогресс был лидирующей идеей не только самих ученых, но и литераторов. Наиболее показательным в этом отношении является тот факт, что труд Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга» изначально готовился к публикации в журнале «Современник». И хотя многие представители модернизма уклонились от следования приверженности отцов естественным и точным наукам в выборе профессии, нельзя говорить о полном отречении от естественнонаучных интересов и естественнонаучной картины мира как фона, на котором формировались их взгляды, в том числе – на природу человека (дед Блока, Андрей Николаевич Бекетов – ботаник, ректор Петербургского университета, бабушка, Елизавета Григорьевна – переводчица Бокля, Брэма, Дарвина и Гексли, отец Белого – декан математического факультета Московского

университета), при этом Белый сначала пишет диплом по геоморфологии у географа Анучина, и лишь потом переходит на историко-филологический факультет.

Один из центральных представителей итальянского модернизма, Габриэле Д'Аннунцио 04.11.1887 г. публикует в римской газете *“La Tribuna”* явно сочувственную заметку об инаугурационной речи физиолога Якоба Молешотта в Римском университете, и приводит значительную цитату из выступления голландского мыслителя, в которой человек интерпретируется как связующее и гармонизирующее звено среди всех элементов природы: «Человек измеряет Универсум, и, измеряя себя самого, скорость своей мысли и воли, находит соответствие между всеми частями.<...> Соотнося измерения всех сторон с единой целью, он открывает единство науки, для которой существует единое имя, что все объединяет, и это имя – антропология» (D'Annunzio 1996–2003, 1: 50). По сути, это воскрешение принципа Протагора «человек – мера всех вещей». С самого начала своего существования журнал «Весы», будучи одним из ведущих выразителей символистской идеологии в культурном пространстве России, уделял значительное внимание литературе по естественным наукам наряду с работами по истории литературы и философии. Естествознание было важным элементом библиографических обзоров, подготавливаемых сотрудниками редакции журнала для своих читателей. Такой многоаспектный подход свидетельствует о стремлении печатного органа представить символизм не только литературным направлением, но мировоззренческой платформой, для которой задача построения новой культуры решается на широком поле взаимодействия философии, естественных и гуманитарных наук и религиозных доктрин. Так, публикуются рецензии Андрея Белого на книгу физиолога и психолога Вильгельма Вундта «Естествознание и психология» (Белый 1905а) и на работу по истории математики Парфеньева «Идеи непрерывности и прерывности» (Белый 1905б). Алексей Бачинский, физик, постоянный автор журнала, рецензирует книгу S. A. Arrhenius' а «Физика неба» (Бачинский 1905), журнал обращает внимание читателей на перечень статей из научно-популярного издания «Научное слово» (Из последних книжек журналов: 99), на «Сборник по философии естествознания» (О книгах 1906: 85), на книги физиков Анри Пуанкаре «Ценность науки» и Н. А. Умова «Эволюция живого и задачи пролетариата мысли и воли», вышедшие в издательстве «Творческая мысль» (Новые книги 1906: 75). Особого внимания в рамках исследуемой в настоящей статье темы заслуживает работа физиолога Ильи Мечникова «Этюды о природе человека» и рецензия на ее французское издание Вячеслава Иванова, помещенная в «Весах» под

псевдонимом (*Zaklāņš* 1904)³⁸. В своем труде, пятикратно переизданном в переводе на русский язык к 1917 году, Мечников обращается к вопросу о проблемах человека в связи с его природой, давая широкую панораму не только естественнонаучных, но и религиозных, философских подходов к исследуемой области во временной перспективе от Античности до начала XX века, от философских диалогов Платона до «Исповеди» Толстого и дневника братьев Гонкуров. Академик приходит к выводу, что человек страдает от дисгармонии различных элементов его природы (начиная от пищеварительных органов, и кончая несовпадением времени полового созревания с санкционируемым культурой возрастом вступления в брак). Но, конечно, главная человеческая проблема – это почти недоступное другим формам жизни осознание собственной смертности. Решения, предлагаемые религией и философией Мечников находит неудовлетворительными: «Предположение о загробной жизни не может быть сделано вероятными, несмотря на самые разнообразные попытки доказать ее. Противоположное же мнение вполне согласуется со всей совокупностью человеческого знания» (Мечников 1917: 160). И далее: «Согласно общепринятому мнению, быть философом – значит принимать вещи так, как они есть, не слишком восставая против действительности; и в самом деле, припев всех философских систем постоянно один и тот же: преклониться перед неизбежным, т. е. смириться перед перспективой уничтожения» (Там же). Конечно, многие сторонники сциентизма считали отдельные формы общественного сознания тупиковыми и отвлекающими от эффективного решения действительных проблем. Физик Н. А. Умов писал: «Мы знаем, что многие религиозные и философские системы стоят враждебно по отношению к человеческой природе: история, общественная и личная жизнь, свидетельствуют о том, как много вреда и недоразумений внесено в жизнь человеческую этими воззрениями и вытекшими из них общественными надстройками. Подлежит большому сомнению, искупает ли то утешение, которое они доставляли отдельным людям, те бедствия и те остановки духовного развития, которые они принесли человечеству» (Умов 1917: 8). Мечников, верный духу позитивистского активизма, предлагает задуматься об изменении человеческой природы научными средствами. Страх смерти, по его мнению, инстинктивное чувство. Инстинкты имеют разную силу на разных этапах человеческой жизни, как это демонстрирует, например, половое чувство. Но даже разговоры девятнадцатилетних о желании умереть, на самом деле скрывают, по мнению академика,

³⁸ Авторство установлено по: ЭНИ «Словарь псевдонимов». Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/masanov/default.asp> (19.08.2016).

другое желание – не болеть. Т. е., даже в таком преклонном возрасте люди еще полны инстинкта жизни: «Так как смерть представляется нам полными уничтожением, то ее неизбежность становится невыносимой вследствие условий, при которых она наступает нас. Она является в то время, когда человек не закончил и своего нормального развития и когда он вполне обладает жизненным инстинктом!» (Мечников 1917: 268). Наука, по мысли Мечникова, должна усовершенствовать природу человека (путем развития медицины, диетологии и т. д.), чтобы он жил гораздо дольше, до 120 лет, когда *инстинкт жизни потеряет силу*. Таким образом, причина человеческого страдания, согласно Мечникову, в том, что подавляющее число людей не доживают до периода ослабления жизненного инстинкта, периода, когда усталость от жизни перевесит природный страх смерти: «На нормальный конец, наступающий после развития инстинкта смерти, действительно, можно смотреть как на конечную цель человеческого существования. Но прежде чем дойти до этого, надо пережить целую нормальную жизнь» (Там же: 269). В своей рецензии на книгу Мечникова Вячеслав Иванов, высоко ценя сугубо естественнонаучные заслуги автора, утверждает гегельянскую идею, что как раз дисгармония является движущей силой духовного роста человечества. Иванов не удовлетворен высотой идеала, предложенной программой академика, которая, по мнению символиста, будь она реализована, стала бы едва ли не малодушным отказом от поступательного движения духа в обмен на «чечевичную похлебку уравновешенного благоденствия» (Zakl̃ns̃ 1904: 60). Такая критика труднореализуемой, но практически конкретной научной программы Мечникова с позиции, допускающей страдание в качестве инструмента туманной идеи духовного прогресса, не представляется продуктивной. Но она четко указывает на стремление символистов отказаться от сугубо биологической перспективы рассмотрения проблемы человека. Этот выбор был сделан представителями нового искусства в результате длительного интеллектуального противостояния.

В конце XIX века модернизм оказывается в той исторической точке, где природа человека интерпретируется в свете дарвиновской эволюционной теории, согласно которой биологические виды становятся все более приспособленными к внешней среде благодаря естественному отбору. Вполне оптимистическая, теория эта прочитывается некоторыми представителями гуманитарной мысли как трагическое уведомление о его, человечества, предстоящей гибели по естественным причинам – в результате борьбы с зарождающимся типом новой, еще до конца не ясно – какой, но, несомненно, сверхчеловеческой породы. Для многих

интеллектуалов теория Дарвина являлась не только основательным аргументом верности их эскапистской позиции – отстраниться, не участвовать, ведь человечество все равно движется к упадку, но, возможно, и средой кристаллизации фундаментальных элементов их декадентского сознания. Так, Ницше, вполне в фарватере дарвинизма, но, кажется, вопреки собственной воле, пророчествовал о гибели человека сократической и христианской эпохи. Именно в его прочтении (филолога!) эволюционизм, с присущей ему беспощадной логикой уничтожения слабого, был внедрен в идеологический корпус модернизма.

Но, странным образом, многие восприимчивики Ницше лишь сделали более явными те черты своей эпохи, что бичуются Ницше как декадентство: воля к идеальному (мистицизм, культивирование нового религиозного сознания, усмотрение всего подлинного и ценного в неземной реальности, по ту сторону жизни, за чертой смерти), эстетизация болезни, в том числе – душевной, тончайшая нюансировка чувств и художественной техники, как фокусировка на единственно данном – настоящем, у которого нет будущего, как задержка дыхания перед последним выдохом.

Упреки эти в упадничестве нового искусства раздавались с позитивистского крыла интеллектуалов. Парадоксально, но верным последователем Ницше следовало бы считать не декадентов, а их одиозного критика – Макса Нордау, который в своей Книге «Вырождение» аттестует модернизм как форму психопатии и пророчествует о его гибели по естественным биологическим законам, более того, он считает, что «в умственной жизни отдаленных веков искусство и поэзия займут очень скромное место», ведь «развитие идет от инстинкта к познанию, от эмоции – к суждению, от фантастичной – к упорядоченной ассоциации идей. Разброд мыслей сменяется вниманием, каприз – руководимой разумом волею. Следовательно, наблюдение все более и более берет верх над воображением» (Нордау 1995: 317). Итак, подход Нордау предполагает убыль художественной составляющей в природе будущего человека. Такая перспектива была противоположна программе сторонников нового искусства, и, защищаясь, они прибегли к переинтерпретации задач эволюции.

Даже принимая теоретическую схему дарвинизма, модернисты тут же вынуждены были от нее отступить, так как сам идеал «более приспособленного» человека оказывался пугающе скучным: здоровая особь без тревожащих ее мыслей, сытая и регулярно воспроизводящая себе подобных, безконфликтно доминирующая в своей среде. В этом портрете много витального, но мало собственно человеческого, если под человеческим считать способность к созданию

символической реальности и ее передачи с помощью письменных знаков (Петров 1991). Потому модернизм сталкивается с необходимостью, заимствуя у эволюционизма основную идею совершенствования человеческого типа, отказаться от сугубо натуралистической точки зрения, наполнив научную концепцию антропогенеза субстратом, податливым художественному воображению – мифологией. Ницшеанская концепция эволюции от человека к сверхчеловеку – как миф новейшего времени – породила в русском обществе самую оживленную дискуссию. Символистский журнал «Весы» внимательно следили как за художественными произведениями, затрагивающими тему антропогенеза (например, см. рецензию на роман Йенсена «Мадам Д'Ора» (Madelung 1904)), так и за научными работами. Журнал помещает положительную рецензию на книгу Лео Берга «Сверхчеловек в современной литературе» (О книгах 1905: 61–62), обращает внимание читателей на работу Н. Абрамович «Человек будущего. Очерк философской утопии Ницше» (Новые книги 1908: 99). В 1908 году журнал печатает в двух номерах статью Андрея Белого «Фридрих Ницше». Белый уверен в антибиологическом пафосе доктрины немецкого философа о сверхчеловеке «Личность, понятая в сугубо физиологическом смысле, вовсе не цель развития. Такая личность протянута в род, в законы рода, в то, *откуда* мы идем» (Белый 1908а: 49). Особого внимания заслуживает тот факт, что часто дальней целью эволюции человека мыслилось создание наиндивидуальных единств большего или меньшего объема, т. е. будущий человек многим представлялся коллективным субъектом, элементы которого соединены более тесной связью, чем члены каких-либо социальных групп. Наибольшего развития эта концепция достигла в наследии Вячеслава Иванова. Но многие теоретики символизма относились к возможности таких антропологических перспектив весьма скептически. В духе элитаризма они считали процесс восхождения к вершинам символизма недоступным для большинства, поэтому появление коллективных личностей, подобных хору древнегреческой трагедии, выступавших в театре как одно лицо, для них было невозможно допустить: это предполагало вовлечение в единое действие индивидов, уровень сознания которых был слишком различен для взаимодействия: «...Возможность коллективного, мистического («религиозного») «действия» там, где немисливо даже коллективное созерцание, более, чем немисливо, т. е. является вопросом праздным» (Эллис 1909а: 74).³⁹ Однако многие

³⁹ Потому, по Эллису, символистский театр - не самая сильная сторона творческого наследия этого направления – в силу недоступности их языка зрителю, обычному человеку. «Символизм на сцене немислив так же, как невозможна музыка для глаза» (Эллис 1908: 90).

современники увидели исток проповеди индивидуализма (и, в конце-концов, одиночества) не в метафизической разноприродности индивидуумов, а в «этической недостаточности» сторонников элитаризма, испытывающих «либо ненависть, либо презрение, либо равнодушие, либо просто *не-любовь* к человеку» (Иванов-Разумник 1918: 50). Надо сказать, что многие представители модернизма вообще скептически относились к мысли о каком-либо изменении человеческого типа, не забывая подкреплять свое мнение ссылками на данные естествознания. Так, например, Реми-де-Гурмон утверждал: «Физиология постоянна, клетка не изменяется, разум, продукт физиологии – постоянен» (цит. по: Arcos 1908: 81). И все же, символизм не смог избавиться от искушения провозгласить себя направлением, где в скрещении художественной, философской и религиозной деятельности формируется новый (сверх)человеческий тип. Отказавшись от приверженности биологическим путям генерации нового антропологического вида (будь то эволюционная модель Дарвина или стратегия «гармонизации» различных систем организма Мечникова), символисты сконцентрировались на проектах трансформации человеческого сознания путем воздействия на него символистского искусства. «Природа человеческая утончается», – убеждал Георгий Чулков (Чулков 1904: 16). Символисты могут содействовать этому процессу, «облегчить в душах прорастание цветов внутреннего опыта» (Иванов 1908: 48). Ведь символизм осознавал себя течением, чьи задачи выходят далеко за границу литературы, восприняв общую для эпохи склонность к прагматическому, практическому преобразованию реальности. Эту общую тенденцию не могли блокировать ни географические границы (итальянский модернистский журнал *Il Leonardo* в 1904–1905 годах фокусируется на проблемах прагматизма), ни идеологические платформы («не объяснить, но изменить мир» – вот максима марксизма»). Белый искренне поддерживает прагматические амбиции символизма: «Последние цели творчества не коренятся в творческих формах искусства; они коренятся в жизни» (Белый 1909: 59). Как раз ограничение только эстетическими целями видятся Белому причиной неудовлетворенности искусством: «Искусство перестает удовлетворять. Вместо бездонных образов душа просит бездонной жизни. <...> А между тем художник, *изображая* бездонное, вместо того, чтобы уйти в бездну, удаляется от нее» (Белый 1904: 10). Символизм предполагает исключительную концентрацию внимания на реальных предметах с тем, чтобы через них открылась метафизическая глубина мира. По мысли Элліса, «углубленное осознание объекта немислимо без метаморфозы самого субъекта, <...> упорное и напряженное постижение сущностей должно создать новые духовные органы в самом субъекте,

<...> символическое творчество неизбежно должно привести к существенной метаморфозе личности и, косвенно, к иным формам общения личностей» (Эллис 1909б: 167–168).

Однако представить «сверхчеловека» как реальный природный объект символизм не может. Явно отступая от прагматического пафоса направления, Белый уверяет читателей в том, что антропологическая теория Ницше вообще не подразумевает воплощения в каких-либо природных или социальных объектах, это лишь конструкция мира идей: «Сомнительно видеть в биологической личности сверх-человека; еще сомнительнее, чтобы это была коллективная личность человечества. Скорее – это принцип, слово, логос или норма развития, разрисованная всеми яркими атрибутами личности» (Белый 1908б: 56). Интерпретация Белого представляется очень проблематичной, и в этом частном случае высвечивает неустранимое противоречие между философским пафосом самого Ницше, бичующим мир идеального как мир лжи⁴⁰, и широким использованием его философии идеалистически ориентированными мыслителями, включая символистов. Очевидно, что русские символисты изменяют внетеистическим установкам Ницше, рассматривая эволюцию человека как процесс приближения к трансцендентной реальности. Поэту в такой антропологической картине отводилась особая роль – он мыслился символистами не только как посредник между имманентным и трансцендентным, но и как представитель высшего типа, как антропологическая модель. Так, Дмитрий Мережковский называет Лермонтова «поэтом сверхчеловечества».

Но что именно в человеке должно быть преодолено, по мнению модернистов? Мережковский бьет тревогу по поводу повсеместного распространения в Европе нового человеческого типа – мещанина, представителя царства «вечной середины, вечной посредственности» (Мережковский 1991: 353), довольствующегося метафизикой «умеренного здравого смысла» (Там же: 355). Мещанин – фигура идиллическая, лишённая трагического мироощущения. Одно из воплощений мещанства в России – карикатурно трансформированная *народность* (элемент триады официальной доктрины государственного устройства, наравне с *самодержавием* и *православием*). Народность эта выродилась, по мнению Мережковского, в хулиганство.

В отличие от Мережковского, Александр Блок, которому мещанство ничуть не симпатично, рассматривает цивилизационный процесс именно как вытеснение стихийного (не

⁴⁰ «У Реальности <...> отняли ее ценность, ее смысл, ее действительность, поскольку *выдумали* мир идеальный» (Ницше 1908: 45–46).

«хулиганство» ли это Мережковского?) из народных масс, их сведение к «среднечеловеческому» типу. «Оцивилизовывание», согласно Блоку, убивает культуру, понимаемую как порыв, витальный импульс (что концептуально близко «Закату Европы» Шпенглера). Именно чувствительность к стихии, «мировой воле», которая определяется Блоком как музыка, задает, согласно поэту, вектор антропологического развития. Преодолев многие предыдущие формы жизни, животные и социальные, человек, считает Блок, превращается в артиста (Блок 1960–1963, 6: 114). Поэт и есть транслятор подлинной реальности, порождающей культуры, музыкальной по своей природе: «Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это – <...> носитель ритма» (Блок 1960–1963, 7: 405). Гармония, добытая поэтом, осуществляет, по мысли Блока, селекцию, выхватывая «нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлама» (Блок 1960–1963, 6: 165), чтобы послужить рождению нового человеческого типа. Таким образом, в блоковской антропологии отбор человеческих существ происходит не по критериям биологической, экономической или социальной адаптируемости, но по степени артистической способности быть в гармонии с невидимой подосновой всех явлений, неуправляемой стихийной силой – музыкой: «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, катятся звуковые волны» (Там же: 163). Итак, артист, высший антропологический тип для Блока, в глубине глубин *анархичен, асоциален и расчеловечен (сверхчеловечен)*.

Модернисты указывают, что художники и поэты часто манифестируют собой нарушение преемственности, эволюционный скачок в развитии народа: так, Лермонтов, «точно метеор, заброшен к нам из каких-то неведомых пространств» (Мережковский 1991: 392). В биологии внезапное изменение генетического кода называется мутацией, без которой генофонд популяции остается неизменным, эволюции не происходит (Закон Харди-Вайнберга).

Представляется очень показательным, что поэт совсем другой эпохи, и направления, Готфрид Бенн подчеркивает: величие художника состоит в том, что «он не находит никаких социальных основ, он знаменует собой некую пропасть ...среди уже органически не способных к творческим проявлениям типов с отрегулированными душами» (Бенн 2008: 260).

Но в чем состоит желанный идеал антропологического развития для представителей нового искусства? В противоположность пророчествам Нордау об убыли творческой составляющей в природе будущего человека, модернисты, беря за основу идею

антропологической трансформации, отказываются от главного критерия дарвиновского подхода, где мерилom эволюции является увеличение степени адаптируемости к внешним условиям и рост продолжительности жизни. В системе «прогрессивной антропологии» Бенна главным вектором эволюции человека становится не повышение выживаемости вида (гении часто несли в себе следы биологического вырождения – болезни и асоциальное поведение), но способность к созданию богов и искусства, и, наконец, – только искусства (Бенн 2008: 230). На основании всех рассмотренных примеров мы можем констатировать в модернизме отклонение от принципа биологического самосохранения, готовность поэта принести себя в жертву каким-то проектам собственного конструктивного воображения, будь то техника, искусство или новое религиозное сознание. Остается совершенно непроясненным, как новые формы внебиологической эволюции человека, если такие появятся в результате артистической деятельности поэтов, смогут транслировать свои исключительные способности следующим поколениям. Проблема, конечно, имела бы решение, если сверхчеловека и сверхчеловечество интерпретировать религиозно и эсхатологически, как финальную точку исторического процесса, где нет ни смерти, ни рождения. Однако такой подход, как и всякое устранение тупиковых вопросов через божественное вмешательство, не кажется удовлетворительным.

Литература

ARCOS, R., 1908. Несколько новых книг. *Весы*, 9, 77–83.

D'ANNUNZIO, G., 1996–2003. *Scritti giornalistici*. Vol.1–2. Milano: A. Mondadori.

MADELUNG, A., 1904. Рец на кн.: Johannes V. Jensen. Madame D'Ora. JOHANNES V. JENSEN. Kobenhavn og Kristiania: Nordisk Forlag. *Весы*, 5, 50–52.

БАЧИНСКИЙ, А., 1905. Рец. на кн.: Arrhenius, S. A. Физика неба. Одесса. *Весы*, 3, 74.

БЕЛЫЙ, А., 1904. Маска. *Весы*, 6, 6–16.

БЕЛЫЙ, А., 1905а. Рец. на кн.: Вундт, Вильгельм. Естествознание и психология. Санкт-Петербург. *Весы*, 1, 63–65.

БЕЛЫЙ, А., 1905б. Рец на кн.: Парфеньев, И. Идеи непрерывности и прерывности. Казань. *Весы*, 6, 70–71.

БЕЛЫЙ, А., 1908а. Фридрих Ницше. I. *Весы*, 7, 45–50.

БЕЛЫЙ, А., 1908б. Фридрих Ницше. II. *Весы*, 8, 55–65.

БЕЛЫЙ, А., 1909. Настоящее и будущее русской литературы. *Весы*, 2, 59–68.

- БЕНН, Г., 2008. *Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи*. Аугсбург: Waldemar Weber Verlag; Москва: Lagus-Press.
- БЛОК, А. А., 1960–1963. *Собрание сочинений в 8 т.* Москва, Ленинград: Гослитиздат.
- ИВАНОВ, В., 1908. Эстетика и исповедание. *Весы*, 11, 45–50.
- ИВАНОВ-РАЗУМНИК, 1918. *История русской общественной мысли*. В 8 ч. Ч. 8. Изд. 5-е, Птг: Колос.
- Из последних книжек журналов, 1905. *Весы*, 3, 99–100.
- МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. С., 1991. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. Москва: Советский писатель.
- МЕЧНИКОВ, И. И., 1917. *Этюды о природе человека*. Изд. 5. Москва: Научное слово
- НИЦШЕ, Ф., 1908. Эссе Ното. *Весы*, 12, 45–48.
- Новые книги, 1906. *Весы*, 9, 73–76.
- Новые книги, 1908. *Весы*, 8, 98–100.
- НОРДАУ, М., 1995. *Вырождение. Современные французы*. Москва: Республика.
- О книгах 1905. *Весы*, 4, 47–72.
- О книгах, 1906. *Весы*, 5, 64–86.
- УМОВ, Н. 1917. От редакции «Научного Слова» ко второму изданию. In: И. И. Мечников, 5–9.
- ЧУЛКОВ, Г., 1904. Светлеют дали. *Весы*, 3, 13–16.
- ПЕТРОВ, М. К., 1991. *Язык. Знак. Культура*. Москва: Наука.
- ЭЛЛИС, 1908. Что такое театр. *Весы*, 4, 85–91.
- ЭЛЛИС, 1909а. Итоги символизма. *Весы*, 7, 55–74.
- ЭЛЛИС, 1909б. Культура и символизм. *Весы*, 10–11, 153–168.
- ЭНИ «Словарь псевдонимов». Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/masanov/default.asp> (19.08.2016).
- Заκλῆς – Иванов В. И., 1904. Рец. на кн.: Elie Metchnikoff. *Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie optimiste*. Paris, 1903. *Весы*, 5, 59–60.

Gleb Maslov

The University of Bologna, Italy

THE POET AS AN ANTHROPOLOGICAL PROBLEM IN MODERNISM:
FROM RUSSIAN SYMBOLOSTS TO GOTTFRIED BENN

Summary

The modernist project of a total transformation of life through art focuses to a certain extent on the question of an anthropological nature of poets as well as on the general line of the transformation of human nature. The theoretical basis for the discussions on the range of issues among the representatives of the new art was rooted both in ideas of natural science (to which the modernists have always showed increased interest) and in Nietzsche's concept of the overman, which arose under the undoubted influence of Darwinism. Paradoxically, both the Russian Symbolists and the German expressionists discover unexpected unity in upholding of principles of non-biological criteria of human development. Unlike Darwinism, for which the criterion of evolution is augmentations of degree of an adaptability to external conditions and increasing of life expectancy, the aesthetics of modernism castigates dangerous symptoms of a social timeserving as a decline of anthropological nature. Dmitry Merezhkovsky worried about the ubiquitous dissemination of mediocrity in Europe. This anthropological type, according to Alexander Blok, appeared as a result of division of masses from the spirit of music, which is open only to the poet in the era of civilization. Modernists indicate that poets often demonstrate an alienation from their social background, an evolutionary leap. Taking into account the fact that geniuses often bore the symptoms of biological degeneration – illness and antisocial behavior – Gottfried Benn in his theory of "progressive anthropology" claims that main vector of human evolution is not the increasing survival of species, but the ability to create art.

KEYWORDS: philosophical anthropology, Russian symbolism, overman, modernism, theory of evolution.

Gleb Maslov

Bolonijos universitetas, Italija

POETAS – ANTROPOLOGINĖ MODERNIZMO PROBLEMA: NUO RUSŲ SIMBOLISTŲ IKI GOTTFRIEDO BENNO**Santrauka**

Modernistinė filosofija, kuri siekė menu pakeisti pasaulį, domėjosi antropologine poeto būtimi, žmogiškosios esaties transformacija. Teoriniu diskusijos apie žmogaus esatį pagrindu tapo estetiniai-moksliniai veikalai bei F. Nietzsches „antžmogio“ koncepcija. Paradoksalu, tačiau rusų simbolistai ir vokiečių ekspresionistai panašiai suvokė viršbiologinių faktorių poveikį žmogaus raidai. Kitaip nei darvinizmas, kuris į žmogaus evoliuciją žvelgė kaip į gebėjimą prisitaikyti prie išorinių sąlygų, modernizmo estetika teigė, kad socialinis prisitaikymas lemia antropologinę regresiją. D. Merežkovskis ir A. Blokas rašė apie naują žmogų-miesčionį, kuris formavosi iš paprastų žmonių atėmus muziką. Modernistai teigė, kad poetas, esantis už visuomenės ribų, simbolizuoja evoliucijos šuolį. Panašiai mano ir G. Bennas, kuris gebėjimą kurti meną vertino labiau nei prisitaikymą prie socialinės aplinkos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: filosofinė antropologija, rusų simbolizmas, antžmogis, modernizmas, evoliucijos teorija.

Юрий Машошин

Даугавпилсский университет

Latvija, Daugavpils, Parades iela, 1

E-mail: jurima@inbox.lv

Область научных интересов автора: право, психология

Надежда Соколова

Шадринский государственный педагогический университет

Российская Федерация, 641800 Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3.

E-mail: sokolova45@mail.ru

Область научных интересов автора: право

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОНЯТИЯ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Текст любого закона должен отличаться простотой стиля, четкостью и краткостью формулировок, наличием устойчивых словосочетаний. В отличие от общеупотребительных выражений, терминам должна быть присуща ограниченная смысловая специализация, договорная однозначность и семантическая точность. Использование неопределенных понятий в юриспруденции обеспечивает эластичность права.

С содержательной стороны, неопределенное понятие – это часть правовой нормы, сформулированная с высокой степенью абстракции. С методологической стороны – это прием юридической техники, цель которого – сбалансировать требования правовой определенности и справедливости. На частоту применения неопределенных понятий влияют: воля законодателей, правовая система, отрасль права.

Специфическим видом неопределенных правовых понятий являются клаузулы, отличающиеся повышенной степенью абстрактности и приемами использования. С их помощью законодатель пытается максимально расширить правовой состав норм, избавляясь от их казуистичности. Общая клаузула, это максимально открытое правовое понятие. Их использование вынуждает правоприменителя самого принимать решение, что зачастую им расценивается как пробел в законе.

При наличии в тексте нормативного акта клаузулы, суд при рассмотрении дел вынужден наполнять юридически значимым содержанием исследуемые обстоятельства,

аргументируя использование соответствующих норм права. Неправильное толкование неопределенных понятий может привести к принятию несправедливого решения.

Конкретизация неопределенных понятий позволяет создать совокупность общих принципов, включающих все типы правовых ситуаций, к которым эти понятия относятся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юриспруденция, правовая норма, правоприменение, определения, понятия, неопределенные понятия, открытые понятия, юридическая методология.

Юриспруденция (лат. яз от *ius* "право" и *prudentia* "знание") подразумевает не только знание закона, но и его интерпретацию (Чудинов 1910). Она изобилует различного рода понятиями и их определениями. Даже такой, основной, термин юриспруденции, «закон», достаточно многозначен. В узком смысле это акт высшей юридической силы, принятый органом законодательной власти или путем всенародного голосования, в широком – любой источник права (Алексеев 2004: 120). Причиной появления неопределенных понятий в юриспруденции является стремление законодателей максимально расширить использование метода нормативного регулирования. Нормы права охватывают ситуации, которым присущи групповые (общие), видовые и индивидуальные признаки. Например, насильственное преступление, убийство, детоубийство. Такое регулирование позволяет перейти от прецедентного права к кодифицированному, однако оно ведет и к появлению «среднестатистической» справедливости. Для решения этой проблемы законодатель предусмотрел введение в состав правовых норм неопределенных понятий, которые, с точки зрения филологии и права, становятся особенностью этих норм. Однако лицам, применяющим право (полицейским, судьям), при наполнении содержанием неопределенных понятий необходимо анализировать конкретные ситуации, используя юдикатуру и юридическую методологию, в частности, методы квалификации преступлений. Этот процесс сложен, но не всегда и детально расписанная правовая норма является достаточно ясной для практического применения.

Разумное использование неопределенных понятий обеспечивает праву эластичность без придания ему излишне мягкого (рекомендательного) характера.

В зависимости от абстрактности понятий, определяемые нормативно-правовыми актами типичные ситуации и объекты охватывают различное количество конкретных ситуаций и объектов. Для их описания применяют:

- однозначные определения, значение которых определено сущностью самой вещи либо содержанием нормативного акта, например, вещь, лицо, собственность, брак, смерть

- открытые либо многозначные определения: добросовестность, важная причина, общественная польза, разумный срок, соответствующий порядок, заботливый хозяин, моральный ущерб, надлежащее исполнение, безупречная репутация, недостойный наследник, насильник и т.д.

Открытые определения позволяют законодателю:

- избегать описывания конкретных признаков;
- обеспечить свободу толкования правовых норм.

Основные взаимодействия, являющиеся предметом юридической науки, осуществляются между следующими субъектами:

- 1) индивидами;
- 2) индивидом и обществом;
- 3) индивидом, обществом и юридическими лицами.

Понятие «юридическое лицо» в латвийском законодательстве крайне неопределённо и требует отдельного рассмотрения. Так, Гражданский Закон Латвии, ст.1407: юридическими лицами признаются государство, самоуправления, объединения лиц, органы, учреждения и совокупности вещей, которым присвоен статус юридического лица. Например, в соответствии со ст. 383 этого закона, наследство также является юридическим лицом. Как это ни странно, оно может приобретать права и вступать в обязательства. Иными словами, обычный стул, при определенных обстоятельствах, может стать юридическим лицом. Таким образом, законодатель, не умея определить столь широкое понятие, каковым является «юридическое лицо», ограничился лишь перечислением его возможных проявлений на данный момент. В свою очередь, в российском законодательстве определение понятия «юридическое лицо» более формально-определённое. Оно предусматривает, что юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ч. 1 ст. 48 ГК РФ).

Трактовка тех или иных понятий в правоведении отличается в зависимости от юридических школ. К примеру, юридический позитивизм требует строгого исполнения «буквы закона», не оставляя места для законотворчества суда, и не обращая внимания на «дух закона». Данный

подход в применении норм права ориентирован на такие основные методы толкования правовых норм и понятий как:

- грамматический;
- формально-логический;
- системный;
- исторический;
- телеологический.

Кроме указанных методов интерпретации для понимания сущности неопределенных понятий методологически важны и так называемые «оговорки»:

- 1) невысказанная оговорка. Ею часто выступает торговый обычай, служащий средством толкования понятия, правовой нормы и коммерческой сделки в целом.
- 2) договорная оговорка, позволяющая решать правовые споры не в государственном, а в третейском суде.

Основателями школы определений (понятий) в юриспруденции были Георг Фридрих Пухта (Georg Fridrih Puhta), создавший генеологию (пирамиду) определений, и Бернхард Виндшейд (Bernhard Windscheid). Право у них - продукт логики определений. В своей «Энциклопедии права» Г.Пухта отцом юридических определений (институтов) называл принципы права, а матерью – содержание права, многообразие людей и вещей (Г.Пухта 1872: 93). Приверженцы школы понятий считали и считают, что в центре теории юриспруденции понятий находится догматическая методология, основная цель которой – создание однозначных юридических понятий.

Изначально школа понятий в юриспруденции не воспринимала:

- нюансы использования языка;
- изменяющиеся общественные обстоятельства,

хотя те и другие влияют на выражение и использование правовых норм.

Юриспруденция понятий – это не только школа, но и метод, который давал возможность путем сравнения определений решать конфликты интересов, используя такие приемы как:

- 1) аналитическая конструкция, с помощью которой в ситуации конкретного конфликта судья ищет элементы, понятия, соответствующие типичному составу и анализирует конфликт по образцу типичной схемы.

2) продуктивная конструкция – заключение о том, что в конкретном конфликте ситуация связана с такими последствиями, которые с достаточным основанием вытекают из конфликта, соответствующего общей юридической конструкции, в частности, типичной следственной версии либо правилу pakta sund servanta («договор надо выполнять»). Продуктивная конструкция основана на реализме понятий.

3) фиктивная конструкция – это суждение о применении последствий юридического факта в конкретной конфликтной ситуации. Фикция выступает фальсификацией действительности, утверждением того, что в ней находится то, что там реально не существует. Примеры фикций в праве: сервитут (право на чужую собственность), юридическое лицо, бестелесная вещь. Фикция – это мысленная замена реальных обстоятельств конфликта абстрактными понятиями.

Юриспруденция понятий постепенно уступила место юриспруденции интересов, цель которой – изучение практического права и его влияния на жизнь индивида и общества. Ее основатели: Рудольф фон Йеринг (Rūdolf fon Jēring, 1818–1892), Филипп Хек (Filip Hek, 1858–1943). Данная юридическая школа исходит из того, что норма закона – это разумное и целенаправленное решение конфликта законодателем, а не результат, полученный логической интерпретацией понятий. Судьям надо распознавать интересы, охраняемые законом и руководствоваться ими при применении юридических норм, решать правовые споры на основе «духа закона».

Недостатки данного подхода:

- при отсутствии нормы права, созданной для разрешения конкретной конфликтной ситуации, возникает проблема: трудно определить цель закона и правоту сторон конфликта;
- велика роль субъективизма правоприменителя: одно и то же неопределенное понятие может быть в одинаковой ситуации интерпретировано по-разному, например, «общественные интересы», «разумный срок», «существенный ущерб»;
- происходит антидемократическое смещение ветвей власти: законодательной и судебной: в случае реального или мнимого пробела в законе на судью возлагается функция законодателя.

В российском законодательстве последний тезис прослеживается в нормативных актах. Так, в ст. 2 Семейного кодекса РФ предусматривается, что «в случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или)

гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости».

Невозможно одновременно принять все необходимые нормы права, содержащие безошибочно и в полном объёме, не допускающем неопределённость в применяемых понятиях, правовое регулирование всех возникающих правоотношений, однако, перекладывание на правоприменителя обязанностей по выработке решений на основе несуществующих правовых норм вряд ли соответствует содержанию такого понятия как правовое государство, каковыми себя пытаются представлять многие государства мира.

Достаточно часто грань между определениями весьма тонка. Например, и трудовой договор (ГЗ Латвии, ст. 2178, Закон о труде Латвии, ст.ст. 28, 39) и договор подряда (ГЗ Латвии, ст. 2212) непосредственно регулируют установление, функционирование и прекращение трудовых отношений. Предмет того и другого договора – работа. Однако, если в случае трудового договора на первом месте находится процесс трудовой деятельности, то в случае договора подряда – ее результат. За этим, казалось бы, нюансом скрывается масса отличий и юридических правил, игнорирование которых приводит к правовым спорам работодателя со второй стороной договора и его конфликтам с государством (Lusis 2011, Kalniņa 2012). Так, согласно одному из самых «древних» действующих латвийских законов, принятому еще в 1985 году, Кодексу Административных нарушений, сумма штрафа в таких случаях может достигать 1400 евро (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, 41.p.).

Юриспруденцию интересов на основе юриспруденции понятий исторически сменила юриспруденция ценностей. Её наиболее известным представителем являлся Карл Рудольф Ларенц (Karl Rudolf Larenz, 1903-1993). Согласно этой школе, каждый закон, каждая статья и каждое юридическое понятие скрывают в себе определенную ценность, например: «заботливый хозяин», «особая заслуга». Придание ценности таким определениям связано с действующими критериями правовой теории и практики, моральными и культурными нормами, действующими в государстве.

Проблема использования юридических понятий лежит в специфике языка юристов и в объеме описываемых явлений. По своему содержанию понятия, используемые в нормах права, могут быть классифицированы следующим образом:

1) однозначные понятия

Например, в Латвии согласно Закону о труде (ст. 3), работник – это физическое лицо, которое на основе трудового договора выполняет определенную работу под руководством работодателя. В ст. 20 Трудового кодекса РФ понятие работника дано в еще более усечённом варианте, так установлено, что работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

В свою очередь, работодатель – это физическое или юридическое лицо или правоспособное персональное общество, которое на основе трудового договора трудоустроило хотя бы одного работника (Закон о труде, ст. 4). Иными словами, работник, в отличие от работодателя, это всегда только человек, который лично выполняет порученную ему работу, выполняя законные распоряжения работодателя. Здесь уместна аналогия с лицом, вступающим в брак, которое также не может вместо себя послать в ЗАГС заместителя.

2) понятия, которые сами по себе являются ясными и конкретными, однако которые в нетипичных ситуациях могут породить неясности о рамках своего значения. Они требуют дополнительной интерпретации. Наглядные примеры тому:

- Коммерческий Закон Латвии (ст. 74): «Индивидуальный коммерсант – это физическое лицо, которое как коммерсант записано в коммерческом регистре». Термин «индивидуальный» иногда на практике понимают в значении «работающий один», что не соответствует закону. Так, в Риге действуют Высшая школа практической психологии, организованная индивидуальным коммерсантом С.Михайловым, частный детский сад «Lotte», зарегистрированный в статусе индивидуального коммерсанта. В ГК РФ также используется понятие «индивидуальный предприниматель», регламентирующее право каждого на занятие предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 23 ГК РФ).

- Гражданский Закон Латвии (ст. 35): «Запрещается заключение брака между лицами одного пола». Здесь необходимо разделение лиц на физические и юридические, хотя в законе об этом ничего не сказано. Эта статья требует, как говорят юристы, суженного толкования. Семейный кодекс РФ действует более определенно, предусматривая, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста» (ч. 1 ст. 12 СК РФ).

- Коммерческий Закон Латвии (ст. 18): Понятие «предприятие»: это самостоятельная организаторская хозяйственная единица. Однозначное понимание понятия «предприятие» очень

важно для решения различных юридических вопросов, в частности, для обоснованности коллективного увольнения работающих на материнском и дочернем предприятии. На это обращают внимание и трудовое законодательство, и европейские институты, охраняющие права граждан ЕС (Darba likums ar komentāriem 2010; Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 11. novembra spriedums lietā C-422/14.).

Применяя понятия движимые и недвижимые вещи, ГК РФ относит к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (п. 1 ст. 130 ГК РФ). Одновременно с этим, практически перечёркивая данное понятие, предусматривает, что «к недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания», в то время, как Земельный кодекс РФ эти субъекты к земельным участкам, что естественно, не относит. Без обращения к тексту Федерального закона «О государственной границе» невозможно понять противоречия между понятием недвижимой вещи и конкретными субъектами, напрямую не связанными с земельными участками, относимыми к категории недвижимости. Воздушные и водные суда под российским флагом, приписанные к одному из российских портов, и летательные аппараты с российскими опознавательными знаками считаются территорией Российской Федерации. Именно в силу этих положений, в ч. 3 ст. 11 УК РФ устанавливается, что лицо, совершившее преступление на борту такого судна, подлежит уголовной ответственности согласно УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

В правовой науке существуют и другие казусы, связанные с понятием «недвижимая вещь». Например, является ли ею дерево: растущее, спиленное, посаженное, пересаженное?

3) Понятия с несколькими значениями, используемые в различных отраслях и нормативно-правовых актах. Но в каждом отдельном случае их значение четко определено, однозначно.

Например:

- понятие «дистанционный договор». В Законе Латвийской республики о защите прав потребителей (ст.10.) указано, что это – договор, стороны которого (потребитель и продавец) находятся в разных местах и коммуницируют между собой с помощью систем дистанционной

связи. В свою очередь, Закон РФ «О защите прав потребителей» не содержит понятия «дистанционный договор», но предусматривает понятие «дистанционный способ продажи товара» (ст. 26.1): «договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключаящими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами». В свою очередь, в трудовом праве, говоря о нетипичной занятости, законодатель также использует понятие дистанционного договора, обозначая тем самым местонахождение рабочего места сотрудника вне основного предприятия. В частности, Закон о труде ЛР (ст. 53, 1 ч.) предусматривает обязанность работника трудиться на предприятии, если стороны не договорились об ином. В Трудовом Кодексе РФ используется термин - «надомники», предусматривается, что в этом случае работа выполняется на дому (ст. 310 ТК РФ). В то время как уже повсеместно активно используется дистанционный способ выполнения трудовых обязанностей с использованием IT-технологий, причём, совершенно не обязательно на дому, тем не менее, в нормах права это соответствующими понятиями не закреплено.

- Гражданский Закон Латвии (ст. 1919): «Подарок может быть отозван в случае грубой неблагодарности одаренного». Не случайно из-за высокой абстрактности термина «грубая неблагодарность» во второй части статьи дается его разъяснение, поскольку моральное и гражданско-правовое значения его различны. Гражданский кодекс РФ (ст. 1117) вводит в наследственное право понятие «недостойные наследники», относя к ним граждан, «которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке», а также родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

4) Сложные понятия, состоящие из более узких понятий.

Например:

- трудовой правовой спор. Это понятие, согласно Закону о трудовых спорах (ст.ст. 4, 9, 13) содержит в себе три вида спора, обладающих характерными особенностями, и требует «расширительного» толкования:

- индивидуальный правовой спор – между работодателем и работником (наиболее частый);

- коллективный правовой спор – между работодателем и трудовым коллективом (по вопросам применения или изменения коллективного трудового договора);

- спор по коллективным интересам – между работодателем и трудовым коллективом (по процессу коллективных переговоров);

- понятие «дискриминация». Необычайно широкое: не говоря о правах человека, даже в чисто трудовых отношениях она подразделяется на прямую и косвенную (Закон о труде ЛР ст.ст. 7, 14, 29. ч. 1. и ч. 2, ТК РФ ст. 3);

5) Открытые юридические понятия с неопределенным содержанием:

- Коммерческий Закон Латвии (ст. 49, ч.1) – вознаграждение коммерческого агента: «если относительно вознаграждения договоренности не имеется, коммерческий агент имеет право на такое вознаграждение, которое в соответствующей местности обычно выплачивается за заключение таких же или похожих сделок или за подготовку к их заключению. Если такой критерий отсутствует, коммерческий агент имеет право на разумное вознаграждение». В частности, в Риге при нахождении агентом сдаваемой квартиры такое «разумное» вознаграждение составляет месячную арендную плату.

- В ст. 5 ГК РФ введено абсолютно новое для российского права понятие «обычай делового оборота», которое, несмотря на разъяснение, всё же остаётся очень размытым («обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» – п. 1 ст. 5 ГК РФ).

- Закон о труде (ст. 101, ч. 1, п. 3): одно из оснований для расторжения трудовых отношений – если работник, выполняя работу, действовал вопреки добропорядочности. В п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность увольнения работника, выполняющего

воспитательные функции, в случае совершения им аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Еще одно «не очень конкретное» основание для увольнения: «проведение хозяйственных, организаторских, технологических и подобных мероприятий на предприятии» (ст. 101, ч. 1). Неслучайно И.Калныня и З.Гравелсиня считают основание, выраженное через такое понятие, излишне широким (Kalniņa 2010: 12, Grāvelsiņa 2011: 15).

Уголовное право: понятие существенного ущерба. Кабинет Министров Латвии в 2014 году внес дополнения в Уголовный Закон Латвии с целью устранить проблему квалификации последствий преступного деяния: небольшой размер, значительный размер, большой размер, существенный ущерб, тяжелые последствия (не меньше 5-ти минимальных заработных плат и выше). В Кодексе об административных правонарушениях РФ предусматривается возможность привлечения к административной ответственности за мелкое хищение, стоимость которого не превышает по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ – одной тысячи рублей, а по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ – двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты. Уголовный кодекс РФ понятия «существенный вред» не содержит, хотя, например, в ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за тайное хищение чужого имущества без квалифицирующих обстоятельств, а примечания к ст. 158 УК РФ содержат разъяснения как понятий различных видов ущерба (значительный, крупный, особо крупный), так и понятий помещение, хранилище.

- Принятые в июне 2016 года Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией Латвийской республики и одобренные Кабинетом Министров ЛР Правила отбора кандидатов на пост руководителя Бюро специально выделяют наличие у кандидата **безупречной репутации**. Рамки данного понятия могут быть сколь угодно широкими (Valeine, Eirups 2016).

- В Законе Российской Федерации «О статусе судей в РФ» напрямую понятие безупречной репутации не применяется. Однако, следует отметить, что в редакции закона, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 15.12.2001 N 169-ФЗ, действовал п. 9 ч. 1 ст. 14, которым было предусмотрено прекращение полномочий судьи за «совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего авторитет судебной власти», из-за сложности применения данных понятий данный пункт был исключён и для выработки единого подхода к безупречности репутации судьи разработаны определённые требования, изложенные в ст. 3 данного закона, причём, в дополнение к нормам федерального закона было принято ещё и

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 19-П «О выявлении конституционно-правового смысла пунктов 1 и 2 статьи 3».

Можно сказать, что с содержательной стороны, неопределенное понятие – это часть правовой нормы, сформулированная с высокой степенью абстракции. С методологической стороны – это прием юридической техники, цель которого – сбалансировать требования правовой определенности и справедливости, уменьшить побочный негативный эффект нормативного регулирования, сблизить («букву» и «дух» закона).

На частоту применения неопределенных понятий влияют:

- 1) воля законодателей;
- 2) правовая система;
- 3) отрасль права.

Реже всего неопределенные понятия встречаются в следующих отраслях права:

- налоговое право;
- уголовное право;
- административное право;
- процессуальное право.

Наиболее часто неопределенные понятия применяются в:

- конституционном праве;
- описании прав человека;
- международных договорах публичного права.

В рассматриваемом аспекте очень важен вопрос, касающийся общих клаузул. Этот специфический вид неопределенных правовых понятий отличается повышенной степенью абстрактности и приемами использования. От правоприменителя также требуется самому наполнить ее необходимым содержанием, чтобы она годилась для конкретного случая. Общие клаузулы достаточно часто встречаются в текстах законов. С их помощью законодатель пытается максимально расширить правовой состав норм («на все случаи жизни»), избавляясь от их казуистичности.

Примерами таких общих клаузул являются:

- широко применяемая в различных государствах гражданско-правовая клаузула «**добросовестность**». Неслучайно именно с нее начинается самый «толстый» закон Латвии, содержащий 2400 статей, – Гражданский Закон. Статья 1: пользоваться правами и исполнять

обязанности следует добросовестно. Эта клаузула применяется, и в международно-правовых документах, и в приговорах судов. Аналогичные положения содержатся и в п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, дополнительно применяя и клаузулу «разумность»: «Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются».

- клаузула «**добрые нравы**». Варианты ее использования:

- Коммерческий Закон Латвии (ст. 29) «Ограничения в выборе фирмы»: фирма не должна находиться в противоречии с добрыми нравами. Следует уточнить, что под фирмой латвийский законодатель понимает только название предприятия (ст. 26), а не само предприятие

- Гражданский Закон (ст. 1415): «Недозволенные и неприличные действия, направленные против религии, законов или нравственных норм или на то, чтобы обойти закон, не могут быть предметом юридической сделки; такая сделка не имеет силы» (например, фиктивный брак). Из-за достаточной встречаемости такого рода сделок им было посвящено обобщение юридической практики департаментом по гражданским делам и отделом юдикатуры Сената Верховного Суда Латвии (Jurista vārds Nr.4 (547) „Par Civillikuma 1415.panta piemērošanu”)

- клаузула «**важная причина**»:

- Коммерческий Закон (ст. 452, 2 ч.): «Если договор хранения заключен на неопределенное время, то дающий на хранение может его прервать, предупредив об этом за месяц. Но если у него имеется важная причина, то он может это сделать, не соблюдая установленного срока»

- Закон о труде (ст. 100, ч. 5): «У работника имеется право в письменном виде расторгнуть трудовой договор, не соблюдая установленного в данной статье срока, если у него имеется важная причина. Важной причиной признают любое из обстоятельств, которое по соображениям нравственности и здравого смысла не позволяет продолжать трудовые правовые отношения».

Э. Левитс указывает, что граница между «обычными» открытыми понятиями и общими клаузулами является «плавающей», т.к. отличие существует только в степени абстракции (Levits 2003: 164). Можно сказать, что общая клаузула, это максимально открытое правовое понятие. Использование тех и других вынуждает правоприменителя самого принимать решение, что

зачастую им расценивается как пробел в законе (*robi intra legem*) (Likuma goba problemātika 2007).

«Обычные» открытые понятия необходимо определять в контексте закона и конкретного случая. В то же время для выяснения содержания общей клаузулы конкретный контекст имеет меньше значения, здесь важны не буква закона и конкретный случай, а общие принципы права и дух закона.

Поскольку содержание неопределенных понятий необходимо выяснять правоприменителям, то в приговорах Сената Верховного Суда Латвийской Республики их толкованию уделяется достаточно много места. Так, в деле Nr. SKC-130/2013, связанном с применением ст. 1686 Гражданского закона Латвии,⁴¹ рассматривается открытое понятие «особые препятствия», содержание которого требуется выяснять, исходя из требований закона и в контексте конкретного случая. Указанный во второй части данной статьи «злой умысел» не является единственным «особым препятствием», исключающим обязанность содолжника производить расчет. В противном случае злой умысел был бы непосредственно указан в первой части данной статьи без введения неопределенного понятия «особые препятствия».

В деле Nr. SKC-289/2010 рассматривается неопределенное понятие «существенные интересы государства и жителей соответствующей административной территории», которое учреждению, отвечающему за выдачу разрешений, необходимо было наполнить конкретным содержанием.

В деле Nr. SKC-102/2014 фигурируют использованные в ст. 169 Коммерческого Закона Латвии⁴² понятия «порядочный и аккуратный руководитель» («хозяин»), которые можно отнести к общим клаузулам, конкретизация которых оставлена на усмотрение правоприменителя.

⁴¹ Ст. 1686. Содолжник, удовлетворивший кредитора, может требовать от остальных соответствующего возмещения, если к этому не имеется особых препятствий.

Если содолжник, который произвел оплату, действовал со злым умыслом, то он в результате этого утрачивает право на возмещение от остальных.

⁴² Ст. 169. Ответственность членов правления и совета.

(1) Члены правления и совета должны исполнять свои обязанности с заботливостью порядочного и аккуратного руководителя общества.

(2) Члены правления и совета, действовавшие злонамеренно или халатно, всем своим имуществом несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате этого действия обществу, его участникам и кредиторам.

(3) Если возникает спор о том, действовал ли член правления или совета с заботливостью порядочного и аккуратного руководителя общества, он обязан обеспечить доказательства.

Открытость правовых норм позволяет искать в конкретных делах справедливое решение. Суд аргументирует использование соответствующих норм права, указывает, какие дополнительные источники приняты во внимание, конкретизирует используемые в правовых нормах понятия и объясняет, как они повлияли на юридическую квалификацию дела. В системе российского правоприменения используется такой способ разъяснения сложных правовых понятий, как принятие Пленумом Верховного Суда РФ постановлений по конкретным вопросам судебной практики. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором дается разъяснение многих понятий, связанных с данной категорией преступлений и злоупотребление доверием, в частности.

Конкретизация неопределенных понятий позволяет создать совокупность общих принципов, включающих все типы правовых ситуаций, к которым эти понятия относятся. В то же время следует помнить, что неправильное толкование неопределенных понятий может привести к принятию несправедливого (неправового) решения.

Литература

Darba likums ar komentāriem. 2010. Zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis & Liberte”. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Режим доступа:

Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 11. novembra spriedums lietā C-422/14. Available from: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171282&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=671108> (23.08.2016).

KALNINA, I., 2012. *Vēlreiz par darba un uzņēmuma līgumiem*. Available from:

http://www.lsab.lv/files/ESdoc/par_uznemuma_un_darba_ligumiem_2012_marts.doc (19.08.2016).

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 1985. Available from: <http://likumi.lv/doc.php?id=89648> (23.08.2016).

LEVITS, E., 2003. Ģenerālklausulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība (I). *Likums un Tiesības*, 6, 162–169.

Likuma roba problemātika 2007. Available from: http://www.confueconstco.org/reports/rep-xiv/report_Latvia_la.pdf (16.08.2016).

LUSIS, R., 2011. *Darba attiecības ar nodarbinātajiem slēpj aiz uzņēmuma līguma līguma*. Available from: <http://nra.lv/latvija/50335-darba-attiecibas-ar-nodarbinatajiem-slepj-aiz-uznemuma-liguma.htm>. (19.08.2016).

Par Civillikuma 1415.panta piemērošanu. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Judikatūras nodaļas tiesību prakses apkopojums. 2009. - Jurista vārds/ 27. Janvāris 2009 /NR. 4 (547). Rūdolfs fon Jērings. Available from: <https://nekropole.info/lv/Rudolfs-fon-Jerings> (11.08.2016).

VALEINE, I., EIPURS, T., 2016. Valdība apstiprinājusi kārtību, kā notiks KNAB priekšnieka amata kandidātu vērtēšana, 2 augusta 2016. Available from: <http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/valdiba-apstiprinajusi-kartibu-ka-notiks-knab-prieksnieka-amata-.a71935/> (23.08.2016).

АЛЕКСЕЕВ, С. С., 2004. *Теория государства и права*. Учебник для юридических вузов и факультетов. Москва: Норма.

Гражданский закон Латвии. Режим доступа: http://www.pravo.lv/law_ru.html (23.08.2016).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (23.08.2016).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Ред. от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW> (4.08.2016).

Закон ЛР о защите прав потребителей. Patērētāju tiesību aizsardzības likums (1999 г.). Available from: <http://likumi.lv/doc.php?id=23309> (23.08.2016).

Закон о труде Латвии (Darba likums). Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 20.06.2001. Available from: <http://likumi.lv/doc.php?id=26019> (23.08.2016).

Закон о трудовых спорах. Darba strīdu likums. 2003. Available from: <http://likumi.lv/doc.php?id=67361> (23.08.2016).

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (4.08.2016).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 2001. Ред. от 06.07.2016). Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW> (23.08.2016).

Коммерческий Закон. Режим доступа: http://www.pravo.lv/law_ru.html (23.08.2016).

О выявлении конституционно-правового смысла пунктов 1 и 2 статьи 3. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 19-П. Режим доступа:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=117436&fld=134&dst=100050&rnd=214990.27403995648939294&> (13.08.2016).

О защите прав потребителей. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (4.08.2016).

О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 03.07.2016). Режим доступа:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201262&fld=134&from=49401-303&rnd=214990.21013368586349412&> (13.08.2016).

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51. Режим доступа:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=74060;req=doc> (16.08.2016).

ПУХТА, Г. Ф., 1872. *Энциклопедия права.* 6-е изд. Пер. Линденбратена. Ярославль.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (23.08.2016).

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016). Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (23.08.2016).

Уголовный кодекс Российской Федерации. ред. от 06.07.2016. Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (4.08.2016).

ЧУДИНОВ, А. Н., 1910. *Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.* Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/ (23.08.2016).

Juris Mashoshin

Daugavpils university, Daugavpils, Latvia

Nadezhda Sokolova

Shadrinks state pedagogical university, Shadrinks, Russia

VAGUE CONCEPTS IN LAW**Summary**

The text of any law should be simple, clear and consistent, and include only monosemantic formulations. In contrast to commonly used expressions, terms should be characterised by limited semantic specialization, semantic accuracy and absence of contractual ambiguity. The use of vague concepts leads to elasticity in law. On the content side, a vague concept is part of the legal norms formulated with a high degree of abstraction. On the methodological side, it is a method of legal technique, which aims to balance the requirements for legal certainty and justice. The frequency of the use of vague concepts is influenced by the will of the legislators, the legal system and the branch of law. A specific kind of vague legal concepts are clauses, characterized by high degree of abstraction and methods of use. With their help, the legislator is trying to maximize the legal structure of the rules, getting rid of their casuistry. General clause is the most open legal concept. Their use causes enforcer to make a decision himself, they are often regarded as a legal loophole.

If you have a clause in the text of a regulation, the court dealing with cases is obliged to fill the studied circumstances with legally important content, arguing for the use of the relevant legal rules. Incorrect interpretation of vague concepts may lead to the adoption of an unfair decision.

Specifying undefined concepts enables to create a set of general principles that include all types of legal situations to which these terms refer.

KEYWORDS: law, legal norm, law enforcement, definitions, concepts, vague concepts, open concept, legal methodology.

Jurij Mašošin

Daugpilio universitetas, Latvija

Nadežda Sokolova

Šadrinsko valstybinis pedagoginis universitetas, Rusija

NEAPIBRĖŽTOS SĄVOKOS JURISPRUDENCIJOJE**Santrauka**

Teisiniams tekstams būdingas stiliaus paprastumas, formuluočių aiškumas ir konkretumas, pasikartojantys tam tikrų žodžių junginiai. Terminams priskiriamos reikšmės turi būti vienareikšmės, specializuotos bei sutartinės. Jurisprudencijoje vartojamos neapibrėžtos sąvokos leidžia laisviau interpretuoti įstatymus. Turinio prasme neapibrėžta sąvoka – teisinės normos dalis, kurios formuluotei būdinga aukšto lygmens abstrakcija. Iš metodologijos pusės, tokių terminų vartojimas padeda siekti teisinio tikslumo ir teisingumo principų. Neapibrėžtų sąvokų vartojimo dažnumą nulemia įstatymų leidėjų sprendimai, teisinės sistemos ypatumai bei teisės rūšis. Viena iš neapibrėžtų sąvokų rūšių – sąlygos, kurių formuluotei būdingas abstraktumas bei naudojimo įvairovė. Įstatymų leidėjai bando praplėsti įstatymų leidybos normas ir taip išvengti daugiaprasmiškumo. Bendroji sąlyga – maksimaliai neapibrėžta teisinė sąvoka. Jos vartojimas priverčia teisėjus savarankiškai interpretuoti ir priimti sprendimus, o tai yra vertinama kaip įstatymo spraga. Klaidingas situacijos išaiškinimas gali baigtis neteisingo sprendimo priėmimu. Neapibrėžtų sąvokų konkretizavimas leidžia tobulinti bendruosius teisinės kalbos principus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: jurisprudencija, teisinė norma, teisė, apibrėžimas, sąvoka, neapibrėžta sąvoka, juridinė metodika.

Олег Перов

Вильнюсский университет

Каунасский факультет

Taikos g. 71–19, Vilnius, Lithuania

E-mail: kodex333@yandex.ru

Научные интересы: лексика, лексикография, лексикология русского языка; деловой русский язык; история русской литературы XIX–XX веков; история русской культуры

**«ЖЕСТОКИЙ РЕАЛИЗМ» ВИКТОРА АСТАФЬЕВА:
АПОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ И ПРОПОВЕДЬ МИЛОСЕРДИЯ**

Данная статья представляет исследования большого фрагмента творчества русского писателя В. Астафьева – сборника лирических миниатюр – «Затеси». Объект анализа – главные темы, которые важны для автора: образ жизни народа, трансформация историко-культурной матрицы, эволюция, элементы развития и признаки упадка; старые семейные ценности и идеалы нового времени; выбор между чувством и долгом, необходимостью и желанием; справедливостью, возмездием и прощением. Это цикл жизненных наблюдений и размышлений, где есть восторг перед природой, вселенной и много безжалостных выводов о сути характера человека, образы гармонии сочетаются с признаками будущих разрушений.

Рядом с обычными человеческими образами можно увидеть монументальные фигуры Вождей, которые меняли социально-исторический ландшафт целых стран. Автор размышляет о вопросе социальной справедливости, когда наблюдает русскую реальность. История семьи, как часть истории страны – с её эволюцией и чередой социальных потрясений – становится не элементом частной жизни, а носит эмблематичный характер. Образ Родины у Астафьева далёк от большого географического контура, идеологии и общественных символов, он локализован в семье, крестьянском укладе, природно-языческой матрице сознания человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: справедливость, природа, возмездие, история, семья, Родина, символ.

Виктор Астафьев, как один из наиболее значимых русских писателей XX века – создаёт, анализирует, представляет образ жизни народа в этот период, разлом и трансформацию историко-культурной матрицы, общественный уклад, его эволюцию, в которой неизбежно сталкиваются элементы развития и признаки упадка, социум, где старые семейные ценности и

идеалы нового времени не мешают процессу внутренней энтропии, а напряжённый поиск пути страны ставит не только перед вечно-мучительным выбором между чувством и долгом, необходимостью и желанием, справедливостью и милосердием, но и рядом неизбежных проблем и вечных вопросов.

При определении объекта исследования необходимо отметить, что внимательный и панорамный взгляд на действительность присутствует не только в тех произведениях, которые являются для автора эмблематичными («Царь-рыба», «Печальный детектив» и полный чудовищных подробностей «солдатской правды», инфернальным ужасом и отчаянием от картины войны роман «Прокляты и убиты»), но и в «Затесях», которые, несмотря на всю условность этого определения, часто позиционируются как «лирические миниатюры». Этот цикл жизненных наблюдений и размышлений, полных восторга перед природой, мирозданием и безжалостно-брутальных выводов о сути человека; он пронизан надеждой и сомнением, верой и отчаянием, энергией и душевной усталостью, этот сборник В. Астафьев создавал не один десяток лет. Начало этих зарисовок – светлое, сентиментальное, идиллическое, исполненное приятными воспоминаниями, даёт повод провести параллель между ними и «Стихотворениями в прозе» Тургенева, традициями Толстого и Серебряным веком русской литературы. Идею своего произведения автор определяет, исходя из первичного детского впечатления о белых зарубках («затесях») на деревьях, которые не позволяли измученному охотнику или рыбаку согнуться в тайге, а выводили к спасительному стану друзей. «Затеси» – это символ пути по пространству жизни, которая «прекрасна и печальна». Образы зарниц над хлебным полем, родных берёз у берега моря на Юге, хрустального звона сосулков на деревьях у замёрзшей реки, герани на снегу, зелёных звёзд и летней грозы – создают картину идеального мира, но в нём всё сильнее начинают звучать картины тревоги, вибрации будущих разрушений: то клубящийся хаос безвременья, то гниение праздной вседозволенности, узаконенной жестокости, тупого равнодушия.

Взлёт над суетой реальности и тяжестью сомнений, чувство единения с другими людьми могут прийти в Храме под звуки органа (миниатюра «Домский собор»), но они не избавляют от тех вопросов, на которые нет ответа, более того, заостряют их. «Может, всё, что было до этого, – сон? Война, кровь, братоубийство, сверхчеловеки, играющие человеческими судьбами ради того, чтобы утвердить свою власть над миром. Зачем так напряжённо и трудно живём мы на земле нашей? Зачем? Почему? (Астафьев 2001: 205). Отступление от скучной и часто

жестокой реальности бытия даёт временное успокоение сердцу, душе, облегчение от прикосновения к Вечности, представленной в условном облике человеческого о ней разумения. В результате получается так, что органист католического храма у прохладных вод Балтики и муэдзин, взывающий с минарета под жарким небом Боснии – связаны не только служением своей идее, но и надмирностью, отстранённостью от суеты земной той истины, которую они транслируют. В затеси «Печаль веков» автор видит обыденную человеческую жизнь – школьников, народ в кафе, крестьян на быках. «Всё – в солнечном мареве и рядом – перевалы заснеженных гор, но над этим, голос – взывающий к небу. «О чём это он? О вечности? Или о быстро текущей жизни? О суете и бренности нашей? О мятущейся человеческой душе? Здесь, внизу, шли войны, люди убивали людей; пришельцы отнимали и занимали эту землю; фашисты разбивали о борта машин головы детишек, а он всё так же звучал в вышине – гортанно, протяжно, бесстрастно и удалённо» (Астафьев 2001: 213).

Мотивы тоски и разлуки, как одни из самых глубоких, древних и актуальных в сфере русской культуры и мирозерцания, присутствуют и здесь, в «Затесях». В своё время Д. Лихачёв очень чётко представил объяснение – почему они так важны: огромные пространства русских равнин и лесов естественно предполагали расставание многих близких людей надолго, а то и навсегда, вот и отражалась грусть и эмоциональные переживания в песнях, сказаниях, художественной литературе. Астафьев обращается к эпизоду, когда он был в Вашингтоне и воспоминание о том, как он 44 года назад познакомился со своей женой подвигло к тому, чтобы позвонить ей. Он передаёт изумление американских связистов, которые дозвонились до Красноярска, но натолкнулись на то, что «номер не отвечает» и так уже – не один раз. «Я же знал, растяпа, что мои земляки или дремали в этот поздний час, может, согласовать хотели с инстанциями, как относиться к звонку из Америки. И решили безответственные работники всё просто – не соединять меня с женой... Никто нас не слышит. Никто ни за что не отвечает. Ни у кого ни за что сердце не болит» (Астафьев 2001: 275). Когда Россия так далеко и хочется услышать родной голос – равнодушие (привычное на Родине) бьёт гораздо сильнее. Оно вызывает вывод, полный закономерной безысходности, который реализован в последних строках и адресован многим, кто не в первый и не в последний раз получает такой намёк и понимает, что он – не нужен.

Над собранием ярких и живых, странных и расхожих, смешных и жестоких, светлых и тёмных человеческих образов периодически возникают монументальные и символические

фигуры Вождей, благодаря которым изрядная часть народа в принудительном порядке постигла специфику выживания при построении общества нового типа. В Роттердаме перед глазами автора возник бюст Сталина, знак послевоенного уважения к стране, победившей фашизм. Кроме того, один характерный случай российской реальности, пусть и с мистическим оттенком. Памятник Ленину, ранее установленный у избы-музея в Шушенском, был демонтирован и сброшен на дно реки, где лежал лицом вверх, просвечивая сквозь воду и вызывая прилив ужаса даже у бывалых речников, потому что помнили, как «он» (по примечанию Астафьева кондовые сибиряки не называют собственным именем дьявола и другую нечистую силу, используя слово «он») был ночью, тайно свержен с пьедестала. Нерадостен вывод, основанный на всей традиции русской и мировой литературы, что людям всегда необходим объект поклонения, тем более, что технологии создания Культа формировались веками. Многим не очень хочется думать, что властитель – это не Сверхчеловек, а личность с огромной пустотой в душе, где сверхтяжёлый металл Власти успешно выдавливает остатки таких понятий, как любовь, дружба, милосердие, вера, честь, порядочность, – уничтожает их, заполняя собой всё. Финал затеси проникнут иронией и печалью, осуждением и философским отстранением. «В грустном фильме лукавого, в морализаторство на старости лет впавшего киномаэстро, услышал я, что так хорошо начавшийся XX век испортили маньяки. Но испортили они его, испохабили совместно с нами. А под слоем песка, на дне реки лежит «он», терпеливо дожидаясь, когда его раскопают. Может быть, и дождётся. «Он» нетленен. Мы смертны. Время и впрямь сильнее нас, сильнее бед и зол земных» (Астафьев 2001: 280).

Вопрос социальной справедливости, скорее всего, останется одним из вечно-неразрешимых и то, что происходит в своей родной Овсянке – не укрывается от внимательного взгляда, вызывая невесёлые аллюзии историко-фольклорного характера, но вместе с тем, здесь есть вера в стойкость народа и его неизбежное возрождение. «Блатным хитроvanам отдают лучшие земли, но чтобы трудящиеся не обижались – их под высоковольтные опоры, в лога, на пустоши определяют, так и всегда у нас на Руси было: сиятельству – палаты, холопу – скотный двор. Природа наша и народ наш похожи друг на друга, они способны воскресать из праха. Вдруг русские люди поумнеют, им захочется первозданной природы, потянет восстановить, облагородить свою землю» (Астафьев 2001: 292–293). В большинстве произведений В. Астафьева, от данных лирических миниатюр до больших романов, одно из главных мест занимает тема национального самосохранения, обсуждение которой вызывает яростную

полемику, противоречивые оценки, иллюзии и обвинения, перманентный конфликт в сфере художественной литературы и публицистики. Автор романа «Красное колесо», современник В. Астафьева, в последние годы жизни говорил, что Россия, пусть и с большими потерями, смогла пережить его разгон и движение. Однако, гораздо страшнее и опаснее то, когда по стране сейчас катится Жёлтое колесо, в цвете которого сочетаются два значения: во-первых, образ металла, который с библейских времён вызывал иллюзию всемогущества и успешно втягивал в водоворот алчности, стяжательства, преступлений и порока; во-вторых, цвет легализованной пошлости, вульгарности, бесстыдства как нормы жизни. К этому моменту Астафьев обращается не раз. Однако наиболее тяжкое эмоциональное впечатление производит эпизод, где он вспоминает часть истории своей семьи. «За полгода примерно до своей гибели моя мама повезла меня в тюрьму, на очередное свидание к папе. Чудовищная эта привычка – таскать детей по больницам, тюрьмам, гулянкам – ещё и по сию пору сохранилась в русских деревнях» (Астафьев 2001: 368). Глазами семилетнего мальчика представлена атмосфера тюрьмы: затхлые коридоры, охрана, скрип тяжёлых дверей, взволнованные, испуганные люди, которые ищут глазами близких по ту сторону решётки. Этот мотив, образ Неволи расширяется до восприятия многими тысячами людей, которых Государство затронуло именно так, часто – без видимой причины. Это не современные слезливо-тоскливо-псевдо-героические песни о воровской «романтике» со странным названием «русский шансон», а также – не примитивная кинематография, где служащих правопорядка можно спокойно менять местами с преступниками – насколько похожа их лексика, хватки, методы и мировоззрение. Это личный болезненный опыт, который, может быть, знаком очень многим. Автор помнит, как охранник через проём в решётке передал его на руки к отцу, который чем-то угощал его из своей передачи. А под конец свидания «пошутил», что он остаётся здесь, с отцом, в тюрьме. Результат – оттиск Красного колеса остался навечно. «Дальше – затмение в памяти. Говорили, что я дико закричал, вцепился руками в решётку и задёргал её, пытаюсь вырваться наружу, меня успокаивали и не могли успокоить. Я закатился, будто в родимце, и пришёл в себя только за воротами тюрьмы, на холоду, но долго ещё вскакивал и кричал ночами...» (Астафьев 2001: 370).

Образ Родины, где проходит твоя жизнь, у Астафьева далёк от большого географического контура, государственных эмблем, идеологии, общественных символов и исторических событий. Он локализован в семье, в крестьянском укладе, погружён в природно-языческую матрицу, где видно происхождение этого понятия (Род – как древнеславянский отец

всего сущего. Отсюда: родина, родители, роды, родня, урожай, родник...). Автор «Затесей», человек из семьи раскулаченных крестьян, «спецпереселенцев», исполнен тоски и благоговения перед образом дома, крестьянской избы, в которой собиралась семья, делилась проблемами и нехитрыми радостями. Наблюдая в электричке охотников за когда-то модной закуской – хреном, а также: иконами, прялками, скалками, туесами – он вспоминает картину, которую наблюдал не раз и в ней понятие «выжить» наполняется своим вторым сумрачным значением – это принуждение к тому, чтобы оставить своё место (землю, дом), всё, что дорого, близко, заработано тяжёлым трудом. «В заглохшей избе, кинутой как будто при пожаре или отступлении в войну, где святые угодники смотрят с полублезших икон да ходики, упёршись ржавой гирей в пол, свидетельствуют о том, что время остановилось, витает чувство тяжёлого, вязкого сна. Нет даже страха, а лишь тупая покорность неумолимому ходу жизни» (Астафьев 2001: 429). Это как атомный распад прежнего многовекового уклада, остатки бытовых вещей, ложки, кружева, старые учебники и детские игрушки, многое, что ворошат посторонние, выбирая для прихоти или заработка относительно ценные вещи. А в заключении затеси – рынок, как один из современных идеалов благополучия, где можно приобрести всё, да ещё и с помощью «колоритного» продавца. « – Кому хрена? Кому Бога? Пр-р-р-родаю-у! Чуть не даром отдаю! – осклабясь, орёт современный хам и матерщинник, орёт вчерашний деревенский житель. Всё дикое сделалось привычным. Всё привычное – диким» (Астафьев 2001: 430). Разумеется, с 80-х годов прошлого века форма продажи существенно изменилась, но принцип остался тем же. За подобные пассажи и рефлексии автору долго и старательно лепили ярлык представителя «деревенской прозы» (официально) и «густопсового реалиста» (неофициально), однако и тогда было понятно, что проза Астафьева сложнее и глубже любых формальных или ироничных определений.

Крайности и противоречия «русского характера» не раз становились объектом изучения и предметом оценки философов, историков, культурологов и литературоведов. Экстремизм и покорность судьбе; исступлённая вера и нигилизм; безудержное веселье и непонятная тоска; любопытство к новшествам и защита устоев – многие другие черты и характеристики невозможно было свести в один тип. Так и в творчестве Астафьева жёсткость оценки людей. Изуверство некоторых персонажей соседствуют со стремлением к этическому идеалу и совершенно светлыми, вдохновляющими образами. В одной из своих статей французский литературовед, Жорж Нива, рассматривает «русский характер» через призму исторически-

значимой фигуры. «Экстремистский склад ума, нетерпение бунтовщика, столкнувшегося с инертностью жизни, склонность к сектантскому типу мышления, страшное, опустошительное стремление не сворачивать с избранного пути. Петра I можно было бы назвать основоположником такого менталитета» (Нива 1999: 93). В другой статье, «Парадоксы утверждения евразийцев» он дополнительно подчёркивает: «Высшие ценности (преданность, верность, твёрдость характера), признаваемые великим императором, скрепляли его государство подобно цементу. Но ведь на них и держится «русский характер» (Нива 1999: 140).

В. Астафьева некоторые критики периодически упрекали в тривиальности проблематики, в том, что он представляет традиционное для русской литературы противостояние «естественного, настоящего человека» и «лицемерного социума». Ближе к концу его жизни, после романа «Прокляты и убиты» – ругань в критике и публицистике стоном стояла, была масса обвинений: от спекулятивного использования ненормативной лексики до «заземления» образа солдата и офицера, очернения нравственных идеалов народов СССР. Однако, большинство причастных к войне и Победе поразились – какой «ком солдатской правды» он вывернул. Автор видел, что народ жил на войне между иллюзорной надеждой на Бога, а с другой стороны была сильная, жизненная вера в своё Дело, родную землю и предназначение. Работать, творить и защищать свои ценности общество, в частности, заставляет мысль, что народ смертен. Если он забывает свой генезис, утрачивает энергию движения и вектор развития – ему будут нанесены сильнейшие удары, от которых можно и не оправиться. Есть ситуации, когда грань между выживанием и унижением стирается, что и представлено в затеси «Кровью залитая книжка», когда к автору подходит ветеран войны, просит деньги «на проезд» и дрожащими руками суёт инвалидный билет. «У меня у самого под грудью лежит инвалидная книжка, самый горький и дорогой документ. Я его редко достаю, нас мало осталось, скоро и книжки, и инвалиды войны исчезнут... А этот людям в лицо тычет, на выпивку серебрушки требует кровью облитой книжкой. Стыдно-то как, Господи!» (Астафьев 2001: 665).

Процессы и явления, которые в достаточно благополучном западноевропейском мире воспринимаются как естественные и неизбежные, те, которые подкреплены рассуждениями экономистов, выводами социальных антропологов, наблюдениями этнопсихологов – в России, несмотря на все увещевания о благополучии, воспринимаются как излом жизненного уклада, деформация сознания, отказ от ценностей. То есть, урбанизация, уход, отток людей в города на Западе часть цивилизационно-обусловленного процесса; а для многих в России – признак

Апокалипсиса. Сознательный отказ от земли, которая кормила и позволяла выжить предкам, на которой родился ты; пренебрежение устоями, забвение личной истории, памяти рода – приводит к такой реальности. «В глубине России видывал я такие картины – деревня с умолкшими подворьями, дыры выбитых окон или накрест и внахлѣст досками зашитых, пустые, на гвозде шатающиеся скворечники, бурьян по огородам и дворам, кусты...

И вот умолкли российские поля, отцвело небо над Россией, никто этого вроде бы и не заметил, никто не загоревал, не схватился за голову, не взревел: «Люди! Русские люди! Братья и сѣстры! Да что же мы делаем-то!» (Астафьев 2001: 751–752).

Сочетание раздражения и сочувствия, осуждения и прощения, стыда за отдельных людей, неприязнь к власти имущим, нуворишам и гордость за близких, друзей, земляков, многих людей, встреченных на пути – это характерно для «русского максималиста», который не вписывается ни в одну теорию общественного развития или психологическую концепцию. Неприятие, отторжение и симпатия, соотнесѣнность с людьми своей страны и крови проявлялась во многих произведениях – от древнерусской литературы до Серебряного века. «Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает. Аномалия.» (Розанов 1991: 48). Это сказал человек, который в своём «Уединѣнном» и «Опавших листьях» постоянно говорил о «русской лени», «русской грязной жизни», «русском мечтателе и болтуне», о Достоевском, который «собрал всю сволочь на Руси и стал пророком её», о Толстом, чья жизнь, оказывается, «спрыснутая духами пошлость, «туда и сюда» тульского барина». В. Астафьев, вспоминая свою работу корреспондента в газете, не ищет красивых слов и в затеси «Российское разгильдяйство» просто безжалостен в обобщении одной из типичных черт национального типа. В разговоре с молодым начальником шахты он обращает внимание на стол, заваленный сигаретными пачками и коробками спичек, изъятыми у шахтѣров, которые прекрасно знают: никакого огня в шахте, метан может взорваться от малейшей искры. А через несколько десятков лет слышит по телевидению унылое объяснение одной из трагедий с жертвами – может, и закурил кто... Жестокий по форме и содержанию вывод венчает эту затесь. «О-о, этот твердокаменный и загадочный характер русских людей! Он неизменен в тупости своей и разгильдяйстве. Ему и века нипочѣм!» (Астафьев 2001: 897).

Один из важных и принципиальных моментов творчества В. Астафьева – постоянное обращение к устоям национальной жизни, осмысление их возникновения, эволюции, преимуществ и изъянов. Распадение бытия человека на две данности (Родину и Государство) – отнюдь не ново, особенно в России. Во время социальных потрясений, революций – для многих не стоял вопрос: оставаться или уезжать. Потому что он был равносителен дилемме: погибнуть или выжить. Но вторая половина XX века – это уже другая реальность и мотивы для того, чтобы уехать за границу или остаться здесь – уже более сложны и неоднозначны. В. Астафьев в своей затеси «Раздумья в небе» – с борта самолёта смотрит на отдаляющийся Франкфурт, вспоминает знакомого, который уехал сюда и хочет издавать русский журнал, как Твардовский «Новый мир». Но Твардовский, пусть и с контролем-давлением сверху, жил среди своих людей и на своей земле, а в данном случае всё по-другому. «Невольно думаешь, как тут копится бессильная, слепая злоба от неизбежной, жгучей, необъяснимой, по-русски болезненной тоски. Бог с тобой, русский человек. Мы не властны в своей судьбе. Я не хую тебя и не презираю. И ты не хули меня и не презирай. Остаься русским. Это трудно. Очень трудно. Но это даёт хоть какую-то веру в будущее, хоть какое-то укрепление мысли от сознания принадлежности к своему народу, к забедованной нашей земле» (Астафьев 2001: 634).

Сравнение двух параллельных миров: у нас, в России и там, за границами страны – возникает периодически и всегда носит образный, рельефный характер конкретной ситуации, в которой будет проверена способность понять, поступить по совести, проявить милосердие. Жизнь, где проблемы конкретных людей, независимо от их места проживания, одинаковы – иногда включает в себя элемент немедленного наказания для тех, кто нарушает принципы элементарной справедливости. В заключении затеси «Богатые за бедных» возникает короткий и грустный вывод о том, что можно видеть на Родине. В Колумбии, где процент бедности гораздо выше, чем в России, автор видит старика, который помогает найти место и припарковаться машинам людей, приехавших в местные рестораны. Каждый из них благодарит его каким-то количеством мелочи, но когда один «синьор» хочет нахально уехать не рассчитавшись, другие синьоры его быстро блокируют, вытаскивают из машины и, размахивая кулаками и пистолетами, заставляют заплатить гораздо больше. «Я смотрел, слушал и думал: «Вот бы и у нас так – за бедных богатые заступались, так сколько бы российского свинства вывелось. Случилось это уже лет десять назад, в Колумбии, в Боготе, и не знаю, как там, за океаном, а у нас за это время бедные сделались ещё беднее, богатые же ещё свинее» (Астафьев 2001: 731).

С апологией выживания у В. Астафьева часто связана идея и воздействие Государства, которое – то тягостно и незримо, то ожесточённо-явно присутствует в жизни людей, формируя принципы общественного бытия, контролируя, подавляя, деформируя не только личность, но и уклад жизни. Это связано не только с тем, что наблюдал сам автор (индустриализация через уничтожение крестьянского сословия; отторжение от земли; навязывание новых ценностей), но и с особенностью национального характера, которая представлена как наивная, драматическая, создающая иллюзии, за которые платят дорогой ценой, когда «русский люди всё ждут хорошего царя, который подарит им хорошую жизнь, и на всякий случай «ура» кричат, аплодируют всякому встречному и поперечному, потом проклинают ими же вознесённого царя, кипят, кулаками машут в воздухе, ищут виноватого...» (Астафьев 2001: 575). Рассуждениям о генезисе, эволюции, функционировании и особенностях Государства посвящены не одна тысяча книг и фундаментальных работ, связанных с политикой, правом, историей, социологией и этикой. В художественной сфере В. Астафьева этот образ всегда конкретен: от сытого, хмельного, наглого политрука на фронте; маршала, поклонника приёма – «тактика русская трёхслойная – два слоя солдат заполняют неровности земли, а третий ползёт по ним к победе» (Г. Владимов «Генерал и его армия») до первых лиц государства. Критерий Правды, пусть жестокой и страшной, но очищающей и ведущей к возрождению – важен для автора «Затесей». Мегасистема государства при всей его структурированности, иерархии, в то же время предлагает самый простой вид мифологизации, о котором вполне определённо выразился человек, оказавший огромное воздействие на философскую мысль рубежа XIX–XX веков и на историю XX века в целом. «Государство лжёт на всех языках добра и зла: и в речах своих оно лживо, и всё, что имеет оно, – украдено им. Только там, где кончается государство, начинается человек – не лишний, но свободный...» (Ницше 1993: 225, 227). В одной из самых коротких, эмоционально-сильных и тяжёлых затесей с говорящим названием «И милосердия...» автор вспоминает эпизод как маленькая девочка с подачи отца, который хвалил её за усердие – кормила голубей отравленным зерном, а он их ночью сгрёб лопатой в кузов машины, отвёз на свалку и сжёг там, Государство в лице санэпидемстанции разрешило это и другое, что ещё более ужаснуло Астафьева – осыпать весенний лес дустом. Результат – погибла масса птиц, сапоги с хрустом по щиколотку утопали в пухе и птичьих скелетах – остаётся только одно: возносить ко Всевышнему немногие, но важные слова сохранившейся с детства молитвы. «Я шёл, шёл, ослеплённый слезами, и не мог проклинать, а молил каким-то полузабытым отрывком из старой молитвы себя, детей своих,

всех людей, таких беззаботных и жестоких «Боже, милосердия ми воздаждь... и милосердия ми воздаждь... и милосердия...» (Астафьев 2001: 509).

Многие критики утверждали, что дар созерцания Астафьева в поздний период творчества выхватывал из материи жизни только наиболее тёмные её стороны: концентрация тоски, отчаяния, отвращения от самой человеческой сути была настолько велика, что ему, практически, удалось создать картину Апокалипсиса нашего времени. Но те исследователи, которые его знали лично, дружили, полемизировали – увидели совершенно другую тенденцию, которая, зная тематику, образу, этическую систему автора, представляется вполне закономерной и естественной. «В последних «затесях» стало светать, как прежде, до «Детектива». Как будто вновь возвысилась сила юности, высокая творческая ясность. Как будто душа поднялась к небесам, откуда случайности уже не видны, и там, в небесах сомкнулась с собой давней, молодой, умеющей побеждать зло надеждой» (Курбатов 2001: 11).

Литература

АСТАФЬЕВ, В. П., 2001. *Затеси*. Москва: АСТ-пресс.

КУРБАТОВ, Ю., 2001. Предисловие к книге В. П. Астафьева «Затеси». Москва: АСТ-пресс.

НИВА, Ж., 1999. *Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе*. Москва: Высшая школа.

НИЦШЕ, Ф., 1993. *Так говорил Заратустра*. Минск: Попурри.

РОЗАНОВ, В., 1991. *Уединённое. Опавшие листья*. Москва: Издательство политической литературы.

Oleg Perov

Vilnius University, Lithuania

“THE CRUEL REALISM” OF VICTOR ASTAFJEV: APOLOGY OF SURVIVAL OR PREACHING OF MERCY

Summary

This article presents an investigation of a collection of lyric miniatures *Zatesi* by Russian writer V. Astafjev. The object of analysis is the main topics, which were very important for the author: the mode of life of Russian people; transformation of the historic-cultural matrix; evolution; elements of

progress and signs of decline; old family traditions and new-time ideals; the choice between sense and duty; necessity and wish; justice, requital and forgiveness.

These are observations of and reflections on a cycle of life; we can notice the author's rapture of nature, universe and a lot of pitiless conclusions about the essence of the human character; images of harmony are close to signs of imminent destruction. Next to ordinary people, it is possible to observe leaders who changed social-historical landscape of entire countries. The author compares ancient and modern Russian reality and reflects on the question of social justice. Family history is like a part of Russian history: with an evolution, a range of social shocks, it is not only a fact of private life, but family life bears an emblematic character. The image of homeland is far from a contour on a geographical map, ideology and public symbols; it is localized in family, the peasant mode of life and in the nature-pagan matrix.

KEYWORDS: justice, nature, requital, history, family, homeland, symbol.

Oleg Perov

Vilniaus universitetas, Lietuva

„ŽIAURUSIS“ VIKTORO ASTAFJEVO REALIZMAS

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas rusų rašytojo V. Astafjevo lyrinių miniatiūrų rinkinys *Graižtai*. Tyrimo objektas – pagrindinės rinkinio temos: tautos gyvenimas, istorinės ir kultūrinės aplinkos transformacija, evoliucija, vystymosi ir krizės elementai; senosios šeimos vertybės ir naujojo amžiaus idealai; jausmas ir pareiga, būtinybė ir norai, teisingumas, kerštas ir atleidimas. Šiame rinkinyje autorius dalijasi pastebėjimais ir apmąstymais, žavisi gamta, visata, negailestingai atskleidžia žmogaus charakterio gelmes, harmoniją supriešina su būsimo griovimo ženklais. Šalia paprastų žmonių vaizduojami išskirtiniai asmenys – vadai, kurie geba keisti šalių socialinę-istorinę aplinką. Stebėdamas tikrovę, autorius mąsto apie socialinį teisingumą. Šeimos istorija tampa šalies istorija. Tėvynės įvaizdis V. Astafjevo kūryboje nesiejamas nuo geografinių, ideologinių bei bendrųjų simbolių. Jis atsiskleidžia šeimoje, valstietiškoje būtyje, gamtiniame-kalbiniame žmogaus pasaulyje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: teisingumas, gamta, kerštas, istorija, šeima, Tėvynė, simbolis.

Наталья Петрова

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Пермь, ул. Сибирская, 24.

E-mail: natpetrova1@gmail.com

Область научных интересов автора: поэзия Осипа Мандельштама, маркеры времени, семантический анализ

МАРКЕРЫ ВРЕМЕНИ В ПОЭЗИИ О. МАНДЕЛЬШТАМА

В статье рассматривается семантика времени в поэзии О. Мандельштама. Судя по конкордансу Л. Митюшина, слова, обозначающие временные периоды – «прошедшее», «настоящее», «будущее» и «вчера», «сегодня», «завтра» – у О. Мандельштама встречаются редко, что компенсируется нарастанием частотности языковых конструкций с наречиями, союзами, частицами «еще», «уже», «уж», «пока», «покуда». В биографическом плане «еще» подразумевает промежуток, долженствующий завершиться «уже» – необратимостью смерти. Предчувствие скорой гибели превращает «настоящее» во время, через которое можно «прошелестеть», «проскользнуть», если «До смерти хочется жить». В стихах 30-х годов анафорические «еще» следуют один за другим, образуя маленькие каталоги. Они, то отстаивают право на жизнь, то удивляются ее длительности. К маркерам «настоящего» добавляются частица «вот» и глагол «есть», различающиеся как по функции, так и по семантике. Первое служит констатации обстоятельств, порожденных судьбой и историей. Второе первое служит констатации обстоятельств, второе свидетельствует наличии непреложных законов, не подверженных ходу времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркеры времени, семантика языковых конструкций, «еще» и «уже», разграниченность временных пластов, текучесть времени.

В воспоминаниях об О. Мандельштаме Э. Гернштейн отмечает: «Он признавал только настоящее. Прошлого для него не существовало»; он считал, что «Жить нужно настоящим» (Герштейн 1998: 18, 37).

Для лирического поэта такая позиция вполне закономерна, поскольку по устоявшемуся представлению, лирика есть сфера настоящего – остановленный момент, втягивающий в себя причины и следствия. Установка на сиюминутное входит в противоречие с другим постулатом –

присущим Мандельштаму чувством «исторического процесса» (Мандельштам 1993: 1, 217). Противоречие разрешается в статье «О природе слова» (1920–1921), где говорится о возможности совмещения характерной для лирики фиксации остро переживаемого мгновения с отчетливым пониманием его места в цепи истории. Поясняющим это единство образом служит бергсоновский «веер», «створки которого можно развернуть во времени» или же подвергнуть «умопостигаемому свертыванию» (Мандельштам 1993: 1, 218).

Слова, обозначающие временные периоды, складывающиеся в историю, в стихотворениях О. Мандельштама встречаются редко. Существительное «будущее» и прилагательное «будущий» – появляются шесть раз; «прошлый» и «прошедший» – по одному (Митюшин, 2016). Существительное «настоящее» присутствует только в стихотворении «Ода», обращенном к Сталину, образ которого должно воссоздать так, «Чтоб настоящее в стихах отозвалось» (Мандельштам 1993: 2, 112). Шесть прилагательных («Настоящие вокзалы», «Настоящая беда» и т.п.) указывают не время, но качество. «Настоящее» – то, что, являясь фактом, существует «на самом деле» и потому обречено и конечно («Неужели я настоящий. | И действительно смерть придет?»). Шесть прилагательных «настоящее» («Настоящие вокзалы», «Настоящая беда» и т.п.) указывают не на время, а на качество. Существительное «будущее» и прилагательное «будущий» – появляются шесть раз, «прошлый» и «прошедший» – по одному (Митюшин 2016).

Проходящее время конкретизируется во «вчера», «сегодня», «завтра». «Вчерашнее» – уходящее в прошлое («И вчерашнее солнце на черных носилках несут»), «глуповатое» и «зряшное», но как-то сохраняющее свое воздействие на настоящее («И от битвы вчерашней светло»). «Сегодня» констатирует факт («Сегодня дурной день»; «Мы сегодня увидели»; «Сегодня ночью, не солгу» и т.п.). «Завтра» отмечается парадоксальной амбивалентностью, порожденной текучестью времени: «Сегодня – ангел, завтра – червь могильный». «Сегодня» включает в себя момент перехода, который превращает «вчерашнее» в «завтрашнее»: «Как море без морщин, как завтра из вчера». Ранее потрясение, предполагающее обреченность «Неужели я настоящий | И действительно смерть придет?», откликается в позднем: «Неужели я увижу завтра», где «небо» (весь мир) оказывается «будущим беременно». Эти мотивы переплетаются в стихотворении «Меганом» (1911), где в качестве факта присутствует «настоящее» («Шуршит песок, кипит волна»), в виде памяти – прошлое («Огромный флаг воспоминанья»; «Печальный веер прошлых лет») и будущее, несущее в себе ожидание и готовое стать вчерашним.

Редкое появление слов, воспроизводящих хронологическую последовательность событий, поэтом, который прислушивается к «шуму времени» и воспринимает искусство как память, должно иметь какое-то обоснование и предполагать иные способы их обозначения. Такими знаками, прежде всего, являются наречия «еще» и «уже», определяющие «настоящему» промежуточное существование между «прошлым» и «будущим». «Еще» означает то, что «еще не состоялось, но вероятно случится». «Уже» – «совершение, исполнение, окончание» (Даль 1978–1982: Т. 1, 353; Т. 4, 476–477). Первое устремлено в будущее, второе – в прошлое. Время между ними наделяется разной степенью длительности и значимости.

Л. Митюшин отмечает у Мандельштама повышенную частотность языковых конструкций с наречиями, союзами и частицами «еще», «уже», «уж», «пока», «покуда», выступающих в качестве заместителей и совместителей. В отнюдь не обширном его поэтическом наследии наречие «еще» присутствует 93 раза, из них 55 в начале строки; «уже» – 43 раза, из них 16 – в начале.

«Еще» и «уже» вполне устоявшаяся и даже обыденная языковая конструкция. Судя по алфавитным указателям стихотворений, «еще» и «уже» начальными словами оказываются не часто (у А. Пушкина и Ф. Тютчева с «еще» начинаются по 3 стихотворения, у Мандельштама – 4; с «уже» у Пушкина и Тютчева ни одного, и одно у Мандельштама).

В классической поэзии особый случай представляет собой схождение двух наречий в одном тексте. Конструкция сопоставления или противопоставления «еще» и «уже» в классической традиции призвана отразить некое промежуточное состояние природы, не прерывающее обычный ход времени, а, наоборот, с удовлетворением утверждающее последовательность порядка: «Октябрь уж наступил – уж роща отряхает | Последние листы с нагих своих ветвей; | Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. | Журча еще бежит за мельницу ручей, | Но пруд уже застыл... (А. Пушкин); «Еще земли печален вид, | А воздух уже весною дышит...»... (Ф. Тютчев).

Первое «еще» Мандельштама появляется в стихотворении «Пустует место. Вечер длится» (Мандельштам 1993: 1, 43), где запечатлено состояние напрасного ожидания. Его застывшей томительности противопоставляется непрерывное движение окружающего мира: «Вечер длится», «Напиток... дымится» и «чертит». Настоящее даже в момент его фиксации оказывается трудноуловимым. Остановленное настоящее закрепляется в своей текучести и неустойчивой длительности. «Еще», мерцающее на стыке настоящего и будущего, готовое стать

настоящим, но так и не становящееся им, приобретает семантику невоплощенного кануна, несостоявшегося поворотного момента предчувствуемой судьбы. Такое же ожидание, наполненное постоянным перемещением, присутствует в зарисовках, например, в «Американ бар» (Мандельштам 1993: 1, 89). Настоящее незначимо и преходяще, оно лишь подготовка к чему-то предвкушаемому, промежуток, не требующий описания («Сначала нам слегка взгрустнется...», «Потом, беседуя негромко»). Неостановимое движение быта проявляет вечный круговорот времени («вращающийся стул» превращается то в «Фортуны... колесо», то в течение «медленных орбит»). Настоящее поглощается вневременным и, если обретает где-то некую самоценность, то в редких «натюрмортах» (например: «Невыразимая печаль открыла два огромных глаза...»), отмеченных отсутствием еще и «уже».

У Мандельштама, названного И. Бродским «поэтом цивилизации», цикличность времени соответствует современному ему философскому представлению о напластовании кругообразных культур: она не столько природная, сколько биографическая и историческая. Поэтому «еще» и «уже» у Мандельштама могут меняться смыслами: «в поэтическом мире Мандельштама, не принимающего ига дурного времени и дурной причинности, возможно и не только это: “физика” этого мира такова, что следствие и причина могут меняться местами». (Топоров 1995: 434). Так в стихотворении «Silentium» (Мандельштам 1993: 1, 50–51), «еще» вопреки своему значению фиксирует превращение настоящего не в будущее, а в прошлое, наделенное гармонией и сохраняющее «ненарушаемую связь» между миром и человеком, между жизнью и искусством.

В биографическом плане «еще» часто подразумевает промежуток, долженствующий завершиться «уже» – необратимой конечностью смерти. Подтверждением тому стихотворение «Что поют часы-кузнечик...», где «еще», оказываясь последним словом стихотворения («Сердце теплое еще»), переводит мотив жизни как умирания на уровень не столько сюжета, сколько метасюжета, поскольку эта проблематика присуща всему корпусу мандельштамовской лирики. Его «быть» синонимично не, только жизни, но жизни и следующей за ней смерти, оттого превалирует не «быть», а «побыть», «сначала», «еще». Из всех мандельштамовских «еще» первой вспоминается знаменитая формула «Еще побыть и поиграть с людьми», в которой сохраняется надежда на пусть недолгое, но возможное будущее.

Жизнь завершается смертью, а смерть пробуждается жизнью. Так стихотворение на смерть матери «Эта ночь непоправима...» (Мандельштам 1993: 1, 123). кончается словами «Я проснулся

в колыбели, Черным солнцем осиян». Черное солнцу – знак царства смерти (Мандельштам 1993: 1, 123). В чувстве истории у Мандельштама «Еще жива несправедливость Рима», «Еще звучат живые голоса» – все здесь и сейчас, настоящее и будущее пропитаны прошлым и живы им.

Возможно, настойчивая замена статики «настоящего» его преходящей текучестью обусловлена временем. Ощущение «промежуточности», формирующееся на рубеже веков, ощущалось как на историческом, так и на экзистенциальном уровнях. Ф. Ходасевич, считал, что «явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из ... современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому» (Ходасевич 1991: 255). Набоков ощущал жизнь как «щель слабого света между двумя идеально черными вещностями» (Набоков 1989: 19). По слову Мандельштама, слом эпохи отнял у него «биографию, ощущение личной значимости» (Мандельштам 1993: 2, 496) и ту предсказуемость существования, что наполняет жизнь «телеологическим теплом» (Мандельштам 1993: 1, 227).

Тяга к не настоящему, а к всеобщему вневременному находит выражение в привязанности к эллинизму, понимаемому в «бергсоновском смысле слова», как «система», которую человек разворачивает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое я» (Мандельштам 1993: 1, 227).

В ранних стихах Мандельштама мотив смерти окрашен символистской игрой и позой, смерть еще иллюзорна. Не случайно ее явление проецируется на театральное действие «Валкирии» Р. Вагнера (Мандельштам 1993: 1, 99). Смерть приходит с концом спектакля («Уж занавес наглухо упасть готов»), но зрители не способны соотнести ее неизбежность с собственным будущим («Еще рукоплещет в райке глупец») ⁴³.

К середине 30-х годов на смену ничем не обоснованному убеждению «не тронут, не убьют» приходит отнюдь не метафизическая, а самая непосредственная угроза скорой гибели. Естественной реакцией оказывается сопротивление и не желание подчиниться тем социальным обстоятельствам, против которых человек бессилён («я еще не хочу умирать») ⁴⁴. «Настоящее»

⁴³ М. Эпштейн, сопоставляя это стихотворение с XXII строфой первой главы «Евгения Онегина», отмечает обратную симметрию «еще» и «пока» (Эпштейн 1988: 120–139).

⁴⁴ Судя по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, Мандельштам боялся не столько смерти, сколько ее насильственного вторжения, своей неспособности уловить ритм судьбы и соответствовать ему. Ахматова приводит слова Мандельштама «Я к смерти готов» (Мандельштам 1993: 1, 509).

становится временем, которое надо «прошуршать», «прошелестеть», «проскользнуть», если «До смерти хочется жить».

В стихах 30-х годов анафорические «еще» следуют один за другим, образуя маленькие каталоги. Они то отстаивают право на жизнь («Еще далеко мне до патриарха, | Еще на мне полупочтенный возраст, | Еще меня ругают за глаза...»; Еще мы жизнью полны в высшей мере, | Еще гуляют в городах Союза... | Еще машинка номер первый едко... | Еще стрижкой довольно и касаток, | Еще комета нас не очумила...») ⁴⁵, то отмечают удивление перед фактом своего дрящегося существования («Еще не умер я...»). Или окликают по имени все то, что составляет жизнь, взхлеб перечисляя ее неистощимое многообразие («Еще! Еще! Сетчатка голодна!»)

Настоящее, в силу каждодневно осознаваемой кратковременности, начинает приобретать особую самостоятельную ценность. «Еще» означает отсчитываемое оставшееся время («Неужели я увижу завтра...», «Подивлюсь на свет еще немного...», «Долго ль еще нам ходить по гроба...»). Ощущение «последнего раза» придает восприятию чувственную полноту, актуализируя мотив прощания. Когда ясно, что больше «не увижу» и «не взгляну», мир становится дробным и детализированным: «Лазурь да глина, глина да глазурь, Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь, Как близорукий шах над перстнем бирюзовым...» (Мандельштам 1993: 3, 39).

Стремление растянуть длительность этого «еще» усиливается союзами, причем, если сначала чаще встречается «пока», то постепенно оно сменяется на «покуда», особо частое в стихотворениях 30-х годов: «Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши».

Ретроспективный взгляд от поздних стихов, говорящих о реалиях современности и биографии ⁴⁶, к ранним, обнаруживает и в них латентное присутствие настоящего. Строка, вынесенная в заглавие статьи – цитата из стихотворения 1917 года «Меганом» – дополняет «пока» и «еще» указанием «на самом деле», призванным подчеркнуть реальность происходящего. Но чаще маркерами «настоящего» являются частица «вот» и глагол «есть», различающиеся как по функции, так и по семантике. В ранних стихах «вот» останавливает

⁴⁵ В цитируемом стихотворении «Еще мы жизнью полны в высшей мере...» присутствует саркастическая языковая игра: «высшая мера» – расстрел – становится мерой жизни; машинка для стрижки, переключаясь со «стрижками» вызывает ассоциацию с «брадобреями»-палачами; комета считалась предвестницей Первой мировой войны, а, следовательно, революции.

⁴⁶ Судьба Мандельштама, «по крайней мере с середины 20-х годов <...> неизбежно входит в структуру его поэтического мира», «"Я" поздних мандельштамовских стихов неотделимо от личности автора», в его отношении к миру «нет никакой предвзятости, никакой заранее построенной модели», «целое создается скорее жизнью» (Левин 1978: 3, 110–173).

мгновение – «великолепный миг» «вне времени» (Мандельштам 1993: 1, 114), наполняя его метафизической значимостью, открывающей возможность интуитивного постижения «связи» с миром и собственной природы говорящего: «Так вот кому летать и петь...» (Мандельштам 1993: 1, 99). В поздних – «вот» служит констатации непреложных обстоятельств, порожденных судьбой и историей: «Иль этот ровный край – вот все мои права...» (Мандельштам 1993: 3, 120); «Вот "Правды" первая страница, | Вот с приговором полоса» (Мандельштам 1993: 3, 142). «Есть» и в ранних и в поздних стихах свидетельствует о наличии не менее непреложных вечных законах, не подверженных ходу времени: «Есть в тяжести радость...» (Мандельштам 1993: 1, 63); «Есть ценностей незыблемая шкала» (Мандельштам 1993: 1, 137); «Есть блуд труда и ор у нас в крови» (Мандельштам 1993: 3, 53).

Мандельштама принято считать одическим поэтом: «Ода – это его область» (Волошин 1990: 240). Ода обращена к будущему. «Tristia» говорит о том, что «ода сменяется элегией» (Струве 1992: 202). «Элегия – жанр ретроспективный и в поэзии, пожалуй, – замечает И. Бродский – наиболее распространенный. Причиной тому отчасти свойственное любому человеческому существу ощущение, что бытие обретает статус реальности главным образом постфактум, отчасти тот факт, что самое движение пера по бумаге есть, говоря хронологически, процесс ретроспективный. В этом смысле все сущее на бумаге, включая утопию, есть элегия» (Бродский 1991: 180). В возвращении оды и элегии к их древнему совместному существованию, в их взаимообратимости у Мандельштама проступает та же тенденция восприятия времени как веерообразного пространства, поскольку «жить» синонимично «говорить».

Процесс творчества, по ощущению Мандельштама, выпадает из времени, ускользает из настоящего в прошлое и будущее – «прежде губ уже родился шепот». «Губы» – постоянный синоним еще не произнесенного, рождающегося слова. «Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение», а после – «Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла», «Человеческие губы, | которым больше нечего сказать, | Сохраняют форму последнего сказанного слова» (Мандельштам 1993: 3, 78; 1, 215; 2, 44, 45). «Еще» и «уже», «до» и «после» – меняются местами. «Пою» – результат, все, что можно мочь «еще». Позднее мандельштамовское «Пою, когда гортань сыра, душа – суха» констатирует пребывание поющего в реальности настоящего.

Литература

- БРОДСКИЙ, И., 1991. *Трагический элегик*. О поэзии Евгения Рейна. *Знамя*, 7, 180–184.
- ГЕРНШТЕЙН, Э., 1998. *Мемуары*. Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС.
- ДАЛЬ, В., 1978–1982. *Толковый словарь живого великорусского языка*. В 4 томах. Москва.
- ЛЕВИН, Ю. И., 1978. Заметки о поэзии О. Мандельштама 30-х годов. *Slavica Hierosolymitana*, 3, 110–173.
- МАНДЕЛЬШТАМ, О., 1993–1997. *Собрание сочинений в 4 томах*. Москва: Арт-Бизнес-Центр.
- МАНДЕЛЬШТАМ, О., 1990. *Камень*. Москва: Наука.
- МИТЮШИН, Л. Г., 2016. *Конкорданс к стихам Осипа Мандельштама*. Режим доступа: http://rvb.ru/mandelstam/m_o/concordance/ (17.08.2016).
- НАБОКОВ, В., 1989. *Другие берега*. Москва: Книжная палата.
- СТРУВЕ, Н., 1992. *Осип Мандельштам*. Томск: Водолей.
- ТОПОРОВ, В. Н., 1995. *Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического*. Москва: Прогресс. Культура.
- ХОДАСЕВИЧ, В., 1991. *Колблемый треножник*. Москва: Советский писатель.
- ЭПШТЕЙН, М., 1998. Тема и вариация. *Парадоксы новизны*, 120–139.

Nataliia Petrova

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Russia

TIME MARKERS IN O. MANDELSHTAM'S POETRY

Summary

The article deals with a system of concepts describing semantics of time. Judging by L. Mityushin's concordance, time lexemes denoting "past", "present" and "future" are not present in O. Mandelstam's poetry. Three time layers are specified separately: "yesterday", "today" and "tomorrow". "Yesterday" becomes "past", "today" states the fact, "tomorrow" is paradoxically ambivalent, born from time fluidity. The rarity of direct definition is compensated by the increasing frequency of language means: adverbs, particles, conjunctions, e.g. "yet", "already", "so far". In O. Mandelstam's fairly large poetic heritage adverb "yet" (еще) occurs 93 times, in 55 cases it comes at the beginning of the line; "already" (уже) occurs 43 times, 16 of which are also initial. Statistics presents the opposite ratio: 33 to 55 "yet", 12 to 9 "already" respectively. From the author's personal perspective, the time span denoted by "yet" (еще) ought to terminate with "already" (уже) meaning the inevitability of death.

In the mid-30s no-grounded conviction, hope to be safe, not to be killed is substituted for immediate threat of death. The natural resistance and unwillingness of a person to succumb to social circumstances beyond control come forward. The “present” becomes that very time through which one has to sneak out or slip away if survival is the only option.

In the lyrics of the 30-s anaphoric “yet” (еще) follows one after another making up something like a catalogue. It either tries to stand for life or wonder at the fact of life-long existence, or just calls by the name everything which constitutes the inexhaustible variety of life. The present acquires its own value because of the short-term “last time” daily perception enhancing sensual completeness that results in a farewell motif. If it is evident, there is no more “seeing”, “glancing”; the world has become fragmentary and detailed. The conjunction “here” (вот) and the verb “to be” (есть) serve as the markers of “present”, varied both in function and semantics. In his early verses “here” (вот) stops the time by filling it up with metaphysical momentum and thus intuitively revealing the “link” between the world and the poet’s integrity.

In later verses “here” (вот) states the immutable circumstances borne by fate and history. “To be” (есть) in either early or later verses testifies to the nonetheless eternal laws not liable to the pace of time.

KEYWORDS: time markers, semantics of language means, “yet” and “already”, separation of time layers, fluidity of time.

Natalija Petrova

Permės valstybinis humanitarinis-pedagoginis universitetas, Rusija

LAIKO MARKERIAI O. MANDELŠTAMO POEZIJOJE

Santrauka

Straipsnyje analizuojama laiko semantika O. Mandelštamo poezijoje. Pasak L. Mitušino, žodžiai, kuriais įvardijame laiko periodus – *būtasis, esamasis, būsimasis, vakar, šiandien, rytoj* – Mandelštamo poezijoje vartojami retai, jie pakeičiami kalbinėmis konstrukcijomis, kuriose naudojami dalyviai, jungtukai, dalelės. Biografiniame kontekste žodis *dar* reiškia laiko atkarpą, kuria turi baigtis *dabar* – baigtis mirtimi. Ankstyvos mirties nuojauta paverčia dabartį laiku, per kurį galima *prašnarėti, pralįsti, jei mirtinai norisi gyventi*. Trisdešimtųjų metų eilėraščiuose anafora *vis dar* cikliška pasikartoja, sukurdama mažus katalogus. Šis žodis ir teigia gyvenimą, ir stebisi, kad jis dar tęsiasi. Esamojo laiko markeriams priskirtina ir dalelytė *va* bei veiksmažodis *būti*, kurie skiriasi vienas nuo

kito ir funkcijų prasme, ir semantiškai. Pirmasis nusako aplinką, kurią sukuria istorija ir likimas; antrasis – laikui nepavaldžias gyvenimo aplinkybes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: laiko markeriai, kalbinių konstrukcijų semantika, „vis dar“ ir „jau“, laiko plastų atskyrimas, laiko tėkmė.

Dorota Ewa Pierścińska

Faculty of Philology University of Łódź

Home address: ul. Sarnia 2/60 92-327 Łódź

E-mail: dpkindow@gmail.com

Research interests: corpus linguistics, discourse and genre studies, dialogue, modality

MODALITY IN BLOG INSPIRED ONLINE DISCUSSIONS

This study undertakes a corpus-based analysis of naturally occurring language. Five discussions or fragments have been chosen that constitute a sample corpus of about 12 000 words, dated 2013-14. Following the basic division into deontic and epistemic modality types, which are labelled by Biber, Johansson, Leech, Conrad, & Finegan (1999: 485) as intrinsic and extrinsic, while Radden and Dirven (2007: 246) distinguish root modality and epistemic modality, the study seeks to uncover the predominant modality type and type of modal assessment in online discussions that are motivated by blogs.

KEY WORDS: corpus-based study, blogs, modality, modal assessment.

Introduction

Nowadays, there exists a whole range of ways of online communication starting from informal chats, tweets, through mail and social fora, and ending up with formal communication that has to do with education or business, such as lectures, online conferences or documents. Therefore, the text types that result from various discourses on the Internet are diverse and heterogeneous. Blogs are one of the many places that allow online users to express their opinions on particular topics, share their knowledge and interact with others. The type of the dialogue that takes place under the blog posts is one to many and the popular opinion is that the discourse participants chat, or discuss issues that spring from the topics that interest bloggers. The medium is written; however, the interlocutors often respond in an informal, unpremeditated way. Some other factors, such as anonymity, persistence, and synchronicity, ought to be taken into account while analysing CMC. In the discussions anonymity is high as the speakers do not usually use full names, and in the case of such names appearing one cannot verify their authenticity; persistence is also high because the messages are saved; and the synchronicity is low for the simple reason that response time may vary and it actually does. Other pragmatic considerations include overcoming social and space limitations, or the absence of non-verbal cues. The

paper attempts to relate the quantitative and qualitative results of the research into modality to the above-mentioned issues.

This study investigates the predominant modality type and type of modal assessment in online discussions that are motivated by blogs. To this end, the meanings of keyword modal verbs: *will/won't*, and frequent modal verbs *can* and *would* are investigated. Particular attention is given to epistemic modality as the keyword modal verb *will* and its negative form *won't* indicate the salience of this type of modality. Predominant type of modal assessment is characterized through the analysis of the quantitative key words, especially adjectives. The paper also discusses the issue of lexico-syntactic means of expressing epistemic modality in the blogs' discussions by inquiring into fixed expressions with meanings similar to the modal auxiliaries.

Halliday (2005: 176) asserts that "Modality is a form of participation by the speaker in the speech event. Through modality, the speaker associates with the thesis an indication of its status and validity in his own judgement; he intrudes, and takes up a position". The study aims to uncover whether and to what extent the discourse participants are willing to take up their position, whether they are subjective or objective in their judgements, state things fully and clearly or just imply them. Moreover, the study seeks to pinpoint the relations between the salient/characteristic modality types and the semantics and pragmatics of the dialogues motivated by blogs. A hypothesis behind the study is that there is a close dependence of the function and meaning, both at the level of the utterance and at the text/discourse level. The genre that is investigated here serves particular functions, of which the informative one seems to be the most important. Therefore, it is crucial to establish what kind of information the interlocutors receive in terms of fact vs. opinion, attitude, and judgement, especially how much opinion and attitudinal position is there and what stance the discourse participants adopt. Another function that appears to be of key importance for the genre is maintaining social relations, and staying in touch with others. The linguistic choices with regard to the modality type and its parameters not only create the part of textual meaning but also serve interpersonal functions, e.g. the willingness to open or maintain the conversation as well as politeness strategies, while the type of modal assessment seems to be closely related to emotive function. The study also attempts to answer the question how the application of specific modality markers/modalizers and modal assessment means/tools may contribute to the genre being perceived as spoken interaction.

Theoretical framework and previous studies

Modality has been studied both from the theoretical and functional perspective. Radden, Dirven (2007) present a cognitive framework for modality as “Grounding situations in potentiality”, while Nuyts (2001) concentrates on cognitive structure of epistemic modality. We can find various definitions and typologies of modality in linguistics. Radden, Dirven (2007: 246) define modality as “an assessment of potentiality, depending either on the speaker’s judgement of the reality status of a state of affairs (epistemic modality) or on the speaker’s attitude towards the realisation of a desired or expected event (root modality)”. In the study two different modality types, i.e. intrinsic/root and epistemic, are inquired into. They are labeled by Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485) as intrinsic and extrinsic, while Radden and Dirven (2007: 246) distinguish root modality and epistemic modality. Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485) define the two types of modality on the basis of the kinds of actions, events or states they refer to, with the special attention to the human agent that may exercise control over them:

“Intrinsic modality refers to actions and events that humans (or other agents) directly control: meanings relating to permission, obligation, or volition (or intention).”

“Extrinsic modality refers to the logical status of events or states, usually relating to assessments of likelihood: possibility, necessity, or prediction.” Biber (1999: 485)

Radden, Dirven’s typology (2007: 246) seems similar to the root modality suggesting “the primacy of non-epistemic notions over epistemic notions”. However, within the root modality itself they distinguish disposition modality, which “includes the notions of ‘ability’ or ‘propensity’ and ‘willingness’”, intrinsic modality (necessity and possibility), and deontic modality that marks obligation and permission (Radden, Dirven 2007: 246).

Corpus linguistics presents the research on modality in the form of the collection of fixed forms and expressions and their quantitative characteristics. There exist diachronic studies, e.g. Krug’s (2000) work on grammaticalization of English modals, but mostly synchronic ones that are particularly revealing with regard to register, genre and medium distribution of modal forms. Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999) give the distribution of modals and lexical associations of modality in various types of English as well as the separate chapters on the grammatical marking of stance and the grammar of the conversation. There is a growing body of research regarding epistemic modality in various genres, e.g. in news discourse (Rubin 2010), academic writing (Yang, Zheng, Ge 2015), or legal English (Cheng, Cheng 2014).

Methodology

This is a corpus-based study of computer-mediated discourse in a social context of blogs. A sample corpus of naturally occurring language, which consists of five discussions or fragments on software, films, football, politics, and English language and linguistics, has been gathered. It is dated 2013–14, and contains about 12,000 words. Although it contains a comparatively small collection of texts, it can be classified as a corpus because it possesses necessary characteristics: “A language corpus is a collection of texts, conversations or other coherent units of spoken or written language compiled with a view to representing one or more registers, varieties or genres of language” (Peřzik 2010: 446). *WordSmith Tools 5.0* is used to investigate word and phrase frequency, for keyword extraction, and for the close scrutiny of the selected words in the immediate context (concordances) as well as in the extended context. Flowerdew and Forest (2009: 20) give the following definition of a keyword: “A keyword is a word that is particularly frequent (a ‘positive’ keyword) or infrequent (a ‘negative’ keyword) in a corpus in comparison to its frequency in a reference corpus.” Thus, computing keywords requires a reference corpus, in this case, it is a downloadable part of COCA, i.e. the spoken part, which comprises 382 102 tokens.

According to Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik (1985: 219) the constraining factors of meaning in the modal verbs may be divided into two types: “(a) Those such as 'permission', 'obligation', and 'volition' which involve some kind of intrinsic human control over events, and (b) Those such as 'possibility', 'necessity', and 'prediction', which [...] typically involve human judgment of what is or is not likely to happen.” The focus of this study is on the specification of the characteristic categories of modal verbs present in the online discussions. As each modal “has both intrinsic and extrinsic uses” (Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik 1985: 219), the verbs are investigated with the application of concordances. Concordances are used both for the meaning disambiguation and uncovering grammatical patterns, when necessary an extended textual context is used. In this paper, I will approach modality from the Halliday’s Systemic Functional Grammar (SFG) perspective. Thus Halliday’s (2004: 622, 623) parameters regarding the value of modality in propositions (high, median, and low) as well as other factors such as orientation (objective, subjective, implicit, and explicit) will be applied.

Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 486) affirm that “Modal and semi-modal verbs are most common in conversation, and least common in news and academic prose.”, while Kärkkäinen (2003: 105) claims that *I think* is “the most common epistemic marker in American English speech”. Therefore, it is of importance to examine both. In Kärkkäinen (2003) stance marking is dealt with at the

linguistic and interactional level, in particular, she investigates the phrase *I think* in American English conversational discourse, its linguistic patterns and functions. In this paper, linguistic and pragmatic aspects are addressed with regard to salient lexico-grammatical structures.

Analysis

Salient and frequent modal verbs

Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485) grouped modals and semi-modals into three major categories according to their main meanings:

“Permission/possibility/ability *can, could, may, might*

Obligation/necessity: *must, should, (had) better, have (got) to, need to, ought to, be supposed to*

Volition/prediction: *will, would, shall, be going to.*”

The quantitative analysis in this study points out to two categories of modal verbs, the first group with *can* as the most frequent modal verb (50 occurrences), and the third one with *will* and its negative form *won't* as key words and *would* as the frequent modal verb (32 occurrences). *Will* has the keyness value of 26.63 and *won't* 30.11 (the higher the keyness value, the stronger the keyness of the word). Keyness value indicates the salience of a given word in comparison to the reference corpus. The modal verbs *will, would, can* are also very common in other corpora, e.g. Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 486) find them extremely common in the LSWE (Longman Spoken and Written English Corpus). They assert that “Modal and semi-modal verbs are most common in conversation, and least common in news and academic prose” (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan 1999: 486). What is more, they present quantitative results regarding the distribution of modal verbs across registers in which *will, can* and *would* are marked as the most common forms in conversation (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan 1999: 489). Therefore, it seems not to be accidental that in the corpus of the discussions *will/won't* are salient while *can* and *would* are the most frequent modal verbs.

Modal key verb will

Will and its negative form *won't* are the only quantitative key modal verbs in the corpus of the discussions. In all the cases but two, *will* is used to express future prediction or ask about the future. There is one case of *I will*, which clearly indicates volition (line 5), one where *will* is a part of the title (line 12), and one use that may involve speaker's will (line 16). In total 54 out of 57 uses (94.73%)

express logical prediction. Prediction is considered to belong to extrinsic/epistemic modality type (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan 1999: 485), thus the predominant modality type indicated by the modal key verbs is epistemic. Taking into consideration Halliday's classification (2004: 622, 623) *will* is a subjective and implicit modal verb and it pertains to the median value of modality.

N Concordance

5 a UK branded "Sweet Tablet". I will wait for the Beeb to con
12 ries. Excellent comic cameo in Will and Grace. Love those so
16 did you ever, just one example will do, see him set out to d
22 season, but his mere presence will hopefully **be** enough to h
24 ative-Libdem government. There will likely never **be** such fav ⁴⁷

The speakers use *won't* exclusively for future predictions without any involvement of their will. There are six cases of the contracted negative form of *will*, and in half of the cases it is further modalised in order to strengthen (line 2), or lower (lines 1 and 6) the value of modality. This way of additional modalisation by means of adding adverbs, or the whole expressions, either to strengthen or to tone down the certitude is less common with regard to *will*, where there are only two cases of softening the prediction (lines 22 and 24).

N Concordance

1 fairytale but it looks like it won't **be** the same as before.
2 owers and you almost certainly won't get anything worth very
3 vernment if one gets in. There won't **be** any labour governmen
4 n 4.0) and above." Google Play won't show you the app or ins
5 tion Rampart. Woody 's PR team won't **be** amused. Whilst it wa
6 ame. He may be slow now and he won't in all likelihood play

Let us have a look at the structural correlates of the modal verb *will* with extrinsic meaning, which is predominant in the discussions. It is claimed that "modal verbs with extrinsic meanings usually occur with non-human subjects and/or with main verbs having stative meanings" (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan 1999: 485). As can be noticed in the concordance of *won't*, the most frequent collocate of the negative form is the verb *be* (50%), however, the other half constitutes action verbs (*get*, *show*, and *play*). As far as *will* is concerned, it also collocates with the verb *be*, but less often, only 36.84% of the occurrences, and some of the forms of the verb *be* form passive

⁴⁷ The full list of complete concordances in the appendices.

constructions. Other verbs that most frequently appear on the right side of the modal verb *will* are action verbs with *do* as the most frequent (4 occurrences of *do* as an action verb), and the state verb *have* (also 4 occurrences). Some other verbs that are relatively frequent are the semi-modal *have to*, and the verb *continue*, each occurs 3 times. The predominance of stative meanings seems not to be the case here when one looks at the rest of the verbs, e.g. *download*, *make use*, *become*, which mostly have the active meanings. Regarding the colligations of the subject and the modal verb, there is an equal division between human and non-human subjects in the *won't* concordance, while there are still quite a lot of occurrences of the modal verb *will* with the human subject (40.74% of all the extrinsic cases).

Frequent modal verb *can*

The modal verb *can* constitutes 0.4% of the text (50 occurrences in the corpus). In most cases it is used in the statements; however, there are 7 questions, and 8 negations. With this modal verb it is important to differentiate between positive and negative forms as they are characterized by different value, while *can* has a low *can't* is ascribed a high value of modality (Halliday 2004: 623, 624). Generally speaking, modal verb *can* can express permission, possibility, or ability. In the corpus of the discussions *can* never marks permission; however, there are many ambiguous cases regarding logical possibility and ability. Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 492) find its meaning confusing with regard to academic prose, which in principle should be more precise than conversation. Moreover, they state that “In conversation, *can* is much more common as an unambiguous marker of ability or permission. However, it is also often unclear as to whether it marks logical possibility, ability, or permission” (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan, 1999: 492).

In the corpus of the discussions there are 20 (out of 50) cases of clear possibility, 24 cases of ability, 2 uses that could be interpreted as either logical possibility or ability (lines 13 and 31). There are also 2 cases of negative statements that at first sight could be classified as prohibition (lines 22 and 24); however, their real function is giving advice. Taking into consideration pragmatic aspects, the discourse participants in the blog comments cannot prohibit others from doing things or order them not to do things. For this reason, *can't/can* could be interpreted as ‘shouldn't leave out Cheers’ (line 22), or ‘should look no further than Cheers’ (line 24). Even if there are no instances of giving permission, one can still find polite ways of asking for permission (lines 36 and 37) that refer to the organization of the discourse itself.

13 d it 's not higher. Yay! Now I can finally give my wife the

Extended context: Now I can finally give my wife the iPad and use the new Note 8.0 as my "work" tablet. :)

N Concordance

22 list is film exclusive but you can 't leave out Cheers They

Extended context: Harrelson's performance in that is astonishing and maybe this list is film exclusive but you can't leave out Cheers They say the hardest thing for an intelligent actor to play is stupid.

N Concordance

24 If we 're talking TV then you can look no further than Chee

Extended context: If we 're talking TV then you can look no further than Cheers. And the first 3 episodes of True Detective have been stunning.

N Concordance

31 natively, those that voted Yes can respect the democratic pr

Extended context: Or alternatively, those that voted Yes can respect the democratic process.

N Concordance

36 too, will be set by UKIP. Now, can we please move on, sort o

37 and shoot that Johnson chap). can we please move on, sort o

Roughly about 40% of the uses of the modal verb *can* express epistemic/extrinsic modality. Having identified the meaning of *can* as either intrinsic or extrinsic, we shall look at the structural correlates of the modal verb. With regard to intrinsic meanings “(a) the subject of the verb phrase usually refers to a human being (as agent of the main verb), and (b) the main verb is usually a dynamic verb, describing an activity or event that can be controlled” (Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan, 1999: 485). For the 60% of the intrinsic applications of *can/can't* it has been noted that the subject is human in all cases but one. The non-human subject refers to the government, where the name of the place, i.e. Westminster, stands for the organization that sits there. Thus, the location is used as the metonym for the government (line 49). Where the subject is not stated it is implied, most often as *I* (lines 23 and 25), and in one case as *the voters* (line 30).

N Concordance

23 him and Matthew McConaguhuey (can 't spell it offhand) are

25 guy choose over the coin flip. Can 't believe you did n't in

30 the 45% who voted yes. The 55% can then become England. Or a

49 Cameron is saying Westminster can do as it pleases to its S

Regarding the collocation of the intrinsic uses of *can/can't* and the main verb, it has been uncovered that the overwhelming majority of verbs is dynamic, and some of them, e.g. *use, do, jump, and move on*, occur as much as two times in the corpus of the discussions. Nevertheless, there is a numerous group of the state verbs that refer to the state of mind or feelings, those are: *see* with the meaning of understand, comprehend or visualize, *believe, forgive, and respect*. The doubt expressed by *can't believe* or *can't see* invites both supporters and opponents to take part in the discussion by using the double subjective perspective, first, the modal verb, then the verb expressing the speaker's state of mind, or perception. It is worth to notice that a similar negotiation involving function is performed by the verb *can* appearing with the other state of mind, feelings, or perception verbs. The use of main verb *see* with the modal *can* is intriguing itself as there are numerous occurrences, and with both stative (lines 21, 27, 40) and active (lines 2, and 26) meanings.

N Concordance

2 treams work brilliantly, and I can see myself usign the alar
 21 ver Stone can 't do nuanced! I can see that it would n't be
 26 able. I love the bit where you can see his butt crack as he
 27 top, "If you could see what I can see..." C'mon people - no
 40 s. Not. An. Ounce. I genuinely can 't see it happening. It b

As far as extrinsic meaning is concerned and its collocates, there are 9 cases of *can/can't* collocating with directly stated or implied non-human subjects, which makes slightly less than 50% of all the extrinsic uses of the modal verb. With regard to the full verb collocations, the modal verb *can* does not necessary occur with state verbs. Although one can notice 2 collocations with the verb *have*, there are numerous instances of action verbs. What makes the meanings stative is the use of the passive voice together with the simple aspect (7 occurrences presented in the concordance below).

N Concordance

12 e created a poor experience as can be seen on the iPlayer ap
 15 efer "theirsself" since "their" can readily be used for one p
 16 's grammar on this point. Them can readily be used for one p
 43 term before another referendum can be held, otherwise the un
 44 term before another referendum can be held" Someone has to e
 45 ow 45% voting for independence can be considered a victory f
 50 ts Scottish subjects. Promises can be reneged on. A crackdown

Frequent modal verb *would*

Both *will* and *would* are used to mark volition and prediction. The meanings are often ambiguous. Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 496) indicate that the difficulties in differentiating between the two meanings may be encountered and that there is the possibility of the modal verbs *will* and *would* incorporating both meanings in one use: “The distinction between volition and prediction is often blurred. In conversation, *will* and *would* are commonly used to mark logical (extrinsic) prediction as well as personal volition (and prediction of one’s own future actions). In the case of *would*, the meaning is past or hypothetical”. In the corpus of the online discussions *would* comprises 0.25% of the text (32 uses), of which 24 occurrences express prediction, only 7 volition, and 1 is ambiguous (line 6). It can be considered the perfect instance/example where prediction and volition meet. Pure prediction constitutes 75% of all the uses. *Would* is characterized by median degree of modality (Halliday 2004: 624), and similarly to other modal verbs it is subjective and implicit (Halliday 2004: 622).

N Concordance

6 the players in my life who you would pay the entrance money

Extended context:

He could be infuriating, but he also brought humour and passion and real showmanship. One of the players in my life who you would pay the entrance money to see any time.

The chart presented by Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 497) shows that in conversation out of the three modals that are considered in this study (*will*, *can*, *would*) only *would* has a significant tendency to be marked for tense and aspect. According to their study it mostly occurs with perfect aspect. In the corpus of the discussions *would* occurs with perfect aspect and refers to past time only 6 times, which makes nearly 19% of all the uses. All the 6 occurrences have extrinsic meanings. As far as the structural correlates of *would* with extrinsic meaning are concerned, it occurs both with human and non-human subjects as well as with state and dynamic verbs. Nonetheless the stative meaning predominates with the verb *be* as the main collocate of the modal (10 occurrences). As the notion of volition includes the human agent there is no doubt that in all the cases with intrinsic meaning the human subject is present, or at least part of the subject is human (line 14), in most cases it is *I* (lines 20 and 21), and the most frequent verbal collocation is *would like* (2 occurrences).

N Concordance

14 The young and two major cities would like independence. For

20 BBC like Samsung tab 2 10.1? I would really like to thank th

21 ellybean on the Galaxy Note. I would have expected the BBC t

Lexico-grammatical structures

I think

Halliday (2004: 613–626) regards modality that is realized by lexico-grammatical structures as an adjunct to a proposition, and describes this type of modality as metaphorical. Thus modality can be realized by two clauses in two ways, e.g. *I think Mary doesn't know/I don't think Mary knows* (Halliday 2004: 616). In the Halliday's approach *I think* is considered to be a type of modal assessment and is characterised as the mental, verbal and relational clause that expresses probability (Halliday, 2004: 612). In accordance with the Halliday's (2004: 149,150, 615) classification, as a marker of epistemic modality *I think* is an explicit and subjective linguistic device. Halliday (2004: 612) places *I think* at the same level as *perhaps* and *possible*, thus pointing to its low value of modality.

Hyland (2005: 37) argues that “metadiscourse is the cover term for the self-reflective expressions used to negotiate interactional meanings in a text, assisting the writer (or speaker) to express a viewpoint and engage with readers as members of a particular community”. One of those metadiscursive expressions is *I think (that)*. It is very common in the corpus of online discussions, out of 21 uses of *think* there are 19 instances of *I think*. The clause by indicating that this is merely the speaker's opinion and restricting the judgment to the speaker's viewpoint invites other participants to the discussion, and encourages their openness.

Kärkkäinen (2003: 105) affirms that apart from maintaining face and politeness *I think* “has developed a range of different functions in discourse, many of which are indeed highly *routinized* and *institutionalized* ways of organizing one's speech”. In most cases *I think* seems to naturally allow for the uninterrupted flow of the discourse, providing time for thinking while creating, or interpreting it. There are two special cases of this epistemic marker, however, (lines 3 and 10) which indicate strong conviction, and draw the interlocutor's attention to the speaker's opinion/evaluation by adding the modal adjunct *certainly*, and the verb *do* as modalizers. The other uses are the expressions of politeness, tentativeness, or act as discourse markers. The latter use is especially evident in the instances where the modalization takes place in the clause that follows (lines 2, 5, 8, 15). Kärkkäinen (2003: 108) found out that *I think* “tends to occur in the middles and at the beginnings of conversational turns, but hardly ever at the ends of turns or as separate turns”. My investigation corroborates this

claim – out of 19 cases *I think* appears only two times at the end of the utterance (lines 1, and 12), and never as the separate turn.

N Concordance

1 e yet? highlands and islands i think Yes. A huge area with a
 2 o hear Labour views on this. I think you probably mean 'only
 3 popular proposal. I certainly think there will be moves to
 5 un by ewoks. Bravo. Although I think you could have stuck wi
 8 ion. We 're better together. I think the newspapers would ha
 10 n run by the No camp, but I do think that the UK is better t
 12 ther than one long ago visit I think. Has "innit" been discu
 15 that use the 'HLS' protocol" I think we 'd all very much lik

be likely to

The following forms of the verb *be* appear as frequent verbs in the online discussions: *is*, *'s*, *be*, *was*. All the forms of the lexeme *be* collocate with (un)*likely to*, which produces five instances of *be likely to* and one of *be unlikely to*. *Be likely to* expresses epistemic modality as the speaker judges likelihood of a state of affairs or events. As observed by Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485), the subject of the verb phrase is non-human, and the main verbs have mostly stative meanings. In the cases where the main verb is active, e.g. *use*, and *better*, very often the passive voice is used as in line 4 with *likely*, and 1 with *unlikely*. The value of modality appears to be median apart from line 4, where the verb phrase is further modified by *may*, which depresses the value of probability to the lowest level.

N Concordance

1 the 3 island nations. That 's likely to be the only way the
 2 rsed population. It was always likely to be the last. Ta is
 3 n 48.5%, whereas it 's just as likely to mean 55.5%. Now let
 4 nd infrequent they may be more likely to be used irregularly
 5 sed, the more acceptable it 's likely to become. That happen

N Concordance

1 centre-forward 's art that is unlikely to be bettered on an

seem (to)

Next common epistemic expression is lexeme *seem* preceded by a subject and sometimes followed by *to*. Its meaning can be present (*seem, seems*) or past (*seemed*), however, the concordances with all the forms of the lexeme *seem* indicate that in the discussions the predominant meaning is the present one. In the concordance below the cases of *seem/s/ed like* have been removed as they are discussed separately below. In the construction the subject may be human, however, it is less often the case (line 8 with *seems*, and 2 with *seem*). There is one case which follows a different grammatical pattern, i.e. the verb *seem* is preceded by *to* instead of the subject (line 4). The structure can be followed by a clause, e.g. lines 3, and 7 with *seems*, by the infinitive with *to* (lines 2, 6 with *seems*, lines 1 and 2 with *seem*, and lines 1 and 2 with *seemed*), by an adjective (lines 5 with *seems*, and 4 with *seem*), and by a noun, which can also be preceded by an adjective as in line 8 with *seems*. It is an objective and explicit epistemic modality device that draws the listeners' attention to the general impression, or perception of the things, people, events, and states. It carries a low value of modality. Thus by the unassuming way of presenting the reality it invites discussions and polemics.

N Concordance

2past its expiry date - it just seems to take a long, long ti
 3s stayed at home. It certainly seems that the "Thatcher Effe
 4t is the "Do n't knows" who it seems stayed at home. It cert
 5'us' and even non-count 'some' seems perfectly logical. Grea
 6ng tablet by any chance? There seems to be a common thread t
 7ve thrived in independence. It seems fear won the day. Keep
 8taphor since modern-day Drogba seems a good fit for an Imper

N Concordance

1 ngland is n't the cure-all you seem to believe? Depends who
 2 persuasion that voters do n't seem to like division or chan
 4do you want it to be for it to seem "resounding"? 50%? 100%?

N Concordance

1 lips as he greeted his player seemed to suggest that Drogba
 2 man down and the chilly breeze seemed to carry the sound of

Seem / look / feel like

The concordance presented below has been based on the word *like*, which can have various meanings and grammatical forms. All the cases where *like* is not preceded by a full verb have been removed. As a result, the epistemic expression *seem/look/feel like* has been identified. The construction, which can be preceded by the subject, consists of the verbs of perception (*seem, look, and feel*) and the adverb *like*. The lines without the subject (10, 20) indicate the use of informal spoken language. Regarding the structural correlates – the subject is always non-human (sometimes implied) while the structure is followed by a clause, a noun, a pronoun, or an adverbial of time. It is an objective and explicit epistemic modality device. Its function is similar to the aforementioned structure *seem (to)*, i.e. to invite other discourse participants to take part in the discussion by even further lowering the value of the speaker's certainty. The structure highlights both the aspect of perception and the limited abilities of the senses that may affect the cognition

N Concordance

10 half are on ICS or above. Seem like you 're just trying to u
 13 n if I have not, it just looks like it... if that makes the le
 20 . McConaughey amuses me, feels like in 2011, after years of
 24 hts. That CL final goal seemed like an act of the forces of
 29 omantic fairytale but it looks like it won't be the same as
 40 oll tracker it certainly seems like the polls were right bac

Modal assessment

The following key words of modal assessment have been identified in the discussions: brilliant (keyness value 58.20), great (keyness value 53.06), favourite (keyness value 41.37), and excellent (keyness value 25.88). There are no negative words in the keyword list. The adjectives refer both to animate and inanimate nouns; however, in most cases they collocate with the nouns denoting non-living things, e.g. out of 40 uses of *great* only 6 instantiate collocations with animate nouns, similarly there is just 1 occurrence of *brilliant* with an animate noun (out of 12 in total), 2 uses of animate nouns with *favourite* (out of 6), and 2 with *excellent* (out of 7). The adjectives are used in pronominal as well as postnominal positions (attributive and predicative), and all of them but two mark positive appraisal and attitude of the speakers. There are only 2 uses of *great* out of 40 which can be described as neutral, one refers to Great Britain (line12), the other describes EU (line20) as 'great'. This can be considered a

neutral attitude when one assumes that the adjective refers to the size of EU, otherwise the speaker uses irony. *Great* is also used as an adverb, which indicates informal spoken language, and sometimes it fulfils the function of a discourse marker. It is worth noticing that similarly to spoken interaction the exchanges in many cases do not constitute sentences, they are just expressions, or even single words separated by full stops or capital letters (lines 5 and 9 with *brilliant*).

N Concordance

7 scrader movie which was n't a great film deserves to be on
 8 I bet that they were fun! All great performances on this li
 9 tural Born Killers, one of the great all time movies. It 's
 10 (can 't spell it offhand) are great in True Detective (McCo
 11 was. But h did deliver a great speech. Oh my!! 5
 12 part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ir
 13 hat was what made this country great. Once lots of people in
 14 and passion made this country great? I would concede that i
 15 r politics and society. It was great to see what happened in
 20 e apart from the SNP. Even the great EU was caught asleep. T

N Concordance

5 ing for the mantelpiece." Just brilliant. Sure, his best day
 9 riously, what 's the downside? Brilliant. Really nice front

Findings

The results demonstrate that extrinsic/epistemic modality is the predominant modality type in the online discussions:

3. about 95% of the uses of the key modal verb *will* denote logical (extrinsic) prediction
4. about 40% of the uses of *can* express epistemic modality
5. over 75% of all the uses of *would* express extrinsic modality

Additionally, one can find a great number and variety of epistemic expressions in the discussions, e.g. *I think, seem (to), be likely to, seem/look/feel like*. Apart from the expression *I think* (19 instances), the structure based on the lexeme *seem* is the most common one, 15 occurrences including *seem/s/ed like*. The latter construction seems to be the most versatile one occurring both in the past and present tense, and accepting the whole range of grammatical patterns.

The findings of this investigation with regard to the occurrence of *will* corroborate Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 496) findings where the modal is mostly used for prediction of events and states that do not involve the speaker, though the authors point out to the differences between spoken and academic discourses. In the blog comments authors try to avoid personal declarations, or expressing their own will; however, there is still room for ambiguity and the intentions of the speakers cannot be always discerned with absolute certainty. Nevertheless, it is claimed here that in the discussions about 70% of the uses of the keywords and the most frequent modal verbs express extrinsic modality.

Table 1. Classification of the modal devices in the discussions with regard to orientation

Orientation	Implicit	Explicitn
Subjective	Can/can't, will/won't, would/wouldn't,	I think
Objective		be likely to, seem (to), seem/look/feel like

Table 2. Classification of the modal devices in the discussions with regard to the value of modality

Value	Modals/structures
High	can't
Median	will/won't, would/wouldn't, be likely to,
Low	can, I think, seem (to), seem/look/feel like

Regarding the Halliday's typology and the salient modal devices in the discussions – all the modal verbs have been classified as implicit as they “leave implicit the source of the conviction” (Halliday 2004: 149), while the construction *it's likely* is considered by Halliday (2004: 620) to be objective and explicit. Thus the structures *be likely to*, *seem (to)*, *seem/look/feel like* have been classified accordingly (Table 1.). Evidently, they can adopt various subjects: *be likely to*, apart from *it*, collocates with *that*, and *they* as subjects of its close; *seem (to)* occurs with nominal subjects, *there*, and *it*, while *seem/look/feel like* collocates with both *it* and nominal subjects. Although the modality value of such structures as *be likely to*, *seem (to)*, *seem/look/feel like* is not addressed by Halliday, for the purpose of this study they have been classified as median, or low (Table 2.). The expression *be likely to* seems to express probability, while both *seem (to)*, and *seem/look/feel like* appear to be close to possibility. To sum up, the modal devices in the discussions display both median and low value of modality on a par, while the high value is marginal (Table 2.). With regard to the orientation, the

subjective one prevails, whilst there seems to be more or less equal division between the use of implicit and explicit modal devices with the slight quantitative predominance of the implicit ones (Table 1.).

The predominant type of modal assessment in the online discussions is positive. The analysis of the keyword adjectives and adverbs in context indicates that the discourse participants demonstrate in the overwhelming majority of cases not only positive, but often enthusiastic and happy attitude towards the things, people, events, states, and actions they mention. In addition, some of them behave as though they were taking part in an informal spoken conversation by the use of informal language, discourse markers, or emoticons. While expletives, e.g. Yay! (line 13 with *can*), or emoticons, are used by the minority of the speakers, the quantity and type of modal grammatical and lexico-grammatical devices indicate that the discourse participants behave linguistically as though they were having a conversation, not written communication.

Conclusions

The online discussions are dominated by the notions of prediction (also hypothetical, and sometimes in the past), and possibility, which are part of the epistemic modality. This may result from the type of the discourse where meanings related to permission and obligation (intrinsic modality) are rarely possible or appropriate. Even if the discourse participants remain anonymous, politeness is still important for them. It is evident that they maintain various degrees of formality, which may result from the differences in their background, education or age. What is more, despite the medium being written and having low synchronicity the speakers still apply negotiation strategies. While the discourse participants assess the likelihood of the events, or states with caution, neither too high nor too low, they definitely adopt the subjective viewpoint. In the online discussions, the notion of understanding/comprehension and perception is of key importance for the speakers as well as the way one considers or regards things and people, which is exemplified by the collocation *can see*, and most of the lexico-grammatical structures. Moreover, the speakers present themselves as happy individuals and use a great number and variety of linguistic means typical of spoken conversation. In the context of information seeking and giving it seems the case that the speakers also consider this kind of discussions/conversations as the medium for self-expression.

Sources

<http://www.bbc.co.uk/blogs/internet/posts/BBC-iPlayer-Radio-app-on-Android-devices>

<http://stancarey.wordpress.com/2014/01/23/the-unsung-value-of-singular-themself/#more-17751>

<http://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/jan/31/woody-harrelson-five-best-moments?commentpage=1>

<http://www.theguardian.com/football/blog/2014/sep/19/didier-drogba-chelsea-jose-mourinho>

<http://www.theguardian.com/politics/scottish-independence-blog/live/2014/sep/19/scotland-votes-no-in-independence-referendum-live-coverage>

References

- BIBER, D., JOHANSSON, S., LEECH, G., CONRAD, S., FINEGAN, E., 1999. *Longman Grammar of Spoken and Written English*. England: Pearson.
- CHENG, W., CHENG, L., 2014. Epistemic modality in court judgments: A corpus-driven comparison of civil cases in Hong Kong and Scotland. *English for Specific Purposes*, 33, 15–26. Elsevier.
- FLOWERDEW, J., FOREST, R. W., 2009. Schematic Structure and Lexico-Grammatical Realization in Corpus-based Genre Analysis: The Case of Research in the PhD Literature Review. In: Eds. M. Charles, S. Hunston, D. Pecorari. *Academic Writing. At the Interface of Corpus and Discourse*. London, GBR: Continuum International Publishing: 15–36.
- HALLIDAY, M. A. K., 1970. Functional diversity in language, as seen from a consideration of modality and mood in English. *Foundations of language*, 6, 322–361. Reprinted in Halliday, M.A.K. (2005) *Studies in English Language*. Vol. 7. The collected works of M.A.K. Halliday edited by Jonathan Webster. London & New York: Continuum. Chapter 5: 164–204.
- HALLIDAY, M., 2004. *An introduction to functional grammar*. UK: Hodder Education.
- HYLAND, K., 2005. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse. *Discourse Studies*, 7 (2), 173–192.
- KARKKAINEN, E., 2003. *Epistemic Stance in English Conversation*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- KRUG, M. G., 2000. *Emerging English Modals*. Topics in English Linguistics 32. Eds. B. Kortmann, E. C. Traugott. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- LEECH, G. N., RAYSON, P., WILSON, A., 2001. *Word frequencies in written and spoken English: based on the British National Corpus*. London, GBR: Longman.
- NUYTS, J., 2001. *Epistemic Modality, Language, and Conceptualization*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- QUIRK, R., GREENBAUM, S., LEECH, G., SVARTVIK, J., 1985. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London: Longman.
- PEZIK, P., 2010. Computational and Corpus Linguistics. In: Ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk. *New Ways to Language*. Lodz: Lodz University Press, 434–460.
- RADDEN, G., DIRVEN, R., 2007. *Cognitive Linguistics in Practice*. Vol. 2. *Cognitive English Grammar*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- RUBBIN, V. L., 2010. Epistemic modality: From uncertainty to certainty in the context of information seeking as interactions with texts. *Information Processing and Management*, 46, 533–540. Elsevier.
- YANG, A., ZHENG, S., GE, G., 2015. *Epistemic modality in English-medium medical research articles: A systemic functional perspective*. *English for Specific Purposes*, 38, 1–10.

Dorota Ewa Pierścińska

University of Łódź, Poland

MODALITY IN BLOG INSPIRED ONLINE DISCUSSIONS

Summary

Blogs are one of the many places on the Internet that allow online users to express their opinions on the content and interact with one another. The medium is written; however, the interlocutors often respond in an informal, unpremeditated way. This study undertakes a corpus-based analysis of naturally occurring language. Five discussions or fragments have been chosen that constitute a sample corpus of about 12,000 words, dated 2013–14. Following the basic division into deontic and epistemic modality types, which are labelled by Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485) as intrinsic and extrinsic, while Radden and Dirven (2007: 246) distinguish root modality and epistemic modality, the study seeks to uncover the predominant modality type and type of modal assessment in online discussions that are motivated by blogs. To this end, the meanings of keyword modal verbs *will / won't*, and frequent modal verbs *can*, and *would* are investigated. The focus is on the specification of the characteristic categories of modal verbs present in this medium. As each modal “has both intrinsic and extrinsic uses” (Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik 1985: 219), the verbs are investigated with the use of concordances, and in the extended context if necessary. The study indicates that the majority of the keywords and the most frequent modal verbs express extrinsic modality in which the notions of prediction, and possibility, seem to be of key importance. “The most common epistemic marker in American English speech, *I think*,” (Kärkkäinen 2003: 105) is also frequent in the

discussions. Therefore, its application as well the use of some other lexico-grammatical markers of epistemic modality is inquired into. The results demonstrate that the discourse participants prefer subjective modal devices, select tentative means of modalization, and choose to be positive in their judgements.

KEY WORDS: corpus-based study, blogs, modality, modal assessment.

Dorota Eva Pierścinska

Lodzės universitetas, Lenkija

MODALUMAS INTERNETINĖSE DISKUSIJOSE APIE INTERNETINIUS DIENORAŠČIUS

Santrauka

Straipsnyje analizuojama spontaniška kalba, vartojama surinktoje medžiagoje. Medžiaga, kurios pagrindu vykdomas tyrimas, sudaro penkios diskusijos arba jų fragmentai, t. y. 12 000 žodžių. Medžiaga pasirodė internete 2013–2014 metais. Teorinis tyrimo pagrindas – bazinė modalumo klasifikacija į deontinį ir episteminį, taip pat Biber, Johansson, Leech, Conrad, Finegan (1999: 485) veikale vadinamą vidinį ir išorinį, o Radden, Dirven (2007: 246) – šakninį ir episteminį modalumą.

Tyrimo tikslas – nustatyti dominuojantį modalumo ir modalinio vertinimo tipą internetinėse diskusijose apie internetinius dienoraščius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tekstynas, internetiniai dienoraščiai, modalumas, modalinis įvertinimas.

APPENDICES

Appendix 1. *Will* and *won't* concordances

N	Concordance
1	scribe' to podcasts so that it will automatically download t
2	see those HLS streams working. Will defo make use of the ala
3	y Ace 2 running Android 2.3.6. Will the app become available
4	ait. My partner has an iPad so will have to wait... How do y
5	a UK branded "Sweet Tablet". I will wait for the Beeb to con
6	e streams or on-demand content will play... I just managed t
7	ding. Samsung say that the BBC will need to come up with a v
8	.. hopefully BBC Radio iPlayer will come up with a updated v
9	p with a updated version which will work on your device in t

10 evices. Smaller screen devices will continue to be shipped w
11 d. Hopefully this new approach will be used on all BBC apps
12 ries. Excellent comic cameo in Will and Grace. Love those so
13 ive have been stunning. People will look back at this time a
14 a great footballer, and always will be remembered so. Says t
15 t forgotten that disgrace. You will never be half the man Dr
16 did you ever, just one example will do, see him set out to d
17 u out (the closest thing there will ever be to a Drogba mk I
18 play against Chelsea this week will be..... Didier was
19 ccasion. At Stamford Bridge he will always be loved for that
20 loved for that and I hope fans will still cheer him, as he i
21 im, as he inevitably fades and will always remember him in h
22 season, but his mere presence will hopefully be enough to h
23 n and off of it. And he always will be, too. Well done Scotl
24 ative-Libdem government. There will likely never be such fav
25 yes. However, I doubt Scotland will get the better deal that
26 Cameron and his scheming party will do is try to carve out a
27 the vote within England. They will do nothing about the mas
28 and from 39% of the vote. They will do nothing about the out
29 ves them a big advantage. They will do whatever they can to
30 ng us real democracy. Scotland will now be sliced and diced
31 d and diced into regions which will have the same status as
32 ex or Mercia talking shops. It will never regain its soverei
33 to be the only way the English will accept the sacrifice of
34 posal. I certainly think there will be moves to give separat
35 eferendum result Scotland too, will be set by UKIP. Now, can
36 the following: 1 What currency will we use? 2. Will we be in
37 What currency will we use? 2. Will we be in the EU? 3. Will
38 e? 2. Will we be in the EU? 3. Will we still have a monarchy
39 ll we still have a monarchy or will we be a republic? The po
40 ack to being the mistress. You will now have to live with a
41 eferendum. Now the English MPs will only have a say in Engli
42 robably mean 'only English MPs will have a say in English on
43 English matters, then Scotland will have to be given power o
44 is a better story than 'result will be fairly close, but the
45 tainty about Scotland s future will lead to reduced inward i
46 id No? That Dundee and Glasgow will exit Scotland? Nope. The

47 rstand maths right? My comment will be removed by a moderato
 48 a tall order. A reconciliation will not be an easy task. I '
 49 on them with "more powers". It will be even harder when the
 50 me more like UKIP the campaign will continue. And 1,900,000+
 51 the NO camp a "movement" that will continue? Nonsense, resp
 52 eed to STFU now. Anything else will just lead to instability
 53 , then ignoring the first four will always be nonsense - yet
 54 nwards. wrong.. interest rates will be set in London by the
 55 does it feel? Silly Scots. You will rue this day. You are go
 56 mes, no Westminster parliament will ever consent to a Scotti
 57 support for a new referendum, will be simply ignored. That

N Concordance

1 fairytale but it looks like it won't be the same as before.
 2 owers and you almost certainly won't get anything worth very
 3 vernment if one gets in. There won't be any labour governmen
 4 n 4.0) and above." Google Play won't show you the app or ins
 5 tion Rampart. Woody 's PR team won't be amused. Whilst it wa
 6 ame. He may be slow now and he won't in all likelihood play

Appendix 2. *Can/can't* concordance

N Concordance

1 limited to the UK only when I can use the web-site / other
 2 treams work brilliantly, and I can see myself usign the alar
 3 new app, great stuff! But when can we expect HTTP live strea
 4 to the user based on what they can support. So the BBC could
 5 am listening to more radio and can find programmes so much m
 6 et on. Omg. It works. I mean I can ACTUALLY INSTALL AN IPLAY
 7 is is all I ever wanted. Now I can VPN back to home and use
 8 you! not aware of this device. Can you give us any more info
 9 the web based iplayer and why can 't i favorite shows in th
 10 eaming on Samsung S3 devices...can you share some details on
 11 nt there'll be a 2.3.7. Yes, I can listen on iPlayer but the
 12 e created a poor experience as can be seen on the iPlayer ap
 13 d it 's not higher. Yay! Now I can finally give my wife the
 14 f IPlayer and IPlayer Radio? I can use the iPlayer app on Gi
 15 efer "theirsself" since "their" can readily be used for one p
 16 's grammar on this point. Them can readily be used for one p
 17 etter. And what 's grammatical can shift over time: singular

18 n. Um, it does n't turn out he can jump quite well AT ALL. I
 19 s do the dunk so in the end he can jump. Favourite Woody lin
 20 unity, as a film. Oliver Stone can 't do nuanced! I can see
 21 ver Stone can 't do nuanced! I can see that it would n't be
 22 list is film exclusive but you can 't leave out Cheers They
 23 him and Matthew McConnaguhuey (can 't spell it offhand) are
 24 If we 're talking TV then you can look no further than Chee
 25 guy choose over the coin flip. Can 't believe you did n't in
 26 able. I love the bit where you can see his butt crack as he
 27 top, "If you could see what I can see..." C'mon people - no
 28 the biggest cheats". The same can indeed be applicable to t
 29 in the penalty area- then you can forgive him for blowing h
 30 the 45% who voted yes. The 55% can then become England. Or a
 31 natively, those that voted Yes can respect the democratic pr
 32 to how to thrive - perhaps you can still lead other parts of
 33 ge. They will do whatever they can to ensure one set of unfa
 34 e has just appeared on the BBC can we have a statement from
 35 in the BBC I tell you. Now we can discover just what a poli
 36 too, will be set by UKIP. Now, can we please move on, sort o
 37 and shoot that Johnson chap). can we please move on, sort o
 38 c system for the whole country Can you please explain why on
 39 il servants Well at least they can cheer themselves up with
 40 s. Not. An. Ounce. I genuinely can 't see it happening. It b
 41 ection when England is told it can 't have a working NHS sys
 42 orking NHS system but Scotland can. 5~6% is not a resounding
 43 term before another referendum can be held, otherwise the un
 44 term before another referendum can be held" Someone has to e
 45 ow 45% voting for independence can be considered a victory f
 46 ow 45% voting for independence can be considered a victory f
 47 good fortune being one) that I can 't take your comment seri
 48 e voted to stay with us, now I can cancel those 'Independenc
 49 Cameron is saying Westminster can do as it pleases to its S
 50 ts Scottish subjects. Promises can be renege on. A crackdown

Appendix 3. *Would/wouldn't* concordance

N Concordance

1 tants? Scotland, a clear break would have been so much bette
 2 ease explain why on earth they would hand you that? Who 's g

3 he UK to the rest of us, which would be an interesting devel
 4 ring when the tin-foil hatters would make an appearance. Abs
 5 rst time in decades. However I would n't trust a game refere
 6 the players in my life who you would pay the entrance money
 7 pendence from Westminster - it would have been easier if you
 8 inue laughing at it. However I would n't trust a game refere
 9 ... Hey, if you feel the North would be better alone, keep o
 10 ion made this country great? I would concede that it was a f
 11 east the next 50 years. So you would prefer a hugely distrac
 12 if the vote had been reversed, would you have called the NO
 13 e a busy day today otherwise I would sit here and gloat at t
 14 The young and two major cities would like independence. For
 15 gether. I think the newspapers would have found pictures of
 16 omments. I have been saying no would win since the start and
 17 problem...so any tech details would be really helpful! thx.
 18 and a car park, to Jellybean. Would be great to have offlin
 19 rsions of android on a NEW app would have created a poor exp
 20 BBC like Samsung tab 2 10.1? I would really like to thank th
 21 ellybean on the Galaxy Note. I would have expected the BBC t
 22 ng it into portrait mode, that would be lovely - it 's rathe
 23 GAL). It 's a great app but it would be nice if i could sign
 24 ouchwiz playing silly buggers? Would n't be the first time.
 25 disdain to brilliant effect. I would n't say he stole the sh
 26 do nuanced! I can see that it would n't be to everyones tas
 27 thing about me. If you did you would n't spout such nonsense
 28 position fan of a losing side would this be time wasting. H
 29 inguistics thesis and hoped it would n't be noticed or objec
 30 king to teenage friends. 10/10 would use again more regularl
 31 nt, in a brilliant film, and i would argue, his finest momen
 32 bove); themself and themselves would also be possible here.

Appendix 4. *Think* concordance

N Concordance

1 e yet? highlands and islands i think Yes. A huge area with a
 2 o hear Labour views on this. I think you probably mean 'only
 3 popular proposal. I certainly think there will be moves to
 4 dly tall, heavy or muscular. I think it was his aura that ga
 5 un by ewoks. Bravo. Although I think you could have stuck wi

6 of the border since 1979. You think emotion, pride and pass
 7 to get it big time now. And I think it is clear what Snooty
 8 ion. We 're better together. I think the newspapers would ha
 9 te Salmond, ye big wind bag. I think the expression is "bawb
 10 n run by the No camp, but I do think that the UK is better t
 11 less of how big of a cheat you think he is. 1. I support Man
 12 ther than one long ago visit I think. Has "innit" been discu
 13 used to a word or usage, and I think this one 's a grower. G
 14 , as an Android user myself, I think make it even better.' U
 15 that use the 'HLS' protocol" I think we 'd all very much lik
 16 .] under the BBC brand", but I think it 's pretty clear wher
 17 while staying in character. I think Woody is damn good in e
 18 r be half the man Drogba is. I think that is largely overdon
 19 t be to everyones taste, but I think it 's great fun. Good p
 20 ally a cattle gun. Actually, I think you 're right - I was d
 21 t any ratings for this - but I think he is a limited and ver

Appendix 5. *Be un/likely to* concordances

N Concordance

1 the 3 island nations. That 's likely to be the only way the
 2 rsed population. It was always likely to be the last. Ta is
 3 n 48.5%, whereas it 's just as likely to mean 55.5%. Now let
 4 nd infrequent they may be more likely to be used irregularly
 5 sed, the more acceptable it 's likely to become. That happen

N Concordance

1 centre-forward 's art that is unlikely to be bettered on an

Appendix 6. *Subject plus seem/s/ed (to)* concordances

N Concordance

2 past its expiry date - it just seems to take a long, long ti
 3 s stayed at home. It certainly seems that the "Thatcher Effe
 4 t is the "Do n't knows" who it seems stayed at home. It cert
 5 'us' and even non-count 'some' seems perfectly logical. Grea
 6 ng tablet by any chance? There seems to be a common thread t
 7 ve thrived in independence. It seems fear won the day. Keep
 8 taphor since modern-day Drogba seems a good fit for an Imper

N Concordance

1 ngland is n't the cure-all you seem to believe? Depends who
 2 persuasion that voters do n't seem to like division or chan

4 do you want it to be for it to seem "resounding"? 50%? 100%?

N Concordance

1 lips as he greeted his player seemed to suggest that Drogba

2 man down and the chilly breeze seemed to carry the sound of

Appendix 7. *Seem/look/feel like* concordance

N Concordance

10 half are on ICS or above. Seem like you 're just trying to u

13 n if I have not, it just looks like it... if that makes the le

20 . McConaughey amuses me, feels like in 2011, after years of

24 hts. That CL final goal seemed like an act of the forces of

29 omantic fairytale but it looks like it won't be the same as

40 oll tracker it certainly seems like the polls were right bac

Appendix 8. *Great* concordance

N Concordance

1 n 'No Country for Old Men' and great performance in 'True De

2 Ben Kingsley in Transsiberian, great film. He 's surprisingsl

3 playing Roy Munson in Kingpin. Great film with both Harrelso

4 f a rest. Drogba is an icon, a great footballer, and always

5 t suddenly decided to become a great actor. He makes 2012 so

6 p://youtu.be/xwXSOa9w30M He 's great in No Country for Old M

7 scrader movie which was n't a great film deserves to be on

8 I bet that they were fun! All great performances on this li

9 tural Born Killers, one of the great all time movies. It 's

10 (can 't spell it offhand) are great in True Detective (McCo

11 was. But h did deliver a great speech. Oh my!! 5

12 part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ir

13 hat was what made this country great. Once lots of people in

14 and passion made this country great? I would concede that i

15 r politics and society. It was great to see what happened in

16 s talking where it counted." A great man. Respect to Didier.

17 And people often overlook his great work as player/cheerlea

18 and went after Lampard, its a great moment in pitch invasio

19 f a fit of pique. which is the great irony. It 's this very

20 e apart from the SNP. Even the great EU was caught asleep. T

21 yers. Really like the new app, great stuff! But when can we

22 although the mobile website is great now); and some 'local'

23 ology for newer phones. Worked great on my Samsung Galaxy S2

24 ris Woods in the GAL). It 's a great app but it would be nic
 25 @Rob Kendrew reports. It 's a great app & excellent work by
 26 tricted download. This sounded great, particularly the alarm
 27 Great to see this progress. So
 28 e (long) wait for Android app. Great work, the catchup and l
 29 ations, this is rock solid and great to see those HLS stream
 30 d favourites from the website? Great looking interface and f
 31 de. Kingpin, Thin Red Line are great films. *heads off to Lo
 32 e on Cheers remains one of the great supporting characters f
 33 yones taste, but I think it 's great fun. Good performances
 34 n good in everything he is in. Great dude. I really liked hi
 35 es all round, and a rollicking great prison riot to top of a
 36 l). An opportunity squandered! Great app with tremendous fea
 37 r park, to Jellybean. Would be great to have offline access.
 38 read released. This is a test. Great app, really great. Than
 39 some' seems perfectly logical. Great question though. Connec
 40 s is a test. Great app, really great. Thanks! Why does n't t

Appendix 9. *Brilliant* concordance

N Concordance
 1 , comedy, scorn and disda.in to brilliant effect. I would n't
 2 ler. His voiceover in Grass is brilliant, comedy, scorn and
 3 HBO's "True Detective". He is brilliant in it and - with hi
 4 ill always remember him in his brilliant and fearsome pomp.
 5 ing for the mantelpiece." Just brilliant. Sure, his best day
 6 m in that - his performance is brilliant. Thanks for the tip
 7 unctions a lot. Well done on a brilliant app! One minor bit
 8 for the last few days and it's brilliant, finds all local as
 9 riously, what 's the downside? Brilliant. Really nice front
 10 Shame you have n't listed his brilliant performances and th
 11 2005/2006 at the west end was brilliant. Shame you have n't
 12 cked. A stand out moment, in a brilliant film, and i would a

Appendix 10. *Favourite* concordance

N Concordance
 1 tell Woody Harrelson that your favourite moment of his entir
 2 pomp. He play(ed) for from my favourite club, but the image
 3 bly muscular. One of my top 10 favourite players. An absolut
 4 g 4.0.4. This is now one of my favourite apps. I am listenin

5 o wait... How do you find your favourite DJ's on the iPhone
6 unk so in the end he can jump. Favourite Woody line from Che

Appendix 11. *Excellent* concordance

N Concordance

1 he and Matthew McConaughey are excellent in it. The show is
2 w McConaughey have been really excellent in HBO 's "True Det
3 ill ever be to a Drogba mk II) Excellent article. The sooner
4 t sully my childhood memories. Excellent comic cameo in Will
5 some 'local' radio on the go. Excellent news!! Agree with o
6 stations and the streaming is excellent It is not compatibl
7 w reports. It 's a great app & excellent work by the BBC, I

Сергей Преображенский

Российский университет дружбы народов

ул. Миклухо-Маклая 10, Москва

E-mail: preobrag@mail.ru

Научные интересы: лингвопоэтика, поэтический синтаксис, украинская, русская и польская поэзия в сопоставительном аспекте

**«ФУТБОЛ»: ВЕРСИИ ПОЭТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
(О.МАНДЕЛЬШТАМ, В.НАБОКОВ, Н.ЗАБОЛОЦКИЙ, К.ВЕЖИНЬСКИЙ,
А.СЛИСАРЕНКО, Н.ОТРАДА)**

Выдвижение какой-либо лексемы на позиции концепта культуры сигнализирует о процессах, происходящих в культуре в целом: изначальное содержание концептуализируемого провоцирует дискурсивную активность. Следуя определению концепта, данному Ю. Г. Степановым автор данной статьи исходит из того, что реализация слова в позиции заголовочного комплекса есть его потенциальная концептуализация в рамках текстового высказывания. Этой композиционной особенностью объединены все рассматриваемые тексты. В статье анализируются прецеденты использования слова «футбол» и его ближайших производных в позиции заголовочного комплекса поэтического текста в русско-польско-украинском культурном пространстве 1913–39 годов. В качестве поэтических высказываний выбраны стихотворения названных в заглавии авторов, подробно рассмотрена метафорика «футбол=война», реализующаяся на пространстве поэтического текста. Сопоставительный анализ текстов таких разных авторов, как О. Мандельштам, В. Набоков, Н. Заболоцкий, К. Вежиньский, А. Слисаренко, Н. Отрада, демонстрирует, что неоднократные попытки концептуализировать семантику «футбола», имевшие место на культурном пространстве русской-польской-украинской поэзии 1913–1939 годов, обладают некоторыми общими чертами: приобщение концепта к области астральной мифологии, актуализация военной или (в крайнем случае) агонической составляющей концептосферы футбола как игры, актуализация семантического компонента новизны через всевозможные приемы «остранения/остраннения».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепт, заголовочный комплекс, метафоризация, футбол, О. Мандельштам, В. Набоков, Н. Заболоцкий, К. Вежинский, А. Слисаренко, Н. Отрада.

Семантизация в поэтическом языке общенародной лексики подразумевает переупорядочивание системы, регулирующей ее употребление, тем самым семантическая переструктуризация значений в рамках художественных дискурсов способствует перемещению некоторых единиц в область потенциальных концептов, подвергая трансформации основные признаки содержания, историю и сообщая дополнительные коннотации – «современные ассоциации, оценки и т.п. Выдвижение некоей лексемы на позиции концепта культуры сигнализирует о процессах происходящих в культуре в целом: изначальное содержание концептуализируемого провоцирует дискурсивную активность.

На интересный факт сходства мотивных структур в стихотворениях, О. Мандельштама и Н. Заболоцкого, озаглавленных сходным образом, уже обращалось внимание в статьях В. П. Руднева (Руднев 1999) и М. Бондаренко (Бондаренко 2006). Поскольку методологически оба текста являют собой типичные постмодернистские филологические эссе, то очевидное совпадение мотивов авторы объясняли архетипическим единством мифологемы футбола как игры. В. П. Руднев возводил мифологему к исходным сексуальным и мортальным основам (отрубание головы – кастрация), Для М. Бондаренко главным предметом анализа стали тексты А. Дельфинова и А. Сен-Сенькова, а история иных «футбольных» произведений была взята совокупно с интерпретаций В. П. Руднева в качестве исходного культурного контекста. Сделанная попытка некоего обращения к эволюции футбольного мифа естественным образом завершилась сочувственным разбором особенностей поэтики А.Сен-Сенькова вообще и фрагментов его сочинений на футбольную тему в частности, что, собственно, и было, видимо, главным посылом статьи: «Если игра – это метафора, которая нас выбирает, то каждый из авторов публикуемых выше стихотворений был выбран по-своему, особенным образом» (Бондаренко 2006). Ввиду такой эссеистической истории вопроса, следует оговорить: в каком именно аспекте «футбольные» стихотворения интересуют автора настоящей статьи. Один из первых докладов, излагающих его модель концепта и концептуализации, Ю. С. Степанов сделал в 1989 году по материалам романа «Идиот». Постулировалась идея, что целое художественное романное высказывание может служить целям становления одного концепта русской культуры, материализованного, в частности, в системе имен «князь», «идиот» и т.п. То есть, как

Ю. С. Степанов писал позднее, «концепты представляют собой в некотором роде «коллективное бессознательное» <...> сами тексты-цитаты служат аргументом в пользу того или иного концепта» (Степанов 1994: 12–13). Первое вполне понятное соображение, предлагаемое здесь: реализация слова в позиции заголовочного комплекса есть его потенциальная концептуализация в рамках текстового высказывания. Этой композиционной особенностью объединены все рассматриваемые тексты. Кроме того, все они хронологически относятся к периоду 1913–1939 года, причем тексты О. Мандельштама можно обозначить как предвоенные, текст В. Набокова как повоенный (гражданской войны) тексты Н. Заболоцкого, К. Вежиньского, А. Слисаренко как межвоенные (1926–28), текст Н. Отрады как предвоенный (1939). Во всех стихотворениях футбол обозначен как нечто себе (то есть спортивной игре) не равное. Самая частая культурная метафора, естественно, футбол = война. Наименее навязчиво она выражена, пожалуй, у В. Набоков, но и у него в стихотворении “Football” мяч «то мечется в ногах, как молния кривая, // то – **выстрела звучней** – взвивается...», а проходящий юноша сообщает спутнице о поэте, что «...кажется, я родом // из дикой той страны, где каплет кровь на снег...». Противопоставление игры войне подчеркнуто и тем, что в заголовок помещено английское (чужое) слово, актуализирующее семантический компонент инородности в содержании концепта. «Футбол» и «Второй футбол», возможно, первая «двойчатка» О. Мандельштама, написанная в 1913 году. Надвое исходное пятистрочное стихотворение было поделено во многом по мотивному принципу: «Футбол» сопоставил спортивную игру с библейской историей Юдифи и Олоферна, вернее, с известной картиной Джорджоне на этот сюжет. Библейские детали О. Мандельштам перемежает с апокрифическими оперными («Юдифь» А. Серова, где основа стихотворного либретто принадлежит А. Майкову). Отсюда, вероятно, телохранитель, а также изобретенный поэтом, отсутствующий в либретто мотив отравления («Телохранитель был отравлен»), роднящий текст с «Футболом» Н. Заболоцкого: «И шар перелетает ряд. // Его хватают наугад, // Его отравую поят, // Но башмаков железный яд // Ему страшнее во сто крат...». Военная составляющая библейского сюжета практически вся остается в подтексте: и то, что Олоферн – ассирийский полководец, осадивший иудейский Ветилуй, и по сути дела военно-диверсионная акция Юдифи. Тем не менее футбольный мяч назван «тупой головой» вражеского воителя и сказано, что «В неравной **битве** изнемог, // Обезображен, обезглавлен, // Футбола толстокожий бог». Во втором стихотворении («Второй футбол») семантика «войны» актуализирована многократно единицами соответствующего тематического

поля: «военная школа» «Кто мяч толкает угловатый, // Кто **охраняет** ворота»; «барабанов дробь»; «ни музыки, ни славы». Эти многократные семантические повторы подготавливают финальный катрен, в котором футбол представлен как поле битвы, а юный футболист (юнкер) – как раненый или павший: «Осенней путаницы сито. // Деревья мокрые в золе. // Мундир обрызган. Грудь открыта. // Околыш красный на земле». Таким образом в ряду концептов «игра» и «война» футбол занимает положение безусловного символа, предсказывающего, предрекающего на войну подлинную, должную воспоследовать за игрушечной. В стихотворении Н.Заболоцкого выразителем военной тематики, во-первых, оказываются античные мотивы: «Как плащ летит его душа, Ключица стучается звонко // О перехват его плаща. // Танцует в ухе перепонка, // танцует в горле виноград...» Далее военная метафорика разворачивается: «Свалились в кучу беки, // Опухшие от сквозняка, // Но к ним через моря и реки, // Просторы, площади, снега, // **Расправив пышные доспехи** // И накреньясь в меридиан, // Несётся шар. /// В душе у форварда пожар, // **Гремят, как сталь, его колена**, // Но уж из горла бьёт фонтан, // Он падает, кричит: «Измена!» // А шар вертится между стен <...> Четыре гола **пали в ряд**, // Над ними **трубы не гремят**». Обращает на себя внимание не только повторение мотива отрезанной головы у О. Мандельштама и Н. Заболоцкого («Здесь форвард спит без головы»), но и мотива «музыки полковой», и древнего ристалища, помимо винограда, сохнувшего в горле обезглавленного форварда, «Над ним **два медные копья** // Упрямый шар веревкой вяжут...». Мяч в стихотворении ни разу не назван и замещен перифрастическим предикатом «шар», который облачен в «доспехи», который «вертится между стен» и «дымится», очевидно являя собой пушечное ядро, а затем, связанный, возможно, осветительный прибор в морге. В то же время шар антропоморфен – щурит и открывает «глазок», говоря «Спокойно ночи!» и «Добрый день!». То есть, как и О.Мандельштама, мяч – мифологический предмет, объект из иного мира, обладающий смертельными, убийственными свойствами, жертвенный и карающий атрибут сакрализованной войны. Еще один перекрестный мотив у О.Мандельштама («Второй футбол») и Н.Заболоцкого – герой, погибший на поле брани, не вернувшийся домой: «Стареет мама с каждым днем.../Спи, бедный форвард!//Мы живем». Нет оснований утверждать, что между текстами двух поэтов наличествует прямая интертекстуальная связь (впрочем, она возможна, учитывая место публикации «Футбола» О. Мандельштама), однако ритмические модели стихотворений (в количественно преобладающих в вольном ямбе Н. Заболоцкого строчках Я4) сходны. Казимеж Вежиньский

написал свое знаменитое стихотворение, немецкий перевод которого в рамках конкурса на лучшее стихотворение о спорте был удостоен высшей награды на Амстердамской олимпиаде 1928, несколько ранее. В 1927 году оно вошло в сборник «Олимпийский лавр» (автор в это время служил главным редактором издания «Пшеглэнд спортивный»). По мнению Р. Якобсона (Jakobson 1973), риторическая, гражданственная поэтика не являлась сильной стороной творчества К.Вежиньского, а в этот момент бывший скамандрит был полон оптимизма в отношении будущего Европы и роли спорта в деле укрепления мира между народами. Тем удивительнее отмечаемая даже довольно поверхностными современными интерпретаторами насыщенность стихотворения «военной» метафорикой, которую И.Лапиньская трактует как средство изображения «рыцарского соперничества» (Łapińska 2014: 79). Необходимо отметить тот факт, что К.Вежиньский, родившийся в Дорогобыче, выучил русский язык в русском плену (1915–18 гг.), неоднократно до 1921 г. бывал в Киеве, так что опубликованный в «Новом сатириконе» «Футбол» О.Мандельштама польскому поэту мог быть знаком, но вероятность того, что ему был известен и текст Н.Заболоцкого ничтожно мала. Тем не менее основные мотивы в стихотворении „Match footballowy” те же, что и О.Мандельштама и Н.Заболоцкого. Обратим, кстати, внимание на то, что и тут в заглавии присутствует английский язык, поскольку более нормативным является ориентированный на фонетическую транскрипцию английского слова польский вариант *mesz*. Уже в первой строке стадион назван Колизеем и в четвертой приравнен по количеству зрителей («миллион людей»), которых «тайный смысл связывает и энтузиазм братский», к Европе. Матч проходит на пространстве от Пиренеев до Урала. В ворота, защищаемые Рикардо Саморой, летят ядра (снаряды) из мортир (минометов) от Уральских гор. Примечательно то, что фамилия великого испанского вратаря написана по-польски через два “r” – *Zamorra*, что не соответствует принятому испанскому *Zamora*, зато совпадает распространенной в советские годы русской транскрипцией *Заморра* (ср.: «Последний матч Заморры», газета «Неделя» №4, 1970). Есть основания предположить, что артиллерийская дуэль «с одной стороны Москва – с другой Барселона» (строка 14) не означает иносказательно сражение в ходе мировой революции, несмотря на то, что в предыдущей строке буквально сказано «Ядра (снаряды) перескакивают от города к городу». Знаменитые матчи с басками сборной СССР состоятся только через 10 лет (1937 г.), «Барселона» и «Реал», где в воротах стоял Рикардо Самора (Замора) перед войной ни разу не сыграют с командой из Советской России. Таким образом бывший скамандрит выдает желаемое за действительное, поэтически

описывая чаяния европейских левых – спортивных болельщиков и предугадывая футбольную эпопею с басками. Мяч опять уподоблен ядру, мине, снаряду, однако не уподобляется мертвой голове. Впрочем, «Заморра» сравнивается вначале с «пауком», а затем с «выстреливающим в небо кустом» – силуэты и того и другого лишены всяких признаков головы. Завершается стихотворение такими строчками: «И, как сильная тоска по победной славе, // Дрожит крик стадиона: «Гола, гола, гола!». Стихотворение украинского авангардиста А.Слисаренко, озаглавленное «Футбол» вроде бы игру к войне не приравнивает, в финальной части мяч появляется как небесное тело, что отчасти перекликается с Н. Заболоцким, голкипер, забивающий «наивысший гол» сходен с планетарным Заморрой К. Вежиньского: «завтра же будет солнце! Золотым мячом его покатают дни-комсомольцы. Буду подвижным голкипером, буду играть в золотой футбол и на поле, вытоптанном, черном, солнцем загоню наивысший гол». Однако первая часть этого стихотворения описывает омрачающих «сегодня» сердце автора литературных врагов, некоторые аллегорично упомянуты: Б. Гринченко и В. Сосюра, то есть прежний и недавно образовавшийся традиционалист-ретроград. Таким образом, футбол в данном случае символизирует новую, оптимистичную систему эстетических воззрений, принадлежность к новому, прогрессивному культурному пространству, с традиционным для футуризма и авангарда приобщением к этому пространству солнца (от Г. Аполлинера, В. Маяковского и В. Каменского до украинцев В. Сосюры, Г. Шкурупия, В. Полищука и др.). Если иметь в виду французского поэта, то мотив «мяча-отсеченной головы» косвенно возникает и в стихотворении А. Слисаренко. Впрочем, футбол (футбольный мяч) концептуализировали многие украинские авангардисты, напр., М. Йохансен, в юности игравший в футбол, писал о «жизни, круглой как мяч». Футбол символизирует победу нового над старым, но победу на уровне семиотического боя, а не буквального. Нужно упомянуть о том, что многократно редактировавшийся роман Л. Кассиля «Вратарь республики» впервые вышел в свет в 1937 году, а фильм «Вратарь» опередил печатную версию на год. И если в романе футбол – поле классовых и идеологических битв, то в песне на стихи В. Лебедева-Кумача футбол приравнивается к оборонным и атакующим боям на рубежах и (надо полагать) за рубежами социалистической родины: «Эй, вратарь, готовься к бою: // Часовым ты поставлен у ворот. // Ты представь, что за тобою // Полоса пограничная идёт!» В таком контексте стихотворение Н. Отрады «Футбол», написанное в 1939 году поэтом, погибшим на поле боя в Финляндии, выглядит как метафизическое обобщение, поднимающее футбол на следующий уровень абстрактного

осмысления: от концептуальной метафоры военного сражения до концептуальной метафоры мировой борьбы справедливости и несправедливости, правды и лжи, тьмы и света: «Футбол не миг, не зрелище благое, // Футбол другое мне напоминал. /// Он был похож на то, как ходят тени // По стенам изб вечерней тишиной. // На быстрое движение растений, // Сцепление деревьев, переплетенье // Ветвей и листьев с беглою луной». Никакой «военной» лексики в стихотворении не использовано (если не считать того, что «Мяч **стрелой** и... мимо // Мяч пролетит **стрелой** мимо ворот»). Однако есть отсылка к афоризму из Гёте, и в целом к общему месту о «неуловимости» и «замирании мгновения». Диалектическое начало оборачивается затем манихейским противопоставлением: «Я находил в нем маленькое сходство // С тем в жизни человеческой, когда // Идет борьба прекрасного с уродством // И мыслящего здраво // с сумасбродством. // Борьба меня волнует, как всегда. /// Она живет настойчиво и грубо // <...> // Определенна, как игра на кубок, // Где никогда не может быть ничья». Возможно, что это некая ответная реплика на ограниченно боевую концептуализацию футбола, возвращающая концепту абстрактную авангардную составляющую пресловутой «борьбы противоположностей», одним из видов которой является и классовая борьба, наряду с межвидовой, и прочими природными явлениями.

Подводя итоги, можно утверждать, что неоднократные попытки концептуализировать семантику «футбола», имевшие место на культурном пространстве русской- польской- украинской поэзии 1913–1939 годов, обладают некоторыми общими чертами: приобщение концепта к области астральной мифологии, актуализация военной или (в крайнем случае) агонической составляющей концептосферы футбола как игры, актуализация семантического компонента новизны через всевозможные приемы «остранения / остраннения».

Литература

БОНДАРЕНКО, М., 2006. *Игра в мяч: оптика и поэтика*. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/80/bo23.html> (2.09.2016).

РУДНЕВ, В. П., 1999. *Метафизика футбола*. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_08/1999_8_06.htm (2.09.2016).

СТЕПАНОВ, Ю. С., 1994. Слово (из статьи для Словаря концептов («Концептуария») русской культуры). *Philologica*, 1, т. 1, № 1/2, 11–31.

JAKOBSON, R., 1973. O formalizmie i poezji. Rozmowa z profesorem Romanem Jakobsonem, przeprowadził Zbigniew Podgórzec. *Tygodnik Powszechny*, 35.

ŁAPIŃSKA, I., 2014. Pasja udziału – o sporcie w wierszu Kazimierza Wierzyńskiego *Match footballowy*. In: Red. D. Szczukowski, G. Tomaszewska. *Sztuka interpretacji*. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 75–83.

Sergey Preobrazhenskiy

Peoples' Friendship University of Russia

“FOOTBALL”: A VERSION OF POETIC CONCEPTUALIZING

(O. MANDEL'SHTAM, V. NABOKOV, N. ZABOLOTSKIY, K. WERZYŃSKI, A. SLISARENKO, N. OTRADA)

Summary

Putting forward a definite lexeme to the position of a concept of culture signals about the processes taking place in culture as a whole: the initial content of the conceptualized word provokes discourse activity. Following the definition of concept given by Yu. G. Stepanov, the author of the present article proceeds from the assumption that realization of a word in the position of a title complex presents its potential conceptualization within the frames of a text utterance. This compositional feature is characteristic of all the considered texts. The article discusses precedents of using the word “football” and its nearest derivatives in the position of the title complex of poetic texts in the Russian, Polish and Ukrainian poetic space of 1913–1939. The analyzed poetic utterances are selected from the authors mentioned in the title of the article. The metaphor “football = war” actualized within the poetic text is considered in detail. The comparative analysis of texts by such different authors as O. Mandel'shtam, V. Nabokov, N. Zabolotskiy, K. Werzyński, A. Slisarenko and N. Otrada reveals that the numerous attempts of conceptualizing the “football” semantics which took place on the cultural premises of Russian, Polish, Ukrainian poetry of 1913–1939, possess some common features: including the concept into the field of astral mythology, actualization of military, or (at least) agonistic part of the conceptsphere of football as a game, actualization of the semantic component of novelty through various devices of estrangement/*ostraneniye*.

KEYWORDS: concept, title complex, metaphorizing, football, O. Mandel'shtam, V. Nabokov, N. Zabolotskiy, K. Werzyński, A. Slisarenko, N. Otrada.

Sergej Preobraženskij

Tautų draugystės universitetas, Maskva, Rusija

FUTBOLAS: POETINĖ KONCEPTUALIZACIJA (O. MANDELŠTAMAS, V. NABOKOVAS,
N. ZABLOCKIS, K. VEŽINSKIS, A. SLISARENKO, N. OTRADA)

Santrauka

Vienos lekšemos išskyrimas kultūriniame koncepte atkreipia dėmesį į procesus, kurie tuo metu vyksta kultūroje. Grindžiant hipotezę J. Stepanovo pasiūlytu koncepto apibrėžimu, teigtina, kad žodžio vartojimas antraštėje pažymi jo galimą konceptualizaciją. Šiuo pagrindu ir buvo pasirinkti visi analizuoti tekstai. Straipsnyje apžvelgiami precedentiniai žodžio *futbolas* vartojimo antraštėse atvejai rusų-lenkų-ukrainiečių kultūrinėje erdvėje 1913–1939 metais. Pasirinktuose kūriniuose daug dėmesio buvo skirta metaforai *Futbolas – tai karas*. Lyginamoji įvairių autorių poetinių tekstų analizė parodė, kad galima išskirti tam tikrus bruožus, būdingus *futbolo* konceptualizavimui: koncepto priskyrimas astralinei mitologijai, karinio ir naujumo elementų aktualizacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konceptas, antraštė, metaforizacija, futbolas, O. Mandelštamas, V. Nabokovas, N. Zablockis, K. Vežinskis, A. Slisarenko, N. Otrada.

Вера Пустовалова

Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна

Email: vira.pustovalova@gmail.com

Область научных интересов: когнитивная лингвистика, лингвокультурология

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ИГРОВЫХ МЕТАФОР КАК СРЕДСТВ НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАДИСКУРСА)

В статье рассматривается языковая реализация концептуальной метафорической модели «X – ЭТО ИГРА», в частности номинации, связанные с названием человека внутри метафорического игрового пространства. Описаны теоретические причины популярности изучаемой метафорической модели. Материалом для исследования послужили тексты современного украинского медиадискурса на русском и украинском языках. Исследование фактического материала позволяет утверждать, что метафоры, в основании которых лежит игровая лексика, частотны и экспрессивны, имеют значительный оценочный потенциал. Из-за частоты употребления такие номинации часто используются автоматически, без семантической детализации, что обусловлено набором стереотипных смыслов, закрепившихся за языковой единицей. Экспрессивное и оценочное употребление таких метафор обусловлено апеллированием к семантическим характеристикам лексики игра, использованием семантически и аксиологически значимых распространителей. Рассмотрены также когнитивные механизмы создания оценки: указание на конкретный тип игр, противопоставление игры действительности. Проанализированы различные игровые сценарии с целью выявить специфику метафор участника игры как объекта и субъекта в конкретных игровых сценариях. Выделены основные концептуальные признаки, влияющие на формирование метафорического значения, механизмы действия и взаимодействия объектов и субъектов игрового сценария в зависимости от особенностей последнего. Описаны особенности использования субъектной/объектной семантики высказывания как средства самопрезентации и характеристики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *когнитивная метафорическая модель, концептуальный признак, медиадискурс, экспрессия, оценка.*

Концептуальную метафорическую модель «X – ЭТО ИГРА» традиционно считают базовой, т.е. объединяющей широкий спектр семантических отношений между номинативным значением и образным, переносным, метафорическим словоупотреблением. Модели концептуальных метафор со сферой-источником «игра» составляют важную сферу когнитивной деятельности человека, соответственно, являются предметом многочисленных исследований, начиная с анализа смыслового наполнения метафоры LIFE IS A GAMBLING GAME в основополагающей для теории концептуальной метафоры работе “Metaphors We Live By” (Lackoff, Johnson: 51), а также в других работах, которые либо частично (Чудинов 2001), либо полностью (Myers 1991; Старко 2007; Urbańska-Galanciak 2009; Мещанова 2012; Möring 2013 и др.) посвящены исследованию игровых метафор. Важность игры как феномена социальной деятельности человека неоднократно подтверждена известными антропологами (см. работы Й. Хейзинги, Э. Финка, Р. Кайуа, А. Кошелева и др.). Именно поэтому игровые метафоры естественны и распространены. Они так органично вписываются в структуры сознания, что иногда бывает непросто выделить метафорические и неметафорические номинации. О. Сосланд видит причину популярности игровых метафор в аттрактивной природе концепта ИГРА: «Люди пытаются обозначить словом «игра» множество форм жизни и видов деятельности. (...) Игра – это универсальная метафора. Соотнесение с игрой придает аттрактивный характер любому феномену» (Сосланд 2006: 109). Кроме того, антропоцентрическая сущность игры позволяет находить в этой сфере средства реализации практически любого коммуникативного замысла. Игровая метафора подразумевает рассмотрение событий как части игрового пространства и возможность соотносить их с общими знаниями об игре. Такие сопоставления, как правило, экспрессивны и прагматически значимы, поскольку использование другой понятийной сферы для номинации реалии позволяет выявить и подчеркнуть желаемые для говорящего особенности последней.

А. Циммерлинг выделяет как минимум три прагматические тенденции функционирования метафорических игровых единиц: противопоставление игры и жизни (*жизнь – не игра*), уподобление жизни в целом или отдельных ее фрагментов игре (*жизнь – игра, жизнь – театр* и т. д.), противопоставление расширенного и суженного понятий игры (прежде всего, в научных контекстах, где это слово выполняет чисто дескриптивную функцию) (Циммерлинг 2006: 113–114).

Практика реализации метафорической модели «X – ЭТО ИГРА» в медиатекстах отображает все упомянутые тенденции. Среди всего многообразия метафор нас интересуют номинации человека внутри игрового пространства. В зависимости от особенностей взаимодействия сферы-источника и сферы-цели человек входит в созданное метафорическое пространство как субъект или объект какой-либо игры.

Среди определений человека как субъекта игровой деятельности одной из самых обобщенных метафор является слово *игрок*. Человек как участник игры – довольно популярная метафора. Ее использование актуализирует в сознании реципиента фоновые знания, связанные с игрой в целом: понятием риска, наличием правил, распределением ролей и т. п. Вместе с тем, именно популярностью этой метафоры объясняется то, что часто она воспроизводится механически, без семантической детализации и апелляции к когнитивным смыслам игры: *«Игроки рынка прекрасно понимают, что такая мера, как введение экспортных квот, вынужденная и, хочется надеяться, временная»* (День 05.10.2007); *«Все потенциальные политические игроки не устают повторять, что местных выборов может и не быть»* (inshe.tv 23.05.2015). На когнитивном уровне такое воспроизведение обусловлено набором стереотипных смыслов, которые закрепились за языковой единицей, традицией употребления слова *игрок* как метафоры. Как следствие, снижается экспрессивный потенциал самой единицы. Усиление данного потенциала может происходить с помощью привлечения иных компонентов метафорической модели: *«Политические игроки уже на низком старте»* (inshe.tv 23.05.2015).

Отметим, что в ряде случаев употребление слова *игрок* не является чисто механическим воспроизведением стандартной метафоры, а апеллирует к некоторым когнитивным признакам концепта ИГРА: *«Опытный политический игрок Примаков скорее всего даже из народного гнева попытается извлечь для себя выгоду»* (День 05.10.2007). В данном случае признаком игры является выгода; еще одним из таких признаков является командное взаимодействие, к чему нередко апеллируют политики и другие публичные люди: *«Я командный игрок единомышленников, которые ставят своей целью достижение идеалов плюралистической демократии, верховенства права, прав человека и независимости Украины. Я всегда буду в любой команде, которая не только будет исповедовать эти идеалы, но и решительно будет бороться за них»* (День 10.03.2011); *«Из опыта оказалось, что я не командный игрок. Я именно “кошка, которая гуляет сама по себе”. Мне давно предлагают написать пьесу, но это групповая игра. У меня возникает мысль, что подобный проект будет, как “лебедь, рак и*

щука”, где каждый будет тащить одеяло в свою сторону» (День 20.12.2001). Обращает на себя внимание также амбивалентность оценок (и склонность к командной игре, и противоположная черта воспринимаются положительно), а также использование номинации *командный игрок* для речевой самопрезентации (я).

Чем ярче выражена функция характеристики, тем более семантически полным является смысл словоупотребления *игрок*, возможно – с распространителями, например, словосочетание *игрок по натуре*: «К банковским депозитам лучше даже не примериваться. Если, конечно, **по натуре** ты не **игрок** и тебя не расстроит потеря положенной на депозит суммы» (Зеркало недели 20.09.1996); «Путін **гравець по натурі**. І у нього притуплене відчуття небезпеки. Він піде на ризики, бо для нього на кону життя. Він просто не може зупинитись» (Укр. правда 21.10.2014). Подобные номинации актуализируют специфический набор смыслов, характерный для участников прежде всего азартных игр: доминирующий признак риска, опасность, специфический для азартных игр признак материального результата игры. Сравним, как те же признаки проявляются в метафоре, содержащей эксплицитное указание на азартную игру: «Так и в наши дни Путин в ответ на усиление санкций отвечает более массивной поддержкой террористов в Донбассе, посылая им подкрепления и тяжелую технику. Как **игрок в политический покер** он увеличивает ставки в надежде, что у его партнеров не выдержат нервы, а украинские военные завязнут в боях» (День 28.07.2014). Упоминание об азартных играх – популярный способ выявления авторской отрицательной оценки, поскольку сам образ такой игры неоднозначно воспринимается в обществе (ср. Р. Кайуа: «Доказать культурную продуктивность азартных игр сложнее, чем игр состязательных. Влияние азартных игр велико, даже если считать его негативным» (Кайуа 2007: 45). Кроме того, в метафорических контекстах утверждается несоответствие игры и действительности, что говорит о невозможности использования игровой манеры поведения в реальной ситуации.

Противопоставление игры и действительности в целом является распространенным прагматическим приемом в контекстах игровой метафоры: «Обойдемся без криэйторов, спичрайтеров, контентредакторов, жестокой драматургии, тщательно продуманных шоу. Подумайте о насущном глухонемых, студентов, бездомных и безработных. Не радуйтесь тому, что они не умеют осуществлять публичные постановки личных драм. Я не адорирую то, что медиа называют “социалкой”. Я просто *hoto ne ludens*» (Зеркало недели 15.07.2005).

Неигровой характер деятельности, отрицание метафоры служат средством прагматической декларации.

Детализация метафорической модели позволяет использовать для номинации субъектов игрового процесса названия участников конкретных игр. На когнитивном уровне при этом актуализируется сценарий определенной игры: «*Фотограф – это умение держать взгляд другого человека. Небольшое и страшное испытание, игра в гляделки всерьез. За милой и исключительно обаятельной Еленой Божко скрывается серьезный игрок в гляделки. Фотограф*» (День 10.07.2015); «*Вважаю, на Болонській гральній дощі найгірше живеться студентам і викладачам, котрі стали жертвами незрозумілої гри недосвідчених шашикістів*» (<http://zakarpattya.net.ua>). В некоторых случаях такие метафоры являются только гипонимами относительно слова *игрок* и реализуют уже описанные выше прагматические функции. В то же время характер данного сценария влияет на выбор номинации игрока и определяет восприятие его образа. Так, называние чиновников сферы образования *шашикистами* связано, возможно, с прототипной простотой игры в шашки, а также с делением игрового пространства на клетки, что ассоциируется с попытками регламентировать образовательный процесс. Сравним также: «*Перед нами не повесть, а квест с несколькими уровнями. Структура состоит в прохождении читателем (геймером) лабиринтов потустороннего мира*» (День 05.10.2007). Здесь ключевыми когнитивными признаками являются загадочность, увлекательность и, в противоположность к предыдущему примеру, сложность организации игры (*квест с несколькими уровнями*), что и делает возможной метафорическую номинацию *геймер*.

Распределение игровых ролей в конкретной игре позволяет говорящему позиционировать себя и других участников ситуации в метафорическом пространстве. Например, политик-оппозиционер Юрий Луценко так рассказывал о своей встрече с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем: «*Начался разговор. Янукович долго рассказывал о себе, я – о себе. (...) Я сказал: Виктор Федорович, есть такая игра "казаки – разбойники". Так вот, я – казак... Он решил, что я отшутился*» (www.unian.ua 07.02.2012). Выбор ролей, оценок и, соответственно, номинативных средств полностью зависит от интенций говорящего.

В функции субъекта ситуации могут использоваться и номинации игровых атрибутов: «*...уходил Леонид Грач с доски ферзем, но возвратился ослабленной ладьей, перспективы которой пока довольно неопределенны*» (День 22.04.2002). «*Он (А. Мороз – В. П.) первым дошел до края поля, превратившись в "дамку" и в этих условиях наблюдает за играми аутсайдеров*»

(Зеркало недели 08.07.2006). Такая модель естественна тогда, когда общая метафорическая «рамка» (*доска, край поля* и т. д.) позволяет говорить о некоторой степени самостоятельности субъекта. Наиболее удобны в этом отношении шахматная и шашечная метафоры. Как видим, основанием для наделения шахматных фигур субъектной функцией и вынесения публицистических оценок в данной метафорической модели является статус. Некоторой степенью самостоятельности, субъектности в определенных контекстах могут «обладать» и карты, также в связи с их различным игровым статусом: *«Дмитро Корчинський – єдиний містичний політик України, – вважає політтехнолог Вадим Антонюк. – (...) Він джокер у цілій колоді шісток і дев'яток української політики»* (Укр. тиждень 23.02.2012), хотя в целом метафорический образ карт в модели азартной игры чаще используется в объектной функции, которую и рассмотрим далее.

Концептуализация персонажа, в частности политика, с помощью метафоры игровой карты опирается на когнитивные признаки несамостоятельности, манипулируемости, что предполагает его использование как объекта: *«Думаю, почти уверена, что кремлевские стратеги полагают, что Янукович отыгранная карта»* (День 17.12.2003); *«Не козирна "шістка". "Технічний" кандидат у президенти Базилюк мав би відбирати голоси у Ющенко»* (Україна молода 30.09.2004). Это наиболее частотное средство, хотя в той же функции используются и элементы игровой метафоры из других сфер: *«Экс-президент Украины Янукович стал марионеткой, пешкой в борьбе Путина. И даже в Москве ему не дают проводить пресс-конференции, ведь считают, что он – не тот уровень, который может кем-то серьезно восприниматься. А вот для грязной игры подходит такая "крапленая карта", как Янукович»* (Фокус 21.04.2014). В подобных словоупотреблениях сценарный элемент практически не имеет значения, семантика редуцируется, а прагматический элемент оценки разрастается до полного доминирования.

К метафоре детских игр апеллирует объектная семантика номинативного знака *игрушка*: *«Игрушка Президента. Именно так полусерьезно и полуиронично одновременно в политических и финансовых кругах говорят об Олеге Дубине – нынешнем первом вице-премьере правительства»* (Укр. правда 30.04.2002); *«Что происходит с поэтом, когда он превращается в кумира миллионов? Он становится куклой, игрушкой желаний тысяч людей»* (День 09.12.2011). Объектность здесь противопоставляется субъектности, последняя имплицитно мыслится как норма для политика или поэта, а объектный статус – как отклонение от нормы, что

и делает номинатему *игрушка* оценочной. Оценочность и нормативность усиливаются более детальной апелляцией к сценарию: *«Пришло понимание: ребенок – не игрушка, наиграешься – на полку не положишь. Это очень серьезно, на всю жизнь»* (День 17.03.2006).

Нормативное противопоставление субъектности и объектности находит выражение не только в лексических, но и в других языковых структурах: *«Загребельного “сыграли втемную”:* *выдали лицензию на создание иконы, но жестко определили колористическую гамму формулой любовного романа»* (Зеркало недели 09.06.2006). Речь идет о писателе, который нормативно должен выполнять субъектную функцию, но превращается в объект по воле управляющих творчеством идеологов; нарушение нормы в реальности отражается в нарушении стандартной грамматической структуры: фразеологизм *сыграть втемную* распространяется нетипичным прямым дополнением.

В ряде контекстов семантика субъектности и объектности по отношению к человеку сочетается: *«Ігри, в які нас грають* (заголовок). *Ми опинилися в ситуації, коли нам здається, що це ми граємо в ігри, а окремим взагалі ввижається, що саме вони вигадують ці ігри і формують під них правила. Насправді ж, це нас грають в різноманітні ігри. Але поки грають нами, ми навіть не актори, а лише фігури, яким би цінним чи дорогим не був наш образ»* (Укр. правда, 25.06.2009). Позиция субъекта или объекта существует в индивидуальном сознании, и публицист оценивает структуры картины мира, актуальные для общества, и расставляет свои акценты. В выборе лексических средств прослеживается градация (образ *актера* наделяется большей самостоятельностью, чем образ *фигуры*, но все равно недостаточной), важную роль играет и окказиональная грамматика (переходность глагола *играть*). Аналогично: *«Времена рыцарских поединков и кодексов Бусидо давно прошли, а пешки, как известно, все на одно лицо. Ими с легкостью жертвуют, но они, в отличие от игрока, всегда потом могут оправдаться: «Я всего лишь исполнял приказы». Пока игрок перебирает войну за войной в поисках его единственной победоносной, они с охотой и умением исполняют за него всю грязную работу»* (День 20.11.2015). В данном публицистическом высказывании мир жестко делится на субъектов и объектов воздействия, чьи характеристики закреплены в номинативных единицах *игроки* и *пешки*. Семантика этих единиц также редуцирована до ключевых сем 'деятель' и 'исполнитель', при этом сама метафорическая модель игры представлена минимально (кроме указанных, еще лексемой *жертвовать*), в контексте параллельно использована лексика из других сфер: *война, приказы, работа*.

Выбор позиции субъекта, а не объекта играет важную роль в самопрезентации политика, что отражается, например, в диалоге нынешнего президента Украины Петра Порошенко, на тот момент министра, с журналистом: «*Петр Алексеевич, так будут ли все-таки вами предприняты какие-то четкие шаги по собственному позиционированию на политической шахматной доске? Вот белые – вот черные. А где вы? С кем? Ваша фигура не опознана. – Если вы уж решили применить аналогию с шахматами, то я – игрок, а не фигура на доске. – Красиво. Но все-таки позвольте уточнить, какими вы играете – белыми или черными? – Игрок иногда ходит белыми, а иногда черными. Все зависит от партии*» (Зеркало недели 15.02.2013). Метафорическую модель задает журналист с целью экспрессии, политик же воспринимает ее как концептуальную, как фрагмент моделирования действительности, и вносит соответствующие коррективы.

Игровая метафора, как видим из рассмотренного материала, дает широкие возможности для языкового представления человека в мире и, в частности, в политике. Важнейшую роль при этом играет выбор семантики субъекта или объекта, так как в исходной структуре игры заложены обе модели. Соответствующая семантика часто порождает прагматический смысл высказывания, который может в итоге занимать доминирующую позицию.

Литература

- LACKOFF, G., JOHNSON, M., 2003. *Metaphors We Live By*. The University of Chicago Press.
- MÖRING, S. M., 2013. *Games and Metaphor – A critical analysis of the metaphor discourse in game studies*. Available from: https://pure.itu.dk/ws/files/76532870/20140624_SM_thesis_proofread_b.pdf.
- MYERS, D., 1991. *Computer game semiotics*. Available from: http://dmyers.us/F99%20classes/Myers1991_ComputerGameSemiotics/Page1.htm.
- URBAŃSKA-GALANCIAK, D., 2009. *Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych*. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.
- КАЙУА, Р., 2007. *Игры и люди: Статьи и эссе по социологии культуры*. Москва: ОГИ.
- КОШЕЛЕВ, А. Д., 2006. К общему определению игры. *Вопросы философии*. 11, 60–72.
- МЕЩАНОВА, Н. Г., 2012. *Метафоры игры в русском языке (на материале образов театральной игры и азартной игры)*. Самара.
- СОСЛАНД, А. И., 2006. Концепт «игра» в свете аттрактив-анализа. In: Сост. Н. Д. Арутюнова. *Логический анализ языка. Концептуальные поля игры*. Москва: Индрик, 98–111.

- СТАРКО, В. Ф., 2007. *Концепт ГРА*. Луцьк: Вежа.
- ФИНК, Э., 1988. *Основные феномены человеческого бытия*. Москва.
- ХЕЙЗИНГА, Й., 2011. *Homo ludens. Человек играющий*. Санкт-Петербург: Изд-во И. Лимбаха.
- ЦИММЕРЛИНГ, А. В., 2006. Жизнь как игра с противоположными интересами. In: Сост. Н. Д. Арутюнова. *Логический анализ языка. Концептуальные поля игры*. Москва: Индрик, 111–120.
- ЧУДИНОВ, А. П., 2001. *Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000)*. Екатеринбург.

Vira Pustovalova

Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Research interests: cognitive linguistics, linguocultural studies

SEMANTICS AND PRAGMATICS OF GAME METAPHORS AS MEANS OF PERSON NOMINATION (BASED ON MEDIA DISCOURSE)

Summary

The article deals with the language realization of conceptual metaphorical model “X is a GAME”, in particular with words concerning the nomination of person inside the metaphorical game space. We describe the theoretical reasons for such immense popularity of the studied metaphor model. As material for research we took a corpus of texts from modern Ukrainian media discourse in the Ukrainian and Russian languages. The analysis of factual contexts lets us affirm that metaphors in which game vocabulary is used as a basis are frequent and expressive, and have a strong evaluative potential. Due to the frequency of usage such nominations are often used automatically, without detailed semantic elaboration which is caused by a set of stereotypical senses assigned to a language unit. Expressive and evaluative use of these metaphors is determined by appeal to semantic characteristics of the lexeme *game* as well as by the usage of semantically and axiologically significant extra words. Cognitive mechanisms of making an evaluation are also considered: indicating the concrete game type, contrasting game and reality. We analyze different game scripts aiming to reveal the specific features of metaphors concerning a game participant as an object and a subject in concrete game scripts. The main conceptual features which influence the formation of metaphorical meaning, the mechanisms of action and interaction of objects and subjects inside the game script depending on

peculiarities of the latter are pointed out. We describe the features of using the subject/object semantics as an instrument of self-presentation and characterization.

KEYWORDS: cognitive metaphorical model, conceptual sign, media discourse, expressivity, evaluation.

Vera Pustovalova

Charkovo prekybos ir ekonomikos institutas, Ukraina

ŽAIDIMO METAFORŲ SEMANTIKA IR PRAGMATIKA KAIP ŽMOGAUS NOMINACIJOS PRIEMONĖ

Santrauka

Straipsnyje analizuojama kalbinė konceptualiosios metaforos *X – tai žaidimas* realizacija. Tai nominacija, susijusi su žmogaus įvardijimu metaforiškame žaidime. Aprašytos teorinės aptariamo metaforos modelio prielaidos. Tyrimo medžiaga – šiuolaikiniai ukrainiečių medijų tekstai ukrainiečių ir rusų kalbomis. Tyrimas parodė, kad metaforos, kurių pagrindu pasitelkiama žaidybinė leksika, yra dažnos ir išsiskiria išraiškingumu bei vertinimo pobūdžiu. Kadangi šios metaforos itin dažnos, tekste jos nedetalizuojamos, joms priskiriamos stereotipinės kalboje nusistovėjusios reikšmės. Semantiniai leksemos *žaidimas* elementai lemia šių metaforų išraiškingumą bei vertinamąjį komponentą. Analizuota, kaip kuriamas vertinamasis kognityvinis mechanizmas: nurodomas konkretus žaidimo tipas, žaidimas priešinamas su realybe. Siekiant išsiaiškinti žaidėjo kaip subjekto ir objekto specifiką konkrečiose žaidybinėse situacijose, analizuoti įvairūs žaidybiniai scenarijai. Išskirti pagrindiniai konceptualieji bruožai, kurie daro įtaką metaforos reikšmei, veikimo mechanizmui bei objekto ir subjekto sąveikai žaidybinėje situacijoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kognityvinis metaforinis modelis, konceptualioji savybė, mediadiskursas, išraiškingumas, vertinimas.

Вероника Разумовская

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

пр. Свободный, д. 79/10, 660041 Красноярск, Россия

E-mail: veronica_raz@hotmail.com

Область научных интересов автора: теория перевода, семантика, фоносемантика, межкультурная коммуникация

**КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:
В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА**

Способность носителей информации к сохранению наиболее значимой части культурной информации определяется в современном научном дискурсе как «культурная память» – символическая форма передачи и актуализации культурных смыслов, способ ценностного освоения и интерпретации во времени и обществе значимых культурных объектов. Художественный текст является одной из наиболее традиционных форм генерирования и хранения культурной информации и памяти, осуществляющих данные действия с культурной информацией и памятью в оригинальной и вторичных формах. История художественного перевода убедительно свидетельствует о том, что «сильный» текст регулярно стремится к самовоспроизводимости и самоповторяемости. Генерирование художественным текстом иноязычных вариантов приводит к формированию центров переводческой аттракции. Гетерогенная природа и неоднозначность информации «сильных» художественных текстов культуры определяет комплексное применение культурно-ориентированных стратегий перевода – форенизации, доместикации и остранения. На материале оригиналов «сильных» текстов русской культуры («Евгений Онегин» и «Мастер и Маргарита») и их иноязычных переводов в данной работе исследуются вопросы информативности художественного текста в терминах культурной памяти. Особое внимание уделяется проблемам воссоздания культурной памяти оригинала во вторичных иноязычных вариантах. Культуронимы как регулярные носители культурной памяти рассматриваются как единицы художественного перевода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурная информация, культурная память, «сильный» текст, стратегия перевода, единица перевода, форенизация, доместикация, остранение.

В информационном пространстве художественных текстов, имеющих сложную и в каждом конкретном случае уникальную системно-структурную организацию, культурная информация является одним из доминантных типов представленной в нем информации и способствует реализации доминантной функции данных текстов – эстетической. К настоящему времени аксиомой художественного переводоведения стал обязательный учет культурного контекста при ретрансляции информации оригинального текста в процессе межъязыкового перевода, при переносе текста, «переписанного» средствами другой языковой системы, из «своей» культуры в «чужую» (Вдовенко 2007; Even-Zohar 1978; Lefevere 1992). При этом влияние культурного контекста на результат процесса художественного перевода тесно связано с вопросами культурной адаптации переводного (вторичного) текста, предполагающими использование наиболее эффективных средств и способов достижения равенства коммуникативного эффекта художественного оригинала и его перевода в соответствующих культурах (Гришаева 1999; Фененко 2001).

Художественный текст является одной из важнейших и традиционных форм выражения смыслового поля культуры, находящей отражение в культурном пространстве текста (Ивлева 2009). Рассмотрение организации художественных текстов через понятия текстовых и культурных решеток, предложенные в культурологическом переводоведении (Bassnett, Lefevere 1998), позволяет утверждать, что принадлежность оригинала к решетке «своей» культуры обусловлена обязательным наличием в нем культурной информации. Культурная информация сообщает об основных событиях, персоналиях, традициях, верованиях, бытовых реалиях, связанных с жизнью национально-культурных сообществ, обладает высокой коммуникативной значимостью и имеет очевидную гетерогенную природу, поскольку может быть представлена как внутренней («своей»), так и внешней («чужой») разновидностями. С точки зрения понятий духовности и материальности гетерогенность культурной информации обусловлена тем, что она включает сведения о материальной культуре (артефакты, созданные человеком) и о культуре духовной (нормы, ценности, ритуалы, мифы, обычаи, верования, традиции). Все указанные разновидности культурной информации являются непосредственными результатами деятельности людей на протяжении жизни одного или нескольких поколений, что позволяет определить культурную информацию и, соответственно, культуру как «совокупность результатов деятельности людей, создающих систему

традиционных для человечества ценностей, как материального, так и духовного характера» (Миронов 2011: 9).

Еще одним проявлением гетерогенности культурной информации выступает то, что в современном научном дискурсе часть культурной информации рассматривается как культурная память. Определяя культурную память как одну из возможных форм коллективной памяти, немецкий культуролог Я. Ассман трактует данное явление через понятие «помнящей культуры» (ср. «память культуры и культура памяти» у Ю. М. Лотмана), понимаемой им как коллективная, групповая память, порождающая коллективную идентичность и имеющая выраженный надындивидуальный характер, социальную традицию и коммуникацию (Assmann 1992). С позиций семиотического подхода культурная память рассматривается как важный механизм хранения и передачи уже существующих, а также выработки новых сообщений (Лотман 1992: 200). Разрабатывая структурно-семиотический метод изучения культуры и литературы, Лотман пришел к важнейшему методологическому выводу: культура и память являются тесно взаимообусловленными и взаимосвязанными феноменами, поскольку пространство культуры может быть определено как пространство общей памяти, в которой тексты хранятся и актуализируются. Историк русской культуры пишет о взаимосвязи культуры и памяти: «...память культуры не следует представлять себе как некоторый склад, в который сложены сообщения, неизменные в своей сущности и всегда равнозначные сами себе. В этом отношении выражение “хранить информацию” может своим метафоризмом вводить в заблуждение. Память не склад информации, а механизм ее регенерирования» (Лотман 2000: 617–618). Лотман утверждает, что человеческое общество и культура развиваются по законам памяти, «при которых прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному кодированию, переходит на хранение, с тем, чтобы при определенных условиях вновь заявить о себе» (Лотман 2000: 615).

Культурная память как особая культурная информация в большинстве случаев является неточной, измененной и искаженной информацией о событиях далекого или сравнительно недалекого прошлого. В отличие от культурной информации, культурная память предполагает объединяющее общество культурное достояние, сохраняемое в долгосрочной памяти большей части определенного культурного сообщества. Культурная память не наследуется индивидуально, а передается в обществе из поколения в поколение посредством культурной, научной и образовательной традиций. У К. Юнга культурная память понимается как родовая

память человечества, которая не относится к воспоминаниям отдельного человека и определяется как «коллективное бессознательное» (Jung 1990). Культурная память как значимое явление культуры выходит за рамки культурного опыта отдельного человека, отражая наиболее значимое прошлое, общее для определенного народа, нации или даже для большинства современного человечества независимо от национальной принадлежности. Культурная память выступает особой символической формой передачи (трансляции) и актуализации культурных смыслов и предполагает не только фактографическое и понятийное восприятие культуры, а ее семантическое и аксиологическое освоение, символическую интерпретацию.

Как популярный объект современных научных исследований культурная память постоянно расширяет сферу своего «присутствия». При этом успешность и достоверность результатов изучения культурной памяти в каждой конкретной области науки зависит от выбора эффективной методологии исследования. В современном научном дискурсе все большую популярность приобретает «археологическая» методология, отраженная в таких научных понятиях как «археология знания» (Foucault 1969), «археология литературной коммуникации» (Assmann 1991) и «археология текста» (Гриликес 1999). В «археологических» исследованиях, предполагающий наличие универсального метода для анализа архивированной информации, текст определяется как традиционная форма и место хранения культурной информации и памяти.

В соответствии с современной общей тенденцией к научной унификации в переводоведении XXI века стали интенсивно использоваться понятия и категории, заимствованные из различных научных областей, что значительно изменило парадигму науки о переводе. Одним из таких «неопонятий» стала культурная память, используемая в предметном поле художественного перевода при рассмотрении некоторых «вечных» переводоведческих проблем. В первую очередь, к таким «вечным» проблемам относится проблема понимания. Так, важнейшую роль в восприятии, понимании и декодировании эстетического замысла художественного текста играет наличие у его автора и читателей общей культурной информации и памяти. Инвариантность культурной информации является результатом принадлежности автора и читателей к одной или родственным лингвокультурам, наличия у них сходного эмоционального, эстетического и, соответственно, культурного опыта. В процессе художественного перевода эстетический смысл оригинала, выступающего объектом перевода,

его культурная информация и память подлежат детальному декодированию переводчиком («суперчитателем»). В свою очередь, читатели перевода декодируют эстетический смысл уже вторичного текста, в котором представлен переосмысленный переводчиком и перекодированный в процессе перевода эстетический смысл оригинала, его культурная информация и память. Таким образом, для художественного перевода первоочередную важность приобретает то, что художественный текст может осуществлять хранение и ретрансляцию эстетической и культурной информации и памяти не только в своей первоначальной, оригинальной форме, но и в своих вторичных формах.

Неоднозначность культурной информации и, прежде всего, культурной памяти (как и бесспорная неоднозначность эстетического типа информации) определяет детально не проявленное и, как следствие этого, неоднозначное содержание текста. Именно неоднозначность лежит в основе регулярной вариативности декодирования информации в процессе понимания и дает возможность неограниченного количества интерпретаций художественного текста при восприятии текста оригинала как «своим» читателем (принадлежащим культуре оригинала), так и при его декодировании переводчиком в процессе перевода. Таким образом, художественный текст является традиционным объектом культуры, который открыт для подражания (генерирования вторичных вариантов) и продолжения в «своей» и в «чужих» лингвокультурах. Свойства информации, обеспечивающие неисчерпаемость художественного оригинала, лежат в основе новой категории современного художественного переводоведения – категории переводной множественности (Чайковский, Лысенкова 2001). Генерируемые в процессе перевода вторичные варианты оригиналов (особенно «сильных» оригиналов) образуют обширные центры переводческой аттракции, которые имеют полевою структуру, формируемую устаревшими (вышедшими из употребления), актуальными в определенный период времени, а также потенциальными переводами вокруг аттрактора-оригинала (Разумовская 2011).

Наряду с проблемой понимания понятие культурной памяти актуально и для такой «вечной» проблемы переводоведения как выделение единицы перевода. Понимание культурной памяти как регулярной единицы художественного перевода неотделимо от культурно-ориентированных стратегий перевода. Рассмотрение культурной информации (памяти) как объекта и, что еще более значимо, как единицы художественного перевода позволяет выделить следующие стратегии: культурное сохранение, культурное толкование, культурную замену и

культурное опущение. С точки зрения используемого переводчиком механизма наиболее очевидной стратегией является культурное опущение, предполагающее создание переводческой лакуны в результате отказа от передачи культурно-значимой единицы оригинала в тексте перевода. Остальные три стратегии имеют в своей основе механизм адаптации, поскольку культурная ориентация художественных текстов диктует необходимость применения стратегий культурной адаптации информации оригинала в переводе. Рассматривая культурную адаптацию в рамках регулярной лингвокультурной дихотомии «свой и чужой», американский переводовед Л. Венути (представитель постколониального переводоведения) выделяет такие основные культурно-ориентированные стратегии как форенизация (сознательное пренебрежение лингвистическими и культурными нормами принимающего языка и культуры) и доместикация (ориентированность текста перевода на систему языка и ценности принимающей культуры) (Venuti 2008).

К очевидным примерам доместикации (одомашнивания) относятся случаи передачи традиционных понятий русской культуры, представленных в «сильном» тексте русской культуры – романе в стихах «Евгений Онегин». Так, в четвертой главе пушкинского текста представлена сценарная ситуация святочных гаданий девушек, подробно описываемая через время, место и предметы ритуала. Ключевым культуронимом сцены является единица «святки», обозначающая двенадцатидневный период после дня Рождества и являющаяся носителем русской (славянской) культурной памяти. Во времена А.С. Пушкина святки длились с 25 декабря по 6 января и представляли праздничный период, в ходе которого совершался ряд обрядов магического свойства, имеющих своей целью повлиять на будущий урожай, плодородие, выяснить будущих супругов незамужних девушек (Лотман 1995: 648).

Как «сильный» текст русской культуры, «Евгений Онегин» и его иноязычные переводы формируют обширный центр переводной аттракции. К началу XXI века в состав центра вошло более сорока полнотекстовых английских переводов, имеющих расхождения в выборе переводческих эквивалентов русского идионима «святки». Так, в переводе Г. Сполдинга, опубликованном в 1881 году (первый полнотекстовый перевод), используется культуроним “Twelfth Night” (Двенадцатая ночь). Данный христианский праздник популярен в Англии, является крещенским вечером в ночь с 5 на 6 января и исчисляется от ночи Рождества Христова. Вслед за Двенадцатой ночью в английской традиции следует День судьбы, события и знаки которого определяют смысл и череду событий в наступающем году. Двенадцатая ночь

завершает Рождественские праздники и считается кануном Богоявления. Поскольку культуроним “Twelfth Night” является идионимом английской культуры, то его использование как переводческого эквивалента идионима русской культуры «святки» полностью соответствует стратегии доместикации, предполагающей культурную замену. Аналогичная стратегия использована и в переводе Ч. Джонстона (1977 год), где «святки» стали Рождеством (“Christmas”). Необходимо отметить, что единицы “Christmas” и “Twelfth Night” обозначают в религиозной и культурной традициях англофонных стран только один день. Тогда как в семантике русского идионима «святки» представлено понятие отрезка времени, охватывающего несколько дней. В. Набоков (дословный перевод с подробным комментарием 1964 года) и С. Митчелл (наиболее популярный сегодня английский перевод 2008 года) использовали в качестве эквивалента идионима «святки» единицу “Yuletide”, обозначающий языческий праздник германцев Йоль (солнцестояние), который традиционно исчислялся по лунному календарю и в христианские времена совмещался с праздником Рождества. Выбор В. Набокова и С. Митчелла можно признать относительно удачным, поскольку в значениях культуронимов оригинала и переводов совмещены языческие и христианские религиозные коннотации, а также представлена идея зимнего народного праздника и сопровождающей его мистической атмосферы. Кроме того, единицы «святки» и “Yuletide” являются номинациями временных периодов, которые не ограничиваются одним днем. В русском оригинале наряду с единицей «святки» представлена единица «крещенские вечера», которая также является носителем русской (славянской) культурной памяти. Единица «крещенские вечера» имеет следующие соответствия в текстах рассматриваемых переводов: “Twelfth Night evenings” (Г. Сполдинг и С. Митчелл), “Twelfthtide eves” (В. В. Набоков). Указанные переводческие соответствия, являющиеся результатом стратегии доместикации, не отражают очевидных отличий двух русских идионимов – «святки» и «крещенские вечера», которые номинируют два различных по продолжительности и следующих в хронологической последовательности временных периода. Ч. Джонстон в переводе в качестве эквивалента единицы «крещенские вечера» использует единицу “festal evenings” (праздничные вечера). Данный эквивалент соответствует приему генерализации, который не позволяет передать точный религиозный смысл единицы оригинала (сохраняет только смысл «праздничный вечер»), но может быть определен как культурное толкование. Таким образом, между единицей «крещенский вечер» и переводческими

соответствиями в ряде английских переводов обнаруживается семантическая и культурная асимметрия.

Как уже отмечалось, стратегия форенизации предлагает сохранение в тексте перевода языковой и культурной маркированности единиц оригинала. Для читателей английских переводов «Мастера и Маргариты», которые не знакомы с топонимикой Москвы 20-х годов, явную трудность для восприятия и понимания представляют транслитерированные топонимы. Так, «Малая Бронная» имеет следующие английские соответствия: “Malaya Bronnaya” и “Malaya Bronnaya Street”. Второй вариант перевода содержит прямое указание на то, что единица является названием улицы. Название другой центральной улицы булгаковской Москвы, в непосредственной близости или в пределах которой происходили многие события московских глав романа «Садовое кольцо» имеет несколько вариантов: “Sadovoye Circle”, “Sadovoye Ring”, “Sadovoye Ring Road” и “Garden Ring Road”. Приведенные варианты обнаруживают различную степень форенизации, сочетаемую в ряде случаев с культурным толкованием (экспликация информации о том, что топоним называет улицу). Как результат стратегии форенизации в английских переводах появились эквиваленты-ксенонимы “Solovki” и “Kislovodsk”. У переводческого дуэта Д. Бургин и К. Тьернан О’Коннор (1993 год) и у Х. Альпина (2008 год) единица “Solovki” объясняется в комментариях. Транслитерацией как приемом соответствующего стратегии форенизации в переводах переданы и антропонимы: «Иван Николаевич Поньрев» – “Ivan Nikolaevich Ponyrev (Ponyrov)”; «Михаил Александрович (Миша)» – “Mikhail Alexandrovich (Misha)”; «Аннушка» – “Annushka”. Специфика русского официального имени собственного также создает у англофонных читателей перевода определенную информационную энтропию.

Уже на первой странице текста появляется антропоним-псевдоним «Бездомный». В булгаковедении представлены различные точки зрения на передачу в переводе данного культуронима. В английских переводах наиболее часто представлены два варианта – семантико-переводной (“Homeless”) и транслитерированный (“Bezdomny”). Единица «Бездомный» играет важную роль в сложном антропологическом коде художественного пространства булгаковского текста не только в силу ее принадлежности к системе русских антропонимов, но и по причине очевидной аллюзивности. Единица «Бездомный» должна вызывать у читателя оригинала определенные ассоциации с писательским сообществом СССР 20-х годов XX века, с известным советским писателем и общественным деятелем Демьяном Бедным. Интересно, что

булгаковский антропоним «Бездомный» является аллюзией не только на реальное имя-псевдоним «Бедный» (идея отсутствия у носителя имени чего-либо), но и на реальную фамилию Демьяна Бедного – Придворов (своеобразной аллюзией наоборот).

К культурно-ориентированной дихотомии стратегий Л. Венути недавно добавилась стратегия остранения (Куницына 2009). Идея остранения как особого художественного приема была впервые сформулирована в начале XX века основателем русского формализма В. Б. Шкловским и предложена для обозначения трансформации обычных явлений в странные (Шкловский 1983). На понятии странности основывается трактовка В. Б. Шкловским остранения не только как художественного приема, но и как универсального закона искусства. Будучи впервые примененном в предметном поле литературоведения, в дальнейшем понятие остранения эффективно использовалось в театроведении (Б. Брехт), киноведении (А. Тарковский) и общей теории искусства (В. Шкловский, Ю. Тынянов).

В лингвистике остранение наиболее часто применяется в компаративистике, в переводоведении и, прежде всего, в его художественной части остранение рассматривается на материале переводов русской классики. Анализ английского перевода поэмы «Мертвые души», выполненного К. Инглишем, и используемой в нем стратегии остранения представлен в исследовании О. А. Нестеренко. Методологически новым стал выбор переводчиком «сильного» гоголевского текста стратегии культурной адаптации информации оригинала, представленной переводом-остранением или переводом-калькой. Данный подход предполагает транслитерацию культурно-ориентированных единиц оригинала, что способствует этнокультурной идентификации безэквивалентной лексики и создается эффект остранения, сигнализирующий читателю о том, что перед ним перевод (Нестеренко 2010). Отдельного внимания заслуживает диссертация, ставшая первым специальным исследованием остранения в российском переводоведении и выполненная с позиций сопоставительной стилистики (Бузаджи 2007). Остранение рассматривается Д. М. Бузаджи как обобщенная семантическая модель, позволяющая подвести под все случаи остранения единое семантическое основание.

Для рассмотрения стратегии остранения по отношению к культурной памяти художественного текста, еще раз обратимся к тексту романа «Мастер и Маргарита». Источником «силы» булгаковского текста, бесспорно, является изобилие и гетерогенность содержащейся в нем «своей» и «чужой» культурной информации и памяти: реальные персоналии и события различных исторических периодов и культур, переплетенные с героями и

событиями Библии. Другой важнейшей особенностью романа является его очевидная тотальная остраненность. Прежде всего, необходимо отметить, что прием остранения регулярно представлен в булгаковском оригинале, что можно наглядно проиллюстрировать «странными» именами «странных» персонажей, существующих в «странных» инфернальном («Воланд», «Бегемот», «Азazelло»), московском («Берлиоз», «Варенуха», «Стравинский») и ветхозаветном («Марк Крысобой», «Низа») временах. Читатель погружается в «странную» мистическую атмосферу романа уже с первых строк повествования. Регулярная комбинация эксплицитных и имплицитных «странностей» в развитии сюжетных линий, смена ожиданий и эффект нарушенного ожидания обеспечивают читателю стойкое ощущение странности и неожиданности, удерживают его интерес к тексту. Роман изобилует сценами, построенными именно на основе приема остранения: появление Воланда на Патриарших прудах, сеанс черной магии в театре Варьете; полет Маргариты; Великий бал у сатаны; финальные сцены романа. Очевидное доминирование приема остранения среди других стилистических приемов в пространстве культового текста трансформирует количественную остраненность в качественную, что позволяет считать булгаковский текст ярким примером остранения как универсального закона искусства, имеющего конечным результатом создание выдающегося объекта искусства.

Особенности булгаковского текста ставят перед переводчиками крайне важную и трудную задачу – воссоздать во вторичных иноязычных вариантах ингерентную остраненность оригинала, что делает текст оригинала перманентным вызовом для его переводчиков.

Предварим наши наблюдения над применением стратегии остранения в переводе «Мастера и Маргариты» рассуждениями О. А. Нестеренко о переводе гоголевских «Мертвых душ»: «...если Инглишу и не всегда удастся передать особенности гоголевского языка, то его безусловной заслугой является воссоздание в переводе феномена языка как объекта изображения, языка, обладающего определенной этнокультурной идентичностью. Инглиш принципиально внимателен к тем фрагментам текста, где Гоголь “остраняется” от языка, фокусируясь не на фиктивной реальности, а на том, какое эта реальность получает языковое воплощение» (Нестеренко 2010: 26). Исследователь отмечает, что остранение не только обеспечивает «русскость» английского перевода, но и позволяет переводчику следовать принципу: «чужое» слово в гоголевском тексте остается «чужим» в переводе. «Следует отметить, однако, что этот эффект, создаваемый при переводе, неожиданно оказывается

конгениальным поэтике оригинала в тех фрагментах, где сам Гоголь моделирует установку на остранение» (Нестеренко 2010: 28). Данные наблюдения в значительной степени справедливы и для английских переводов «Мастера и Маргариты». Здесь важным оказывается понимание природы «чужого» в оригинале и переводе. В культурном пространстве оригинала «чужое» может иметь субъективную и объективную природу. Субъективное «чужое» генерируется в отношении потенциального читателя на основе непонимания или неправильного декодирования информации текста и напрямую связано с проблемой читательского восприятия. Объективное «чужое» обусловлено, по крайней мере, двумя причинами. Первой причиной является наличие в оригинале «чужой» информации, которая диссонирует с языком и культурой оригинала и может вызывать у читателя определенную информационную энтропию. Второй причиной возникновения «чужого» выступает намеренное использование автором текста художественного приема остранения, который может основываться на или комплементарно сочетаться с «чужой» информацией. В данном случае необходимо отметить, что В. Б. Шкловский выделял два типа остранения. Языковым механизмом реализации остранения первого типа выступают метафоризация и эвфемизация. Второй тип реализуется через отказ автора текста от прямого названия явления, через его детальное, но косвенное описание. Таким образом, разница между двумя типами остранения представлена в интенциях художественных текстов, а также в том, что сознательно эксплицируется и имплицитруется автором, что обесценивается и проходит переоценку. В переводе «чужое» может возникать также по ряду причин: (1) появление в переводе единиц, ориентированных на язык и культуру оригинала и созданных на основе стратегии форенизации; (2) сохранение в тексте перевода «третьей» культурной информации, которая представлена в оригинале; (3) воссоздание в переводном тексте приема остранения из текста оригинала; (4) использование переводчиком стратегии остранения для передачи культурно-значимой информации оригинала.

Так, высокой информационной энтропией и, как следствие этого, остраненностью обладает акроним «Массолит». Создав ироническое подобие сложным и труднопроизносимым реальным акронимам Советской России 20-х годов, М. А. Булгаков не дает его расшифровки в тексте романа, что в полной мере соответствует использованию приема остранения. Читателям предоставляется возможность сделать собственную расшифровку странного авторского окказионализма, несущего налет русской культурной памяти описываемого в тексте времени. Данная квазиаббревиатура может иметь различные расшифровки: «Мастерская

социалистической литературы», «Массовая литература». В текстах переводов данная единица перевода выделена заглавными буквами – MASSOLIT. При этом практически во всех английских переводах (за исключением версии Мирры Гинзбург) дается переводческий комментарий трудной для понимания единицы (“Moscow Association of Writers”, “Literature for the Masses”).

Примером единицы с «третьей» культурной информацией выступает антропоним «Герберт Аврилакский», обозначающий средневекового ученого и церковного деятеля, имя которого окутано легендами и магией. Именно его бумаги должен разобрать Воланд, что и стало причиной его приезда в Москву. Антропоним имеет в переводах следующие соответствия: “Herbert d’Aurillac” и “Gerbert of Aurillac”. Оба варианта комментируются. Если в оригинальном тексте имя средневекового мистика представлено только в русскоязычном варианте и его остранимость обусловлена исключительно его референцией, то использование переводчиком французского варианта имени в английском переводе может быть сознательным выбором стратегии остранения, что делает данный вариант более сильным с точки зрения эффекта остранения.

Приемом остранения является использование буквенной надписи на портсигаре Воланда: «B – W». В русском оригинале одновременно использованы буквы кириллического и латинского алфавита и содержится эксплицитное указание на иностранную (странную) природу графического знака – «напечатанное иностранными буквами слово». Появление в кириллическом монографическом тексте инографической буквы W, выделенной кавычками, направлено на создание эффекта остранения, а смешение графических систем усиливает эффект. В монографических английских переводах используются только графическое выделение кавычками и эксплицитные указания “foreign alphabet” и “foreign letters”, что практически элиминирует эффект остранения оригинала и может быть отнесено к разряду культурных опущений.

Рассмотренные выше случаи применения культурно-ориентированных стратегий перевода ни в коей мере не претендуют на окончательное решение «вечных» задач, связанных с преодолением объективных и субъективных трудностей художественного перевода. Несмотря на многовековой опыт художественного перевода и различные теоретические воззрения на природу и механизмы данного вида перевода, каждый случай перевода конкретного текста осуществляется в соответствии с принципом ad hoc. При этом, разработанные теоретические

подходы, а также актуальные общенаучные тенденции (например, тенденция к унификации) позволяют говорить об определенном изменении парадигмы художественного переводоведения. Так, несмотря на преимущественно дескриптивный характер существующей на настоящий момент методологии, необходимо отметить, что культурно-ориентированные стратегии, используемые переводчиками по принципу дополнительности, свидетельствуют о реальных возможностях эффективного стратегического подхода. Другой «новеллой» современного художественного переводоведения является выделение новых объектов и единиц, среди которых важное место принадлежит культурной памяти.

Литература

- ASSMANN, A. (Hrgs), 1991. *Weisheit. Archäologie der Literarischen Kommunikation III*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- ASSMANN, J., 1992. *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. München: C. H. Beck.
- BASSNETT, S., LEFEVERE, A., 1998. *Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Topics in Translation*, 11. Clevedon: Multilingual Matters.
- EVEN-ZOHAR, I., 1978. The position of Translated Literature within the Literary Polysystem. In: *Literature and Translation. New Perspectives in Literary Studies*, 117–127.
- FOUCAULT, M., 1969. *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavistock.
- JUNG, C. G., 1990. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- LEFEVERE, A., 1992. *Translating Literature. Practice and Theory in a Comparative Literature Context*. New York: MLA.
- VENUTI, L., 2008. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge. Taylor and Francis Group.
- БУЗАДЖИ, Д. М., 2007. «Остранение» в аспекте сопоставительной стилистики и его передача в переводе (на материале английского и русского языков). Дис. ... канд. филол. наук. Москва: МГЛУ.
- ВДОВЕНКО, И. В., 2007. *Стратегии культурного перевода*. Санкт-Петербург: РИИИ.

- ГРИЛИХЕС, Л., 1999. *Археология текста. Сравнительный анализ Евангелий от Матфея и Марка в свете семитской реконструкции*. Москва: Изд-во Свято-Владимирского Братства.
- ГРИШАЕВА, Л. И., 1999. Культурная адаптация текста как способ достижения комплексной эквивалентности при переводе. In: *Проблемы культурной адаптации текста*. Москва: Русская словесность, 127–129.
- ИВЛЕВА, А. Ю., 2009. *Культурное пространство художественного текста: от символа предела к символу-образу*. Дис. ... докт. филос. наук. Саранск: МГУ им Н.П. Огарева.
- КУНИЦЫНА, Е. Ю., 2009. *Шекспир – Игра – Перевод*. Иркутск: Изд-во ИГЛУ.
- ЛОТМАН, Ю. М., 1992. Память в культурологическом освещении. In: *Избранные статьи, I*. Таллинн: Александра, 200–202.
- ЛОТМАН, Ю. М., 1995. *Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий*. Санкт-Петербург: Искусство.
- ЛОТМАН, Ю. М., 2000. Память культуры. In: *Семиосфера*. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 614–621.
- МИРОНОВ, В. В., 2011. *Современные трансформации в культуре*. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
- НЕСТЕРЕНКО, О. А., 2010. Адаптация и остранение как переводческие стратегии (на примере перевода поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» К. Инглишем). *Вестник Томского государственного университета*, 338, 26–29.
- РАЗУМОВСКАЯ, В. А., 2011. «Евгений Онегин» как центр переводческой аттракции: к вопросу о неисчерпаемости художественного оригинала. In: *Congreso Internacional “Investigaciones comparadas ruso-españolas: aspectos teóricos y metodológicos”*. Granada. 7–9 de septiembre de 2011. Granada: Jizo Ediciones, 584–589.
- ФЕНЕНКО, Н. А., 2001. Лингвокультурная адаптация текста при переводе: пределы возможного и допустимого. *Вестник Воронежского государственного университета. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация*, 1. 69–74.
- ЧАЙКОВСКИЙ, Р. Р., ЛЫСЕНКОВА, Е. Л., 2001. *Неисчерпаемость оригинала. 100 переводов «Пантеры» Р. М. Рильке на 15 языков*. Магадан: Кордис.
- ШКЛОВСКИЙ, В., 1983. Искусство как прием. In: *О теории прозы*. Москва: Советский писатель, 9–26.

Veronica Razumovskaya

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

CULTURAL MEMORY OF A LITERARY TEXT:
IN SEARCH OF EFFECTIVE TRANSLATION STRATEGY

Summary

The ability of information carriers to preserve the most important part of cultural information is defined in modern scientific discourse as “cultural memory” – a symbolic form of transfer and actualization of cultural meanings, the way of valuable development and time and society interpretation of important cultural objects. The literary text is one of the most traditional forms of the generation and storage of cultural information and memory, performing these actions with cultural information and memory in the original and secondary forms. The history of literary translation demonstrates convincingly that the “strong” text regularly aims for self-reproducibility and self-repetition. The generation of foreign language versions by a literary text leads to the formation of translation attraction centers. The heterogeneous nature and the information ambiguity of the “strong” literary texts of culture determine the complex application of culture-oriented strategies of translation: foreignization, domestication and estranging. The present paper studies the issues of literary text information content in terms of cultural memory on the material of the original “strong” texts of Russian culture (*Eugene Onegin* and *The Master and Margarita*) and their foreign-language translations. Particular attention is paid to the problems of the original cultural memory reconstruction in the foreign-language versions. Being the regular carriers of cultural memory, culturonyms are treated as the units of literary translation.

KEYWORDS: cultural information, cultural memory, “strong” text, translation strategy, translation unit, foreignization, domestication, estranging.

Veronika Razumovskaja

Sibiro federacinis universitetas, Krasnojarskas, Rusija

**KULTŪRINĖ MENINIO TEKSTO ATMINTIS: TINKAMOS VERTIMO STRATEGIJOS
PAIEŠKOS****Santraukos**

Terminas „kultūrinė atmintis“ šiuolaikiniame moksliniame diskurse suprantamas kaip gebėjimas išsaugoti svarbiausią kultūrinės informacijos dalį: perduoti ir aktualizuoti kultūrinės prasmės, išsaugoti ir interpretuoti vertybes. Meninis tekstas – viena tradiciškiausių kultūrinės informacijos generavimo ir išsaugojimo formų. Meninio teksto vertimo istorija įrodo, kad gero meninio teksto vertimas didina susidomėjimą tekstu ir tinkamų vertimo strategijų paieškomis. Pritardamas kompleksinei tekstinės informacijos sampratai, vertėjas turėtų pasitelkti sudėtingas kultūrinės vertimo strategijas: forenizaciją (svetinimą), domestikaciją (savinimą) ir atitolinimą.

Straipsnyje nagrinėjamos vertimo strategijos, pasitelktos verčiant svarbius rusų kultūrai tekstus – kūrinius *Eugenijus Oneginas* ir *Meistras ir Margarita*, aiškinantis jų įtaką išsaugant kultūrinės atminties elementus. Kultūriniai elementai analizuojami kaip grožinio teksto vertimo dalis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūrinė informacija, kultūrinė atmintis, geras tekstas, vertimo strategija, vertimo vienetas, susvetinimas, priartinimas.

Рыгованова Виктория

Киевский университет имени Бориса Гринченка

Ул. Ревуцкого 24/4, г. Киев, Украина

E-mail: v.ryhovanova@kubg.edu.ua

Область научных интересов: когнитивная лингвистика, синергия, теория систем

ФРАКТАЛЫ В ЛИНГВИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

В статье представлен анализ применимости фрактальной теории в современной лингвистике. Созданный как математический термин, употребляемый для изучения поверхности предметов, фрактал широко используется в различных науках. В статье автор подчеркивает, что неоднозначность термина и размытость понимания его квалификационных признаков приводит к разночтению и в частности неприменимости его в лингвистике. Понятие фрактала используется, как правило, неточно – такие термины, как модель или образец подразумеваются вместо фрактала. Следовательно, в статье предложено лингвистическое разъяснение терминов ‘фрактал’, ‘рекурсия’, ‘самоподобие’ и ‘сложность’; рассмотрены причины и условия для синхронизации значений терминов в разных науках. Этот анализ убедительно показывает, что применение фрактальной теории в лингвистике имеет особое значение не только для развития ее мета-языка, но и для понимания природы семиотики языка. На основе предложенного анализа, предполагается, что на смену когнитивно-коммуникативной парадигме придёт синергетическая парадигма, которая представляет синтетическое и целостное мировоззрение; где язык выступает как ‘мир внутри миров’, что и является фрактальным паттерном в математической теории Б. Мандельброта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *фрактал, рекурсия, сложность, семиотика, лингвистика.*

Предложенный к рассмотрению в статье термин не относится к собственно терминосистеме лингвистики, однако стал часто использоваться филологами в последнее время: *фрактальность в языке, фрактальная метафора, фрактальность дискурса, фрактальная интерпретация и т. д.* Такая ситуация вполне объяснима принципом экспансионизма современной лингвистической парадигмы наряду с такими ее принципиальными установками как: антропоцентризм, функционализм / неофункционализм и экспланаторность.

«Экспансионизм лингвистики обнаруживается, на наш взгляд, в почти повсеместном признании того факта, что для адекватного познания языка необходимы выходы не только в разные области гуманитарного знания, но и в разные сферы естественных наук» (Кубрякова 1995: 210). Проявления экспансионизма мы усматриваем и в возникновении новых "сдвоенных" наук (ср. психолингвистику и социолингвистику, социо- и психосемантику, семантику синтаксиса и пр.), и в упрочении связей лингвистики с философией и логикой, в возникновении новых дисциплин (ср. инженерную и компьютерную лингвистику), в формировании новых областей знания внутри самой лингвистики. Нельзя, наконец, не отметить расширение объектов исследования и внутри уже сложившихся "уровневых" лингвистических дисциплин (Кубрякова 1995: 212). Все это вместе, действительно, напоминает некую "расширяющуюся вселенную", исследование каждого звена которой усложняется и претерпевает значительные изменения именно в сторону их расширения.

Стремление к осмыслению сути языка, его роли в жизни человека, пониманию процессов речепорождения и речевосприятия вынуждали филологов к поиску новых терминов и методов исследования. Однако если раньше гносемы формировались на стыке смежных наук (языкознание и психология, языкознание и антропология, языкознание и социология), то в нынешней ситуации методы и термины заимствованы из несовместимых наук (языкознание и математика, физика, кибернетика). Такое положение дел часто критикуется сторонниками чистой лингвистики, поскольку в ситуации значительного расширения вопросов лингвистики, последняя может превратиться в науку обо всем.

Целью статьи является анализ понятия фрактал, заимствованного из математики, и выделение сфер его практической применимости в лингвистике.

Освоение понятия фрактала связывает лингвистику с математикой и программированием.

Объектом интенсивного изучения фрактал стал в 1975 г., когда математик Бенуа Б. Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot) ввел в научный обиход термин фрактал. С тех пор данное понятие захватило воображение ученых, работающих во многих областях науки. Как оказалось, в природе почти не существует прямых Эвклидовых линий. По словам Б. Мандельброта, лишь художники всегда это понимали, а французский живописец Эжен Делакруа однажды заметил: «Человек все идеализирует. Прямая линия – его изобретение, в природе прямых нет» (Морозкина *et al.* 2015: 969). М. Р. Шредер (M. R. Schroeder) замечает: «Выяснилось, что все эти годы мы жили с фрактальными артериями неподалеку от фрактальных речных систем,

собирающих влагу со склонов фрактальных гор под фрактальными облаками и катящих свои воды к фрактальным берегам морей и океанов» (Шредер 2001:18). Таким образом, на протяжении всей истории человечества фрактал составлял важную основу не только математических наук, содержащих многообразные расчеты, но и таких наук, как география, экономика, психология, лингвистика.

Тысячелетиями математики не могли справиться с многообразными формами, которыми изобилует природа. Не было точного слова для названия форм, например, водорослей. Греки называли бесконечные сложные фигуры "apeiron", что означало «бесформенный». Б. Мандельброт приводит список эпитетов фрактальных объектов: ветвистый, водорослеобразный, волнистый, извилистый, клочковатый, промежуточный, сморщенный, спутанный, странный, шероховатый. Гладкие, «вылизанные» объекты – скорее плод нашего восприятия, артефакты, нежели результат репрезентации природы. Своим восприятием мы можем породить два абсолютно гладких, тождественных объекта, а природа – нет. Б. Мандельброт в своих исследованиях был вдохновлен работой английского метеоролога Льюиса Фрая Ричардсона (Lewis Fry Richardson), заметившего, что восприятие длины береговой линии западного побережья Великобритании существенно зависит от масштаба, и эту линию нельзя точно измерить. Б. Мандельброт определил степень криволинейности этой линии и полученное число назвал фрактальной размерностью. Соответственно термин «фрактал» был создан Б. Мандельбротом для обозначения фигур с «ломаным» измерением, т.е. фигур, которые нельзя описать целой величиной. Такие фигуры связаны с фрагментированными измерениями. Специалисты из области математики дают разные определения фрактала, что связано с весьма большими различиями объектов, относимых к этому классу. Б. Мандельброт в своей фундаментальной работе «Фрактальная геометрия природы» ("The Fractal Geometry of Nature", 1977) отмечает, что при изучении фракталов было бы лучше вовсе обойтись без точного определения. Объясняется это тем, что такое определение может помешать исследованию и описанию еще не изученных фрактальных размерностей (Mandelbrot 1983: 528). Тем не менее, Б. Мандельброт делает попытку сформулировать следующее определение фракталов: это объекты, которые мы называем неправильными, шероховатыми, пористыми или раздробленными, причем указанными свойствами фракталы обладают в одинаковой степени в любом масштабе. Форма этих объектов не изменяется от того, рассматриваем мы их вблизи или издалека. Термин фрактал образован от латинского причастия fractus. Соответствующий глагол

frangere переводится как ломать, разламывать, т.е. создавать фрагменты неправильной формы. В последующих работах Б. Мандельброт систематизирует свое определение фрактала: фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Связующей нитью, определяющей понятие фрактала, стала идея о том, что некоторые феномены нашего мира имеют одинаковую структуру при рассмотрении каждой части отдельно или всего явления в целом, т.е. в любом масштабе. Таким образом, каждый малый участок фрактала представляет собой ключ к целой конструкции. Данный «принцип масштабирования» (principle of scaling) проявляется и при слиянии элементов, далеких друг от друга по внешнему виду. Свойство самоподобия, или масштабирования, является одним из центральных во фрактальной геометрии. Б. Мандельброт вывел закон самоподобия для описания тех форм, которые Эвклидова геометрия игнорировала. Немецкий физик М. Р. Шредер утверждает, что самоподобие, лежащее в основе фракталов, присуще многим законам природы и бесчисленным явлениям в окружающем нас мире. В сущности, самоподобие – одна из очевидных симметрий, формирующая как нашу Вселенную, так и наши попытки постичь ее (Шреyder 2001: 8). Кроме самоподобия, фракталы обладают также свойством нерегулярности (неправильности) и фрактальной размерностью.

Стоит отметить, что понятие фрактала вошло в активное употребление практически во всех науках: медицине, биологии, экономике, социологии, когнитивистике, нейронауках. Причем научное сообщество в аспекте использования фрактала и фрактального анализа, по наблюдению Герберта Желинека (Herbert F. Jelinek), можно разделить на три группы: 1) те, кто уже хорошо знаком с термином и солидной теоретической базой в понимании фрактала и скалярной теории (эксперты); 2) те, кто обладает солидными знаниями в других областях науки и хорошо понимают принципы математики и физики; 3) те, кто формирует инструменты для понимания фрактального анализа и делает его максимально понятным (Jelinek 2008). Именно отсутствие ясности в интерпретации термина среди представителей первой группы, приводит к отсутствию фрактальной грамотности (fractal literacy) среди остальных и сложностям в коммуникации по этой теме.

Итак, не рассматривая все математические доказательства идей Б. Мандельброта, можно выделить некоторые свойства фрактала-фигуры: 1) нетривиальная структура (шероховатость – roughness) во всех масштабах (увеличение масштаба фигуры не ведет к ее упрощению, поскольку на всех уровнях масштабирования мы видим сложную структуру); 2) самоподобие

(self-similarity); 3) метрическая размерность (characteristic length); 4) рекурсивность; 5) системная сложность (complexity).

Г. Парейон (G. Pareyon) так описывает фрактальные характеристики языка:

1. Структурное самоподобие: основные структурные (например, приставка-корень-суффикс) и синтагматические (подлежащее-сказуемое-дополнение) модели повторяются во всех языках. То же относится к системам падежей, спряжений, склонений.

2. Неровная поверхность: если представить язык как набор связанных элементов, то в конечной форме целого будет наблюдаться структурирование форм по случайному принципу. В большей степени это относится к интенциональной и прагматической сторонам языка.

3. Фрактальная размерность: так как каждая лингвистическая система имеет неправильную, непрерывную поверхность, существует особая размерность для каждой системы, которая должна определяться с учетом различных структурных параметров языкового объекта. Поскольку языковой материал динамичен, весьма вероятно, что фрактальная размерность языков постоянно меняется.

4. Скалярная относительность: языки устроены таким образом, что каждый уровень оказывается сложнее предыдущего. Так, знаки проецируются в фонемы, фонемы в слова, слова в предложения, предложения в речь, речь в системы культур, что объясняет циклическое устройство языков.

5. Формальная последовательность: цепочки слов, которые могут быть непоследовательными в своей совокупности, связаны благодаря грамматическим и прагматическим отношениям (Pareyon 2007: 2).

Часто фрактальность определяется через самоподобие и рекурсии. Самоподобие – масштабная инвариантность (принцип матрешки, рекурсивные сказки «Репка», «Колобок»). Обобщая можно дать следующие определения. Фрактал – это такая часть целого, которая структурно подобна каждой другой части и всему целому. Фрактальность – это рекуррентно-итерационный алгоритм, благодаря которому образуется особое фрактальное множество – множество самоподобных структур.

Рекурсии в лингвистике посвящено немало работ. В 2009 году в США при участии Наума Хомского (Noam Chomsky) была проведена специальная конференция, посвященная рекурсии в языке и познании (Recursion: Structural Complexity in Language and Cognition). Рекурсии в последнее время придается чрезвычайно большое значение: полагают, что отличие

человека от животных состоит в его способности к рекурсии (Кретов 2009: 3). В генеративной лингвистике рекурсия трактуется преимущественно как «гнездование» синтаксических структур, наблюдаемое при порождении сложных предложений.

Анализ современных работ по лингвистике, в которых авторы обращаются к понятиям фрактал или фрактальность, фрактальный анализ дает возможность определить такие сферы применимости вышеуказанных терминов: семиотика, дискурсология, метафористика. Также есть работы, в которых исследователи проводят систематизацию языкового материала с целью представить систему языковых знаков в виде фрактала-формы или фрактала-фигуры. Рассмотрим основные результаты лингвоосмысления фрактала в выделенных сферах.

В. В. Тарасенко в книге «Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания» с первых страниц предупреждает читателя, что не претендует на облегченное толкование сложных терминов, что «книга – авантюра и провокация, разворачивающаяся в форме постепенного понимания концепта под названием «фрактальная семиотика»» (Тарасенко 2009: 7). В своем стремлении осмыслить предложенный термин автор предлагает такое видение фрактала – «великолепная схема, которая объясняет динамическую рекурсию взаимосопрежения, непрерывной когнитивной и лингвистической трансформации организма и среды» (Тарасенко 2009: 11). Отметим, что фрактальность мышления и анализа языка представлена в работах Ю. С. Степанова, который, по мнению В. В. Тарасенко, является первооткрывателем «фрактальной парадигмы» в семиотике, в концепциях сериального мышления, культурно-семиотических рядов (Степанов 1998: 115–117). Продолжая поиски определений, автор не раз подчеркивает иллюзорность понимания фрактала, как в математике, так и в лингвистике, а все результаты таких усилий квалифицирует как показатель определенного типа научной рациональности, ориентированные не только на доказательство и опровержения, но и на образно-метафорические ассоциации. «Фрактальная семиотика, бесспорно, не рассматривает знаки как некое подобие предметов и смыслов. Знаки не лежат готовыми в неких «мешках» нашего сознания в виде «информации». Знаки не являются структурно и жестко закрепленными за понятиями и предметами с целями описания внешнего мира» (Тарасенко 2009: 61) и далее «Говоря о фрактальном переосмыслении знака, прежде всего необходимо указать на процессуальность. Представление знака как процесса необходимо влечет анализ биологических процессов, в которых знак функционирует. Знак предстает как «фильтр»

биологической системы, а с другой стороны – как результат распознавания организмом себя и внешнего окружения» (Тарасенко 2009: 97).

Для описания семиотического процесса в языке В. В. Тарасенко вводит категорию «фрактального движения» или «хаотического блуждания». «Практики познания – это практики блуждания, перескоков между различными возможностями, практики комбинаций, подборов новых возможностей» (Тарасенко 2009: 116). Атрибут «фрактальность» в данном случае призван описывать нелинейный, хаотический характер и форму познавательного движения. В. В. Тарасенко выделяет два типа фрактальных блужданий в языке. Первый тип – это блуждание по уже предначертанным языком возможностям; «блуждание, подразумевающее выход на уже сформированные, внешние понятия» (Тарасенко 2009: 131). Этот тип отражает использование языка в обыденном общении, когда познающий имеет дело с заданным репертуаром знаков. Второй тип – это «творческое блуждание по становящимся, незавершенным, формирующимся возможностям» (Тарасенко 2009: 138). В этом случае познающий – полновластный творец языка, изобретатель знаков. Данный тип блуждания описывает ситуацию художественного акта, творческого семиозиса. Переосмысливая понятия коммуникации, структуру знака Г. Фреге, семиозис, референцию, роль наблюдателя; нащупывая объект анализа между семиотикой и биологией; определяя структуры фрактальной организации знаков, В. В. Тарасенко приходит к выводу, что фрактал – это процесс, это динамика. Причем, динамика скорее лингвистическая, чем перцептивно-образная.

Именно динамичность взаимодействия знаковых систем и процессуальность смысловых отношений обеспечивает связь категории интертекстуальности с фрактальным движением. В рамках дискурсивного подхода фрактал, по определению Н. Н. Белозеровой, представляет собой «модель вечноразвивающейся сущности, основанной на образовании самоподобных структур из каждой точки развития» (цит по Олизько 2009: 55). Прежде всего, необходимо отметить одновременную сложность и динамичность фрактальных построений, обусловленные принадлежностью фрактала к синергетическим системам, где причинно-следственные отношения непропорциональны, для них характерны как определенность, так и случайность.

Открытые системы, к каким относится художественный дискурс, постоянно флуктуируют, и в некоторый критический момент времени, называемый точкой бифуркации, комбинация флуктуаций в виде многообразных внутри- и межтекстовых отношений может привести к рождению новых структур. Так совершается переход на новый уровень смысловых

отношений. Необходимо подчеркнуть, что процесс формирования в открытом и нелинейном дискурсе интертекстуальных структур, строящихся по принципу фрактального подобия, трактуется как самоорганизация. Именно самоорганизация как динамическое явление, а не статичная организация художественного объекта, может выступать основой изучения своеобразия художественного дискурса. Термин «самоорганизация» предполагает ряд вариантов-синонимов, указывающих на конкретные аспекты этого явления: самосозидание (начальные условия системы определяются характером самой системы или обстоятельствами ее возникновения); самоконфигурация (система сама определяет расположение своих составных частей); саморегуляция (система контролирует направленность своих внутренних преобразований); самоуправление (система контролирует направленность своей внешней деятельности); самоподдерживание (система поддерживает свое функционирование и свою форму); само(вос)производство (система воспроизводит сама себя или производит другие системы, идентичные ей); самоотнесенность (значимость системы определяется только в отнесении к себе самой) (Олизько 2009: 76–77). В отношении художественного дискурса самоорганизация характеризует установление интертекстуальных связей по принципу фрактального подобия, приводящего в действие механизмы внутри- и межтекстового взаимодействия и обеспечивающего самоподобную связь частей одного текста друг с другом, отдельного текста с другими текстами этого же автора и с прецедентными феноменами.

Методологическая значимость понятия фрактальности в применении к художественному дискурсу состоит в способности представить динамический сценарий становления целостности последнего (Олизько 2009: 87).

Графические модели проблемы текста и смысла воплощены в «цветке Лотмана» (В. А. Копцик) и «розе Лотмана» (В. А. Волошинов) – фрактальных фигурах, каждый из лепестков которых отражает бесконечное число самоподобных прочтений произведения. Текст как составляющий элемент дискурса тоже фрактален, во-первых, в силу того, что смысл составляющих его высказываний может включать в себя смысл всего текста, обобщать или заключать в себе схему будущего развития сюжета. Во-вторых, фрагменты ранее созданных текстов (прецедентные феномены), включенные в принимающий текст, не только воспроизводят точную формулировку, напоминают уже имеющийся образ или вызывают соответствующие ассоциации, но и устанавливают иконическое соотношение производимого текста с предшествующим. При этом смысл интертекста, входящего в интердискурсивное

пространство семиосферы, представляет собой не конечный фрагмент, а самоподобный бесконечный ряд вложенных друг в друга смыслов-прочтений, актуализирующих процесс самоорганизации художественного произведения.

Фрактальный анализ художественного дискурса предполагает как смысловой (повторяющееся повествование о предметах, явлениях или людях, находящихся в отношении сходства-подобия), так и структурный (тексты, тождественные самим себе на любом этапе итерации, тексты с вариациями, тексты с наращиваниями, «тексты-в-текстах» и тому подобное) уровни интерпретации.

Динамика взаимодействия языка, мышления и культуры порождает осмысление метафоры как фрактала. Ментальная сущность метафоры проявляется в том, что она предстает как средство мышления, способ категоризации и концептуализации объектов действительности. В этом случае речь идет не о языковой метафоре, а о концептуальной метафоре (Дж. Лакофф и др.) или нетрадиционной метафоре (С. Хахалова), которая способствует осмыслению и переживанию одних явлений в терминах других. Фрактальная парадигма в лингвистических исследованиях дает возможность представить множество точек зрения и подходов к феномену метафоры частями одного единства, связав в один узел семантические, семиотические и когнитивные характеристики метафорического творчества человека. Следствием такого сжатия информации становится создание возможной модели фрактального построения метафоры, в которой обнаруживается ее дискретный характер и нелинейная природа. Существует предположение, что такая модель служит одним из способов исчисления концептов. По мнению С. Н. Хахаловой, метафора относится к объектам с необычной семантикой, дробной размерностью и самоподобием во всех возможных пространственных масштабах. Модель фрактального дерева применительно к метафоре имеет вершину (коей является метафора), от нее отходят ветви (ребра), на которых располагаются фрактальные узлы (точки) с фрактальными координатами (основные признаковые характеристики метафоры). Любой узел можно представить в развернутом виде как «конфигурацию фрактальных точек» (языковой знак представляет собой конфигурацию метафор-слов: имен существительных, глаголов, имен прилагательных, наречий, предлогов, местоимений и т. д.). А модель фрактального метафорического дерева позволяет трактовать метафору как модель мира, в которой отображается вся сумма представлений о нем внутри данной культурной традиции, взятой в системном и операциональном аспектах и утверждать, что она как принадлежность языка тесно

переплетена «с духовным человечества» (В. Гумбольдт) и отражает каждую стадию культуры на каждой ступени его локального прогресса или регресса (Хахалова 2007: 188). Разноуровневая вложенность, сложность, структурное подобие характеризующее метафору связывает ее с пониманием фрактала и дает возможность исследователям выделять фрактальные метафоры ЖИЗНЬ КАК ТЕАТР или LIFE IS A STORY (Bystrov 2014).

Если рассмотренные попытки освоения понятия фрактала касались его внутреннего понимания, установление фрактальных сущностей во взаимном функционировании сложных систем языка, мышления и культуры, то следующую находку можно отнести к попытке визуализировать фрактал. Такое лингвопонимание фрактала вполне имеет право на существование, поскольку восприятие фрактала как формы определенной размерности тоже предлагается во фрактальной геометрии.

Так поставив цель показать сходство в порождении на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях таких единиц языка, как слог, слово и простое предложение. А. А. Кретов (2009) обнаруживает, что слог, слово, простое предложение порождается равносторонним прямоугольником, вершины которого ориентированы по вертикали и горизонтали (фигура – ромб). Лингвистический фрактал, лежащий в основании механизма порождения слога, слова, простого предложения одновременно является фракталом графа, известного математикам под названием «треугольник Паскаля». Достаточно понимать особенности треугольника Паскаля, чтобы прогнозировать модели формирования / развертывания структуры слова, слова или простого предложения в языке.

Подводя итог вышеизложенному отметим следующее: 1) введенное в математике понятие фрактала Бенуа Мандельбротом создало дискурсивную платформу для осмысления давно изученных и осмысленных, казалось бы очевидных понятий, дало возможность посмотреть на известные вещи с неожиданной стороны; 2) выделенные характеристики фрактала (размерность, самоподобие, рекурсивность, сложность) становятся релевантными для лингвистики в рамках синергетической парадигмы и рассмотрения взаимодействия системы языка, мышления и культуры; 3) понятие фрактал входит в метаязык лингвистики через осмысление семиотики, интертекстуальности и интердискурсивности, метафоричности.

Литература

- BYSTROV, Y., 2014. Fractal metaphor LIFE IS A STORY in biographical narrative. *Topics in Linguistics*, vol. 14, no. 1, 1–8.
- CORBALLIS, M. C., 2011. *The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization*. Oxford: Princeton University Press.
- JELINEK, H. F., JONES, C. L., WARFEL, M. D., 2006. Understanding Fractal Analysis? The Case of Fractal Linguistics. *Complexus Modelling in Systems Biology, Social, Cognitive and Information Sciences Complex Systems European Conference*, vol. 3, no.1–3, 1–18.
- MANDELBROT, B., 1983. *The fractal geometry of nature*. New York: W. H. Freeman and Company.
- PAREYON, G., 2007. *Fractal theory and language: the form of macrolinguistics*. Available from: <http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/BA2007/sym79.pdf> (15.02.2016).
- ДОМБРОВАН, Т. И., 2013. Фрактальность как фундаментальное свойство языковой материи. *Записки з романо-германської філології*, 1 (30), 57–69.
- КРЕТОВ, А. А., 2009. *Фрактальность в русском языке*. Available from: www.tipl-vrn.ru [06.02.2016].
- КУБРЯКОВА, Е. С., 1995. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа). In: Е. С. Кубрякова. *Язык и наука конца XX века*. Москва, 144–238.
- ЛОДАТКО, Е. А., 2004. Рекурсивные лингвистические структуры. *Теоретические и прикладные проблемы русской филологии*, XII, 86–95.
- МОРОЗКИНА, Е. А., САФИНА, З. М., 2015. Фрактальная структура художественного текста (на материале романа Френсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна»). *Вестник Башкирского университета*, 20, 3, 969–973.
- ОЛИЗЬКО, Н. С., 2009. *Интердискурсивность постмодернистского письма (на материале творчества Дж. Барта)*. Челябинск: Челябинский государственный университет.
- ПЛОТНИКОВА, С. Н., 2011. Фрактальность дискурса как новое лингвистическое понятие. *Вестник Иркутского государственного лингвистического университета*, 3 (15), 126–134.
- СТЕПАНОВ, Ю. С. 1998. *Язык и метод. К современной философии языка*. Москва: Языки русской культуры.
- ТАРАСЕНКО, В. В., 2009. *Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания*. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

ХАХАЛОВА, С. А., 2007. Метафора как стимул к восприятию мира: модель фрактального дерева. In: С. А. Хахалова. *Язык и межкультурная компетенция: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции*. Петрозаводск, 81–84.

ХАХАЛОВА, С. А., 2013. Метафорология: фрактальная парадигма. *Вестник Иркутского государственного лингвистического университета*, 2 (23), 79–85.

ШРЕДЕР, М., 2001. *Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая*. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика».

Viktoriiia Ryhovanva

Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

FRACTALS IN LINGUISTICS: THEORETICAL AND PRACTICAL APPLICABILITY

Summary

The paper presents the analysis of fractal theory implementation in modern linguistics. Created as a mathematical term employed to examine the surface of objects, the fractal is widely used in different sciences. It is stated in the paper that the vagueness of the term and the interpretation of its attributes lead to its misconception and its inapplicability in linguistics in particular. It is also asserted that the concept of fractal is usually used inaccurately – such terms as *model* or *pattern* are implied instead of *fractal*. Consequently, the linguistic clarification of the terms *fractal*, *recursion*, *self-similarity* and *complexity* is suggested; the reasons and conditions for the synchronization of the meanings of the terms in different sciences are examined. This analysis shows convincingly that the applicability of fractal theory for linguistics has further significance not only for the development of linguistics meta-language but for the understanding of the nature of semiotic language. Based on these findings, it is assumed that synergetic paradigm will succeed the cognitive-communicative one as it highlights the synthetic and holistic worldview; it represents the language as the ‘worlds within worlds’ that is the fractal pattern itself as B. Mandelbrot has it in his mathematical theory.

KEYWORDS: fractal, recursion, complexity, semiotics, linguistics.

Viktorija Rygovanova

Boriso Grinčenko vardo Kijevo universitetas, Ukraina

FRAKTALAI LINGVISTIKOJE: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PRIELAIDOS**Santrauka**

Straipsnyje analizuojama fraktalų teorijos pritaikymo galimybė šiuolaikinėje lingvistikoje. Atsiradęs matematikoje, terminas *fraktalas* šiuo metu plačiai vartojamas įvairiose mokslo srityse. Dėl termino neapibrėžtumo ir klaidingo interpretavimo šiuo metu jis nėra vartojamas lingvistikoje. Straipsnyje siūlomas termino apibrėžimas, kuris tinka ir lingvistikai kaip mokslo šakai. Tekste taip pat aptariamos tarpdisciplininių tyrimų galimybės. Tyrimas parodė, kad fraktalų teoriją galima pritaikyti lingvistikoje, ypač plėtojant metakalbą bei vykdant semiotinius kalbos tyrimus. Apibendrinant galima teigti, kad sinergetinė paradigma taps svarbesnė už kognityvinę-komunikacinę paradigmą, nes ji yra bendresnio pobūdžio: tiria kalbą kaip „pasaulį tarp pasaulių“ – tai atitinka fraktalų teorijos principus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fraktalas, kompleksiskumas, semiotika, lingvistika, rekursija.

Rusudan Saginadze

Department of the Georgian Language in Akaki Tseretely State University

Georgia, Kutaisi, Zviad Gamsakhurdia St. 32/40

E-mail: r_saginadze@yahoo.com

Research interests: Philology, Linguistics

Tamari Ninidze

Department of Georgian Philology in Akaki Tseretely State University

Georgia, Kutaisi, Zviad Gamsakhurdia St. 6/27

E-mail: tamar.ninidze@gmail.com

Research interests: Philology, Linguistics

EUPHEMISTIC PHRASEOLOGY IN THE GEORGIAN LANGUAGE

Our report deals with some interesting groups of euphemistic phraseological units that exist in the Georgian language. They are set phrases that are used: a) to express respect towards the listener, for example: You are Sir, which means the same as You are right; b) to give negative or bad news: I have turned my mouth towards a stone which is used when we hear or tell someone some bad news and we do not want the same to happen to us or to them; c) to indicate an uncomfortable physical state: he is going to catch fish tonight is used to say that this night a baby is expected to wet itself unexpectedly, unintentionally; d) to avoid insulting words: did not let someone's mother and father lie in peace in the grave means to scold or to curse; e) to present the fact of death: died, his days are gone / his day darkened /, he bowed his head/ turned his face to the other world mean to breathe one's last gasp; to have one foot in the grave; to cut/to slip one's cable; f) to talk about someone's social condition: the bear has not eaten anything of mine is used when someone is poor g) to name a health condition: to hold the soul with teeth means "on the verge of the grave", "in one's last days". Georgian reflects the people's culture and ancient traditions, which is proved by the quantity and diversity of euphemistic phraseological units.

KEY WORDS: *euphemism, phraseology, Georgian language, phraseologism.*

Aims and research methodology

The subject of phraseology in the Georgian language has been studied in various aspects by many scholars. There are a lot of important and interesting works; also, the scientific literature in this field is quite rich and varied, but the separate group known as *euphemistic phraseologisms* have not been the subject of the study yet. At the same time, the terms *phraseological euphemisms* and *phraseologism-euphemism* exist. We doubt whether there is any essential difference in content between these terms, but as we focus on euphemistic function of phraseologisms we use the term *euphemistic phraseologism*.

The aim of our research is to identify the features of euphemistic phraseologisms based on colloquial speech and dictionary materials in the Georgian language, to present them as semantic groups as well as to show the ways of their formation and motivation by considering their cultural distribution.

The research is based on the methodology developed in scientific practice. Material collection, observation and analysis methods are used.

Review of problem-related scientific literature

In the existing works and dictionaries in Georgian scientific reality there is no exact opinion about the fact that some phraseological linguistic units are used to avoid negative emotions or are euphemistic. Moreover, consideration of such phraseological units as a separate group in the Georgian language has not yet been discussed by scientists. Semantic groups have not been separated and studied as well. The work “Phraseological units (phraseologisms) denoting person’s physical and mental conditions in Georgian and English languages” (K. Gochitashvili) is an exception. It gives information about the euphemistic function of phraseological units expressing person’s physical and mental conditions and includes their classification and contrastive analysis.

It should be noted, that the situation in foreign scientific reality is absolutely different. There are works about euphemistic phraseology in Russian and English scientific literature. For instance, L. N. Vavilova in her work “About the Question of Euphemisation in Modern Russian Speech” distinguishes euphemistic phraseological units. T. A. Kovalyeva classifies and analyzes English euphemistic phraseological units (“Phraseological Euphemisms in Modern English Language”).

Research results

The frequency of euphemistic discourse studied in our analysis and the variety of euphemistic phraseological units refer to the high level of the development of society and culture. The study of the relationship of language and culture will never be perfect without phraseologic data because linguistic and cultural characteristics are reflected in the data. According to Kovalyeva, 'the study of phraseological euphemisms appears to be prospective direction of linguistic research. Data collected on the basis of the material from different languages enable to view socially significant linguistic picture of the world, give the information about the culture and social values of different linguistic communities' (Kovalyeva, 2008). Therefore, the study of Georgian phraseological units has great importance in terms of linguacultural point of view.

Speech act often implies ethical issues to spare the listener from unpleasant emotions. Euphemizing the discourse is aimed at such protection. Avoidance of an offensive, indecent or alarming way of expression has been a necessity since the distant past, and this is reflected in the formation of various euphemistic language means. Euphemistic function has been given to words and set patterns; among them there is phraseology and various figures of speech.

Euphemistic phraseology reveals cultural existence, mindset and character of a given nation or an ethnicity. To this end, phraseological units of euphemistic connotations in the Georgian language, like in any language, present a matter of linguistic interest; as long as these units preserve cultural memory, verbalized worldview, beliefs, rites, images, and social interactions, they feature human relations towards versatile objects or phenomena since the time immemorial.

The structure and formation principles of phraseology are intrinsically similar through languages. There are still some special ways of their emergence. In Georgian, these may be references to the historical reality, to the Bible and mythology, and to fiction or metaphoric realization of meanings of any free type of phrases, etc. (Takaishvili 1961: 123)

According to the scientific literature, rendering the biblical texts into Georgian, evidently, should have begun in the turn of the new era. However, actual manuscripts hitherto preserved are dated the 5th and 6th centuries. The Georgian language has phrases borrowed from the biblical plots among them are the euphemistic ones as well.

For instance, **Eve's descendants**, means evil, seductive, unreliable, cruel human-beings (mostly females) – referring to Eve, a biblical personage (Sakhokia 1979: 167); *Abraham* occurs in the *phrase*

Gone into the bourn of Abraham meaning “to die,” “to reach the final destination” as Abraham’s domain is related to “the place of bliss”, to passing away (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 528).

We single out certain semantic groups of the euphemistic phraseology in the Georgian language. These are stable phrases used in different situations of communication, namely, the ones applied as a sign of respect to the listener, while talking about unpleasant things or happenings, or restraining from the use of offensive language when there is a need to express awkward physical conditions, give a fact of someone’s death, or speak of someone’s social or health conditions. Some illustrative material is provided below to the above-mentioned semantics.

The relation to the listener is signified in two ways:

a) Phrases conveying respect: *You sit to rule the realm! You are (my) lord!* implying “I obey you, you are telling the truth”. The given phrase(s) come down from the feudal period, when there were lords and serfs, and the latter were obliged to accept everything that was told by the lord (Sakhokia 1979: 47). After the abolition of serfdom the expressions turned into the patterns of polite address, as a sign of reverence (Sakhokia 1979: 756). The same meaning had been ascribed to the phrase *You are (my) Sir!* And it was included within the clause structure when a younger speaker conversed with an older one, or a low rank individual with a person of a higher social rank. With this the speaker confirmed his/her subordinate status in relation to the one she/he ventured to interact with. In modern Georgian, however, the phrase is just a sentence filler.

b) While talking about negative things or happenings in order to avoid a poor or unpleasant impact the speaker uses the phrase *I have turned my mouth towards a stone* in a sense that the stone is the one that is to bear the brunt of the unpleasant story. The expressions: *you be protected by the cross, let him / her / it be protected by the cross* have the similar function.

The same semantics is conveyed by the set expressions related to the belief in god: *May the God command it; May it be the god’s will; May the Lord hear it with kind intention!* (literally); *May the Lord hear it with the kind ear!; May the Lord protect you/him/them/us!; God should never let it happen!* The latter is said when a person is exposed to a certain impending danger (Sakhokia 1979: 707–708).

Sugar to your mouth, or honey and sugar to your mouth is said when someone declares a hopeful turn of negative anticipations, an optimistic prospect or getting over unpleasant expectations. (Oniani 1966: 168).

Due to the grave historical fate of Georgia as a country under almost permanent invasions the collective consciousness has coined the image of an adversary, which has been verbalized in a number of expressions the stable component of which is *enemy*. For instance, *let my enemy have it*, implying “let the fate evade me”, “let the evil miss me”, or “let the fate spare me from the temptation” (Sakhokia 1979: 781). *May it be given to your enemy!* – evidently the “misfortune” (Sakhokia 1979: 754); *May your enemy experience it*, literally, “may your enemy find it”! When they speak about something horrifying, grave happenings or death (Sakhokia 1979: 282). Tolerant nature of the people is reflected in the phrases containing the same component, *I would not wish it even to the enemy!* – when the misfortune is too much to bear.

Phrases with the stable component *hand*: *have the hand smeared in blood*, *have someone's blood on one's hand*, meaning “one has committed the murder”. *Put the hand on*, meaning “one blamed someone in wrong-doing so that the latter (the culprit) would not get away with it”. *Puts the hand* – “declares someone a culprit”. This phrase has two more different meanings, namely “to get engaged with a woman for wedlock” and “to treat a patient with medicine”.

The phraseology denoting physical conditions are the following: *he is going to catch fish tonight* is said about a child drinking too much water before going to bed, as if he will plunge into the water to fish (Sakhokia 1979: 18); *fall down into the bed*, meaning “to become ill”, “to be confined to bed” (Sakhokia 1979: 360); *holding the soul between the front teeth* means 1) “one is at the verge of death, hardly alive”, 2) “is in a perilous situation”, 3) “can hardly remain patient” (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili: 1966: 405); *his/her eyesight vanished*, *has lost light in the eye*, meaning “has gone blind”; *knife blade cannot open his mouth*, meaning “one locks his teeth with anger”, or “cannot produce a word because of anger or overwhelming grief” (Oniani 1966: 56).

The semantics of the mental condition is given in the phraseology with stable components of plant or animal names, e.g. *henbane*, *quail*, *hoopoe* as in *you have not eaten the henbane, have you?*, meaning “why are you so mad?” (Sakhokia 1979: 356); *has quails in the head* is said of someone who is foolish, not completely adequate in speech or conduct (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 230). Cf.: *has hoopoes in the head*, or *has breeze in the head* (Oniani 1966: 88).

For the purpose of avoiding using offensive or humiliating words they say: *did not let someone's mother and father lie in peace in the grave*, meaning “referred to someone with swear words” (Sakhokia 1979: 150). *Will dig someone's mother and father out of their graves*, meaning “too harsh scolding” (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 380). *Trespass into someone's garden where picking*

of the fruit is prohibited – “to do something that is immoral”, “has social ban on”, “behave badly by making use of impolite language”, “saying or revealing something the disclosure of which is more immoral than the fact behind it”. The same phrase also means “unfair seizure of someone’s property” (Sakhokia 1979: 140).

The fact of someone’s death is expressed by the following phrases: *abandoned his/her soul, his/her day has vanished, extinguished, his/her day got dark, his/her days depleted*. Here are also *she/he nodded the head, said farewell words* that is “died”. *Has turned the face towards that world* means “is going to die soon”.

A number of phraseologies which are related to death have roots in religion. According to the Christian belief, a human being is alive because of the soul living in the body. The fact of death is therefore related to the God to whom the dying person should submit his/her soul for keeping, who in its turn ought to find a permanent place for the dead person to live, there, in that land of spirits (preferably or supposedly in paradise) (Sakhokia 1979: 389).

Based on Christian belief, as a sky cult, the spirit leaves the body to go to the heaven where there is an everlasting life in paradise, in that world. This gave rise to the following phrase: *sending the soul to the heaven* (Sakhokia 1979: 597).

The actual world for Christians is a temporary place, which compared to the eternal life is but a second, an infinitesimally small portion of existence (merely a miniscule flash of time). The Georgian word “tsutisopeli”, literally “the village of a minute”, has originated through the imaginary collation of the two worlds, the life in here and the afterlife. In this way, the language has coined the following phrases: *will say farewell to life*, literally, “will say farewell to ‘the village of a minute’”, or *will send last greeting* (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 380); *will expire the life, will depart from life* (Sakhokia 1979: 874). A Georgian identifies himself as “a **guest** in the village of a minute (= in this world)”.

The temporary existence in this world is discerned from the phrases with *time* as the stable component of the expression. E.g. *has eaten up his time around*, i.e. one’s life came to its end, and there is very little left, if any at all) (Sakhokia 1979: 159); the same is sometimes said about any inanimate objects that have become dated or worn out. *Minutes have been counted, summed-up* is said when the time of death is near and only a negligible amount of time is left to live (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 380).

Day is the stable component of the phrase where it figuratively expresses “the time of life” (Sakhokia 1979: 156): *quick coming of the day*, meaning “truncating of lifetime”, “early death or nearing to one’s death” (Sakhokia 1979: 164); *elapsing of the day*, *darkening of the day*, *blakening of the day*, *vanishinig of the day* (Oniani 1966: 59); *does not have a big day*, meaning “will not last long” (Oniani 1966: 75).

The other set of phrases has *the Sun* as the stable component, which is a synonym for “life”, the same was said about *day*: *darkening of the Sun*, *will turn his Sun dark* – “will kill” (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 311); *his Sun will be extinguished*, *will extinguish his Sun*, *the Sun/day will blacken*. The same semantics of “death” is conveyed with the phrases containing *salt* and *shabi*, the latter has become obsolete in modern speech. In ancient Georgia salt and alum were brought from faraway places. Long journeys in carts were often marked with accidents. The expressions with *salt* and *alum*, like, *went to bring the salt* should have originated from these hazardous journeys in wheeled carts (Sakhokia 1979: 373).

The Burial traditions in Georgia were related to *the earth* and *the grave*. Phraseologies with *the earth* and *the grave* expressing “death” are the following: *shavma mitsam tsaigho* (*the black earth took him/her*) (Oniani 1966: 167); *was given to the earth for keeping*, meaning “was buried” (Sakhokia 1979: 406); *three yards of earth and four planks*, meaning “the grave” (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966:377); *wth one foot into the grave* – “his death is near” (Oniani 1966: 172).

There are some other euphemistic phraseologies related to the meaning of “death”, like, *tserili tsaigho* (*took away the letter*) (Oniani 1966: 182). *Sitsotskhilis dzapi gatsqda* (*the thread of life broke*) (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 402); *tkveni gamqreli bari da nichabia* (*only spade and shovel will separate them*), meaning “only the death can divorce them from each other” (Sakhokia 1979: 280)...

Low social status (penuary), is expressed by the following expressions: *the bear has not eaten anything of mine* – “I am poor, I do not posses domestic animals that could have been eaten by a bear, if I had owned some” (Sakhokia 1979: 129); *mice play in his pocket, cats wail in his pocket* (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 579); *has no thread to wind up on a finger* (Gamrekelashvili, Mgaloblishvili 1966: 249).

To demonstrate modesty before the listener as a sign of respect there are some pejorative parentheses used for diminishing one’s own status to emphasize the importance of the listener: *the dust of the foot*, *traces of the footsteps*, meaning “a humble servant compared to someone” (Oniani 1966:

154); *your sword and my neck* – “you can treat me as you like. I bestow you all the rights, I am ready to serve you” (Oniani 1966: 186); *it is not worth mentioning* – “it is nonsense, it’s unreasonable” (Sakhokia 1979: 510).

In the end we would like to note that euphemistic speech frequency indicates the development of the language community. The analysis of language and culture will not be complete without the phraseological data of the language. Phraseology features linguistic and cultural characteristics (Cowie 1998: 57). The frequency of euphemistic phraseology involves features of the ancient lore and culture. T. Kovalyeva says that “Studying euphemistic phraseology is a prospective direction in the linguistic investigations; the data received according to the materials of different languages will allow us to construct a meaningful linguistic picture of the world and provide us with the information about the culture and the social evaluations made by the language communities.” To this end the linguocultural study of the phraseology of the Georgian language is a matter of profound interest.

References

- COWIE, A. P., 1998. *Theory, Analysis, and Applications. Oxford Studies in Lexicology*. Oxford: Clarendon Press. Available from: <http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/term.8.1.11mor> (9.07.2015).
- GAMREKELASVILI, N., MGALOBLSHVILI, E., 1966., *Georgian-Russian Phraseology Dictionary*. Tbilisi: Sabchota Saqartvelo, (in Georgian).
- GOCHITASHVILI, K. Phraseology denoting physical and mental conditions of the human-being in Georgian and English. Available from: <http://www.spekali.tsu.ge> (1.07.2015).
- KOVALYEVA, T. A., 2008. *Phraseology euphemisms in the modern English language*. Kolomna, (in Russian). Available from: <http://festival.1september.ru/articles/313187/> (9.07.2015).
- ONIANI, A., 1966. *Georgian Idioms*. Tbilisi: „Nakaduli”, (in Georgian).
- SAKHOKIA, T., 1979. *Georgian Figurative Words and Phrases*. Tbilisi: Merani.
- TAKAISHVILI, A., 1961. *Questions of the Georgian Phraseology*. Tbilisi: The USSR Academy of Sciences, (in Georgian).
- ВАВИЛОВА, Л. Н., 2015. К вопросу об эвфемизации современной русской речи. Режим доступа: <http://www.ksu.ru/fil/kn7/index.php?sod=11L> (1.07.2015).

Rusudan Saginadze

Department of the Georgian Language in Akaki Tseretely State University, Georgia

Tamari Ninidze

Department of the Georgian Language in Akaki Tseretely State University, Georgia

EUPHEMISTIC PHRASEOLOGY IN THE GEORGIAN LANGUAGE**Summary**

One of the representatives of linguistic ethics is euphemism that is an interesting issue. In speech, there often arises the issue of ethics which implies maximum protection of the listener from unpleasant emotions. One of the methods to achieve it is speech euphemism. The frequency of euphemistic speech points out to the high level of the nation's development and its culture.

As it is known, the demand in society for speech euphemism derives from ancient times. Accordingly, various language tools of transferring euphemism in this or that language were formed. Euphemistic meanings are carried by set phrases, including phraseological units and figurative expressions. In that way, phraseological units carrying euphemism in Georgian language are interesting.

Phraseological units carry the nation's cultural memory. Nation's outlook, beliefs, social relationships and other things are verbalised in them. They come from ancient times and keep people's attitudes towards different items or events.

Our report deals with some interesting groups of euphemistic phraseological units that exist in the Georgian language. They are set phrases that are used: a) to express respect towards the listener, for example: *You are Sir*, which means the same as "You are right"; b) to give negative or bad news: *I have turned my mouth towards a stone*, which is used when we hear or tell someone some bad news and we do not want the same to happen to us or to them; c) to indicate an uncomfortable physical state: *he is going to catch fish tonight* (it is used when this night the baby is expected to wet itself unexpectedly, unintentionally); d) to avoid insulting words: *did not let someone's mother and father lie in peace in the grave* (to scold, to curse); e) to present the fact of death: *Died/ his days are gone / his day darkened / he bowed his head/ turned his face to the other world* (to breathe one's last gasp; to have one foot in the grave; to cut/to slip one's cable); f) to express someone's social condition: *the bear has not eaten anything of mine* (it is used when someone is poor); g) to express a health condition: *to hold the soul with teeth* (on the verge of the grave, in one's last days).

Georgian reflects people's culture, and ancient traditions, which is proved by the quantity and diversity of euphemistic phraseological units.

KEY WORDS: euphemism, phraseology, Georgian language, phraseologism

Rusudan Saginadze

A. Tsereteli valstybinis universitetas, Kutaisis, Gruzija

Tamari Ninidze

A. Tsereteli valstybinis universitetas, Kutaisis, Gruzija

EUFEMISTINIAI FRAZEOLOGIZMAI GRUZINŲ KALBOJE

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos kelios įdomios eufemistinių frazeologizmų grupės gruzinų kalboje: 1) posakiai, vartojami: a) parodyti pagarbą klausytojui, pvz., „Jūs esate ponas“ reiškia „Jūs esate teisus“; b) perduoti blogas naujienas, pvz., „Mano burna virto akmeniu“ reiškia, kad mes išgirdome blogą žinią arba pasakojame blogą naujieną kažkam, tačiau nelinkime, kad kažkas panašaus nutiktų mums arba klausytojui; 2) informuoti apie prastą savijautą, pvz., „Jis šiandien žvejos“ reiškia, kad kūdikis galimai prišlapins lovą; 3) norint neįžeisti, pvz., „Motina ar tėvas vartysis karste“ vartojamas norint ką nors pabarti; 4) informuojant apie mirtį, pvz., „Mirė, jo dienos pasibaigė, jo diena apsiniaukė, nulenkė galvą, atsuko veidą kitam pasauliui“ reiškia, kad žmogus mirė; 5) apibūdinti žmogaus socialinę padėtį, pvz., „Meška nevalgė mano maisto“ reiškia, kad žmogus gyvena labai neturtingai; 6) apibūdinant sveikatą, pavyzdžiui, „Laikyti sielą dantimis“ reiškia, kad kažkas labai serga. Gruzinų kalba atspindi tautos kultūrą, tradicijas, istoriją – tą įrodo eufemistinių frazeologizmų gausa kalboje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: eufemizmas, frazeologizmai, gruzinų kalba, frazeologija.

Yaroslava Sazonova

Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Garibaldi 5 St, App. 99, Kharkiv, Ukraine

E-mail: s-and@yandex.ua

Research interests: comparative studies, narratology, pragmatics

COLONIAL AND POSTCOLONIAL INFLUENCE ON VERBALISING SUBJECTS- SOURCES OF FEAR IN UKRAINIAN TEXTS OF HORROR LITERATURE

The purpose of the presented analysis is to enlighten the interrelation of the creation and perception of horror texts in Ukrainian cultural surroundings, taking as the object of the analysis the verbalization of subjects-sources of fear. After S. Hay, who studied the influence of “historical trauma” on ghost stories, we try to establish those ties between the Ukrainian history and horror texts which facilitated the linguistic representation of the sources of fear as representatives of the oppressive imperial culture. The historical trauma may be expressed on the textual level by the subject-source of fear and there always exists the opposition of the historically motivated horrific subject and the subject who is frightened by him/it (a Ukrainian local). After A. J. Greimas and J. Fontanille, passion discourse (which we believe horror texts belong to) is represented by polemic structures that determine the world of emotions. The texts under analysis belong to this type: the emotionally balanced world suffers commotion and the ontological basis of the world perception is damaged. The subject-source of fear has non-characteristic features – it is marked by attributes which in the Ukrainian social-cultural context and within the boundaries of horror discourse bear the connotation of fear and perform the corresponding text creating function. To make the analysis objective, texts of various historical periods have been used as the material of the research (H. Kvitka-Osnovianenko, H. Pahutiak and M. Brinikh and others).

KEY WORDS: *historical trauma, text creation, text perception, horror discourse, subject-source.*

Modern Ukrainian society, or its progressive part at least, aims at joining the family of European countries viewing this community as a democratic, lawful, and highly economically, culturally and politically developed union. However, there are voices of skepticism which express incredulity of this direction of our development. These two trends in the public opinion illustrate the

historically motivated inclination of the Ukrainians to be a part of Europe, to be a part of what is called “the Russian world”, although there have recently appeared a clearly outlined movement for a “neutral” Ukraine. The turmoil in desires and inclinations of all the people and each individual in Ukrainian society is strongly historically biased and has a deeply rooted traumatic experience in its basis (taking into account the fact that different parts of Ukraine used to be subjects to the Russian Empire, the Austro-Hungarian Empire, the USSR, etc. in different periods of Ukraine’s development as a state). Frantz Fanon emphasized the traumatic nature of the colonialism and its consequential influence on the people’s psychological state. We consider fear one of the by-products of colonialism caused by the historical memory of the nation and revealed through cultural artifacts such as texts of horror discourse.

Postcolonial studies in Ukraine are held mostly in the sphere of literary and social studies: Olha Hnatiuk, Ivan Dziuba, Tamara Gundorova, Petro Ivanyshyn, Yuriy Lutskiy, Marko Pavlyshyn, Liudmyla Potapenko, Myroslav Shkandriy, etc. Much attention is paid to this problem by linguists – mostly, they analyze the consequences and reasons of the oppression in the free use of the Ukrainian language under the influence of Russian and Polish and the perspectives of its development as one of the aspects of decolonialization (Larysa Masenko). The aim of this research is to show the dependence of subjects-sources of fear embodiment on the cultural-historical background of modern Ukraine, outline the features of linguistic realization and the text creating potential of these subjects with regard to the psychological reasons and the theory of reference. To make the analysis objective, texts of various historical periods and regional affiliation have been used as the material of the research (Hryhory Kvitka-Osnovianenko (1778–1843), Ivan Gavryshkevych (1827–1907), Halyna Pahutiak (1958), Mykhajlo Brinikh (1974) and others).

Before the linguistic analysis proper we should refer to those points in the interdisciplinary field of the problem that help give the outline of its connection with other theories and explain the theoretical background of the research. Firstly, we do not aim at developing the postcolonial theory as such but rather use it as the source of possible ideas that contribute to the objective analysis of texts as signs of culture (especially in the comparative aspect). Also, we believe that the results of researches similar to this one may be of use in exemplifying or proving disputable aspects of the postcolonial theory, for example, whether it can be applied to the analysis of former Soviet and socialist countries that freed themselves from the cultural, political, economic and social pressure of the USSR or are on the way of having freedom.

At the end of the previous century the studying of the traumatic experience of individuals or groups of people in humanitarian disciplines advanced a hypothesis about the intergenerational transference of a trauma and its peculiar importance for the unwinding of the postcolonial discourse. This approach allows involving psychoanalytical and anthropological investigations: as Cathy Caruth (1996: 9) said, it “constitutes the new mode of reading and of listening that both the language of trauma, and the silence of its mute repetition of suffering, profoundly and imperatively demands”. Traumatic narrations provide various and numerous reminiscences about past events and their consequences, including intergenerational transference, and fixate chronic collective traumas (being subject to other nations, suffering during wars, extinction, loss of identity and other). Literary studies in the domain of postcolonial theory suggest a new type of novel – postcolonial and post totalitarian – that forms new methods of writing and demands new ways of reading (Gundorova 2015). Moreover, there are attempts to justify the appearance of whole genres in literature by the “historical trauma” in between the stages of the state’s development. Thus, Simon Hay proves the importance of social-historical influence on the creation of ghost stories in English literature: he makes an assertion that “the ghost is something that comes back, the residue of some traumatic event that has not been dealt with and that therefore returns, the way trauma always does. To be concerned with ghost stories is to be concerned with suffering, with historical catastrophe and the problems of remembering and mourning it. <...> Ghost stories are a mode of narrating what has been unnarratable, of speaking such history belatedly, of making narratively accessible historical events that remain in some fundamental sense inaccessible. <...> To say that the ghost in a ghost story comes back because some traumatic past event remains unfinished, has been improperly inherited in the present, might suggest a particular kind of psychoanalytic understanding of the form” (2011: 4). S. Hay’s idea bases upon the works of other theorists such as Ian Baucom, Cathy Caruth, Jacques Derrida and Gillian Whitlock who said that “postcolonial criticism is frequently drawn to philosophies of history that imagine an ongoing presence of the past. This situates literary texts both within the historical particularity in which they are produced and, through recurrence and repetition, as an inheritance which is compelled to reengage the ideological struggles of an earlier moment: (2015: 61) and that trauma leads to failed narratives, gaps in consciousness and slippages in epistemology. After S. Hay we try to establish those ties between the Ukrainian history and horror texts which facilitated the linguistic representation of the sources of fear as representatives of the oppressive imperial culture. Ukrainian texts of horror discourse belong neither to postcolonial novels nor to testimonial narratives; they belong to the passion discourse (the notion of

Algirdas Julien Greimas and Jacques Fontanille (2007) that is represented by polemic structures determining the world of emotions, in other words, these texts represent wording out one of the possible emotional responses of the colonized nation to the oppressors when the balanced world suffers commotion and the ontological basis of the world perception is damaged.

The research is held within the framework of the text creation theory which views reference as a tool of making the new imaginary world actual. Correspondently, text creation theory makes use of the notion of a possible world with the aim of analyzing linguistic representation of subjectively created or perceived “possible” objects, actions or states. Possible worlds can be considered hypotheses or agreements that are established in accord with the recognition of the changes in the attributes of the objects of the real world. Thus, we accept this world’s specific existence, organization and truth value of reference. Possible worlds are built on the basis of the already existing notion that is why they are viewed as a referential reflection of the real world, its variant or transformation (Бразговская 2006: 91). Specific status of reference in literary discourse doesn’t cause arguments among scholars, and moreover, some researchers emphasize its genre peculiarity. Igor Smirnov claims that “literary texts may be united by the reality they are projected on – religious, scientific, philosophic, ethical, political, historical, etc.” (Бразговская 2006: 29–30); he considers that some types of literary creative works (heroic, satirical, idyllic, grotesque, comic and tragic) appeared due to the specific referential content of this literature that consists of the referents and is defined by these referents’ statuses in relation to each other. Our idea is that this list of referentially specific literature may be supplemented by horror literature, heterogeneous in its forms and subgenres but clearly conditioned by the aesthetic intention and psycho-emotional basis of creation and perception. In horror discourse texts creation and reference as its basis are a result of individual-subjective experience of negative emotions in the real world, the whole range of the psychological phenomenon of fear, which allows classifying subjects of this passion discourse as recipients and sources of fear.

Taking into account these preliminary implications, we single out the objects of representing opposition in the passionate horror discourse which reference directly affects the processes of creating and perceiving texts – the subject-recipient of fear (SR) and the subject-source of fear (SS) (our terms, Yaroslava Sazonova). The former is a person or group of persons that experiences negative emotions caused by the feeling of fear in the process of encountering the latter – the subject-source of fear that is a person or non-person (a group of the like) that is perceived as threatening a person’s self-identification, well-being, health or life because of the specific appearance, behavior, intentions, etc.; it

is an active subject that acts with intent to inflict harm to the subject-recipient of fear. Bearing in mind that the texts under analysis are examples of passion discourse which has its specificity in constant convergence and distancing of the subjects involved, it is important to stress that the principle of dichotomy makes the texts of horror discourse specific and influences text creating and perceiving. The historical trauma may be expressed on the textual level, firstly, by the subject-source of fear as there always exists the opposition of the historically motivated horrific subject and the subject who is frightened by him/it (a Ukrainian local). The subject-source of fear has non-characteristic features – it is marked by attributes which in the Ukrainian social-cultural context and within the boundaries of horror discourse bears the connotation of fear and performs the corresponding text creating function. Secondly, the traumatic consequence may find its textual realization in some sporadic but still very stable and influential attributes of a horrific object (other than a foreigner), state or action (it doesn't contradict the postcolonial theory because it views text creation and perception processes as practices that generate creative relations and associations (Whitlock 20015: 2).

In modern psychology, there are differentiated several functions of fear: primary biological and later social functions (cultural, cognitive and ontological (Туренко 2006: 216)). Primary biological function is connected with real and neurotic phobic fears, mainly, the fear of the alien (xenophobia, for example) or strange and unknown. This aspect of psychological approach to the phenomenon of fear directly corresponds to the traumatic experience of the oppressed nation in the colonial society. Alien for the sphere of the SR's existence may be a representative of the other nationality and/or social layer:

– Григорій! – проказав ледь чутно. – Чулисьте вчора мою історію. Будьте так добрі переказати ю преподобному отцю, коли мені Бог не дасть подужати... Ох! Вся кара Божя спала уже на мене! Той німчик не дає ми нігде супокою! <...> Та ж він ту щонаочі... зубатий, шклоокій... кров п'є... з ме...

– Hryhoriy! – he said in whisper. – You heard my story yesterday. Will you please tell it to the Reverend if God doesn't let me recover... Oh! I've been punished by God! That **German** [derogative form] bothers me all the time! <...> He ... toothy, glass-eyed ... drinks my blood here every night... (І. Гавришкевич, *Страхи*).

It is obvious that within the bounds of the horror discourse this reference doesn't mean correlation with the object “a German” as far as the representative of this nationality is mentioned to have died long ago. We classify this type of reference as identifying reference-embodiment (Сазонова 2016b: 212), where collective fears express the consequences of the historical trauma and find their reflection in the cultural texts (Сазонова 2015a) though the referent is a single object. To understand or

decipher the text, on the one hand, descriptions help identify this referent as horrific – *зубатий, шклоокій... кров п'є... з ме...* [toothy, glass-eyed ... drinks my blood], on the other, – reference-embodiment is cultural-historically motivated and demands a similar background from the reader.

The first type is not numerous because, as it has been mentioned before, texts of horror discourse are not testimonial narrations and with the course of time the trauma is rather generalized than expressed directly. These texts are mostly created in the 18th-19th centuries and have a didactic aim: to show that any relationship with the representatives of the oppressive culture is harmful to a national or religious self-identification of a local Ukrainian (usually it's a young woman seduced by deceitful promises of a foreigner). These are vivid examples of a suppressed desire to save the national identity and not to be dissolved in more powerful nations:

Першим влетів на подвір'я степовий кінь з козаком – молодша сестра зиркнула на смагляве обличчя, червоний шлик – і серце їй забилося, а рум'янець розквітнув на щоках. За ним влетів мурза татарський на тонкостаннім бахматі, що низько над землею стелився. Середня сестра подивилася на чорні очі, на кожух зі сріблястої вовни – і опустила очі додолю. Вслід за ними лях об'явився на спіненім скакуні, що аж дибки ставав. Старша глянула на пишно оздоблену зброю і на шапку з павиним пір'ям, а відчула, що на такого витязя всеньке життя потайки сподівалася.

The first to fly on the yard was **a steppe stallion with a Kozak on – the youngest sister** glanced at the tanned face, red shlyk [top of a kozak hat] – and her heart started beating and her cheeks turned red. After him there flew **a tatar Murza on a slim short bachmat** that rode low. **The middle sister** looked at the black eyes, at the coat of silver sheep fur – and cast her eyes down. After them **a Liakh** [a Polish (derogative)] **appeared on foamy horse** that tried to stand rampant. **The elder sister** looked at the richly decorated armament and at the hat with peacock feather and felt that she had been waiting for such a warrior all her life]. (М. Чайковський, *Могила*).

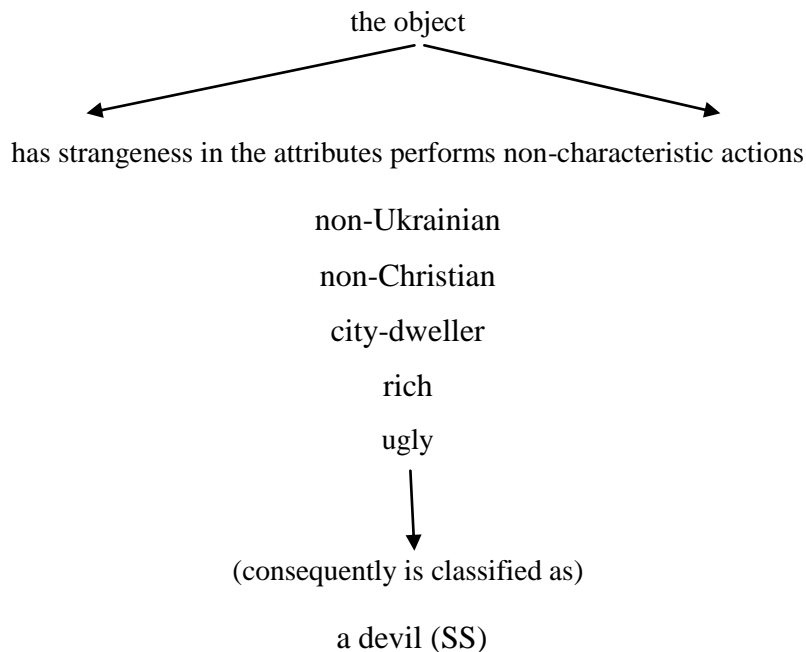
Не поганий вітер повіяв, і не лихе око зиркнуло, і не чаклуни зурочили її: у Києві, наповненому тоді ляхами, був один, на ім'я Казимир Чепка. Ставний тілом і гарний з лиця, багатий і славного роду, Казимир вів життя молодецьке: пив вино угорське із друзями, на шаблях стинався за гонор, вибивав краков'як і мазурку з красунями. <...> Хтозна, що на душі в іновірця, в католика? А мо' ще й таке трапитися <...>, що у личині польського пана з'являвся тобі лихий спокусник.

It was not a wicked wind that blew, and it was not a wicked eye that looked, and not sorcerers jinxed her: in Kyiv, full of **liakhs** at that time, there was one Kazimir Chepka by name. Stately and handsome, rich and from a good family, Kazimir led a merry life: drank **Hungarian** wine with his friends, dueled for money, danced **Krakowiak** and **Mazurka** with beauties. <...> Who knows what **a foreigner, a catholic**, has in his soul? Or it may even happen that **a Polish noble disguises a demon**] (О.Сомів, *Русалка*).

Living through a historical trauma and processing it, made the Ukrainians develop opposition towards the oppressing power and its representatives and contempt to opportunists, so in Ukrainian texts of horror discourse the SS may be marked by a national or religious feature with a shade of scorn (*Знає Танський, кому й казати такі речі. Обидва брати – **перехрещені татари**, а Скарбовський – **недоляшок*** [Tanskiy knows who to tell such things to. Both brothers are **baptized Tatars**, and Skarbovskiy is a **half-breed Polish** [derogative]] (М. Александрович, *Антін Михайлович Танський*)), showing in this way the negative attitude to traitors, conformists and collaborators. This strategy is one of the ways to lower the status of the SS (it has lexical and grammatical means of its realization) that influences the development of the text leading it to the logical victory over the oppressor. The ghosts from the past are harmless and their influence is neutralized although the locals have to live with them forever (*Минуло століття, іде друге. Війна зі шведами одійшла в історію, але простий народ біля Новгород-Сіверського не тільки вночі, але і вдень не сміє наблизитись до могили, що зветься Золотою Горю. <...> в околах села Вороб'ївки досі живуть чутки, що **кожної півночі підводяться з могил своїх загиблі шведи і жорстоко січуться одне з одним**, а біля самої гори чути пронизливі крики й стогони вмираючих, іржання коней, бряжчання зброї, і яскраві вогні зблискують у лісовій хащі, де було шведське становище.* [One hundred years passed, another passes. The war with the Swedish is forgotten, but common people near Novgorod-Siverskiy don't dare to go close to the grave that is called Golden Mountain not only at night but at day too. <...> there are still rumors around Vorobjivka village that **every night perished Swedish soldiers rise from their graves and fight with each other fiercely**, and at the mountain itself one can hear shriek cries and moans of dying people, neighing of horses, clanking of armament, and bright fires glitter in the wood thicket where the Swedish camp used to be] (І. Борозна, *Золота гора, або я тебе вирятую*)). Still the didactic function of horror texts of the 18th-19th centuries is obvious and proves the idea about the intergenerational transference of historical traumas because the ghosts from the past will always remind us that the enemy that threatened our people will always stay buried here with their souls restless.

The second variant of depicting the traumatic consequence is the modification of a horrific object (other than a foreigner) with attributes of the oppressive culture, or describing his state or actions in this way. Usually this SS is a mythological creature, most often a devil. This type of reference is identifying mythological: “it is realized in the process of actualization in the possible world of objects that don't exist in the real world but exist in the cultural tradition of the mankind in general or in the

culture of a nation” (Сагонова 2016b: 213). The analysis of the textual embodiment of these SSs exemplifies the opposition to the cultural colonialism that involves the contraposition of the imperial or oppressing culture and colonial or local. As M. Pavlyshyn claims (2013), the former is always viewed as better, primary, of maximum value and of world importance although the latter is outdated, childish, primitive and local. The texts under analysis showed that this opposition has its specific realization in the verbal representation of SSs, their attributes in particular. The logical scheme of these associations is the following:



Still, to be objective we must admit that horror texts of the 18th–19th centuries represent negative attitude not only to the representatives of the oppressed cultures but also show obvious anti-Semitic inclination. This trend proves the overwhelming dislike of foreigners which may be considered another negative by-product of the colonialization: *А хіба ж я тебе не кохаю? Продай хреста жидаві, моя кохана, продай... – Добре... Продам... – ледве чутно проказала Ганя, згораючи в обіймах, повних вогню і жаги* [Don't I love you? **Sell your cross to a Jew, my darling, sell it...** – Good... I will... – **said Hannia very low, burning in embraces full of passion**] (В. Росковшенко, *Орендатор*). Attributes and characteristics that modify the SS may embrace various spheres of life such as eating habits (*А Юдун ляп себе по другій кишені та й вийняв ковбасу, та тільки не наську, а німецьку, от що і свининою, і кошатиною, і конятиною начинена, от – коли знаєте – що пани, цураючись нашої, у німців купують та усмак їдять* [And **Judun** [derived

from “Jew”] slapped at his other pocket and got out a sausage, and it was **not our** [phonetically distorted] but **a German one that is filled with pork, and horse, and cat meet**, the one, if you know, **the nobles, eschewing ours, buy from the Germans and eat eagerly**]); dressing and other outfit (*аж ось йому назустріч двоє маненьких чортяточок: хоч на них було і платтячко дівоче, та тільки наскрізь і світиться: і руки голі, і шиї голі, точнісінько, як на панях, що у городі берлинами роз’їжджають; іде то жидівська бричка, пара коней у шлейках, по-жидівськи у дишел запряжені; погонич сидить у суконних штанях і у юці, скрізь повимережувана і з китицями, мов у венгерця, що з ліками ходить, а на голові превисоченна шапка з углами на усі боки; шатай-моргай, шатай-нахвіст, реєвєє, барбоське, шальпанське і порчене пиво* [and there go toward him **two small devil kids**: though they had girls outfit on, it was totally transparent: **the arms were bare, the necks were bare just as the noble women have, who are ridden in carriages** [the word is derived from “Berlin”] **in the city**; there goes **a Jewish coach**, a couple of **horses harnessed in a Jewish way**; the coachman is in **linen trousers and a skirt embroidered all around and decorated with tassels like a Hungarian** who sells drugs has, and on his head he has **a very tall hat with angles on all sides; Chateau Margaux, Chateau Lafite, Rennes-Bordeaux, champagne** [phonetically distorted variants of wines] and **defective beer**]); Christian traditions and procedures (*ковтнув [чарку], не хрестячись; йому тяжко було сказати, що йтимуть до церкви; увійшли у хату, Юдун не хрестився* [gulped [a glass] without crossing; it was difficult for him to say that they were going to church; when they entered the house Judun didn’t cross]); stereotypic professions (*Аж ось під’їхали бричка, і з неї виліз, та так проворно, вже стар чоловік, чи купець-москаль, чи жид-шинкар, не вгадаєш; ...венгерець, що з ліками ходить; ... шестеро жидків, хто на скрипку, хто на баса, хто на дудку, на цимбали, на бубен, так і вчистили метелиці. Як же піднялось усе чортятство... батечки!; Еге, за сєє всеє дякую своєму храницузу, - казав Юдун, - він із чортів набрав і кухарів, і клюшників, лакеїв, і хлопців* [And there came a coach, out of it got an old but lively man, either **a Jew innkeeper** or **a Russian merchant** you couldn’t figure out; ...**a Hungarian** who sells drugs; ...**six Jews** [derogative variant] **lively performed music on a violin, on a bass, on a pipe, on tsimbaly** [a Ukrainian string instrument], **on a tambourine**. If only you could see how **the devils danced...**, my God!; Yes, for all this I am thankful to my **Frenchman**, – said Judun, – he hired **cookers, housekeepers, stewards and boys from devils**]) (see Г. Квітка-Основ’яненко *От тобі й скарб*). Manner of speech and the use of a foreign language is one of the predominant attributes of a SS in Ukrainian horror texts, thus the SSs may speak a foreign

language (French (*От зараз і кинулись [чортенята] до Масляка та й загирготали не по-нашому, а по-панськи, як той храницуз вчить паненят, <...> От чортенята зареготались, та і каже одна одній: “Ми думали, що він пан який та й заговорили до нього по-нашому, по-хранцюзьки; аж він, бачу, сього не втне”. Та й стали кивати на нього та й кажуть по-своєму: “Алло, мусье, алло; вене ісі” [And [the devil kids] ran to Masliak and **started cackling in a foreign language as nobles do, as a Frenchman teaches their children <...>** The devil kids stopped laughing and said to each other: “We thought that he was some noble and spoke to him in our language, in French, but he, as I see, can’t get it.” And started nodding and saying in their way: “**Hallo Monsiur, hallo venez ici**]); have an accent (Yiddish) (*у речах він дзидзикав, мов жид; Чи ви бува, не з жидів, пане Юдун? – А по чім ти відгадуєш? – Та так щось, що ви на речах збиваєтесь на жидівство* [in his speech **he had a Jewish accent**; Do you come from the Jews, by chance, Mister Judun? – How do you know it? – It happens so that **you sound like one when you speak**]); use obscene lexis (Russian) (*До того ще почав лаятись, та так погано, що й москаль, здається, його б не переміг* [In addition to this, he **began cursing** so rudely that even **a Russian** seemed to have no chance to win]) (Г. Квітка-Основ’яненко, *От тобі й скарб*). Lowering the status of a SS takes place when it acquires additional attributes that unite it with the animal world (*на п’яті теж був палець, як у собаки; а скрізь тії пальці пролазили когті, мов у kota заморського; у роті зуби притьмом свинячі; борода б то йому і є, так цапина; коса з мишачий хвостик; “От коли по-собачному [а не по-французьки], – каже Хома, – то і я розберу, бо чував, як панський Іванька розговорює з кгарсоном”; собака побіг, спочатку тихо, потім скоріше, ще скоріше, а Тиміш услід. <...> Отямився вже у свому селі на майдані перед каруселею. – “Приїхали,” – сказав пес. Тимко глядь, – а перед ним навкарачки та сама худюща Хайка [he had **a finger on his fifth like a dog**; and through those fingers **claws appeared as if he was an oversea cat**; in his mouth he had **pig teeth**; he had **a goat beard**; **a braid like a mouse tail**; “If you spoke **Dog language** [but not French] I would understand because I heard as steward Ivan’ka spoke to the garcon”; **the dog** ran firstly slowly, then quicker and quicker, and Tymish followed him. <...> He came round only in his village on the square before the merry-go-round. – “We have arrived,” – **the dog said**. Tymko glanced at it and saw **a skinny Khayka** [a Jewish woman name] **in front of him on all fours**]) (В. Росковшенко, *Шапка*).**

Modern texts of horror discourse present a new way of expressing historical traumatic experience through the embodiment of the SS. Firstly, it concerns the content or meaningful side of this subject – it presents a post totalitarian or counter-ideological opposition. Post totalitarian opposition is

found in the text of M. Brynykh's "Хліб із хрящами" where the SSs are zombies, representation of which is not characteristic for the Ukrainian culture. Obviously, textual actualization of a European mythological creature, a zombie, makes this text modern and understandable to a wider circle of readers, but only on the surface layer. The decoding of the post totalitarian and intergenerational message of the writer depends upon the reader's having common historical background: the zombies appear from graves buried in a special place – село Міцне / the village of Mitsne – the earth there used to be the place of the constant oppression of the locals since the time of its foundation: the Mongol-Tatars, the landlord's family of the Strutitskys, Earl Steheinaur, landlord Rylsky are mentioned but they all died a violent death; further, proletarian socialist power caused deaths of locals in the 1930s, but the crucial point in the history of this village was the Famine of 1932–1933 (Golodomor). The earth that bore monsters (zombies) was propitiated by flesh and blood of locals who were condemned never to find peace after death by one of the soviet officers who managed the expropriation of bread and whose daughter was eaten instead. The text conveys a multiple SS: it is hidden in the past but is revealed in the present, its embodiment is unpredictable through the development of the text but in the end the SS is verbalized as *істота; гниляк; літній чоловік – один із небагатьох, у кого на обличчі збереглися обидва ока; у зотлілій енкаведистській шкiрянці; викрикнув наказ* [a creature, a rotten creature; an elderly man – one of the few who had two survived eyes on his face; in a rotten NKVD leather coat; cried out a command]. This creature leads the rest of his army who are hungry and devour anyone on their way; intergenerational ties are revealed in the most inhuman and horrible way: *Хати глипали на них чорними вікнами, біля жодної з них отець Дмитро не бачив слідів. Якби не слово "ХЛІБ", що чорніло на стінах більшості осель, можна було б, про всяк випадок, ущипнути себе за носа – раптом вдалося би прокинутись? Але ці криві літери, похилені в різні боки, наче поспіхом встановлені вздовж дороги шибениці, не залишали жодної надії на щасливе пробудження* [The houses glared at him with black windows, and Reverend Dmytro didn't see any traces near them. If it were not for the word "BREAD" that was written in black on the walls of the majority of houses, one could, just in case, pinch his nose to wake up. But these crooked letters drooping at each other resembled hastily built gallows along the road and left no hope for a happy wake-up].

Counter-ideological opposition of SR and SS can be observed in the text of H. Pahutiak's novel "Слуга з Добромиля" which begins in a very eloquent way: *Пізнали небезпеку спершу із Заходу, коли вступили до Польщі, а тепер зі Сходу, про який мало що чули, й не зичили собі ані мобілізації, ані конфіскації, ані безчестя дiвок і молодиць, бо від діда-прадіда добре знали, чим*

обертається для простих людей війна. За два місяці при більшовиках зрозуміли, що сам Антихрист ступив у їхні Бескиди <...> [They were endangered firstly from the West when they joined Poland, and now from the East, which they heard of not much and didn't want either mobilization or confiscation or dishonoring girls and women as they knew well from the ancestors what war brings to common people. During two months under the Bolsheviks power they understood that the Antichrist entered their Beskidy <...>]. Identifying mythological reference is made by assigning human features to the Antichrist: it looks like a human (*Солдати зіскакували з борту, брязкаючи зброєю і казанками. Деякі посунули відразу до церкви і стали на порозі. Були подібні на людей* <...>; *їх звуть енкаведистами, хоч насправді то слуги Антихриста* [The soldiers jumped from aboard clinking with their armament and pots. Some of them went straight to the church and stopped at the threshold. They were similar to people <...>; they are called **enkavedists** though they are **the servants of the Antichrist indeed**]; it speaks Russian (*Не положено! Скоро вас всех отсюда увезут. <...> Военная тайна* [It is forbidden! You all will be taken from here soon. <...> It is a military secret]); it behaves in a non-Christian way (<...> *Антихрист палить церкви, копрі дерев'яні, а й з кам'яних робить вертепи, стайні; [soldiers] виносять [from the monastery] образи, свічники, книги, а рушники зривають і кидають собі під ноги <...>; [the Antichrist] йому хочеться садовити [people] на палю, розпанахувати їм черева, виривати серце й печінку, пити ще теплу кров із золотої чаші, садженої дорогим камінням; [Leutenant] Не мав часу заглядати в ті смердючі книжки [religious literature], що розсипались від старості. Його відтручувала від них чистота радянського офіцера, як від зарази, або як опира відтручує дванадцять разів свячена пшениця* [The Antichrist burns wooden churches, and those built of stone are turned into dens or stables; [soldiers] take out [from the monastery] icons, candlesticks, books, embroidered towels are torn off and walked on <...>; [the Antichrist] wants to poke people on sticks, cut their bellies, tear their hearts and livers out, drink still warm blood from a golden cup decorated with precious stones; [Leutenant] didn't have time to look into those stinky books [religious literature] that fell apart from time. He was taken aback by them as by some infection because he was a clean Soviet officer or as if he were a vampire taken aback by wheat hallowed twelve times]); it is alien in Ukraine (*Лейтенант, який командував невеликим загonom осквернителів Лаврівської святині, став на сходах і довго дивився на гори, оповиті туманом. <...> Був сам із степу, мав у жилах трохи татарської крові, і в нього з'явилося, як кажуть французи, дежа вю: гори, які не вдасться завоювати, зрівняти із землею, а не тільки випалити дотла ліси, щоб там ніхто не міг сховатися. Як і його*

предки, він вважав основою військового мистецтва – жорстокість і терор. <...> Його плоть розчинялась у чужому пейзажі й слабла без поживи [The Lieutenant who commanded a small group of defilers of Lavriv shrine was standing on the stairs and looking at the mountains covered by mist for a long time. <...> He was from steppe, had some Tatar blood in his veins, and he had, as Frenchmen say, déjà vu: the mountains that won't be conquered, leveled to the ground, and not only forests burnt totally for no one could hide there. Like his ancestors, he considered cruelty and terror the basis of military art. <...> His flesh dissolved in the alien landscape and weakened without sustenance]); yet, he does not know his ancestors (*лейтенант не знав навіть свого батька, не те, що діда або прадіда* [the lieutenant didn't even know his father, not that his grandfather or great grandfather]). H. Pahutiak's text reveals one more peculiar feature of SS: it is the bearer of intergenerational traumatic transference for the SR and the reader, though it bears neither previous generational rooting of its own except historically motivated negative association with the Tatars nor future life continuity – all this makes it vulnerable.

The texts of horror discourse, being examples of imaginary possible worlds, represent a peculiar way of the emotional non-factual response to the oppressive politics of empires. These texts show an already processed and lived through in the national psychology traumatic experience that splashed out in the passionate form of narration built on the basis of subject-subject relation of SS and SR; the reference of the former is of two types – identifying reference-embodiment and identifying mythological – each of which has linguistic specificity of realization. The time and the geographical location of the texts creation influence the surface representation of the SS, though the sense is universal – it expresses anti-colonial, anti-totalitarian and counter-ideological tendency in the world perception of the Ukrainians that allows their adequate reading and understanding at any period in any part of our country.

References

- BAUCOM, I., 2005. *Spectres of the Atlantic: Finance Capital, Slavery and the Philosophy of History*. Durham: Duke University Press.
- CARUTH, C., 1996. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- DERRIDA, J., 1994. *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*. New York: Routledge.

- FANON, F., 2004. On National Culture. Mutual Foundations for National Culture and Liberation Struggles. In: F. Fanon. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- НАУ, S., 2011. *A History of the Modern British Ghost Story*. Palgrave Macmillan.
- WHITLOCK, G., 2015. Testimonial Transactions. In: *Oxford Studies in Postcolonial Literatures*. Ed. E. Boehmer. *Postcolonial Life Narratives*. Oxford University Press.
- Антологія української готичної прози* 2014. У 2-х т. Т. 1. Упорядкув. і передм. Ю. П. Винничука. Харків: Фоліо.
- БРАЗГОВСКАЯ, Е., 2006. *Референция и отображение (от философии языка к философии текста)*. Пермь: Пермск.гос.пед.ун-т.
- БРИНИХ, М., 2012. *Хліб із хрящами*. Київ: Ярославів Вал.
- ГРЕЙМАС, А. Ж., ФОНТАНИЙ Ж., 2007. *Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души*. Москва: ЛКИ.
- ГУНДОРОВА, Т., 2015. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи. Режим доступу: <http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma> (27.03.2015).
- ОГНЕННИЙ, З., 1990. Фантастичні твори українських письменників 19 сторіччя. Упоряд. Ю. Винничук. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ: Молодь.
- ПАВЛИШИН, М., 2013. Повернення колоніальної резигнації. *Кур'єр Кривбасу*. № 284/285/286.
- ПАГУТЯК, Г., 2012. *Слуга з Добромиля*. Львів: Піраміда.
- САЗОНОВА, Я., 2015а. Вербалізація суб'єкта-джерела страху як носія соціально-історичної травми в англomовній та україномовній літературі жахів. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)*. Кіровоград: КДПУ імені В.Винниченка, 138, 369–374.
- САЗОНОВА, Я., 2016б. Типи референції в текстах дискурсу жахів. *Лінгвістичні дослідження*. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 43, 208–216.
- ТУРЕНКО, О., 2006. *Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена*. Київ: Парапан.
- УСМАНОВА, А., 2010. *Восточная Европа как новый подчиненный субъект*. Режим доступу: ecsosman.hse.ru (23.04.2010).

Yaroslava Sazonova

Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

COLONIAL AND POSTCOLONIAL INFLUENCE ON VERBALISING SUBJECTS-SOURCES OF FEAR IN UKRAINIAN TEXTS OF HORROR LITERATURE

Summary

Fear is caused by different reasons, both universal human and predetermined by the historical memory of the nation. The purpose of the presented analysis is to enlighten the interrelation of the creation and perception of horror texts in Ukrainian cultural surroundings, taking as the object of the analysis the verbalization of subjects-sources of fear. After S. Hay, who studied the influence of “historical trauma” on ghost stories, we try to establish those ties between the Ukrainian history and horror texts which facilitated the linguistic representation of the sources of fear as representatives of the oppressive imperial culture. The historical trauma may be expressed on the textual level by the subject-source of fear and there always exists the opposition of the historically motivated horrific subject and the subject who is frightened by him/it (a Ukrainian local). After A. J. Greimas and J. Fontanille, passion discourse (which we believe horror texts belong to) is represented by polemic structures that determine the world of emotions. The texts under analysis belong to this type: the emotionally balanced world suffers commotion and the ontological basis of the world perception is damaged. The subject-source of fear has non-characteristic features – it is marked by attributes which in the Ukrainian social-cultural context and within the boundaries of horror discourse bear the connotation of fear and perform the corresponding text creating function. To make the analysis objective, texts of various historical periods have been used as the material of the research (H. Kvitka-Osnovianenko, H. Pahutiak and M. Brinikh and other).

KEY WORDS: historical trauma, text creation, text perception, horror discourse, subject-source of fear, subject-recipient of fear, postcolonial, possible world, reference.

Jaroslava Sazonova

Charkovo nacionalinis pedagoginis universitetas, Ukraina

**KOLONIJINĖS IR POKOLONIJINĖS TEORIJŲ ĮTAKOS KURIANT SUBJEKTU REIŠKIAMĄ
BAIMĘ UKRAINIEČIŲ SIAUBO LITERATŪROJE**

Santrauka

Tyrimo tikslas – atskleisti ryšius tarp siaubo tekstų kūrimo ir suvokimo Ukrainos kultūrinėje aplinkoje. Remiantis S. Hey, kuris analizavo istorinės traumos poveikį vaiduoklių istorijoms, straipsnyje bandoma nustatyti ryšius tarp Ukrainos istorijos ir siaubo literatūros, kurioje siaubas siejamas su gniuždančia imperine kultūra. Tekste istorinė trauma atskleidžiama per subjekto kaip siaubo šaltinio lygmenį; jis yra opozicija subjektui, kurį gąsdina (vietinį ukrainietį). Remiantis A. J. Greimu ir J. Fontanille, aistros diskursą, kuriam, autorės nuomone, priklauso ir siaubo istorijos, reprezentuoja poleminės struktūros, apibrėžiančios emocijų pasaulį. Siaubo istorijos priskirtinos šiam diskurso tipui todėl, kad jose vaizduojamas emociškai stabilus pasaulis patiria sukretimą, dėl to griūva ontologinis pasaulio suvokimas. Subjekto siaubo raiškai būdingos netipinės savybės – jis perteikiamas pažyminiais, būdingais ukrainietiškam socialiniam-kultūriniam kontekstui; siaubo diskurso kontekste jie įgauna su baimės sąvoka sietinų reikšmių ir atlieka teksto kūrimo funkciją. Siekiant objektyvumo, tyrime naudoti įvairių istorinių periodų tekstai (H. Kvitka-Osnovianenko, H. Pahutiak, M. Brinikh ir kiti).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: istorinė trauma, teksto kūrimas, siaubo diskursas, subjektas kaip šaltinis.

Ольга Шестерикова

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Средний пр., В.О., д. 57. 199178, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: oashe@mail.ru

Область научных интересов: философия языка, теория метафоры, русская поэзия XX века, русский язык как иностранный

МЕТАФОРИЗАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

Данная статья представляет собой исследование метафоры в русских поэтических текстах XX века. Основная идея работы состоит в том, что в русском поэтическом языке XX века можно проследить стойкую тенденцию к формированию специфического концептуального метафорического языка. Базовой чертой данного процесса является расширение функции метафоры – от построения образа (что было характерно для поэтической традиции периода романтизма) до построения развернутого ментального концепта.

Для рассмотрения изменения роли метафоры в стихотворном тексте были использованы статьи по теории метафоры и отрывки некоторых поэтических произведений О. Э. Мандельштама. В качестве иллюстрации изменения метафорического языка были использованы поэтические тексты И. А. Бродского.

На основании рассмотренного материала был сделан вывод о том, что построение поэтического произведения, которое подразумевает ограничение количества слов в строке, динамическое развитие стихотворения, его ритмическое и смысловое единство, осуществляется за счет метафоры. Все языковые факторы, характерные для данного культурного поля, наряду с авторской интерпретацией служат наполнению и целостности создаваемого ментального концепта, не отделимого от общей ткани стихотворения. Все это позволяет говорить не только о значительном увеличении количества метафорических конструкций в поэтических текстах, но и о явлении метафоризации поэтического языка в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *метафора, метафорические преобразования, концептуальная метафора, русская поэзия XX века.*

Русская культура XX века отмечена поиском новых форм художественного выражения. В русле данных поисков произошло существенное изменение роли метафоры в поэтическом тексте и, как следствие, – изменение характера семантического наполнения метафорических конструкций.

В русской поэзии эпохи романтизма сложилась традиция использования образной метафоры, семантическое наполнение которой восходило, как правило, к традиционным культурным представлениям о том или ином явлении или предмете. То есть семантика образной метафоры базировалось, по преимуществу, на корнях языковой метафоры и достаточно легко прочитывалась.

Такое понимание метафоры восходит к античной традиции, согласно которой метафора – троп, характеризующий один предмет при помощи обозначения другого, выбранного по принципу подобия (Аристотель 2010: 34), который помогает актуализировать скрытые признаки предмета и сообщает слову, его обозначающему, дополнительную семантику. В качестве примера типичного метафорического высказывания Б. Успенский приводит строки Пушкина:

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой
(Из поэмы «Евгений Онегин»)

Здесь слово *дань* подразумевает *нектар*, а *келья* – *улей* (Успенский 2000: 292). Употребление метафоры расширяет семантическое поле исходных слов, сообщает им коннотативную окраску. Однако очевидно, что при данном подходе одна метафора характеризует всего лишь одно исходное слово, хотя и влияет на общее образное восприятие текста.

Иная ситуация наблюдается в XX веке – метафора не только сохраняет в себе функцию предиката через сопоставление двух значений, но также через столкновение обозначающего и обозначаемого слова порождает новый смысл и новый мир, выстраивая специфический авторский концепт. Как пишут авторы концептуальной теории метафоры, «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода» (Лакофф, Джонсон 1990: 389). Ключевыми словами, для обозначения отличия концептуальной метафоры от образной являются «осмысление и переживание». При этом подобие, которое со времен Античности указывается в качестве побудительной силы в выборе метафоры, не теряет актуальности, если его толковать достаточно широко, то есть как имеющего двоякую цель –

расширить семантическое поле слова за счет сближения (или отталкивания) через сопоставление двух сущностей. «Подстановка» одного явления другим (также как и в случае образной метафоры) сообщает первичному номинанту дополнительную окраску, актуализируя нужные признаки через репрезентацию сходства или различия. Разница состоит в том, что семантическое поле слова (или нескольких слов) зачастую указывают перспективу истолкования через ассоциации, погружают читателя в созданную автором образную реальность через построение ментального концепта. В построении данного концепта принимает участие звуковая форма слова, которая либо указывает на какой-либо другой, неожиданный в данном контексте предмет, имеющий чисто авторское применение, либо соотносит текст к известному в культуре фразеологизму, афоризму или ассоциации. Примером смещения авторской и собственно языковой метафоры для построения концепта, который «разворачивается» через весь стихотворный текст являются поэтические тексты О. Э. Мандельштама и И. А. Бродского.

Приоритетное значение авторской метафоры в поэтических текстах XX века подводит к вопросу значимости авторского замысла и возможности его истолкования. По данному вопросу нет однозначного решения. Нацеленность на вскрытие авторского замысла все больше подвергается переосмыслению в исторической перспективе, что можно проследить по трансформации в понимании текста. Например, в работах второй трети XX века текст, как правило, интерпретируется в качестве реплики автора, и можно ожидать, что под истолкованием текста подразумевается раскрытие авторского замысла читателем (или слушателем, если речь идет об устном высказывании). Так, по определению Ю. С. Маслова, текст – это «любое кем-то созданное «речевое произведение» любой протяженности – от однословной реплики до целого рассказа, поэмы или книги» (Маслов 1975: 7). Сдвиг внимания современных исследователей к адресату коммуникативного послания и перенос значения от автора произведения в сторону читателя, слушателя или зрителя зафиксирован в известном эссе Р. Барта «Смерть автора» о самодвижении текста и его свободе в порождении смыслов. По словам Р. Барта, «говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность... позволяющая добиться того, что уже не "я", а сам язык действует, "перформирует"» (Барт 1989: 386).

Тем не менее, тенденцию к восприятию текста как самодостаточной единицы можно проследить с более раннего времени. В первой половине XX века, времени переосмысления канонов художественного искусства, О. Э. Мандельштам писал: «Мироощущение для

художника – орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное – это само произведение» (Мандельштам 1987б: 168). Создание поэтических произведений мыслилось поэтом как создание «миров», при созерцании которых он сам останавливается в недоумении («недоволен стою и тих...»):

...Нерешительная рука
Эти вывела облака
И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.
Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих...
(Из стихотворения «Истончается тонкий тлен...», 1909 г.)

В стихотворении «Отчего душа так певуча...» молодой поэт говорит об автономности созданного им мира:

... О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края, —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?
(Из стихотворения «Отчего душа так певуча...», 1911 г.)

Поэтический мир здесь выступает как иллюзорный и реальный одновременно, граница между иллюзией и реальностью может быть обозначена только опытом столкновения со смертью, настолько она неясна.

Учитывая тот факт, что современное искусство перегружено метафорами, ожидающими интерпретации, а также то, что метафора воздействует на воображение и ассоциативное восприятие, содержащее личностный компонент адресата текста, можно утверждать, что замечания по поводу свободы текста от его создателя (автора) становятся все более актуальными. Современные художественные тексты намеренно оставляют свободу для интерпретации, делая читателя или зрителя соучастником творческого процесса, имеют характер намека, загадки или игры со смыслом. Они втягивают адресата в сотворчество, создают в его воображении образ, сложность и семантическая неоднозначность которого зависит как от авторского замысла, так и

от восприимчивости адресата. Зачастую образы указывают на связь вещей, не сводимых воедино с учетом их номинативных значений, не имеющих признаков подобия в окружающей действительности. Подобие вещей «навязывается» через сложную систему ассоциаций или вскрывается через столкновение семантических полей, порождая образ через конфликт восприятия, когда очевидно несовпадение между лексическим и психологическим значением слова или когда коннотативное наполнение диссонирует с номинативным значением.

Образное постижение реальности, которое мы видим в художественных (поэтических) текстах, подводят к заключению о сопоставлении метафорического и мифологического мышления. Как указывает Э. Кассирер, «миф, язык и искусство восходят к единому началу, лишь впоследствии распадаясь на относительно автономные пути» (Кассирер 1990: 42). Поэзия тяготеет к мифотворчеству, т.к. репрезентирует воображаемый мир, через образное восприятие которого постигается мир смыслов, переданный при помощи метафорического языка. При этом образ предстает как относительно самостоятельный и целостный фрагмент воображаемой действительности. Как указывает Н.Д. Арутюнова, в метафоре «отношения между образом и его осмыслением никогда не достигают полной конвенционализации» (Арутюнова 1990: 23), т.е. не достигают полноты разрешения, подразумевающей устойчивость и конечность. Эта принципиальная открытость метафорического языка поэтического текста приглашает адресата к сотворчеству в смыслопреобразовании посредством интуитивного постижения и языковой догадки. Таким образом, можно утверждать, что чем глубже процессы метафоризации в тексте, тем больше пространства для сотворчества автора и читателя.

Для рассмотрения данных процессов в поэтических текстах необходимо обратиться к интерпретации лексического значения слова.

Г. Н. Складаревская предлагает рассматривать лексическое значение слова как сложное образование, состоящее из двух концентрических кругов – денотативного и коннотативного значения (Складаревская 1993: 16). Денотативное значение, в свою очередь, также имеет центральную (ядерную) и периферийную семантические части. Центральная часть отражена в словарях как прямое первичное значение предмета. Периферийная семантическая часть отражает второстепенное значение, достаточно широкое в употреблении (Складаревская 1993: 16). В структуре метафоры наиболее интересной и сложной представляется ее коннотативная семантическая часть, которая, как было сказано выше, в поэтическом тексте имеет неограниченное семантическое наполнение.

Под коннотацией мы будем понимать семантическое значение, имеющее эмотивно-оценочную и стилистическую окраску, находящуюся за уровнем лексического значения. Также при описании семантики, выходящей за рамки словарного определения, можно говорить о «речевых значениях слова», дополнительных семантических компонентах, «приращениях смысла».

Г. Н. Складарская предлагает иерархическую многоуровневую модель построения коннотативной части метафоры (Складарская 1993: 16). Под первым уровнем (коннотация I) понимаются коннотативные потенциальные семы, отражающие ассоциативные признаки, общие для всех носителей языка. Нечеткие и неясные семы, трудные для интерпретации, располагаются на втором уровне структуры коннотативного значения (коннотация II). На третьем уровне (коннотация III) находятся собственно авторские, оказиональные семы, отражающие видение автора, его ассоциативные представления, основанные на языковой картине мира и индивидуальной интерпретации, социальные, эмоциональные и прочие личностные аспекты, а также оценочный компонент предмета, признаки которого заложены в первичном значении (Складарская 1993: 17).

Таким образом, можно утверждать, что на первом уровне находится языковая метафора, семантическое значение которой достаточно близко к денотативному ядру. На этот же уровень можно определить и т.н. «мертвую» метафору, в которой объединились коннотативные признаки и денотативное значение. Именно со второго и третьего уровня, граница между которыми может быть весьма подвижной, берет начало метафора поэтического текста XX века. На этом уровне можно наблюдать, как в одном понятии объединяются признаки предметов, не имеющих подобия в действительности и посредством метафоры, которая выявляет ассоциативные связи между ними, преодолевается семантическое расстояние, их разделяющее.

Поэтический текст не представить без метафоры, а, следовательно, без многоплановости семантического содержания. Смысловую многоплановость стихотворного произведения при ограничении количества слов в строке диктует ритмический строй стихотворения, специфическая акустика и рифма. Все это делает невозможным пересказ стихотворного текста. Своеобразным идеологом метафоризации текста в прозаических произведениях снова выступает О. Э. Мандельштам: «где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала» (Мандельштам 1987: 108). Учитывая вышесказанное, можно сказать, что на уровне коннотации III (по Складарской) мы можем

наблюдать трехуровневую «надстройку» по вертикали, необходимость которой продиктована указанными выше характеристиками стихотворной строки.

Специфическую качественную характеристику стихотворного ритма Ю. Н. Тынянов определял как «тесноту стихотворного ряда» (Тынянов 1993). Понятие тесноты ряда подразумевает его единство в условиях количественной ограниченности стихотворного материала, которое диктуется ритмическим строем (Тынянов 1993). Можно предположить, что единство стихотворного ряда является выразителем поэтического мышления, подразумевающего создание целостного образа из разрозненных представлений. Филипп Уилрайт, теоретик метафоры, для иллюстрации специфики мышления поэта приводит слова Т. С. Элиота: «Когда ум поэта полностью готов к работе, он последовательно сплавляет несоизмеримые впечатления; опыт обычного человека хаотичен, нерегулярен, фрагментарен. Такой человек влюбляется или читает Спинозу; и эти два переживания не имеют ничего общего друг с другом или со стрекотанием пишущей машинки, или с запахом стряпни; в сознании поэта эти впечатления уже образуют новые комплексы». (Цит. по: Уилрайт 1990: 91).

Объединения единства разрозненных представлений требует определенной формы выражения. В качестве иллюстрации характеристики единства и тесноты стихотворного ряда, а также плотности семантического наполнения, приведем фрагмент стихотворения И. Бродского.

В этом стихотворении, имеющем хорошо известного исследователям и поклонникам поэзии И. Бродского адресата (М. Б.), речь идет о сне, где («в царствии теней») исполнилось то, «что сорвалось при свете», т.е. исполнились мечты поэта о несостоявшейся жизни. В приведенном отрывке поэт обещает, что в другой раз, «в какую-нибудь будущую ночь», он не включит свет и не прервет сон о сбывшейся мечте.

...тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недостижимостью в ней.
(Из стихотворения «Любовь», 1971 г.)

В данном отрывке представлена вторая часть сложносочиненного предложения, обладающая относительной самостоятельностью. Ритмическое и смысловое единство данного стихотворного ряда, а также экономичность в средствах выражения поддерживается

грамматическими и синтаксическими средствами: употреблением уточняющих дополнений, выделенных запятыми и использованием причастного оборота.

Глагол, обозначающий действие, представлен словом с коннотативным значением. Здесь «не включу свет» выражено как «не дернусь к выключателю» (дернуться – резкое, произвольное движение, может быть от испуга). Также присутствуют другие словоформы, имеющие эмотивно-оценочную окраску. Поэт обещает, что больше не оставит любимых в пространстве сна («в том царствии теней»), «безмолвных», т.е. молчаливых, но здесь, возможно, также бессильных перед обстоятельствами, «перед изгородью дней» - перед преградой времени.

Сделать строку более плотной позволяет включение причастного оборота «впадающих в зависимость от яви» (существование которых возможно только во сне и зависит от того, прервется сон или нет). Кроме того, емкое определение, которое воспринимается на слух как целостный речевой оборот, «с моей недостижимостью в ней», (т.е. поэт недостижим в яви, вне сна) позволяет сделать строку еще более насыщенной по смысловому содержанию и экономичной в количественном выражении стихотворных средств.

Наличие метафор «царствие теней», «изгородь дней», а также дополнительного коннотативного оттенка в «дернусь» и «безмолвных», сообщают стихотворению дополнительный семантический заряд.

Рассмотрим теперь метафоры отрывка согласно приведенной выше концепции Г. Н. Складневской. «Царствие теней», возможно, следует отнести к языковой метафоре, т.е. содержащей коннотацию I уровня, характерную для всего языкового коллектива, а «изгородь дней» - к соответствующей III коннотативному уровню, собственно авторской метафоре. Вместо «изгородь дней» было бы более привычно и ожидаемо увидеть «стена дней». Однако употребление «изгородь дней» (ограда из жердей, прутьев), дает возможность внести дополнительный смысл в характеристику разделяющей преграды: находящиеся по ту сторону изгороди остаются недостижимыми для тех, кто в яви, но через изгородь (или сквозь изгородь) можно увидеть тех, кто по ту сторону, например, во сне.

Единство стихотворного ряда также может осуществляться повтором элементов в стихотворении и общей темой метафорического языка, как можно увидеть в следующем отрывке из стихотворения И.Бродского «Венецианские строфы».

Так меркнут люстры в опере; так на убыль

к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
и площадь – как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя, нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.

(Из цикла стихотворений «Венецианские строфы», 1982 г.)

Впечатление единства стихотворного произведения и целостности образа усиливает повторяющийся элемент «так» и общая морская тема, объединяющая метафоры. «Медузами купола», которые идут на убыль (убывают, подобно воде), улица, «вьющаяся как угорь» «площадь как камбала» и морской царь Нерей из древнегреческой мифологии, подбирающий для своих дочерей гребни, выпавшие из причесок, но щедро оставляющий «желтый бесплатный жемчуг уличных фонарей». Все эти метафоры являются авторскими и несут отпечаток личного ассоциативного восприятия картины Венецианского вечера. Целостности восприятия образа способствует также однообразное синтаксическое построение – обратный порядок слов, сообщающий неторопливую динамику описанию пространства и создающий строгую ритмическую симметрию первой и второй части.

Все приведенные синтаксические, грамматические элементы и метафоры неотделимы от контекста, являются его тканью и наряду с эстетической функцией выполняют задачу образования целостного образа. Здесь же, на этом уровне подключается еще один аспект, позволяющий приумножить смысловое наполнение метафоры и увеличить семантическое расстояние между значениями слов, входящих в ее семантику, – акустический (Тынянов 1993).

Под акустическим моментом мы будем понимать все, что связано со слуховым восприятием поэтического текста – использование его фонетических и ритмических возможностей, а также изменение стихотворного ритма (пропуск в стихе) или ритмического акцентирования для актуализации смысла.

Б. А. Успенский, анализируя метафорический язык О. Э. Мандельштама, приводит строки, в которых дополнительные ассоциации вызывает слово, употребленное в прямом значении, но метафорически. Такая подмена делается за счет фонетического сходства обоих слов.

И расхаживает ливень

С длинной плеткой ручьевой.

(Из цикла стихотворений «Стихи о русской поэзии»)

Здесь, как отмечает Б. А. Успенский, слово «ливень» употреблено в метафорическом значении, на что указывает слово «*расхаживает*» – если «дождь может ходить, то ливень может расхаживать» (Успенский 2000: 301). Вместо слова «ливень» напрашивается «парень» по признаку фонетического сходства, которое сокращает между двумя словами, не имеющими подобия в осязаемой реальности, семантическое расстояние и соединяет их значения «в единый семантический спектр» (Там же). Добавим: глагол «*расхаживает*» указывает направление ассоциации и скрепляет связь между словами «ливень» и «парень».

Для рассмотрения примера использования ритмического провала для актуализации смысла обратимся к отрывку из стихотворения «Венецианские строфы» И. Бродского.

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.
Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

(Из цикла стихотворений «Венецианские строфы», 1982 г.)

Приведенный отрывок можно условно разделить на 2 части – повествование и описание. Здесь, прежде всего нас интересует ритмический провал в первой части, который акцентирует то, что выражено в 3 и 4 строке. «*Раздвигая скулы фразами на родном*». Здесь напрашивается на «*родном языке*», но поэт не договаривает до конца предложение, он говорит как бы через силу, («*раздвигая скулы*» – в метафорическом смысле), что усиливает впечатление о негативном настроении от воспоминания того, что связано с родиной.

Вместо широко употребительного и напрашивающегося «*сжимаю зубы*», которое подчеркивало бы молчание, мы видим авторскую метафору «раздвигая скулы», которая показывает усилие при разговоре на родном языке. Акустический контраст между мелодикой первых трех строк и четвертой увеличивается за счет того, что только 2-ая и 4-ая строка заканчивается на слово с закрытым слогом в конце. При этом 2-ая строка («*под открытым небом, зимой, в одном*») поддерживает ритмически 4-ую («*фразами на родном*»), чем выделяет

ее инородность по звучанию и семантическую значимость. Разорванные по строкам дополнения «в одном / пиджаке» и «сотней / мелких бликов», вошедшее в деепричастный оборот, стремятся к соединению, что способствует единству строф и усиливает динамику стихотворения.

Во второй части описание увиденного пространства передает обратный порядок слов: «Стынет кофе. Плещет лагуна...», при этом действие выражено глаголами несовершенного вида, что замедляет темп стихотворения и смягчает первую жесткую его часть с лаконичным повествованием при помощи деепричастных оборотов и просторечного и грубого «поддав».

«Обойтись без меня» перекликается ритмически с «фразами на родном», которое заканчивает первую часть стихотворения. Однако «обойтись без меня» звучит мягче из-за большего количества гласных и благодаря открытому слогу в конце строки. Тон стихотворения сменяется с жесткого и даже грубого на печальный.

Как видно из приведенных примеров, метафорические конструкции И.Бродского и являются самой тканью стиха, они не могут быть заменены на другие и сами являются текстом и контекстом одновременно. Очевидно, что применительно к Бродскому можно говорить о коннотации III уровня; при этом использование синтаксических, акустических свойств языка, столкновение фразеологизмов общеязыкового порядка с намеком на парадоксальность их авторского прочтения – все это наводит на мысль о неограниченности уровней в метафорических конструкциях как для построения, так и для интерпретации.

Итак, можно заключить, что подобные метафорические преобразования текста отличаются от традиции использования образной метафоры, сформировавшейся в русле русской романтической поэзии, и могут рассматриваться как результат поиска новых форм поэтического выражения. Теснота стихотворного ряда, динамическое развитие стихотворения, его ритмическое и смысловое единство, которое осуществляется за счет синтаксических, грамматических и фонетических средств, обогащают семантическое наполнение метафоры, которая, в свою очередь, служит наполнению и целостности создаваемого ментального концепта, не отделимого от общей ткани стихотворения. Все это позволяет говорить не только о значительном увеличении количества метафорических конструкций в поэтических текстах, но и о явлении метафоризации поэтического языка в целом.

Литература

АРИСТОТЕЛЬ, 2010. *Поэтика. Риторика*. Санкт-Петербург: Азбука-Классика.

- АРУТЮНОВА, Н. Д., 1990. *Метафора и дискурс*. In: Теория метафоры. Сборник. Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М.А. Журиной. Москва: Прогресс.
- БАРТ, Р., 1989. *Избранные работы: Семиотика. Поэтика*. Москва: Прогресс.
- БРОДСКИЙ, И. А., 2012. *Нескромное предложение*. In: Бродский И.А. *В тени Данте*. Пер. с англ. Санкт-Петербург: Азбука, 5–22.
- БРОДСКИЙ, И. А., 2012. *С любовью к неодушевленному*. In: Бродский И.А. *В тени Данте*. Пер. с англ. Санкт-Петербург: Азбука, 132–219.
- БРОДСКИЙ, И. А., 2010. *Избранное*. Москва: Иностранка.
- ГАЛЬПЕРИН, И. Р., 1981. *Текст как объект лингвистического исследования*. Москва: Наука.
- ГЛАЗУНОВА, О. И., 2000. *Логика метафорических преобразований*. Санкт-Петербург.
- КАССИРЕР, Э., 1990. Сила метафоры. In: *Теория метафоры*. Сборник. Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А.Журиной. Пер. с нем. Москва: Прогресс.
- ЛАКОФФ, ДЖ., ДЖОНСОН, М., 1990. Метафоры, которыми мы живем. In: *Теория метафоры*. Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журиной. Москва: Прогресс, 387–415.
- МАНДЕЛЬШТАМ, О. Э., 1987. *Разговор о Данте*. In: О. Э. Мандельштам. *Слово и культура*. Москва: Советский писатель, 108–152.
- МАНДЕЛЬШТАМ, О. Э., 1987. *Утро акмеизма*. In: О. Э. Мандельштам *Слово и культура*. Москва: Советский писатель, 168–172.
- МАСЛОВ, Ю. С., 1975. *Введение в языкознание*. Москва: Высшая школа.
- СКЛЯРЕВСКАЯ, Г. Н., 1993. *Метафора в системе языка*. Санкт-Петербург: Наука.
- ТЕЛИЯ, В. Н., 1988. *Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция*. In: В. Н. Телия. *Метафора в языке и тексте*. Москва: Наука, 26–52.
- ТЫНЯНОВ, Ю. Н., 1993. Литературный факт. In: Ю. Н. Тынянов. Сост. О. И. Новикова. Москва: Высшая школа, 23–121. Режим доступа: <http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon2/tynyanov.html> (15.06.2016).
- УСПЕНСКИЙ, Б. А., 2000. Анатомия метафоры у Мандельштама. In: Б. А. Успенский. *Поэтика композиции*. Санкт-Петербург: Азбука, 291–330.

Olga Shesterikova

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Russia

METAPHORIZATION OF POETIC LANGUAGE IN RUSSIAN CULTURE OF THE 20th CENTURY

Summary

This article is a study of metaphor in Russian poetic texts of the 20th century. The main idea is that in Russian poetry of the 20th century we can trace a trend towards the formation of specific conceptual metaphorical language. The basic feature of this process is the extension of the function of metaphor: from the image creation (which was typical for the poetic tradition of the period of Romanticism) to the construction of the expanded mental concept.

The articles about the theory of metaphor and excerpts of some poetic works of O. E. Mandelstam were used to address the issue of the role of metaphor in the poetic text. Poems of I. A. Brodsky were used as an illustration of the change of metaphorical language in poetic texts of the 20th century.

Based on the considered material, it was concluded that the construction of the poetic work, which implies limiting the number of words in the line, the dynamic development of the poem, its rhythmic and semantic unity, is carried out at the expense of metaphor. All of the language factors, specific to the cultural field, along with the author's interpretation, serve the content and integrity of the generated mental concept, which is inseparable from all components of the poem. This allows us to speak not only about a significant increase in the number of metaphorical constructions in the poetic texts, but also about the phenomenon of metaphorization of poetic language in general.

KEYWORDS: metaphor, metaphorical transformations, conceptual metaphor, Russian poetry of the 20th century.

Olga Šesterikova

Rusijos liaudies ūkio ir valstybinės tarnybos akademija, Rusija

POETINĖS KALBOS METAFORIZACIJA XX AMŽIAUS RUSŲ KULTŪROJE

Santrauka

Straipsnyje analizuojama poetinės kalbos metaforizacija XX a. Šio periodo literatūroje formuojasi specifinė konceptuali metaforiška kalba. Viena pagrindinių šio procesų ypatybių – metaforos funkcijų praplėtimas (nuo įvaizdžio kūrimo iki mentalinio koncepto). Tyrimo metu buvo analizuojami teoriniai darbai apie metaforas, O. Mandelštamo poezijos fragmentai, J. Brodskio poetiniai tekstai. Metafora tampa poetinio teksto kūrimo pagrindu. Visi kalbiniai elementai, būdingi

nagrinėtam kultūrinam laukui, taip pat autorių interpretacija leidžia sukurti mentalinį konceptą, kuris tampa neatskiriama poetinio teksto dalimi. To meto poetiniuose tekstuose pastebimas ne tik metaforų vartojimo intensyvumas, bet ir bendra poetinės kalbos metaforizacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: metafora, metaforizacija, konceptualioji metafora, rusų poezija XX amžiuje.

Татьяна Тарасенко

Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М.Ф. Решетнева

пр. имени газеты «Красноярский рабочий» 31, Красноярск, 660037, Россия

E-mail: tvt.tarasenko@yandex.ru

Область научных интересов: семантический синтаксис, перевод

«ЖИВУЧИЕ СТЕРЕОТИПЫ» И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА НА ЯПОНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ И ИСПАНСКИЙ ЯЗЫКИ)

Многочисленные обращения к вопросу статуса категории изоморфизма и ее конституирующих категорий и свойств в лингвистике и переводе свидетельствует об отсутствии единой лингвистической и переводческой концепция изоморфизма. Несомненным является рассмотрение переводческого изоморфизма как отношения структурного тождества между текстом оригинала и текстом перевода, фиксируемое на определенном языковом уровне с помощью неких языковых средств. Изучение соотношения фрагментов оригинала и перевода показывает, что семантическая ситуация и репрезентирующие ее предикаты и актанты в принципе изоморфны. Одновременно с этим присутствует асимметрия при переводе, детерминированная, с одной стороны, актуализированными связями в самом тексте, когда в переводе на уровне лексем появляются добавления или опущения семантических компонентов оригинала, а с другой – различиями культур, участвующих в процессе перевода. Исследование переводов семантической ситуации винопития, репрезентируемой в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», на японский, китайский и испанский языки выявило переводческую асимметрию: гиперболизация объема выпиваемых напитков, искажение элементов ситуации (закуска), потеря стилистических оттенков значения глаголов винопития (осушить, тянуть). Это приводит к искажению авторского замысла. Если М. А. Булгаков хотел показать различия в повседневной культуре персонажей, то в переводном тексте эта идея утрачена. Переводческая асимметрия порождает или подтверждает стереотипные представления о русском национальном характере: любовь к крепким алкогольным напиткам и их неумеренное потребление. Существование стереотипов приводит к поверхностному истолкованию художественного текста и искажению его в переводе, тем самым формируя и закрепляя «живучий» стереотип у читателя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ситуация, испанский язык, японский язык, питейная посуда, художественный текст.

В данной работе рассматриваются причины возникновения такого явления как асимметрия в работе переводчика, влияние ее как на перевод художественного текста, так и на восприятие всего художественного произведения.

На наш взгляд, причины переводческой асимметрии две: 1) лингвистическая и 2) экстралингвистическая, а именно «живучие» стереотипы.

Обратимся к лингвистическим причинам переводческой асимметрии, появление которой связано с изоморфизмом. «Изоморфизм – соответствие между структурами объектов. Две системы считаются изоморфными друг другу, если каждому элементу одной системы соответствует один элемент другой системы, а каждой операции в одной системе – операция в другой. Изоморфизм широко учитывается при моделировании процессов перевода» (Нелюбин 2008: 59). Вопрос о статусе категории изоморфизма и ее конституирующих характеристик и свойств в лингвистике и переводе говорит об отсутствии единой лингвистической и переводческой концепция изоморфизма.

Изоморфизм, безусловно, связан с проблемой качества перевода, которая, с точки зрения лингвистической теории перевода, может быть переформулирована как проблема переводческого тождества. Исследование соотношения оригинала и перевода художественного текста предполагает экспликацию переводческих связей, ответственных за передачу исследуемых художественных образов. Значимым в данном контексте представляется вопрос асимметрии языковой формы художественного текста.

Материалом для исследования переводческой асимметрии как явления мы выбрали роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его переводы на испанский и японский языки, а именно был произведен анализ одной ситуации – ситуации винопития как семантической. Анализируемая ситуация отражает соответственно фрагмент действительности, прежде всего нас интересует, как она репрезентирована в авторском художественном и переводном тексте. Исследования семантики текста или ситуации широко представлена в лингвистике монографическими работами (Всеволодова 2000; Ким 2009; Мустйоки 2006; Осетрова 2012), сопоставительными исследованиями на материале двух языков (Степанова 2006; Ушаков 2009).

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как выдающееся художественное произведение русской литературы XX века неоднократно становилось объектом перевода и переводческой аттракции. Мероприятия, посвященные творчеству М. А. Булгакова, привлекают ученых из разных стран (Булгаков 2012). В Японии роман «Мастер и Маргарита» впервые был переведен с итальянского в 1969 году Юко Ясуи и увидел свет под названием «Дьявол и Маргарита». В 1977 году появляется перевод Мидзуно Тадао. В 2000 году третий перевод роман М. А. Булгакова был выполнен Аяко Хоки и вышел в двух томах. Перевод романа на китайский язык был сделан в 1987 г. Цянь Чэн, и считается одним из пяти лучших в КНР. В Испании роман «Мастер и Маргарита» был переведен Амайей Лакасой (2006) и Мартой Ребон (2014).

Проиллюстрировать переводческую асимметрию как явление мы решили на примере перевода группы слов, входящих в группу «Питейная посуда». В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» представлена разнообразная питейная посуда: водку пьют стопками и рюмками, лафитными стаканами; вино – чашами; шампанское – бокалами; коньяк – стаканами или стопками. Современному читателю непонятно: почему такие напитки, как водку, вино, коньяк, герои романа пьют стаканами, к примеру:

Больной (мастер) взял стакан и выпил то, что в нем было, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног. <...> – Еще! – приказал Воланд. После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными. Или: Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан – правда, очень хорошего – коньяку.

Рассмотрим этот случай подробнее. В булгаковском тексте присутствует лафитный стакан (лафитник, лафитничек), который ни разу не встретился нам в текстах, например, анекдотов или пьес А. П. Чехова. Скорее всего, лафитник полностью исчез из повседневного быта современного горожанина как питейная посуда, поэтому и не представлен в современном городском фольклоре – в анекдотах о винопитии; а в пьесах Чехова представлена традиционная (или привычная) посуда для винопития: для водки – рюмка, для шампанского и вина – бокал (подробнее см. Тарасенко, 2015а).

Возвращаясь к рассуждениям, из каких стаканов пили персонажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, мы считаем, что в контекстах, в которых упоминается стакан, речь идет именно о лафитном стакане, а не о граненом. Граненый стакан характерен больше для чаепития в общепите, и как утверждает Ольга Ермакова, «они полностью исчезли из современного быта около двадцати лет назад» (Ермакова 2008: 66).

Таблица 1. Всю питейную посуду из романа мы представили в виде таблицы

Питейная посуда, представленная в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»	Объем посуды	Примеры из оригинала
Стакан, сосуд для питья спиртных напитков и не только: стакан воды, сока.	200–250 мл	<i>После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.</i>
Лафитный стакан, небольшой стакан, использовался для красных вин типа лафит; мог использоваться и для водки, выглядел как стопка на ножке для водки удлиненной формы.	125–150 мл	<i>Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки...</i>
Бокал, сосуд для питья спиртных напитков, чаще средней крепости.	100–250 мл	<i>Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось.</i>
Стопка (цилиндрический стаканчик), небольшой стакан для питья водки.	50–100 мл	<i>– Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.</i>
Рюмка, небольшой сосуд для питья спиртных напитков, чаще средней и большей крепости, выглядит как стопка на ножке.	20–150 мл	<i>В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки ...</i>

Рассмотрим японский перевод булгаковского романа. Мидзуно Тадао для передачи питейной посуды использует лексическую единицу *hai*, основное значение которого «емкость (сосуд) для напитка», а дополнительное значение она получает в контексте, присоединяя к себе лексему со значением напитка: например, *hai + кофе = чашка кофе*, *hai + водка = стопка водки*, *hai + вино = бокал вина*. В японском переводе булгаковского романа не представлена *рюмка*, она переведена как *стопка*. Это можно объяснить отсутствием в японской культуре такого предмета как *рюмка* для питья крепких напитков. Булгаковский *лафитный стакан* переводится в японском тексте как *бокал для вина*, тем самым меняется восприятие авторского текста: выпиваемый напиток становится менее крепким, объем увеличивается. Наряду с лексической единицей *hai* (*hai + водка = стопка водки*) переводчик использует и английскую лексему *glass*. В переводном тексте трудно определить логику переводчика при выборе питейной посуды. Можно предположить, что английская лексема *glass* в переводе используется в качестве синонима *hai* (Tarasenko 2012). Из пятнадцати текстовых примеров, в которых фигурирует питейная посуда, примерно в половине переводчик сохраняет авторский смысл, в другой половине искажает, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Оригинальный текст	Японский перевод Мидзуно Тадао	Комментарий
Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему <i>полстопки водки</i>налил <i>полстакана водки</i> .	Увеличение объема выпитого.
Прыгающей рукой поднес Степа <i>стопку</i> к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей <i>стопки</i> .	Трясущейся рукой поднес ко рту <i>стакан</i> .	Увеличение объема выпитого.
Прыгающей рукой поднес Степа <i>стопку</i> к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей <i>стопки</i> .	незнакомец же залпом выпил свой <i>стакан</i> .	Увеличение объема выпитого.
Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, <i>водка в объемистом ювелиршином графинчике</i> наконец, <i>водка в изящном, ручной работы, большом графине</i> .	Увеличение количества объема алкоголя: <i>графинчик для водки стал большим графином</i> , например, для воды, сока и т.д.
Никанор Иванович налил <i>лафитничек водки</i> , выпил, налил второй, выпил, ...	Босой <i>в стакан</i> налил себе <i>водки</i> , выпил ее залпом, затем налил еще и выпил, ...	Увеличение объема выпитого.
– <i>Чашу вина?</i> – Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?	– <i>Как насчет вина?</i> Белое? Красное? В это время дня вино какой страны вы предпочитаете?	Потеря смысла: конкретный объем заменен на абстрактный; приглашение выпить конкретного напитка стало приглашением выпить вообще.
(Кот) налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости <i>в лафитный стакан</i> .	Кот налил какую-то прозрачную жидкость <i>в бокал</i> .	Замена питейной посуды: спирт героиня романа пьет из лафитного стакана (небольшого стакана для водки); в переводе – из бокала (сосуда для вина или шампанского, большого в объеме, чем лафитный стакан).
<i>После второй стопки</i> , выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не почувствовала.	<i>Выпив второй стакан</i> , Маргарита вообще не чувствовала опьянения.	Увеличение объема выпитого.
– Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на <i>стакан</i> – правда, очень хорошего – <i>коньяку!</i>	– Ты променял меня на <i>стопку/рюмку коньяку</i> , правда, великолепного коньяку.	Уменьшение объема выпитого.
В то время как Коровьев и Бегемот чокались <i>второй рюмкой</i> прекрасной холодной московской двойной очистки	В то время как, Коровьев и Бегемот чокались <i>второй</i>	Увеличение объема выпитого.

водки.	<i>стопкой</i> очень охлажденной, доведенной до кристальной чистоты двойной очисткой водкой.	
--------	--	--

В китайском переводе булгаковское разнообразие питейной посуды усечено до стакана: *бокал, рюмка, стопка* переведены как *стакан*.

В китайском языке почти все емкости для напитков, в том числе и алкогольных, имеют в составе лексическую единицу *bei* «емкость для питья, стакан». Как и в японском языке, значение она получает в сочетании с напитком: *shui bei* *стакан для воды*, *pi jiu bei* *стакан для пива*, *bai jiu bei* *стакан для водки*. В китайском языке слово «рюмка» (*gao jiao bei*) – это стакан на высокой ножке, поэтому в тексте это может быть и стакан, и бокал. Меньше повезло лафитному стакану, так в предложении *Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки* лафитный стакан в китайском переводе стал водкой марки Лафит.

Теперь рассмотрим, как представлен перевод питейной посуды в испанском тексте булгаковского романа.

В таблице 3 представлены обратные переводы с испанского языка, курсивом выделена анализируемая единица.

Таблица 3

Оригинальный текст	Испанский перевод А. Лакаса С.	Испанский перевод М. Ребон
Единственно, что вернет вас к жизни, это <i>две стопки водки</i> с острой и горячей закуской.	Lo único que le hará volver a la vida es un par de <i>copas de vodka</i> con algo caliente y picante (<i>два бокала водки</i>)	Lo único que lo devolverá a la vida es un par de <i>vasitos de vodka</i> con algo de comer picante y caliente (<i>два стаканчика водки</i>)
Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему <i>полстопки водки</i> .	El desconocido, para evitar que el estupor de Stiopa tomase desmesuradas proporciones, le sirvió medio <i>vaso de vodka</i> con rapidez (<i>полстакана водки</i>)	El desconocido no permitió que el estupor de Stiopa creciera hasta un grado enfermizo y, con un gesto ágil, le sirvió medio <i>vasito de vodka</i> (<i>стаканчик</i>)
– А вы? – пискнул Степа. – С удовольствием!	– ¿Y usted? –pio Stiopa. – Con mucho gusto. Stiopa se llevó la <i>copa</i> a los labios con la mano	– ¿Y usted? – pio Stiopa. – Con mucho gusto. Con la mano temblorosa Stiopa se llevó <i>el vasito</i> a los

<p>Прыгающей рукой поднес Степа <i>стопку</i> к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки.</p>	<p>temblorosa y el desconocido se bebió la suya de un trago (<i>бокал</i>)</p>	<p>labios, mientras que el desconocido, de un solo trago, se atizó el contenido del suyo (<i>стаканчик</i>)</p>
<p>Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно – жутких размеров черный кот со <i>стопкой водки</i> в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.</p>	<p>Pero aún descubrió algo peor en su propio dormitorio: en el pouf de la joyera, sentado en actitud insolente, un gato negro de tamaño descomunal sostenía una <i>copa</i> de vodka en una pata y en la otra un tenedor, con el que había pescado una seta (<i>бокал</i>)</p>	<p>Pero aún iba a descubrir algo peor en su dormitorio: en la otomana de la joyera, en una pose desenvuelta, se arrellanaba un tercer invitado; en concreto, el gato negro de espantoso tamaño con un <i>vasito de vodka</i> en una pata y, en la otra, un tenedor con el que se las había ingeniado para pinchar una seta marinada (<i>стаканчик</i>)</p>
<p>Никанор Иванович налил <i>лафитничек</i> водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки...</p>	<p>Nikanor Ivánovich se sirvió un <i>vaso</i> de vodka que bebió enseguida, se sirvió otro y se lo tomó y pinchó con un tenedor tres trocitos de arenque (<i>стакан</i>)</p>	<p>Nikanor Ivánovich se sirvió una <i>copita</i> de vodka, se la atizó, se sirvió otra, hizo lo propio, y pinchó con el tenedor tres trocitos de arenque (<i>бокальчик</i>)</p>
<p>(Кот) налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в <i>лафитный стакан</i>.</p>	<p>– Noblesse oblige – indicó el gato, y le sirvió a Margarita un líquido transparente en un <i>vaso pequeño</i> (<i>маленький стакан</i>)</p>	<p>Noblesse oblige – observó el gato y le sirvió a Margarita, en un <i>vaso</i> para vino, un líquido transparente (<i>стакан</i>)</p>
<p>Бегемот отрезал кусок ананаса, посолили его, поперчили его, съел и после этого так залихватски тяпнул <i>вторую стопку</i> спирта, что все заплодировали.</p>	<p>Popota cortó una rodaja de piña, le puso sal y pimienta, se la tomó y después se zampó una <i>copa</i> de vodka con tanta desenvoltura que todos le aplaudieron (<i>бокал</i>)</p>	<p>Behemot cortó una rodaja de piña, la salpimentó, se la comió y luego se atizó con tanta bravura un segundo <i>vasito</i> de alcohol que todos le aplaudieron (<i>стаканчик</i>).</p>
<p>Выпив <i>третью стопку</i> коньяку, который на Азазелло не производил никакого действия, визитер заговорил так.</p>	<p>Asaselo, después de beberse la tercera copa de coñac, que no le hacía ningún efecto, dijo (<i>бокал</i>)</p>	<p>Después de tomarse el tercer <i>vasito</i> de coñac, que a Azazelo no le causaba ningún efecto, habló así. (<i>стаканчик</i>)</p>
<p>Коньяк он (Азазелло) тоже ловко пил, как и все добрые люди,</p>	<p>El coñac lo tomaba como es debido, apurando la <i>copa</i> hasta el final sin comer nada (<i>бокал</i>)</p>	<p>Sabía beber coñac, como hace la buena gente, atizándose <i>copas</i> de un trago y sin comer nada (<i>бокал</i>)</p>

целыми <i>стопками</i> и не закусывая.		
В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй <i>рюжкой</i> прекрасной холодной московской двойной очистки водки ...	Cuando Koróviev y Popota brindaban por segunda vez con copas de un vodka espléndido, de doble purificación... (<i>бокал</i>)	Cuando Koróviev y Behemot chocaban por segunda vez sus <i>copas</i> llenas de un excelente y helado vodka moscovita, de doble destilación... (<i>бокал</i>)

Рассмотрим перевод этих понятий (стопка, рюмка и лафитный стакан) на испанский язык.

Амайя Лакаса Санча переводит стопка как *vaso* или *sopa*, Марта Ребон – как *vasito* или *sopa*, хотя в испанской культуре принято пить водку исключительно из *Chupito*. Перевод *стопка* как *vaso* не отражает релевантного признака по объему, как и *vasito* – только по своему функциональному предназначению (*vasito* обозначает любой маленький стакан (стаканчик) для спиртных и не спиртных напитков).

Лафитный стакан – реалия, которая отсутствует в испанской культуре, несмотря на развитую традицию винопития. Амайя Лакаса переводит *лафитный стакан* как *vaso requieño*, Марта Ребон – как *vaso para vino*, выбирая стратегию описательного перевода. Исходя из назначения и объема питейной посуды, на наш взгляд, целесообразнее перевести было как *sopa*.

Рюмка как предмет отсутствует в испанской культуре. Несмотря на это, *рюмку* переводят как *sopa*, хотя *sopa* и *рюмка* имеют только внешнее сходство по форме, а не по объему. Мы считаем, что при переводе принцип объема должен преобладать, и, соответственно, целесообразным было бы перевести *рюмку* как *Chupito* (Tarasenko, Quero 2015).

При переводе ситуации винопития, репрезентируемой в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», на японский, китайский и испанский языки наблюдается явная асимметрия. Питейная посуда и ее разнообразие неактуальны для переводчика, следствием чего при переводе является гиперболизация объема выпиваемых напитков. Это приводит к искажению авторского замысла. Если М. А. Булгаков хотел показать различия в повседневной культуре персонажей, то в переводном тексте эта идея утрачивается.

Таким образом, можно утверждать, что невнимание переводчика к отдельным эпизодам художественного текста, в данном случае к не совсем точной передаче ситуации винопития, а именно искажение элементов ситуации (*питейная посуда*), приводит к искажению авторского замысла и становится причиной переводческой асимметрии. И связано это, на наш взгляд, с тем,

что в повседневной культуре переводчика этот элемент ситуации присутствует, но семантически наполнен другим смыслом, никак не пересекающимся со смыслом элемента ситуации переводного текста.

Кроме лингвистических причин на переводческую асимметрию влияют и стереотипы, которые формируют у переводчика среду восприятия переводного текста (Кирсанова 2009). В сознании иностранца Россия часто репрезентирована образами: медведь, водка, балет, автомат Калашникова и т.д. (Русский медведь, 2012).

«Что такое Россия? Ноль ответственности и океан водки!» Так назвал свою статью журналист и блогер Артур Соломонов о спектакле польского театра им. Моджеевской из города Легнице на московской сцене. Устойчивые представления носителей русского языка, связанные с винопитием, можно классифицировать как стереотипы. Для носителей другой культуры *русский* ассоциируется с типичным набором стереотипов, которые, по их мнению, отражают национальный характер русского человека: бесшабашный, щедрый и ленивый. Замыкает десятку характерных признаков русского человека любовь к выпивке (Кобозева 2002: 185). Многие из японцев склонны считать русских вероломными, хитрыми, «не вызывающими доверие и хмурыми», а Россию воспринимают как «мрачную угрозу с севера» (Михайлова 2005). По мнению американцев, русские – люди хмурые, угрюмые, склонные к неумеренному потреблению водки, что является типичным этническим стереотипом, а точнее гетеростереотипом, т.е. совокупностью оценочных суждений о других народах; такие суждения могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов (Васильев 2002). Гетеростереотипы нередко связаны с преувеличением негативных качеств отдельных представителей другого этноса и переносом их на всех представителей данного этноса; являются источником этнических предрассудков, очень живучи и редко поддаются корреляции.

Стереотипы, связанные с винопитием, можно классифицировать как автостереотипы, мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической общности ее представителями, являются важной частью самосознания нации и, как правило, содержат идеализированный образ, комплекс положительных оценок (Нежурина-Кузничная 2004: 216).

Автостереотипы, отражающие винопитие, можно распределить по группам. Первая группа – это стереотипы, отражающие значимость данного феномена для русской культуры: *Должно быть, думаю, христиане. Подполз ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, - ну, значит, русские!* (Н. С. Лесков. Очарованный странник). Так, по данным Н.Л. Чулкиной, в

концепт *Праздничный отдых* включены традиционные составляющие всех праздников русского человека: *застолье, выпивка, пьянка, веселье, гости, гулянье, торжества, на улице, цветы и музыка, шарик воздушный; <...> праздничный стол, похмелье; большая пьянка, обжорство, подарки, стол, цветы; салют, пьянка, гулянка, застолье, салат, скатерть, открытка* (Чулкина 2007: 165).

Во второй группе представлены стереотипы, содержащие оценочный компонент, а именно отношение к выпивке и пьющему человеку в русской культуре: *Без водки хорошо, а с водкой еще лучше* (А.П. Чехов. Осенью); *Пойми пьяного речи, поймешь и свиное хрюканье* (В. И. Даль. Пословицы русского народа).

В третью группу вошли стереотипы, отражающие специфику культуры винопития русских, например: *Водка «Жириновский» срывает крышу с первой рюмки. После второй рвешься в Ирак, а после третьей идешь в юридическую фирму искать своего папу.*

Наиболее устойчивыми и детально представленными оказались первые две группы стереотипов. Возможно, это объясняется тем, что для русского сознания приоритетной по сравнению с бытовой сферой является духовная сфера. В стереотипах третьей группы, в которых фиксируются представления о количестве употребляемого спиртного, питейной посуде, способах выпивания, также отражаются стереотипы, которые могли бы войти в группу культурно значимых и эмотивных стереотипов. Например, стереотипы о количестве выпиваемого спиртного и способах питья отражают представления о русском национальном характере: в чрезмерном употреблении спиртного проявляется максимализм, удаль и противоречивость русской натуры (Тарасенко 2004; Тарасенко 2005). По мнению Ю. Щеголевой, истоки автостереотипа лежат в архетипических образах героического эпоса, «истинный богатырь – это смелый и даже дерзкий воин, не применяющий никакого колдовства, готовый встретить любую опасность и склонный к переоценке своих сил» (Щеголева 2006: 194). Архетипические мотивы можно проследить и в художественной литературе, например в образе Тараса Бульбы: *Пить и бражничать, как только может один русский <...> русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность* (Н. Гоголь. Тарас Бульба).

Переводческая асимметрия порождает или подтверждает стереотипные представления о русском национальном характере: любовь к крепким алкогольным напиткам и их неумеренное потребление. Руководствуясь стереотипным представлением о другой культуре, переводчик «накладывает» их на переводной текст в целом, что в итоге приводит к искажению авторского

замысла. Если М. А. Булгаков хотел показать персонажей в быту, различия их повседневной культуры, то в переводном тексте эта идея утрачена. Существование стереотипов приводит к поверхностному истолкованию художественного текста и искажению его в переводе, тем самым формируя и закрепляя «живучий» стереотип у читателя.

Литература

TARASENKO, T., TARASENKO, V., 2012. Situation of alcohol drinking: semantic and linguistic aspects (based on the novel by M. A. Bulgakov “The Master and Margarita” and its translation into Japanese Language). *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 5 (6), 880–888.

TARASENKO, T., QUERO GERVILLA, E. F., 2015. Everyday Culture in the Original Novel and its Translation (Based on the Translations of the Master and Margarita Novel by Mikhail Bulgakov Into the Spanish Language). *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 12 (8), 2848–2860.

Михаил Булгаков, его время и мы 2012: *Michail Bułhakow, jego czasy i my*. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy i Janusza Świeżego (Коллективная монография под редакцией Гжегожа Пшебинды и Януша Свежего). Krakow: Uniwersytet Jagielloński.

ВАСИЛЬЕВ, Л. Г., 2002. К лингвокультурным параметрам: кто мы такие? In: *Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности*. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 48–54.

ВСЕВОЛОДОВА, М. В., 2000. *Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка*. Москва: Издательство Московского университета.

ЕРМАКОВА, О. П., 2008. *Жизнь российского города в лексике 30-х – 40-х годов XX века: краткий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений*. Калуга: Эйдос.

КИМ, И. Е., 2009. *Личная сфера человека: структура и языковое воплощение*. Красноярск: Издательство Сибирского федерального университета.

КИРСАНОВА, Е. М., 2009. К вопросу о влиянии стереотипов на процесс перевода. In: *La traduction: philosophie, linguistique et didactique*. Ed. T. Milliaressi. Lille: Universite Charles-de-Gaulle, 197–201.

КОБОЗЕВА, И. М., 2002. *Лингвистическая семантика*. Москва: Эдиториал УРСС.

- МИХАЙЛОВА, Ю. Н., 2005. Россия как миф. *Родина*, 10, 23–36.
- МУСТАЙОКИ, А., 2006. *Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам*. Москва: Языки славянской культуры.
- НЕЛЮБИН, Л. Л., 2008. *Толковый переводческий словарь*. Москва: Флинта: Наука.
- НЕЖУРИНА-КУЗНИЧНАЯ, Н. Ю., 2004. *Популярная этнопсихология*. Минск: Харвест.
- ОСЕТРОВА, Е. В., 2012. *Манифестация факта в русском высказывании, или Событие выражения*. Красноярск: Издательство Сибирского федерального университета.
- «Русский медведь»: история, семиотика, политика 2012. Под ред. О. В. Рябова и А. де Лазари. Москва: Новое литературное обозрение.
- СТЕПАНОВА, С. Л., 2006. Полиситуативный анализ глаголов рисования In: *Вестник Томского государственного университета*, 120, 75–81.
- ТАРАСЕНКО, Т. В., 2004. Ситуация винопития и ее отражение в анекдоте. In: *Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков*. Београд: Чигоја штампа, 179–184.
- ТАРАСЕНКО, Т. В., 2005. Анекдот как феномен языка и культуры. In: *Studia Rossica Posnaniensia*, vol. XXXII. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 161–172.
- УШАКОВ, С. Г., 2009. Особенности узуса при выражении движения в русском и французском языках. *Известия РГПУ им. А. И. Герцена*, 93, 213–217.
- ЧУЛКИНА, Н. Л., 2007. *Мир повседневности в языковом сознании русских: Лингвокультурологическое описание*. Москва: Издательство ЛКИ.
- ЩЕГОЛЕВА, Ю., 2006. Стереотип положительного героя в традиционной культуре и современном массовом сознании. In: *Русские и «русскость»: Лингво-культурологические этюды*. Москва: Гнозис, 179–262.

Tarasenko Tatiana

Reshetnev Siberian State Aerospace University, Russia

LIVING STEREOTYPES AND TRANSLATION ASYMMETRY (BASED ON THE MATERIAL OF JAPANESE, CHINESE AND SPANISH TRANSLATIONS OF MIKHAIL BULGAKOV'S NOVEL)

Summary

Numerous references to the issue of the status of a category isomorphism and its constituent categories and properties in linguistics and translation studies indicate the absence of a unified linguistic and translation isomorphism theory. No one doubts the consideration of translation

isomorphism as a relation of structural identity between the source text and the translation text fixed at a certain level of language with the help of some linguistic resources. The study of the relations between the original and translation fragments indicates that the semantic situation as well as its predicates and actants are essentially isomorphic. Simultaneously, the asymmetry is present in the translation, being determined, on the one hand, by the text actualized connections when additions or omissions of semantic components of the original are generated, and on the other hand – by cultural differences involved in the translation process. The study of the translations of the semantic situation of wine-drinking, represented in M. Bulgakov's novel *The Master and Margarita*, in Japanese, Chinese and Spanish has revealed asymmetry: the exaggeration of the amount of beverages consumed, the distortion of the elements of the situation (*snack*), the loss of the stylistic connotations of the verbs nominating wine-drinking (*dry up, nip*). All of these lead to the distortion of the author's intention. If M. Bulgakov wanted to show the difference in the everyday culture of the characters, this idea has been lost in the translation process. The translation asymmetry gives rise to (or confirms) the stereotypes of Russian national character: love of alcoholic beverages and their excessive consumption. The existence of stereotypes leads to a superficial interpretation of a literary text and its distortion in translation, thereby forming and fixing the "tenacious" stereotype in the reader's mind.

KEYWORDS: situation, Spanish, Japanese, drinking utensils, literary text.

Tatjana Tarasenko

Valstybinis Sibiro aerokosminis universitetas, Rusija

STEREOTIPAI IR VERTIMO ASIMETRIJA (M. BULGAKOVO ROMANŲ VERTIMAI Į JAPONŲ IR ISPANŲ KALBAS)

Santrauka

Daug pasisakymų apie izomorfizmo kategoriją ir su ja susijusius terminus kalbotyroje rodo tai, kad nėra vienos nuomonės dėl to, kaip derėtų traktuoti šią kategoriją kalbotyroje ir vertime. Akivaizdu, kad reikia kalbėti apie izomorfizmą kaip apie originalo ir vertimo santykį, kurį galima identifikuoti tam tikrame kalbos lygmenyje. Lyginant originalaus teksto ir vertimo fragmentus paaiškėja, kad semantinė situacija ir ją iliustruojantys predikatai bei aktantai yra izomorfiški. Verstiniame tekste taip pat pastebima asimetrija, kuri atsiranda verčiant leksemas ir šiame procese praleidžiant arba pridėdant tam tikrus elementus. Dar vienas svarbus asimetrijos veiksnys – vertimo procese išskylantys kultūriniai skirtumai. Tiriant vyno gėrimo semantinę situaciją ir jos transformaciją M. Bulgakovo romano

Meistras ir Margarita vertimuose į japonų, kinų ir ispanų kalbas, pastebėta vertimo asimetrija: gėrimo kiekio hiperbolizacija, situacijos elementų iškreipimas, veiksmažodžių, reiškiančių vyno gėrimą, stilistinių ypatumų nepaisymas. Dėl to gautas rezultatas – iškreipyta autoriaus mintis. Vertimo asimetrija gimdo arba įtvirtina stereotipus apie rusų nacionalinį charakterį: meilę stipriems alkoholiniams gėrimams ir piktnaudžiavimą jais. Stereotipai skatina paviršutinišką teksto interpretaciją, taip pat paviršinių jos lygmenį vertime.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: situacija, ispanų kalba, japonų kalba, meninis tekstas, indai gėrimams.

Roman Tryfonov

V. N. Karazin Kharkiv National University

пл. Свободи, 4, Харків, 61096, Україна

E-mail: movoromano@yahoo.com

Research interest: linguistic theory of discourse, linguistic pragmatics, history of concepts.

THE CONCEPT OF MAN IN METALINGUAL EXPRESSIONS

The article deals with metalingual comments which follow the word man (in utterances in different, mainly Slavic, languages). It is shown that most of the utterances mirror the reflection on connotative and stylistic features of the lexeme. In such cases the conceptual semantics which declares the value sense of a notion is stirred up. It is typical to use metalingual components in expressions which have the meaning of ought, obligation, directivity, etc. Among other significant operations we distinguish taking the reality out of the concept bounds (“unworthy of the name of man”) or vice versa, its “transference” closer to the concept core (“a man with capital M”); it is concerned with fullness or lack of main conceptual characteristics of man in the object under evaluation. A special role of a precedent utterance with metalingual component “Man – how proud it sounds” from Maxim Gorky’s play “The Lower Depths” in the studied fragment of discourse is demonstrated. The ambivalence of perception is its characteristic feature: in metatext we can observe both positive and negative reactions. It proves great differences in the ways to build the concept in individual world images. We also show that the specific usage of the word man in political discourse becomes an object of indicative metalingual reflection where its main features are semantic vagueness and manipulateness. The reaction on such usage of this word reveals the sense of its emptiness and fills it with the meaning unfavourable for the politician. In general, the study showed that a stylistically neutral word and concept name man becomes diversely connoted in discourse because of major significance of the said concept in the world image and as a result of using this word in numerous contexts – fictional, journalistic, religious, political, slangy.

KEY WORDS: *conceptual semantics, man, discourse, conceptual characteristics.*

The concept of MAN is obviously a key one in each language world image. The cognitive structure of this mental model is so complicated that there is no single opinion in modern philology on defining the nature of this corpus of knowledge: the cognitive structure of MAN in language is marked

as a concept, macro concept (Ядрихинская 2011), super concept (Свтушина 2005; Горбань *et al.* 2008), conceptual sphere (Завалишина 2005; Шведова 2011; Цыдендамбаева 2011) or conceptual area (Балалыкина, Егоров 2007). There is also a well-known classical article «Образ человека по данным языка» (“The Image of Man in the Language Facts”) (Апресян 1995) in which the lingual realization of a person’s emotions, thoughts and will, their perceptive processes and so on are deeply worked over. The notion of “conceptual image of homo sapiens as an object of anthropocentric semantics” is used by L. Nikitina in her doctoral thesis (Никитина 2006). She emphasizes the following categories of semantic features of this structure: partitivity (the correlation of a part with the whole), evaluativeness and stereotypization. In the studies concerning mental language model of MAN, the notion of prototype is also of great importance; it is accentuated that the majority of phraseological units that involve the concept of MAN are characterized by the pronounced prototypical situation (Ковалюк 2010: 312).

The extraordinary cognitive semantic voluminosity of knowledge about man reflected in language makes studying the image of man a multifold thing, and this paper will deal with a specific phenomenon which has not been studied yet, although it is very significant for the lingual reflection of man. We will come to nothing more but a particular fragment – only the word *man* (in different languages) as a name of the respective concept in a number of uses of the word, and we will speak about the metalingual comments which follow this word in speech. The metalingual component actualized in the discourse for the stylistic and pragmatic reasons, it is also very significant to the conceptualization.

Most of the utterances mirror the reflection on connotative and stylistic features of the lexeme *людина / человек / człowiek* which is denoted as a “lofty name”, “eminent status”, “beautiful word” and so on: «Он <...> просто, с шуткой вошел в ряды бывших беспризорных <...>, как свой брат, который вместе с ними несет на своих плечах **высокое звание Человека**» (Макаренко 2014: 20); “Ушли в бессмертие люди, отстоявшие в немислимых испытаниях **высокое имя Человека**” (ulpressa.ru, accessed 6 May 2011); «...для майбутніх поколінь не повинно залишатися невідомих і маловідомих імен тих, хто з гідністю склав екзамен на **високе звання Людини** в часи лихоліття” (https://uk.wikipedia.org/wiki/Тарнавський_Микола_Дмитрович); „W takiej pracy nie ma różnic nijakich, które dzielą ludzi na obcych i swoich, na wrogów czy przyjaciół. Jest tylko człowiek. **Jakie to piękne słowo: człowiek!..** Praca jednoczy człowieka z człowiekiem i powstaje braterstwo pracy” (Morcinek 1949: 54). In such cases the conceptual semantics which declares the

value sense of a notion is extremely significant. As we know, it is precisely the value component, a distinctive mark of the concept, that is indeed brought into focus by metalingual means. At the level of general stylistics, it is impossible not to admit that such appeals make the text somewhat slogan-like and pathetic. The usage of this kind of metalingual component is typical for expressions which have the meaning of ought, obligation, directivity, etc.: *“Піднесено і хвилююче випускники промовляли клятву молодшого спеціаліста, де обіцяли бути для вихованців живими взірцями чеснот, добрими справами доводити високе ім'я – Людина...”* (www.sttc.rv.ua, accessed 5 June 2012); *“Тож давайте будемо милосердними і небайдужими і у суєті суєт нашого невгамовного і швидкоплинного життя все ж не будемо забувати, що поруч нас живуть ті, кому потрібна наша допомога, адже ми несемо високе ім'я – Людина”* (www.horodysche.org.ua, accessed 28 Dec. 2011).

The strong pragmatics of metalingual component “lofty name” works in two ways in discourse. As it was shown in the examples above, it is used to indicate the highest possible degree of positive evaluation. On the other hand, the pronounced evaluativeness serves as a way to highlight the contrast between the ideal world image fixed in the connotative component and the unsatisfactory reality: *“Спажывецтва, киталту: "а што ты мне дасі" – ганебная і прыніжаючая высокае імя чалавека думка”* (www.racyja.com, accessed 30 Mar. 2015); *“Людина народжена для радості, праці, для братства. Фашисти принизили в моїй свідомості високе ім'я людини. Я перестав відчувати себе вінцем творіння”* (Довженко 1986: 330); *“выступают на сцену и другие герои, герои силы и твердой воли, или, вернее сказать, не силы и воли, а герои своеволия и грубых инстинктов, занявших у них в личной жизни место руководящих начал и осквернивших высокое имя человека грязью низких страстей”* (lib.pravmir.ru, archbishop Feodor). At the language level, an obligatory presence of a verb (*принизити, осквернить*) attracts special attention: it means that the stress falls on action and dynamics. The ethical evaluation is displayed through action, and the result of this action is represented as nothing more but a change in the language world image – thus the power of evaluation is increased by expression.

A strong pragmatic intention itself stimulates the existence of broader statements in which the fragment of language world image is “reformatting”: *“со временем опорочили это прекрасное слово – Человек и стали называть им всех подряд у кого есть две руки, две ноги... Есть человек, а есть человекообразное это такой паразитирующий вид на человеке и планете в целом, такой же в основе своего существования как глисты, вши и т.п. Отличное внешнее сходство с*

человеком, позволяет ему паразитировать в невероятных масштабах. Отличить человека от человекообразного можно, только по поведению и совершаемым поступкам, других способов отличия не существует. Этот вид, вершина эволюции паразитирующих организмов” (fishki.net, accessed 23 Dec. 2015). Here we observe the act of taking the reality class out of the concept bounds. Moreover, the text is made as if the mentioned class is taken not only out of the concept bounds with its evaluative zone, but also out of denotative notion bounds as well. The author’s intention at the language level is realized particularly in stylization of the rationalized text, its approximation to the scientific style (primarily in syntax), the presence of specific nomenclature, and also in the explicit minimization of expressive and emotional component (emotionality becomes hidden in the subtext). The speech conventions and background knowledge help us to understand that exceeding the bounds of rational notion of man is a sort of a game – it is a schema. But exceeding the concept bounds (at least in the individual way of world conceptualization) directly realizes the author’s intention.

In general, we must admit that operations with a field structure of a concept in the discourse are made with a pragmatic aim also by other language means. A word combination *человек с большой буквы* / *człowiek z Wielkiej Litery* implies a high level of positive evaluation, as well as “brings” the phenomenon of reality closer to the concept core and affirms the presence of main conceptual features in the object under evaluation: “Человек с большой буквы: за свою жизнь он высадил 8 млн деревьев” (fun.facenews.ua, accessed 14 Apr. 2016); “p. Agnieszka, to człowiek z Wielkiej Litery, która uwielbia to co robi i ma ku temu Dar i ogromne serce»” (www.facebook.com, accessed 12 Oct. 2015). Similarly: “Człowiek w pełnym znaczeniu tego słowa – potrafi dostrzec wartość i piękno w otaczającym go świecie” (www.fundacja-fiona.org.pl); let us also compare this with well-known Victor Hugo’s words about Giuseppe Garibaldi: “Garibaldi! Qu’est-ce que Garibaldi? C’est un homme, rien de plus, mais un homme dans toute l’acception du terme, un homme de liberté, un homme de l’humanité” (cit. by Frégné et Pasteur 2011: 19). As we can see, such a method is extremely effective rhetorically. When compared to the object under evaluation, references to the notional and evaluative contents of a concept emphasize the fullness of its realization in the context of reality.

A powerful way to create a negative evaluation is by taking an object out of concept bounds or moving it to the concept periphery based on the lack of main characteristics: “Это ведь и не человек в полном смысле этого слова. У него нет желаний, нет мечты. Он будто по инерции живет” (www.kinopoisk.ru, accessed 5 July 2010); “нетрудящийся недостоин имени человека и непременно погибнет” (predtecha.kiev.ua); “Хто дозволяє глумитися з матері, той не вартий

імені людини” (slovoprosvity.org, accessed 4 Oct. 2013); “История беспощадна <...>, а тот, кто в ее оправдание ссылается на рубку леса, при которой неизбежно “летят щепки”, не достоин имени человека, во всяком случае не вполне достоин его” (Адамович). The last context demonstrates that the degree and flatness of evaluation can vary, but it nonetheless correlates with basic world image and ideal cognitive model, according to G. Lakoff (1987: 68–76).

As a rule, when we speak about the full sense of the word *man* the evaluation aims exactly at the man, and exactly his (referent’s, real object’s) correspondence or lack of correspondence to the ideal cognitive model is being checked. As we have observed, this rhetorical method is also used for evaluating society as a man’s place to live. Writing about emigration a journalist notes: “Тепер я розумію людей, які вирішили втекти з цієї країни, щоби просто жити. <...> Звісно, “там, де нас нема”, також не все просто і не все чудово. Багато чого доводиться долати. Але відчуття того, що ти людина в повному розумінні цього слова, варті будь-яких незручностей” (<http://tyzhden.ua>, accessed 21 Apr. 2011). Here “the fullness of man’s sense” becomes a marker of social development stage.

The precedent utterance with metalingual component “Человек – это звучит гордо” (“Man – how proud it sounds”) from Gorky’s play “The Lower Depths” (1902) is special in the studied fragment of discourse. Its frequent reproduction and replication, its use as a slogan at school cabinets and as a topic for pupil and student compositions allow us to establish its role in attaching connotations to the language unit. In discourse, the metalingual method often underlies metatext because the speakers can express their opinions about the given utterance. The ambivalence of perception is its characteristic feature; we can observe both positive and negative reactions: “Подобную фразу произнес персонаж одного литературного произведения, и с ней нельзя не согласиться. Человек является частицей Мироздания. Его тело и разум подчинены единым законам Мироздания” (www.matrixofpower.ru); “Многие из нас слышали высказывание пролетарского писателя: “Человек – это звучит гордо!” Лично я не согласен с этим высказыванием потому, что у Бога совершенно другая оценка человека. Бог сказал, что сердце человека крайне испорчено!” (ryagusov.ru); “Людина – це звучить гордо? Взагалі так. Але не в наш час. Інакше ми жили б по-іншому. У наш час поняття гордості і самоповаги, а також поваги один до одного втоптані в бруд. Існує тільки ілюзія цього. Насправді основну масу цікавлять тільки гроші” (funbook.com.ua); “Заезженная фраза прошлых времён: “человек – это звучит гордо”. А так ли это? Я в этом не уверен. Скорее, некоторый человек звучит гордо, но не каждый человек

вообще. Возьмём среднестатистического человека...” (gulevich.net). The difference in the ways to build the concept of MAN is evident here. The last context also demonstrates that the inclination of the language personality to the stereotypization is a very important part of aphorism reception (as the level of the latter in Gorky’s utterance is extremely high).

Rhetorical mechanisms aimed at “renaming” a man in discourse, refusal of some nomination by speaker or ascription of such a refusal to the discourse opponent also possess strong pragmatics. Consider the following example: *“По суті, держава хоче оподатковувати... намір продати. Погрожуючи адміністративною відповідальністю. Це дикість ще й тому, що людина (аби фіскалам було зрозуміліше – “фізособа”), яка продає раніше придбане, не обов’язково щось заробляє”* (<http://tyzhden.ua>, accessed 30 May 2011). This fragment is indicative of the actions regarding discourse opponent: an excessive metalingual “commentary” on the name of the ЛЮДИНА (MAN) concept serves as a tool for realizing the pragmatic intention of “dispersonification” of the fiscal government bodies and becomes the basis for implicit negative evaluation that is intensified by the direct emotional evaluation expressed by the word *дикість*.

The specific usage of the word *man* in political discourse becomes an object of indicative metalingual reflection. Its main features in this case are semantic vagueness and manipulateness. The reaction on such a usage of this word was fixed in Soviet epoch in a genre of anecdote as a way of “language self-defense”, as an opposition to the language of totalitarian propaganda: *“Чукча слышал речь – все во имя человека, все на благо человека! Чукча видел этого человека!”* In Ukrainian political discourse of the beginning of the 21st century, among the key slogans of different political movements was the slogan *“Україна для людей”* used by the Party of Regions and its leader Viktor Yanukovich, who ran for president at the time. The simplest semantic analysis with the use of presuppositions will easily prove the manipulative nature and semantic emptiness of this slogan which perfectly fits the definition of a simulacrum. This fact was used by Yanukovich’s political opponents who made metalingual operations to reveal its emptiness and to fill it with the meaning unfavourable for the politician. One of the most popular ways of playing the slogan up was a phrase *“Україна для людей, список додається”* (<http://www.volynnews.com>, accessed 25 Apr. 2011), where an appeal to the concrete referent (absent in the original phrase) emerged so as to imply negatively evaluated intentions of the ruling party. An appeal to Viktor Yanukovich’s criminal past was also a popular reaction to the slogan *“Україна для людей”*. It was proclaimed by the former minister and later political prisoner Yuri Lutsenko: *“Янукович перестав приховувати своє минуле, обравши своїм*

передвиборним гаслом "Україна для людей", оскільки на злочинському жаргоні "людьми" називають злочинців у законі" (<http://tsn.ua>, accessed 13 Jan.2010). As we can see, the linguistic nature of this method lies in making a sign which at first was semantically empty, concrete, connecting it to real facts, "finding" a referent and using these connections to discredit the party which originated that sign. Moreover, initially neutral and non-connoted word *люди* (people) is provided with a slangy criminal connotation.

To conclude, we must admit that the main feature of metalingual commenting on the word *man* in fiction, journalistic and religious discourses is its connoted nature, which is actively indicated by the speakers. The connotations can a) be used for realization of the speaker's intentions; b) be forced and proved; c) be removed or weakened; d) be made on purpose with the aim of building a new sense which reflects the speaker's intentions. A stylistically neutral word and concept name *man* becomes diversely connoted in discourse because of major significance of the said concept in the world image and as a result of using this word in numerous contexts – fictional, journalistic, religious, political, slangy.

References

- FRÉTIGNÉ, J.-Y., PASTEUR. P., eds., 2011. *Garibaldi: modèle, contre-modèle*. Presses universitaires de Rouen et du Havre.
- LAKOFF, G., 1987. *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. The Univ. of Chicago Press.
- MORCINEK, G., 1949. Nowi ludzie. In: Zred. A. KUBISZ i H. JASICZEK. *Kalendarz «Głosu Ludu» na rok 1949. Rocznik IV*. Czeski Cieszyn, 48–58.
- АДАМОВИЧ, Г. Предисловие. In: АЛДАНОВ, М. *Самоубийство*. Роман. Режим доступа: <http://lib.ru/RUSSLIT/ALDANOW/samoubijstwo.txt> (31.08.2016).
- АПРЕСЯН, Ю. Д., 1995. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. *Вопросы языкознания*, 1, 37–67.
- БАЛАЛЫКИНА, Э. А. и ЕГОРОВ, Д. С., 2007. Концепт «человек» в поэзии И. Бродского. *Уч. зап. Казанского гос. ун-та*, т. 149, кн. 2, 228–236.
- ГОРБАНЬ, В., КЛОКОВА, М., ПОРОЖНИЮК, А., 2008. Фразеологизмы с суперконцептом *человек* в русском, украинском и немецком языках. *Докса*. Збірник наукових праць з філософії та філології, 12, 382–389.

- ДОВЖЕНКО, О., 1986. *Кіноповісті. Оповідання*. Київ: Наук. думка.
- ЄВТУШИНА, Т. О., 2005. *Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В. Стефаника*. Автореф. дис. ... канд. філол. н. Київ.
- ЗАВАЛИШИНА, К. Г., 2005. *Концептосфера «человек телесный» в языке русского, немецкого и английского песенного фольклора*. Автореф. дисс. ... канд. філол. н. Курск.
- КОВАЛЮК, Ю. В., 2010. Репрезентація образного складника концепту ЛЮДИНА. *Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія»*, сер. філол., 13, 311–316.
- МАКАРЕНКО, А. С., 2014. *Максим Горький в моей жизни*. Москва: Директ-медиа.
- НИКИТИНА, Л. Б., 2006. *Образ-концепт «homo sapiens» в русской языковой картине мира как объект антропоцентристской семантики*. Автореф. дисс. ... д-ра філол. н. Омск.
- ЦЫДЕНДАМБАЕВА, О. С., 2011. *Эвфемистическая картина мира: концептосфера «человек»*. Автореф. дисс. ... канд. філол. н. Улан-Удэ.
- ШВЕДОВА, З. В., 2011. Концептуализация умственных способностей человека в белорусской фразеологии. *Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова*, сер. 9. Сучасні тенденції розвитку мов, 6.
- ЯДРИХИНСКАЯ, Е. А., 2011. Человек. In: Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. *Антология концептов*. Т. 8. Волгоград: Парадигма, 264–280.

Roman Tryfonov

V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Research interest: linguistic theory of discourse, linguistic pragmatics, history of concepts.

THE CONCEPT OF MAN IN METALINGUAL EXPRESSIONS

Summary

The article deals with metalingual comments which follow the word *man* (in utterances in different, mainly Slavic, languages). It is shown that most of the utterances mirror the reflection on connotative and stylistic features of the lexeme. In such cases the conceptual semantics which declares the value sense of a notion is stirred up. It is typical to use metalingual components in expressions which have the meaning of ought, obligation, directivity etc. Among other significant operations we distinguish taking the reality out of the concept bounds (“*unworthy of the name of man*”) or vice versa, its “transference” closer to the concept core (“*a man with capital M*”); it is concerned with fullness or lack of main conceptual characteristics of man in the object under evaluation. A special role of a

precedent utterance with metalingual component “*Man – how proud it sounds*” from Maxim Gorky’s play “The Lower Depths” in the studied fragment of discourse is demonstrated. The ambivalence of perception is its characteristic feature: in metatext we can observe both positive and negative reactions. It proves great differences in the ways to build the concept in individual world images. We also show that the specific usage of the word *man* in political discourse becomes an object of indicative metalingual reflection where its main features are semantic vagueness and manipulateness. The reaction on such usage of this word reveals the sense of its emptiness and fills it with the meaning unfavourable for the politician. In general, the study showed that a stylistically neutral word and concept name *man* becomes diversely connoted in discourse because of major significance of the said concept in the world image and as a result of using this word in numerous contexts – fictional, journalistic, religious, political, slangy.

KEY WORDS: conceptual semantics, man, discourse, conceptual characteristics.

Roman Trifonov

V. N. Karazino vardo Charkovo nacionalinis universitetas, Ukraina

KONCEPTAS ŽMOGUS METAKALBOJE

Santrauka

Straipsnyje analizuojami metakalbiniai komentarai, siejami su žodžiu *žmogus* (analizuojami šnekamosios kalbos tekstai slavų kalbomis). Įrodoma, kad daugumoje tekstų naudojami reikšminiai ir stilistiniai leksemos komponentai. Šiais atvejais svarbiausia tampa vertybinė sąvokos reikšmė. Metakalbos komponentai dažni tekstuose, kuriuose pasitelkiamas modalumas: aiškinama, kas yra privaloma ar rekomenduojama, ir pan. Taip pat pastebėta atvejų, kai realybė nesiejama su koncepto aprėptimis („nevertas žmogaus vardo“) arba, priešingai, jo pritaikymas priartinamas prie koncepto esminio komponento („žmogus iš didžiosios Ž“); tai vyksta dėl objekto siejamo su konceptu *žmogus* atitikimo ar neatitikimo konceptui priskiriamoms reikšmėms. Ypatinga reikšmė priskirtina žodiniams tekstams, kuriuose naudojamas metakalbinis komponentas „Žmogus – tai skamba išdidžiai“ iš M. Gorkio pjesės „Dugne“. Šiam komponentui būdingas ambivalentiškumas: metatekste pastebimi ir teigiami, ir neigiami vertinimai. Tyrimas įrodė, kad žodžio *žmogus* vartojimas politiniame diskurse įgauna semantinio neapibrėžtumo ir manipulytvyvumo savybės. Stilistiškai neutralus žodis-konceptas *žmogus* tirtuose diskursuose įgauna įvairių reikšmių. Tai gali būti aiškinama šio koncepto svarba

kuriant pasaulėvaizdį ir minint jį daugybėje kontekstų: grožinėje literatūroje, spaudoje, politiniuose ir religiniuose tekstuose, šnekamojoje kalboje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konceptualioji semantika, žmogus, diskursas, koncepto savybės.

Елена Юрчук

Киевский национальный лингвистический университет,

Большая Васильковская, 73, 03680, Киев, Украина

E-mail: yurchuk_elena@rambler.ru

Область научных интересов автора: антропология литературы, современная литературная компаративистика, семиотика текста.

ЛИТЕРАТУРА КАК ТЕКСТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА

Многостороннее применение метафоры в современной художественной литературе, обыденной речи и научных дискуссиях лишний раз подчеркивает ее эстетическую ценность и преимущества. Полифункциональная практичность метафоры подтверждается активным использованием в различных социальных сферах как одного из распространенных способов описания и обозначения. В современном мире она все чаще участвует в процессе формирования национального мировоззрения, укрепляет прочные связи с логикой и мифологией. Активное проникновение метафоры отмечено также в научной терминологии, масс-медиа, рекламе, товарном производстве. Человеческая социальность выражается на языковом уровне в символических и метафорических образах. Метафорам социальности (игре, сцене, текстуальным метафорам) соответствуют идентичные им в литературе. В современной литературе письмо может выступать в роли антропологической репрезентации совместного опыта проживания и переживания событий. В связи с этим антропология заинтересована в изучении саморепрезентативных повествовательных форм социума. Антропологическая характеристика современного литературного процесса во Франции подается на основе ряда концепций, предлагающих также использовать метафору в значении этно- и социокультурного элемента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текстуальная метафора, культурный продукт, антропология литературы.

Перед антропологией литературы на сегодняшний день стоит первостепенная задача поиска своего места наряду с другими междисциплинарными науками. Успешное решение этой задачи напрямую зависит от социальной и культурной парадигм, от общего состояния гуманитаристики в современных условиях, которая продолжает оставаться основным

производителем культурных ценностей для современного мира. Находясь в условиях фактической метафоризации понятий «ценность» и «производство», современная наука о литературе старается удовлетворить запросы социума в новых политических, моральных и эстетических ценностях, используя компромис между новшествами и верностью традициям гуманистического мировоззрения. Активность антропологии литературы в наше время вызвана, прежде всего, общей тенденцией самосохранения и развития самой теории литературы, поиском новых аспектов исследования, стремлением обновить методологический инструментарий для расширения собственного институционального пространства и исследовательского горизонта. Современное французское литературоведение в наше время проявляет к этой дисциплине искренний интерес, стремится разносторонне оценить это новшество в гуманитарной сфере, определить его концептуальность и связь с поэтикой в широком смысле. И здесь внимание уделяется, прежде всего, исследованию самой антропологической парадигмы, которая за последние десятилетия активно пополнилась социологическим, культурологическим, этнографическим подходами к исследованию. Научные концепции Ж. Делеза, А. Бадью, Ж. Рансьера, использующие тексты Э. Золя, С. Малларме, М. Пруста, вызывают к себе живой интерес прежде всего тем, что демонстрируют различные комбинации методов исследования. В целом, практика сочетать антропологический и культурологический анализ с применением нарратологии, семиотики, герменевтики дает возможность всесторонне изучить повествовательные особенности литературной модели, ее социокультурные функции, трансформационные изменения в историческом срезе.

В связи с этим стоит отметить позицию исследовательницы С. Андре, предпринявшей попытку объединить антропологический и культурологический анализ с применением нарратологии, семиотики, литературной истории для всестороннего изучения возможностей функционирования нарративной повествовательной модели. По ее мнению, такой подход позволяет исследовать устойчивую систему институциональных повествований (мифов, героических эпосов, аксиологических рассказов), изучить их эволюцию в историческом контексте, определить социальные функции и когнитивную роль. Сторонником антропологического направления в литературном исследовании можно считать Ж. Мейзоа, указавшего на одну из художественных особенностей письма представителей Третьей Республики, а именно, сохранять энциклопедичность даже в форме устных выражений. Очередное открытие в области подобных исследований принадлежит В. Снокеру, который,

изучив эстетическую природу антропологических образов, пришел к выводу о схожести обрядов и исторического нарратива на уровне структурного происхождения. Определенный интерес вызывает работа С. Дюмулен, в которой исследована взаимосвязь авторской биографии и литературного поля в аспекте этнокритики на примере В. Гюго, что позволило выявить экзистенциальную определяющую в эволюции его творчества. Вопросами взаимообусловленности коллективного и личного, выступающих в качестве мифического и сказочного компонентов в модели субъекта и определяющих, в конечном итоге, маргинализованность его положения, занималась исследовательница И. Вердье. Ф. Нудельман говорит об эффективности исследовательских антропологических практик, активно использующих социальный и эстетический параметры для изучения литературных текстов, что также имеет бесспорное влияние на распространение антропологического подхода в научной практике литературного исследования. Научные концепции Ж. Делеза, А. Бадью, Ж. Рансьера, ориентированные на литературные тексты Э. Золя, С. Малларме, М. Пруста, интересны прежде всего тем, что предлагают различные комбинации методов исследования.

Общая картина является лишь доказательством процесса дальнейшей маргинализации традиционной практики герменевтического вчитывания в текст. В действительности, на замену великим идеологическим дискурсам пришел период дискурсивных практик, корректирующих возникновение новых научных междисциплинарных проектов с учетом адекватности использования новой терминологии или техники к для исследования литературных текстов. Современная литературная культура предполагает совокупность отношений институтов и практик, содержание которых определяется художественными текстами.

Кроме того, мы переживаем период, когда писательская и читательская практики утратили свое априорное единство в очередной попытке соотнести свое внутреннее состояние с внешним миром. Вследствие чего писатель и читатель были вынуждены еще раз признаться, что текст способен отразить лишь их собственное восприятие времени, или их собственную правду. Возможно, это обстоятельство и заставило отнестись к тексту как

Очевидным фактом является также и то, что с начала XXI века внимание субъекта привлекло, прежде всего, социальное письмо. Его субъективный опыт, в большей мере, стал отражать изменения в социальных отношениях и чаще сосредотачиваться на изображении их чувственной стороны. Современная литература оказалась в окружении транскультурных кодов, позволивших четче определять в происходящих событиях локальное и глобальное. Проживание

на локальной территории стало основой для формирования человеческой чувственности. Ее дискурс имел многовекторный характер и зависел от выбора антропологических факторов (политика, образование, искусство, культура, язык).

Антропологический поворот в литературной науке, отмеченный более десятилетия тому назад, ввел в научный обиход ряд понятий, позволяющих обозначить общие закономерности в развитии антропологии и литературы.

История антропологии отмечается тремя метафорами социальности:

- общество как игра,
- общество как сцена,
- общество как метафора.

Наблюдение за развитием литературы на современном этапе дает основание сделать вывод о том, что метафорам социальности соответствуют идентичные метафоры литературного творчества:

- литература как игра,
- литература как сцена,
- литература как метафора.

Рассмотрим первую параллель. В современном обществе решающее значение имеют СМИ, кибернетические модели, компьютеры, индустрия развлечений. Эти системы перенасыщены знаками. Общеизвестно, что СМИ не отражают действительность, а заменяют ее собой. В наше время практически исчезла грань между знаками и реальностью. Дальнейшая симуляция постмодернистского мира отмечается новыми симулякрами. Человек продолжает оставаться в их плену (Бодрийяр 1981: 3-15). Мир активно заменяется на сверхреальность. Эта ситуация нашла своеобразное отображение в современной литературе, во взаимосвязи массовой литературы с виртуальной реальностью. Именно массовая литература в последнее время продолжает активно развиваться, продолжая оставаться частью общей индустрии развлечений и квазизнаний, ориентированных на потребительские запросы большинства.

Иллюзорность, возможность и псевдоправдивость виртуальной реальности выступили генераторами космологических фантазий, утопий, антиутопий, идей современной транзитной цивилизации, конца истории, нового синкретизма и других показателей массовости. Отсюда сложилось общее представление о художественной ценности современной массовой

литературы. Виртуальная реальность для современного писателя превратилось в игровое пространство, местом информационной атаки на сознание массового читателя. Художественная ценность подобных произведений стала определяться его культурной и общественной псевдозначимостью. Процесс придания произведению ценностного характера открыло путь к его дальнейшему тиражированию в индустрии массовой культуры, воспроизводящей кодированную художественную информацию при помощи дешевых носителей. Тиражирование интеллектуального продукта и передача сведений о нем осуществлялось благодаря интернету. Таким образом, стандартизация и унификация художественных практик стимулировало дальнейшее превращение искусства в художественное предприятие, где классические клише включались в любые комбинации с бытовыми предметами и становились знаками, маркирующим их как художественное творчество. Ироническое сочетание стандартных фрагментов, различных художественных техник, бытовых предметов, комбинаций цитат стали основными средствами для создания художественных образов. Более того, информационное пространство превратилось в необходимое условие для создания образа того, кто сообщает. Таким образом, не интеллектуальные задатки и творческие способности автора, а условия коммуникации определяли талант писателя, участвующего в игре под названием «литературное творчество».

Вторая параллель метафоризации общества и литературы связана с идеей зрелищности Ги Дебора (Дебор 1994: 45). В современном обществе культивируется идея социального освобождения от господства интеллектуального авторитета. Идея зрелищности общества подразумевает отношение к социуму как к театру, где каждый сектор представляет собой отдельную театральную сцену. Различные формы проявления (информация, пропаганда, реклама, шоу) в этом случае должны отвечать общей социальной модели, которая заполняет собой значительную часть времени, не связанного напрямую с процессом производства. Таким образом, театрализация общества воспринимается как временная парадигма, которая обозначает широкий спектр явлений, демонстрирующих негацию жизни.

Похожая ситуация сложилась в литературе. Пройдя периоды очистки от политических баталий в 60-е гг прошлого века и возвращения к социальной активности в 80-е гг., литература Франции в начале XXI ст. вступила в период активизации художественных практик, связанных с социальными и индивидуальными потребностями. В текстах рубежа тысячелетий появилась ирония в описании политической ситуации и идеологических дискурсов, пришло понимание

ошибок и осознание всего позитива того социального действия, которое когда-то активизировало массы, к примеру, вокруг социалистической идеи. Повествование приобрело форму самоадресации, превратилось в попытку уяснить для себя, что же происходило раньше и как это переживалось индивидуально. К примеру, мечта французской молодежи о героизме в 60-е гг. исчерпала себя, революционный порыв перерос в буржуазное неудовольствие. В 90-х годах во Франции по примеру США появилась практика творческих мастерских, управляемых самими писателями. Это относительно новая форма социального действия позволила работникам, иностранцам, деклассированным элементам рассказывать о своем жизненном опыте в собственном письме. Ярким примером может послужить роман Ф. Бона «Паркинг», оформленный в монолог трех актеров. Впоследствии эта художественная практика привела к обновлению традиционных форм сценического представления. Со сцены стали читаться письма, заявления работников, звучала устная разговорная речь. Однако выступление писателей против социальной цензуры не означало их приверженность к идеологии или какой-либо политической партии, а свидетельствовало лишь об их осведомленности в социальной науке. Таким образом давали о себе знать признаки театрализации литературы. На нее иногда указывала и избранная автором позиция. Так в романе «Изобретение мира» О. Ролен задался целью восстановить мировые события в канун дня весеннего равноденствия 1989 года, ради которой ему пришлось ознакомиться с содержанием более чем полутысячи репортажей, посвященных международной хронике того времени. Однако, по признания писателя, его больше интересовала не документальная реконструкция событий, а символическое воплощение универсального в единичном. Выбранная дата символизировала переломный момент всемирной истории — падение Берлинской стены, последовавший за ней крах коммунистической идеологии и тоталитарных режимов, и, наконец, исчезновение СССР. А принцип тотального повествования помог передать кризис европейского сознания накануне нового времени. Следует также отметить и творческий эксперимент В. Новаринб, «речевой» театр которого, представленный романами «Драма жизни» и «Речь животных», продемонстрировал жанровую гибридизацию и словотворчество в качестве социальных индикаторов современной литературы.

Основанием к параллели метафоризации общества и литературы служит, прежде всего, универсальность самого понятия в современных условиях. В наше время метафора все чаще рассматривается в контексте концептуальных систем и моделирования искусственного интеллекта. Она становится толчком для понимания основ мышления и процессов создания

национально специфического мировоззрения, имеет прочные связи с логикой и мифологией. Интерес к метафоре обусловлен ее появлением в различных видах текста (художественного, публицистического, научного). Активное проникновение метафоры отмечено в терминологических системах, дидактических текстах, в СМИ, языке рекламы, товарном производстве. В качестве средства описания и объяснения она встречается в любой сфере: в психотерапевтических беседах и разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и языке программирования, в художественном воспитании и квантовой механике. Метафора всегда обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка (Хоффман 1985: 56). В теории фреймов на уровне сценариев, в контексте которых изучаются предметные и событийные объекты, она введена в систему аналогий для создания непредвиденных фреймовых связей. Феноменальность метафорического мышления описана в научных трудах Ф. Ницше, П. Рикера, Э. Кассирера, М. Блэка. Ее концептуальная природа досконально исследована М. Осборном, создателем теорий концептуальной и архетипической метафор. Наконец, Дж. Лакофф и М. Джонсон, изучив возможности метафоры в когнитивном аспекте, предложили оригинальную концепцию, где метафора фигурирует в роли генератора мышления.

Явление метафоризации литературы на современном этапе проявляется, прежде всего, в ее адаптации к новым антропологическим перспективам, в необходимости компенсировать отсутствие общей целенаправленности, обусловленной социальным контекстом. В сложившейся ситуации автор, сосредоточившись на проблеме самопознания, часто использует письмо в качестве способа саморефлексии. Таким образом современная литература, продолжая взаимодействовать с различными сферами социального контекста, не стремится определить по отношению к ним доминирующую позицию. В результате чего она способна продуцировать всего лишь собственную возможную данность, исходя из внутреннего потенциала. Современный автор, пытаясь сфокусировать в себе опыт разных форм власти, религий или даже миров, получает возможность свободного передвижения в пространстве и времени и доступ к событиям, свидетелем которых якобы был. Его текст приобретает утвердительно-информационный характер, производит впечатление вполне самостоятельного письма. Однако, вступая в репрезентативную игру с реальностью, он все же способен вызвать недоверие относительно других аргументаций и интерпретаций пережитого прошлого, и, в конечном итоге, поставить под сомнение свои повествовательные возможности. Метафоризация литературы, таким образом, обуславливается соотнесенностью авторских текстов с системой

современных знаний. Не менее важной для литературы является и проблема множественности миров. Ирония в современных текстах служит средством, используемым автором для расширения концептуальных, культурных, идеологических перспектив собственного повествования. В результате чего достигается эффект плюральности, когда в тексте возникают многочисленные репрезентационные отражения в качестве реакций на мультикультурализм, транскультурализм, постгуманизм и другие философско-социальные показатели современной гибридной культуры. Литературный текст воспринимается как актуальный, понятный в разных культурах и адекватный информационной атмосфере своего времени. Отсутствие единых норм письма, подвижная жанровая классификация, неограниченное пространство для проявления индивидуальной свободы в творчестве, минимизация художественных средств, выработка возможных смыслов, подвижность пространственно-временных координат, новые возможности их соотнесения, спонтанное пространственное развертывание, одновременное пребывание в настоящем и прошлом являются далеко не полным перечнем его показателей. Примером современной литературы, содержание которой определяется диалогом двух культур, связью автофикциональной биографии с реальной жизнью, поиском автора себя через другого в новой этнокультурной среде, могут служить тексты Ж.-М. Леклезю. В своем творчестве он сознательно отказывается от изображения единого географического пространства, предлагает модель из ярких географических образов, взаимосвязь которых усиливает эмоциональное воздействие на читателя, сочетает несовместимые культуры, верования, чувства, метафоризуя таким образом не только тексты, но и собственное творчество.

Все вышеизложенное является бесспорным доказательством полифункциональной практичности метафоры, ее эстетической ценности и поэтических преимуществ для современного общества.

Литература

BAUDRILLARD, J., 1981. *Simulacres et simulation*. Paris: Galilée.

DEBORD, G., 1994. *The society of the spectacle*. New York: Zone Books.

HOFFMAN, R., 1985. *Metaphor and philosophy of science*. In: *The ubiquity of metaphor*. Amsterdam: Benjamins.

Elena Yurchuk

Kyiv National Linguistic University, Ukraine

LITERATURE AS TEXTUAL METAPHOR

Summary

The versatile use of metaphor in contemporary fiction, everyday speech and scholarly discussions once again brings our attention to its aesthetic value and convenience. Metaphor's many-sided applicability is evidenced by the fact that it is actively used in different social spheres as a widely-accepted way of description and designation. In contemporary world, it plays an increasingly important role in the process of forming national worldview and strengthens close ties to logic and mythology. Metaphor has also deeply permeated scientific terminology, mass media, advertising and commodity production. Human sociality is expressed at the linguistic level through symbolic and metaphoric images. Metaphors of sociality (games, theatrical stage, textual metaphors) have counterparts in literature. In contemporary literature, writing can act as an anthropological representation of shared experience of exposure to and re-living of an event. In this context, anthropology is keen on investigating society's self-representational narrative forms. The anthropological analysis of the contemporary literary process in France is carried out based on a number of theories which also suggest using metaphor in the role of ethnic and socio-cultural element.

KEYWORDS: textual metaphor, cultural product, anthropology of literature.

Jelena Jurčičuk

Kijevo nacionalinis lingvistikos universitetas, Ukraina

LITERATŪRA KAIP TEKSTINĖ METAFORA

Santrauka

Metaforos universalumas ir pritaikomumas įvairiuose tekstuose – grožinėje literatūroje, kasdienėje kalboje, mokslinėse diskusijose – rodo jos estetinę svarbą. Ji naudojama įvairiais tikslais. Šiais laikais metafora vis dažnesnė kuriant nacionalinę pasaulėžiūrą, prekyboje, masinėse informacijos priemonėse, reklamoje. Žmogaus socialumas kalbos lygmenyje reiškiamas simboliais ir metaforomis. Literatūroje metaforos taip pat naudojamos asmens socialumui aprašyti – apibūdinti bendravimą, socialinių įvykių suvokimą. Antropologijos mokslas ypač domisi kalbos formomis, kurias asmuo naudoja, pristatydamas save sociumui. Antropologine literatūros proceso Prancūzijoje analizė atskleidžia, kaip metafora naudojama socialiniame ir etnologiniame kontekstuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tekstinė metafora, kultūros produktas, literatūros antropologija.

Elmira T. Zhanysbekova

Abai Kazakh National Pedagogical University

Dostyk Ave. 13, 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

E-mail: Elmira_08.82@mail.ru

Research interests: theory and history of mythology, new myth, Kazakh mythology and symbols

MYTHS AND FOLKLORE IN THEIR FUNCTION AS THE BASIS CENTERS OF THE CREATIVE METHOD OF A. ALTAY AND O. BOKEEV

In the article the works of two modern Kazakh authors O.Bokeev and A.Altai are considered. Artistic practice of recent years authentically relies on Kazakh myth-folklore tradition, rather than a purely mythological one. The works of Kazakh writers, writing in the Kazakh language, deal with, firstly, the question of establishing typological, genetic links between folklore and mythology, and secondly, the issues of national and cultural identity. In the genesis of literary plots the mythological motives, among other quasi-metaphorical forms play an important role. Mythological and folkloric images that are used by Kazakh authors of the new wave, is an inexhaustible source of spiritual culture of the Kazakh people. The spiritual culture of the Kazakh people embraces the rules and regulations, samples, models, behaviors, laws, symbols, myths, knowledge, traditions, values and rituals. The author by returning to the myth creates its new vision of the world, art space and time through the prism of myth and folklore, fills them with new meanings and structure. Distinct focus on archaic myth with an extensive system of binary oppositions, universal myths, manifested on the semantic and structural levels, including folk invariants, ritualistic descriptions, the synthesis of specific cultural and mythological codes, event-recurrence and cyclicity of mythical time, suggests an idea of the dominance in these works of "poetics of mythologizing".

KEY WORDS: *myth, folklore, prose, Kazakh literature, new myth, totemism.*

The contemporary science predominantly considers myths and mythological elements as inevitable constants of the human thinking in all times. The contemporary philosopher, Hans Blumenberg (Blumenberg 1985: 58), wrote the following: "Myths always accompany the "logos" and no education can abolish myths." Myth components play an important role in the formation and development of the personal and national consciousness in any national cultures. Myths, symbols, and prototypes are able to come alive and remind us about absolute values, forgotten standards that

constitute the national nature of a people. Mircea Eliade reasonably noted, "...myths move towards the human need in myths" (Eliade 1999: 9). The functioning of myths in the contemporary culture is the endless "work on myths" (this is the name of Blumenberg's book, *Arbeit am Mythos*), as the endless production of their new interpretations. The Russian culture expert, Georgy Knabe, agrees with this opinion and states that by the end of the 19th century, mythological materials in the European art "became an object of special artistically or philosophically motivated interpretation" (Knabe 2005: 88).

Revamping myths is a phenomenon, typical of the world literature of the 20th century as a whole. The methods of referring to mythology materials are different, and include the mythologization of the socium, daily routine and people, as in the novel by J. Joyce, *Ulysses*, and the novel by J. Updike, *The Centaur*; the transformation of a common situation into a philosophic and existential myth, as in works by F. Kafka; the imaging of the modern world as a part of a mythological world, as in the novel by G. Marquez, *One Hundred Years of Solitude*, etc. Various mythology themes, motives, images, characters play an important role in the genesis of modern literature plots. This is how a special type of literary nature of fiction texts is created, which is most often referred to as neomythologism.

Neomythologism assumes a certain order of fiction texts, with which the plot is based on a mythological ground, and the work resembles a myth by its structure. In this case, similarly to myths, fiction images are perceived as reality, while the real ones are assigned a certain mythological meaning. The spatiotemporal structure of such a fiction text is also rather unique: often, similarly to myths, the time in such a work "is treated not as linear, but as a repeated closed loop, and each episode of the cycle is perceived as the one that repeated many times in the past and will be repeated endlessly in the future" (Lotman 1973: 86).

In this article, we are trying to analyze, how mythological models and motives, as well as folklore and ritual ones, are used in the works by modern Kazakhstani writers. The article provides a comparative literary analysis of three works, the names of which refer to myths and folklore: *The Centaur* and *The Altai Ballade* by Askar Altay and the *Deer Man* by Oralkhan Bokeev. Thus, myth restoration as a fiction text analysis method, within which researchers restore its mythological pre-basis, is absolutely relevant for these texts. Looking for an organic, holistic person (which is the main direction of the Kazakh prose over the recent decades), writers have turned to myths as a battery of ready-for-use image forms.

In the Kazakh literature, mythological trends started manifesting themselves on the cusp of the 1960s-1970s. The authors of the "new wave," such as A. Zhaksylykov, A. Kemelbaeva, D. Nakipov,

O. Bokeev and A. Altay, resorted to new forms of narrative, to rather unusual artistic techniques to describe reality. They used folklore or literary handling of mythological plots, both national and common cultural, as a "matrix" to place modern materials. At the same time, it is worth noting that the Kazakh literature more accurately describes the Kazakh mythological and folklore traditions, than the purely mythological ones. Most likely, it is related to the issue of national and cultural identity of the Kazakhs, who represent a variety of the Turkic-speaking ethnic group.

The folklore of the Kazakh people, as a representative of this ethnic group, originated and developed in certain social, climatic, and historical conditions. The active economic management that had arisen in the Eurasian steppes promoted the development and formation of the original spiritual culture, which included the rules, regulations, laws, standards, customs, behavior patterns, symbols, rituals and myths. This culture is a symbiosis of the nomadic and oasis world space and the mixed pastoral and farming culture.

The Kazakh oral folk arts were based mainly on the mythological elements of the Turks' world view, who were Tengriism adepts. The most important of these ideological elements are the harmony with nature, the treatment of the sky, earth, animals, plants and human beings as an organic unity. For the Kazakhs, animals (horses, bears, deer, etc.) have been (and still are, in many ways) friends, companions, the source of food and clothing. The veneration of a particular area and a particular animal gave an impulse to the formation of cosmogonic myths, totemism, shamanism, and other ritual and symbolic systems. The animalistic world perception and anthropomorphism of the nature are a characteristic feature of the ancient Kazakhs' world view. This should be complemented with particular mythological ideas of totemic nature about the relationship (basically, the identity) of a certain kind (tribe) and breed of animals or plants, about the origination of humans from plants or animals, etc. Such anthropogonic myths often serve the central mythopoetic concept, reflected in many subsequent samples of folklore, as well as in fiction. The similarity of the central characters in Altay's and Bokeev's works mentioned above is that their totemic connection with animals is emphasized: Bokeev's character is associated with a deer; the main character of *The Centaur* by Altay is half-human and half-horse, while in *The Altai Ballad*, a close relationship between a human and a bear is described. Thus, the folklore and mythological principle in the temper and consciousness of the main characters is emphasized.

The Centaur by Askar Altay is autobiographical to a certain extent, as its plot (actually as in other works of this author, as well) develops against the backdrop of the unique nature of Altai, where the

author was born and raised. Detailed descriptions of the Altai native animals and plants are typical of this writer's works. As a result, *The Centaur* contains the ethnic identity of the Kazakhs' life, as well as touches upon the human problems, particularly, the ecological ones, because, as rightly pointed by S.M. Altybaeva (2009: 235), the neomythological artistic reality is such a type of aesthetics, in which "the ethnic, national is interpreted through the prism of the universal human categories." In the universal human terms, the characters of Altay's works, in the same way as Bokeev's characters, are the people who live in harmony with the nature, tied with unbreakable bonds of the human and natural kinship and loyalty. This is the philosophical and ideological concept of these Kazakh writers' texts.

Now, let us proceed directly to *The Centaur* story. The boy centaur's birth description contains a synthesis of a fairytale elements (meaning the Kazakh tales Ayudeu (The Big Bear), Ayubala (The Boy Bear), etc., which tell about a union of a human and an animal), antique myths about centaurs, and the fantastic anthropology, which are closely interwoven with the contemporary realities.

The family in which the boy centaur was born left people and hid high in the mountains. Over time, "as every living thing in the nature grows and gets stronger," the child "with a human torso and the body of a horse quickly found his feet, as quickly, as if he were a colt. He grew unusually quickly, by leaps and bounds: started speaking very early, and matured very early ... His father embraced him as a native son, his mother fed him gently pressing to her heart, and his brother raised him high, and seated him on his shoulders. He lived among old rocks, embraced by three mortals, and was hidden from human eyes. But he was growing up free" (Altay 2008: 109).⁴⁸ We need to note that horses are particularly honored in the Kazakh environment. They are an important part of the ethnic spiritual world, the core of the nomadic soul. "In the everyday life of the Kazakhs, horses have always been valued higher than the other three types of domestic animals and held their special main place" (Toktabay 2004: 5). But the depth and perspective of the story's plot is ensured not only through the Ancient Greek and Kazakh folklore and mythological parallels, but also the literary parallels.

Similarly to the famous novel by the American writer J. Updike, *The Centaur*, the Kazakh writer is interested in the situation of the bond and separateness of the two principles (the human and the animal, the rational and the natural) in the main character. This situation by itself creates the effect of the original inconsistency and tension, all the more since these two principles are visible and obvious

48 Hereinafter, the translation from the Kazakh language was made by myself. – E. Zh.

(to compare, we need to mention that the main character of the *Deer Man* by O. Bokeev outwardly is not different from a human, and only his inner world is associated with the deer image). Therefore, the history of the child centaur becomes a drama to a certain extent. As in the novel by Updike, the ideology of pluralism and tolerance (that is particularly relevant nowadays) faces in the story the ideology of traditional communities jealously guarding their fundamental traditions and values and, therefore, hostile to any manifestation of otherness (the boy centaur in this case is the Other).

In the *Deer Man* by O. Bokeev, the traditional for the Kazakh folklore and mythology animalistic image of a deer becomes a productive explanatory pattern to image the central character's consciousness and behavior. The nickname of the character, named Aktan, is the "Deer Man." The explanation is quite banal – he adores deer from his early childhood: "... It was beautiful in the taiga, though mysterious and scary at night, but Aktan was not scared. At the foot of Karashoky, he saw a large herd of red deer, crept up from the side, and hid near a large larch, having spread a warm sheepskin rag under himself. The deer battle began when the late autumn sun emerged from behind the top of Akshoky. Stags fought relentlessly, passionately, from morning till noon. Exhausted, staggering, falling to the ground, they left the battlefield, and only two most powerful, untiring stags fought another hour and a half, then one defeated the other, chased it away, and blew into the sky about its victory, went to does that were standing at a distance. After collecting them all in a herd, he drove them in front of him to the slopes of Karashoky... Aktan came back to the village (this probably was the day since when he was called Deer), and only a week later, he managed to return to the taiga, to Karashoky" (Bokeev 2003: 117).

Mythological dictionaries and encyclopedias indicate that deer veneration dates back to the ancient layers of the human culture in Europe and Asia. In the mythology of the Siberians, Mongolians, and Celts, deer were sacred animals, associated with the world beyond the grave, with the World Tree, with the solar symbols (e.g. Monaghan 2004: 122). The proof of this can also be found in the mythological representations of Cossacks' ancestors – the Saka nomads: in the golden ornaments found in the burial mounds of the Saka and made in the Scythian and Siberian "animal style," with the prevailing deer image. But the Kazakhs associate the deer symbols more with the categories of swiftness, grace, and beauty. The portrait characteristic of Aktan correlates precisely with these concepts: "... Aktan's incredibly long legs, hanging far, touch the grass. The dzhigit is broad-shouldered, tall ..." (Bokeev 2003: 118).

However, the author is not limited to external cues. In the story, deer's mythologeme acts as an element of a special world perception form — the mythological one. Aktan, as well as Basarys, the central character of *The Centaur* by Altay, acts as a mediator, in whom both the animal and human principles are interwoven. Hence, the mythological consciousness of the deer character comes into conflict with the moral consciousness of the human character. It is possible to interpret the torments of the character in the following way: "... For the first time, he experienced mental torment because it turns out that he doesn't know how to distinguish the bad from the good in this life. And not knowing this, he remains helpless... The boundary that separates a human from a beast was just here: in the ability to tell the good from the evil. And Aktan represented the boundary as clear, as the clear boundary between life and death, poverty and wealth" (Bokeev 2003: 156). For the mythological consciousness, there is no good or evil, there only is a certain reality, the world as such. Does this mean that Bokeev tried to create the newest equivalent of mythological consciousness? It seems that things are not so simple. With the help of folklore and mythological imagery, the *Deer Man* raises existential questions, revives deep responses of a human seeking salvation from the horror of death, from the existential orphanhood.

The life dooms Aktan (similarly to Basarys in *The Centaur*) to loneliness; Bokeev and Altay's characters are reserved to themselves, dreamy, detached from the hustle and bustle, immersed in the natural world around them. The author cites the dialogue between the deer and Aktan about the meaning of life and the choice of life strategy: the main character together with his loyal friend, the horse Beloglazy, commits to protect the native village, abandoned by its inhabitants. "He did not move, no ... He had the sense to understand: although, they called him the Beast, he will not change inside the mysterious, impenetrable depths of his soul; no matter how they move him on the earth, he knew that the main and irreplaceable thing for him remains the sky over the Altai, the feeling of flying, and the cold mountain water of the river, which can quench his thirst" (Bokeev 2003: 140). "Whatever," reflects Aktan, "I don't know how to think and cry. But I'm going to live in my own way, as best I can, and will never give up my freedom... Every day he gets up before dawn, goes out of the door, and, like a wolf sniffing the blowing wind, looks out for the weather" (Bokeev 2003: 120).

In these text fragments, the narrator's voice (impossible in a myth and first appearing in ancient tragedies in the form of an anonymous chorus) merges with the voice of the character. The mythological picture of the world, humans have no right for freedom — they are toys in the hands of gods or demons. The ontology of the modern times' humans is determined by their strive for freedom,

their strive to be themselves. In the case of Bokeev's story, the concept of freedom is conceptualized by the deer human, while the question of human freedom is originally associated with the peculiarities inherent in the human, not the beast. The Russian philosopher, V. V. Zenkovsky wrote, "The truth about humans is determined by the *ethical principle in the human*, by the way the humans use their freedom: to achieve the good or the evil..." ((Zenkovsky 1948: 427). In italics are my highlights – *E. Zh.*). Therefore, the finales of Bokeev's and Altay's narratives are similar in their tragedy: Aktan sacrifices his freedom, forced to return to the city, to people, and Basarys dies tragically.

Thus, O. Bokeev in the *Deer Man* and A. Altay in *The Centaur* used myths as building materials and as a way to solve the modern life problems, responding to the dramatic processes of sociohistorical nature – the alienation of humans from their freedom, their "Ego."

With regard to the large artistic canvas *The Altai Ballad* by Askar Altay, this work is in line with the search for new content forms. This search leads contemporary authors to the creation of hybrid works, to combining elements of different genres and styles in the same text: myth romance, revelation novel, ballad romance and others. In such a multifaceted novelistic work, the reinterpreted classic myth and folklore image often become the conceptual basis of the entire text, the plot's spring.

In the Kazakh literature of the modern times, the myth novel, *The Altai Ballad*, is such a work. This novel includes elements of different code systems: firstly, totemic, secondly, nomadic. The ancient myth in *The Altai Ballad* loses its sacredness, the narrative has no place for the concept of the harmonious union of a human and an animal. In Altay's neomyth, the human and the animal are opposed to each other, but not as a higher and a lower subject of the organic world, but as its equal representatives. A characteristic feature of this novel narrative is the detailed, naturalistic representation of the animal (bear) behavior, represented, however, through the eyes of a human. At the same time, the bear, in addition to its instinctive and physiological characteristics, has intellectual analytical skills. The psychologization of the animal's image takes place in the situation when a human, the girl Bulabike, becomes an obsession for the animal's "self-perception," resulting in the girl's death. The collision of two natural phenomena and two principles (the human in the animal and the animal in the human) ultimately leads to the death of not only Bulabike, but also her fiancé Ular and the bear Aykonyr.

The dynamic processing of the mythological and folklore material by Altay has resulted, in our view, in the dispersion of this material in details and associations. The totemic code system organized the traditional mythological oppositions, involved by the author: woman/man, human/animal,

life/death, and winter/summer. The structural assimilation of artistic texts of the 20th century to myths, noted by V. P. Rudnev (Rudnev 1999: 185), manifests itself in the cyclical nature of time, reflected in Bulabike's fate: her mother died giving birth to her and then Bulabike dies giving birth to her own baby. The novel describes the matchmaking and dower traditions, specific to Turkic-speaking peoples. The inclusion of particular corporeal, bodily, spatial (Altai Mountains) components enrich the neomythological plot of the novel.

Conclusions

The ancient mythological and folkloric schemes included in the historical process are creatively reinterpreted. The use of plots and images of the ancient and Kazakh mythology, numerous associations, allusions, and paraphrases related to the folklore and mythological basis influence the originality of the genre structure of works and create ambiguous subtexts of the narrations. In the analyzed works, myths have several functions: structuring, modeling, poetic and philosophical. Through the mythological or literary and mythological imagery, Bokeev and Altay appeal to the eternal questions of existence, the answers to which are associated with the peculiar features of the authors' ethical concepts, with the personal approach to the formulation of social and morally philosophical problems. For a mythological character, there are no moral boundaries, while a modern character is immersed in the conflict ethical situations and makes a choice between the good and the evil. The main conflict between the two stories and the novel by Altay and Bokeev resides in the clash of two types of cultures: the "civilized" and "natural" ones. The latter is based on folklore and mythology precepts. The issue of the human interior is added to the problem of social and personal self-identification. And the appeal to the folklore and mythological elements is important for the disclosure of irrational essence of modern people.

References

- ALTAY, A., 2008. *The Centaur*. Altay, A. Casino. The absurd world novel. Almaty: Atamura, 109–124.
- ALTYBAEVA, S. M., 2009. *The Kazakh Prose of the Independence Period: Tradition, Innovation, Prospects*. Monograph. Almaty.
- BOKEEV, O., 2003. *Deer Man*. / O. Bokeev. *Deer Man. Novels and Short Stories*. Moscow: Russian Book, 117–178.
- ELIADE, M., 1999. *Essays on Comparative Religion Studies*. Moscow: Lodomir.

- ALDASHEV, ed., 1989. *Kazakh folk literature: multipart*. Academy of Sciences of the Kazakh SSR. M. O Auezov Literature and Art Institute. Almaty: Zhazushy, 1986. Fairy tales. / Editor: Aldashev, 89–101. *Kazakh folk tales*. Almaty. Zhazushy. Vol. 1: *Myth-mythical tales*, 2000, 86–91.
- KNABE, G., TURGENEV, L., 2005. *Ancient Heritage and True Liberalism. Problems of Literature*, 1, 84–110.
- LOTMAN, Y. M., 1973. *About the Mythological Code of Story Texts. Collection of Articles on the Secondary Modeling Systems*. Tartu Riiklik Ülikool; Tartu University, 86–90.
- MONAGHAN, P., 2004. *The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore* New York: Facts On File, Inc.
- POGRENAYA, Y. V., 2011. *Current Issues of Modern Mythopoeitics*. Moscow: Flinta. Available from: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/65544/chitat_knigu.shtml.
- TOKTABAY, A. U., 2004. *The Horse Cult Among the Kazakhs*. Almaty.
- ZENKOVSKY, V. V., 1948. *The History of Russian Philosophy*. Vol.1. Paris.

Elmira Zhanysbekova

Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan

MYTHS AND FOLKLORE IN THEIR FUNCTION AS THE BASIS CENTERS OF THE CREATIVE METHOD OF A. ALTAY AND O. BOKEEV

Summary

In the article the composition of two modern Kazakh authors O.Bokeev and A.Altai are considered. Artistic practice of recent years authentically relies on Kazakh myth-folklore tradition, rather than a purely mythological one. The works of Kazakh writers, writing in the Kazakh language deal with, firstly, the question of establishing typological, genetic links between folklore and mythology, and secondly, the issues of national and cultural identity. In the genesis of literary plots the mythological motives, among other quasi-metaphorical forms play an important role. Mythological and folkloric images that are used by Kazakh authors of the new wave, is an inexhaustible source of spiritual culture of the Kazakh people. The spiritual culture of the Kazakh people embraces the rules and regulations, samples, models, behaviors, laws, symbols, myths, knowledge, traditions, values and rituals. The author by returning to the myth creates its new vision of the world, art space and time through the prism of myth and folklore, fills them with new meanings and structure. Distinct focus on archaic myth with an extensive system of binary oppositions, universal myths, manifested on the

semantic and structural levels, including folk invariants, ritualistic descriptions, the synthesis of specific cultural and mythological codes, event-recurrence and cyclicity of mythical time suggests the idea of the dominance in these works of "poetics of mythologizing".

KEY WORDS: myth, folklore, prose, Kazakh literature, new myth, totemism.

Elmira Žanisbekova

Abai kazachų nacionalinis pedagoginis universitetas, Kazachstanas

MITAS IR FOLKLORAS – PAGRINDINĖS KŪRYBOS PRIEMONĖS A. ALTAY IR O. BOKEEV
MENINIUOSE TEKSTUOSE

Santrauka

Straipsnyje aptariami dviejų šiuolaikinių kazachų rašytojų O. Bokeev ir A. Altai kūriniai. Kazachų autorių kūrinuose kazachų kalba įgyja vis didesnę svarbą dėl augančios folkloro ir mitologijos aktualumo literatūroje bei tautinio ir kultūrinio identiteto reikšmės kūrybai. Literatūros kūrinuose svarbų vaidmenį atlieka mitologiniai motyvai ir kitos kvazimetaforos. Mitologiniai ir folkloro įvaizdžiai, kuriuos kūryboje pasitelkia naujosios bangos kazachų autoriai, yra svarbūs formuojant dvasinę kazachų aplinką, sudarytą iš taisyklių, pavyzdžių, modelių, elgsenos normų, įstatymų, simbolių, mitų, žinių, vertybių ir ritualų. Grįždami prie mitologijos, autoriai kuria naują pasaulio viziją ir meno erdvę. Mitai jiems padeda atrasti naujas reikšmes ir struktūras. Daugiausia dėmesio skiriama archajiškiems mitams, kurių pasaulis konstruojamas ant dvinarės opozicijos pagrindo; aptariamų autorių kūrinuose mitai atsiskleidžia semantiniame ir struktūriniame lygmenyse, naudojami folkloro invariantai, ritualų aprašymai, specifiniai kultūriniai ir mitologiniai kodai, pasikartojantys įvykiai, cikliškas mitų laikas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mitas, folkloras, proza, kazachų literatūra, naujasis mitas, totemizmas.

Анна Жебровска

Университет им. Адама Мицкевича

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

E-mail: amzebrowska@poczta.onet.pl

Область научных интересов автора: социолингвистика, диалектология, сравнительное языкознание

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Целью настоящей статьи является анализ фрагментов биографических нарративов как одного из элементов исторической памяти, а также представление наиболее ярких картин прошлого. Рассуждения основаны на материалах полевых исследований, проводимых нами с 2010 года в Мядельском и Воложинском районах Минской области (Беларусь). Собранный материал состоит из записей бесед с жителями данного ареала (около ста часов звучания) и личных наблюдений. Проведенный анализ позволяет констатировать следующее: память старшего поколения – рожденного до начала Второй мировой войны – сохранила, прежде всего, период принадлежности данной территории Польше, события 1939 года, годы Второй мировой войны и послевоенное время, которое запечатлелось в памяти информаторов как период бедствия, голода, репрессий и принудительной коллективизации. Зафиксированные события подверглись искажению, нередко идеализированию и насыщению ярко выраженными эмоциональными оттенками. Тем не менее, это отдельная история отдельного индивида, составляющая коллективную память, которая, в свою очередь, позволяет сохранить свою индивидуальность, а также групповую, культурную, этническую и национальную тождественность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная память, историческая память, воспоминания.

В последнее время заметен усиленный интерес к исследованиям памяти в различных ее видах и проявлениях. Память в современной науке является одним из терминов, употребляемых в разных контекстах. Наиболее общее понятие памяти сводится к восприятию ее как способности хранения информации. Однако характер памяти более сложен, поскольку она включает в себе целый комплекс психических функций, благодаря которым человек может призывать и актуализировать минувшее (Le Goff 2007: 101).

Предтеча социологических исследований над проблемами памяти и продолжатель мысли Эмиля Дюркгейма, Морис Хальбвакс, интерпретировал память как общественный феномен, так как «именно в обществе у человека рождаются воспоминания, идентифицируются и локализируются» (Halbwachs 2008: 4). Согласно социологу, каждый индивид обладает уникальной, неповторяющейся памятью, являющейся в то же время элементом групповой памяти (Halbwachs 2008: 215). Следовательно, память носит общественный характер, а ее субъектом является общество.

На социальные детерминанты памяти указывал также Ян Ассман – немецкий историк, разрабатывающий в первую очередь проблематику культурной и коммуникативной памяти (Assmann 2008: 51). По мнению исследователя, каждое общественное пространство создает свою собственную социальную реальность, определяемую памятью. Пьер Нора, в свою очередь, называет память жизнью, «существующей благодаря живущим, и в связи с этим подлежащей постоянной эволюции, допускающей забвение, деформацию и разного рода манипуляцию» (цит. за Delaperrière 2013: 50). Автор цитируемого высказывания обращает внимание также на то, что память всегда актуальна; она связывает прошлое с настоящим. Свидетельствуют об этом результаты полевых исследований, показывающие, что для старшего поколения – родившегося до Второй мировой войны – память о прошлом является постоянным элементом повседневной жизни.

Обращаясь к воспоминаниям из детства, юности, информаторы относятся к действительности, подчеркивая, что тогда жили, «может и беднее, но лучше»; «было больше доброты и взаимопонимания». Тем самым подтверждается тезис Мориса Хальбвакса, констатирующий, что память «всегда обременена клеймом настоящего» (Traba 2006: 26), а выбор событий и их оценка осуществляется через призму действительности (см. Assmann 2009; Le Goff 2007).

Взгляды Мориса Хальбвакса, как уже упоминалось нами, развивал Ян Ассман, выделяя коммуникативную и культурную память (Traba 2008: 13). Культурная память, в отличие от коммуникативной, основанной на неформальной передаче информации, нуждается в официальной традиции и пользуется такими формами общественной коммуникации как письмо, рисунок, праздники, ритуалы, национальная символика и тому подобное. «Культурная память трансформирует фактическую историю в ту, которую запомнила, а тем самым в миф» (Assmann 2008: 68). При этом необходимо помнить, что не следует отождествлять культурную память с

традицией, поскольку в культурной памяти допускается забвение событий, о которых не хочется помнить; в традиции такой возможности не существует.

Ключевым понятием для данных размышлений является коммуникативная память, а в частности, одна из ее разновидностей – память поколений. Под понятием память поколений мы понимаем, за Яном Ассманом, биографическую память (воспоминания) и опыт живущих поколений. Коммуникативная память по Ассману – это память, зафиксированная в языке и передающаяся в процессе общения. В соответствии с принципами исследователя, память поколений ограничивается до трех-четырёх одновременно живущих поколений (дети – отцы – деды – прадеды). С их уходом коммуникативная память становится фрагментом культурной памяти (Assmann 2008: 66).

Существенное значение для настоящих рассуждений имеет также историческая память, являющаяся связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Историческая память воспроизводит прошлый опыт посредством традиций, обрядов, правил и норм поведения, а также воспоминаний. Еще в середине XIX века немецкий историк Иоганн Густав Дройзен определил воспоминания потребностью человека и общества, неразрывно связанной с историей. Морис Хальбакс, работая над исследованием социальной и коллективной памяти, подчеркивал сущность коллективных воспоминаний, реальность которых обусловлена реконструкцией прошлого. Следовательно, воспоминания «могут рассматриваться как коллективный социальный феномен (М. Хальбакс называет это «коллективной памятью»), необходимый для жизни и выживания общества, будучи тем общим, что конституирует общество как таковое, является залогом его идентичности» (Арутюнова 2006: 47). Эта мысль подтверждается полевыми исследованиями, проводимыми нами с 2010 года. Собранный материал состоит из записей бесед с жителями деревень (около ста часов звучания) и личных наблюдений.

Исследуемый ареал расположен в Мядельском и Воложинском районах Минской области (Беларусь). В Мядельском районе – это деревни Комарово, Ворошилки, Януковичи, Борисы и др., а в Воложинском – Лютино, Слобода, Среднее Село, Доры. При выборе данной территории мы руководствовались географическим положением местностей и их историческими особенностями. Первые из перечисленных деревень (Мядельский район⁴⁹) расположены в

⁴⁹Мядельский район (Мядельщина) расположен в Минской области и граничит с Вилейским районом этой же области, Поставским и Докшицким районами Витебской области, Островецким и Сморгонским Гродненской области.

северо-западной Беларуси по знаменитому Полоцкому тракту (сейчас – автомобильная трасса Вильнюс – Полоцк), в 40 километрах от литовской границы, 80 от Вильнюса и 180 от Минска. Сегодня они принадлежат Мядельскому району Минской области, а до 1939 года входили в состав Свенцянского повета Виленского воеводства (Ред. Лемяшонак 1998: 570). Лютино, Среднее Село, Слобода и Доры Воложинского района Минской области находятся в 50 км от Минска. До 1939 года в нескольких километрах от них (через Раков) проходила польско-советская граница (Ред. Янушкевич 1996: 23).

Историческая судьба местностей Мядельского и Воложинского районов складывалась идентично. В свое время их земли входили в состав ВКЛ, Российской империи, Польши, с сентября 1939 года была частью БССР, а с сентября 1991 года – Республики Беларусь. Передвижение границ, а также неоднократная смена властей, вызывавшая то полонизацию, то русификацию местного населения, отразились на формировании традиций данного региона и, несомненно, на воспоминаниях жителей Мядельщины и Воложинщины, рожденных до Второй мировой войны.

Историческая память представителей старшего поколения сохранила, главным образом, события межвоенного периода (в частности, то время, когда эта территория принадлежала Польше, а в более поздний период – Советской России), годы Второй мировой войны и послевоенное время (уже времена Советского Союза). В воспоминаниях старожилов отражаются не только трагические моменты их жизни (напр., раскулачивание, коллективизация или гибель родных во время войны), но и традиции, обычаи, обряды, которые особенно важны для сохранения идентичности и культурных традиций данного региона. Особую ценность это имеет для молодого поколения, которое функционирует в новых политических, экономических и жизненных условиях, и которому важно осознавать, что история жива, пока живы их дедушки и бабушки.

Целью настоящих рассуждений является анализ фрагментов биографических нарративов как одного из элементов исторической памяти, в ходе которого мы попытаемся показать наиболее яркие картины прошлого, а также обратить внимание на то, как то или иное событие вспоминается и передается младшим поколениям.

Анализ собранных материалов показал, что у старшего поколения особенно ярко сохранилась историческая память о принадлежности данной территории Польше. Вероятнее всего, именно поэтому в высказываниях довоенного поколения часто слышатся

сентиментальные воспоминания о прошлом:

*Быў польскі, і школа польская, і дакумэнты былі, польскія былі*⁵⁰ (B11M.Kom.SzLIpocz./2).

*А як жа, польскія дакумэнты былі, усе польскія*⁵¹ (B11M.Kom.ŽLW).

*Мы па-польску гаварылі. Бацькі зваліся шляхты й гаварылі ўсе па-польскі. Па-польску гаварылі ўсе. (...) У Броневе жывець мой брат, мы з'іім часта, перазваніваюся – я да яго званю, ён да мяне звоніць. Па-польску мы гаворым з'іім. Так братава відзі, у нас язык проты, мы па-просту. А мы як чытаім, гэтыя ж во, чытаім ксёнжку, літанію ўсё, у нас сусём накшы акцэнт*⁵² (B12M.Kom.BP/1).

Память довоенного поколения запечатлела образы, связанные с эмоциональным ощущением положительного или отрицательного характера. Положительные воспоминания связаны с детством и молодостью наших собеседников. Для большинства из них времена принадлежности польскому государству ассоциировались со спокойствием, благополучием и просто радостью жизни:

*Даўней весялей было. Маладзёжы весялей, хоць бядней жыць. Но пры Польшчы дык нічога ж і жылі йшчэ. Чаго, сваё мелі ўсё, хазяйство мелі, каня, карову мелі, жылі добра, гэта ўжо як пайшлі калхозы гэтыя...*⁵³ (B12M.Vor.JM.MM/1).

Информаторы часто подчеркивают идеальный порядок во дворах и хозяйственность:

*Пры Польшы быў, парадак быў – ідэальны парадак. Абустроена была эта, уліца. Уліца булыга была, кветы былі, тады, все заборы, все с'цены, каторыя выходзілі на уліцу, краскаў жа ж ні было, мел быў. Эта ўсё было, каждую вясну, сваю гэту цірыторыю абрабатавалі. (...) у кожнага масток должэн быць, ідэальнам быць, лавачка, ва ўсех лавачкі былі. Пры заборы, патаму што на выхадныя все выходзілі на сваю лавачку*⁵⁴ (B11M.Kom.MJM.DIP/1).

Делясь воспоминаниями, наши собеседники любят возвращаться в «панские дворы». В

⁵⁰ Был польский, и школа польская, и документы были, польские были (B11M.Kom.SzLIpocz./2). Приведенные примеры высказываний переведены на русский язык нами – А.Ж.

⁵¹ А как же, документы польские были, все польские (B11M.Kom.ŽLW).

⁵² Мы по-польски говорили. Родители назывались шляхтой и говорили все по-польски. По-польски говорили все. (...) В Броневе живет мой брат, мы с ним часто, перазваніваюсь – я ему звоню, он мне звонит. По-польски мы разговариваем с ним. Так невестка видит, у нас язык простой, мы по-простому. А мы когда читаем, эти же вот, читаем книжку (в значении молитвенник – пояснение автора, А.Ж.) у нас совсем другой акцент (B12M.Kom.BP/1).

⁵³ Раньше веселее было. Молодежи веселее, хотя жить беднее. Но при Польше так ничего ж и жили ещё. Чего, всё своё имели, хозяйство имели, коня, корову имели, жили хорошо, это уже как пошли колхозы эти... (B12M.Vor.JM.MM/1).

⁵⁴ При Польше был, порядок был – идеальный порядок. Обустроенная была эта, улица. Улица мощеная была, кветы были, тогда, все заборы, все стены, которые выходили на улицу, краски же не было, мел был. Это всё было, каждую весну, свою эту территорию обрабатывали [убирали – комментарий автора, А.Ж.] (...) у каждого должен быть мостик, идеальным должен быть, скамеечка, у всех скамеечки были. Возле забора, потому что на выходные все выходили на свою скамеечку (B11M.Kom.MJM.DIP/1).

мельчайших подробностях они рассказывают об их обустроенности, их хозяевах и функционировании. Не оставляют без внимания отношений господ к простому человеку, соотнося все это с современностью:

Тык шток ж у пана, у пана былі, так у Альшэве ж (...) йшчэ я ж помню палац стаяў жа нівядома які, ганак гэты, алеі ўсе высадзаныя аж да возера, Галубых гэтых. Тады пякарні, пякарні, млын стаяў, ну, нівядома сколькі. (...) Я помню ўжо як пойдзім туды на ёлку, тык тамака, ай, нівядома што. А цяпер? Палац разабралі, камене павывязлі дажа, усё. А сталі строіць, мінскія завод хацелі строіць нейкі, растрапалі палац і ўсё. (...) Пры Польшчы жылі людзі добра. От хто у хаця бядней жыў пан памагаў. От хто памрэць, чалавек, німа ж хаваць, пан дась на труну, дась і на пірагі. Мы ні рабілі ў пана, на сваей зямлі, але вот блізка. От еслі памёр хто, пан дась усі раўно⁵⁵ (B12M.Wor.JM.MM/1).

Нельзя не заметить, что процитированные фрагменты, также как и преобладающее большинство записей об этом периоде, слишком идеализированы. Это можно объяснить тем, что для человеческой памяти характерно ретроспективное искажение, т.е. фильтрация прошлого через призму настоящего. Кроме того, с возрастом люди все чаще возвращаются к детству, так как именно оно ассоциируется с безопасностью, беззаботностью и, возможно, какой-то иллюзией утерянного счастья.

Более поздний период – 1939 год и последующие за ним трагические моменты в жизни многих семей – оставил негативный след в памяти жителей исследуемой территории. Им пришлось пережить унижения и репрессии, о чем свидетельствует следующая цитата:

Прыішлі да нас у доўгіх кожаных плашчах з наганамі. Усё забіралі прадукты, адежу, усё-усё. Свіней білі ў лесе, выкопвалі глыбокія ямы, каб агню не было відаць як смалілі. А тады забралі дакументы. Да саветаў у нас жа Польшч была, польскія дакументы былі, усе польскія. А тады забралі, я ж год дванас'ця было. Помню, прыставілі аўтамат да віска і „Давайця, іначэ уб'ём”, што ж было, далі⁵⁶ (B11M.Wor.ŽLW).

Не менее трагическим был период Великой Отечественной войны. Жители Воложинского

⁵⁵Так что ж у пана, у пана были, так в Ольшево ж (...) еще я помню усадьба стояла же неизвестно какая, крыльцо это, аллеи посажены прямо до озера, Голубых этих. Потом пекарни, пекарни, мельница стояла, ну, неизвестно сколько. (...) Я помню уже как пойдём туда на елку, так там, ай, неизвестно что. А теперь? Усадьбу разобрали, даже камни вывезли, всё. А стали строить, минские завод хотели строить какой-то, разобрали усадьбу и всё. (...) При Польше люди хорошо жили. Вот кто дома беднее жил пан помогал. Вот кто умрет, человек, не за что похоронить, пан даст на гроб, даст и на пироги. Мы не работали в усадьбе, на своей земле, но вот близко. Вот если умер кто, пан даст всё равно (B12M.Wor.JM.MM/AŽ1).

⁵⁶Пришли к нам в длинных кожаных плащах, с револьверами. Всё забирали, продукты, одежду, всё-всё. Свиной кололи в лесу, выкапывали глубокие ямы, чтобы не было видно огня, когда смолили. А потом забрали документы. До советов у нас же была Польша, документы польские были, все польские. А тогда забрали, мне же лет двенадцать было. Помню... приставили автомат к виску и „Давайте, иначе уьем”... Что же было... дали (B11M.Wor.ŽLW).

района стали жертвами пожаров их родных деревень и свидетелями гибели односельчан. В воспоминаниях это отражается следующим образом:

Утрам, в пяць часоў, па расказах ужо дзерэвенцаў, дзерэвенскіх, патаму што мы ш там былі, на футары тады жылі, хадзілі і выганялі. Всех на ўлицу выганялі, с хатаў. (...) І ў канец выгналі ўсех, там цірыторыя была, но і там сарціроўка была, значыць, маладых сюды, а гэтых бабак, мамак і з"дзеткамы сюды. Гэтых на машыну пасадылі і навез"лі, а гэтых мамак і гэтых, усех набралась там семсят душ, і раз'варнулі іх абапал і ў хлеў гэны загналі. (...) Но і загналі ў гэны хлеў, і значыць, перастрачылі, каго забілі, каго ранілі і запалілі. (...) дз"вер закрылі, запалілі⁵⁷ (B10M.S.Siał.PU).

Жители как Мядельского, так и Воложинского района неоднократно подчеркивали доброту немецких солдат и помощь, которую они им оказывали во время Второй мировой войны. Старожилы часто рассказывали также о том, как местному населению приходилось прятать евреев или, уже при отступлении фашистских войск, немецких офицеров. Ниже мы процитируем фрагмент записи, в котором информант говорит о жестокости добровольных помощников вермахта и доброте немецкого солдата. В ней говорится также об оказанной местными жителями помощи немецкому солдату, который для наших собеседников был просто человеком, оказавшимся в трудном положении:

Прышлі ў хату і адразу, вот шчас як ваз"му, і ўжо бярэ гэту гранатку (...) как пакручу кальцо, то вашэй халупы не стане й вас. Аж тут дз"веры аткрываюцца, немец прыходзіць. Вот ён "цурик, цурик, цурик", тады мама і расказывае яму, што, кажэ, вот такое дзела, што яны прыехалі, прышлі п'яны'я (...) Немец нас спас. Але было й так, што і мы іх спасалі. (...) Неяк адзін немца тожа да нас прышоў, мама дала ес"ці, малачка, хлеба, ён у паеў і пашоў. (...) у нас за хатай жыта было пасеяна, пашоў у гэта жыта, зрабіў крышы ж жыта (...) там ён спаў. Спаў, можа нядзелі дз"ве прабываў там, прыдзя паес" і пойдзя. (...) Ну а тады ж ужо сколькі пабыў, а тады трэба ўжо яму дамоў ад'яжджаць, адыходзіць. Бедны ні дайшоў. Прышоў у Люцінку, на гары тамка, і хто там яго застрэліў. І ўсё й закапалі там⁵⁸ (B10M.Luc.WA).

⁵⁷Утром, в пять часов, уже по рассказам деревенских, потому что мы там были, на хуторе тогда жили, ходили и выгоняли. Всех на улицу выгоняли, из домов. (...) И в конце [деревни – комментарий наш, А.Ж.] выгнали всех, там территория была, но и там сортировка была, значит, молодых сюда, а этих бабушек, матерей с детьми сюда. Этих в машину посадили и повезли, а матерей этих и этих, всех вместе было около семидесяти человек, повернули их обратно и в сарай тот согнали. (...) Но и согнали в тот сарай, и значит, перестреляли, кого убили, кого ранили и подожгли. (...) дверь закрыли, подожгли (B10M.S.Siał.PU).

⁵⁸Зашли в дом и сразу, вот сейчас как возьму, и уже берет эту гранатку (...) как покручу кольцо, то вашей халупы не будет и вас. И вдруг открывается дверь, заходит немец. Вот он «цурик, цурик, цурик», тогда мама и рассказывает ему, что, говорит, вот такое дело, что они приехали, пришли пьяные (...) Немец нас спас. (...) Но было и так, что и мы их спасали. Как-то один немец тоже к нам пришел, мама покормила, молочко, хлеб, он поел и пошел. (...) у нас за домом была посеяна рожь, пошел в эту рожь, сделал крышу со ржи и там он спал. Спал, может недели две пробыл там, придет, поест и уйдет. (...) Ну а потом уже сколько побыл, а тогда уже надо было ему домой возвращаться, уходить. Бедный не дошел. Пришел в Лютинку, там на чердаке кто-то его там застрелил (B10M.Luc.WA).

Послевоенное время «записалось» в памяти жителей перечисленных местностей как период бедствия, голода, репрессий и принудительной коллективизации, свидетельством чему станут очередные высказывания информаторов.

В каждой беседе жители Мядельщины и Воложинщины рассказывали об отсутствии денег, одежды, пищи и тяжелых условиях. Они жили в ветхих домах, спали на земле на охапке соломы, а их основной едой была лебеда и мякина:

Мама казала сусём галадоўка была. (...) А, Божа, якая ж я там была, йшчэ падросткам. Ну, казала, хлеб с'пячэць матка, каіць, на работу гоняць і(й)х, каіць, у торбу возьмім, усё разваліцца. А што там? Мяккіны гэнай, мяккіны, таўклі⁵⁹ (B11M.Kom.MJM.DIP/1)

А, вот дапус'цім, я прышоў с арміі, ужо ў пійсят пятым гаду, тут нічога ні было. Нічога ні было. Ні дроў у бацькі ні было, ні грошай у бацькі ні было, нічога-нічога. Кароўка была адна толькі. Я прышоў малады вот с арміі, якая ў мяне гражданская адзежа была? (...) Купіць, значыць, ні было за што і ні было дзе купіць⁶⁰ (B10M.S.Siał.PU).

Глубокий след в душе моих собеседников оставили сталинские репрессии. О них старожилы говорят следующее:

Ужо после вайны, як пабеда прашла, ужо Сталін іх тады, ужо хто у пляну, тады Сталін распраўляўся. (...) І тады хто вазрашчаўся сюды, усё Сталін іх сразу (...) за іх і па дваццаць пяць, і на Калыму ун гэну, на, на разработку гэных іскапаемых, леса і ўсё. Тады ваеннапленныя хто быў, значыць, тожа ён туды⁶¹ (B10M.S.Siał.PU).

Тых хто меў зямлю, коні, карову считалі кулакамі, іх у Сібір. Вот учора яны былі, а рانیцай мы ўсталі і няма сям'і. Ціха вывезлі, ніхто нічога ні чуў і ні знаў⁶² (B16M.Siom.LL).

Коллективизация, колхозы и общее хозяйство вспоминаются так:

Ну й тады як гэты ўжо, яны тутака сталіся гэтыя бальшавікі, значыць, сталі гэтыя, у нас жа ш калхозы гэтыя арганізавалі. Ну як калхозы арганізавалі, значыць, трэ было, ну эта і на воз усё згружалі: барану, плух, і гэна, і гэна, і каня запрагалі і на калхозны двор. І ўсё гэна яно там аставалася. Эта ўжо ні тваё было⁶³ (B10M.S.Siał.PU).

⁵⁹Мама говорила совсем голод был. (...) А, Боже, какая ж я там была, еще подростком. Ну, говорила, хлеб испечет мама, говорит, на работу гонят их, говорит, в сумку возьмем, всё развалится. А что там, мякину ту, мякину, измельчали (B11M.Kom.MJM.DIP/1).

⁶⁰А вот допустим, я пришел с армии, уже в пятьдесят пятом году, здесь ничего не было. Ничего не было. Ни дров у отца не было, ни денег у отца не было, ничего-ничего. Коровка была одна только. Я пришел молодой вот с армии, какая у меня гражданская одежда была? (...) Купить значит не за что было и негде (B10M.S.Siał.PU).

⁶¹Уже после войны, после победы, уже Сталин их тогда, уже кто в плену, тогда Сталин расправлялся. (...) И тогда кто возвращался сюда, всё Сталин их сразу (...) за их и по двадцать пять, и на Колыму, на разработку тех ископаемых, леса и всё. Тогда военнопленных, кто был, значит, он тоже туда (B10M.S.Siał.PU).

⁶²Тех, у кого была земля, кони, корова, считали кулаками, их в Сибирь. Вот вчера они были, а утром мы встали и нет семьи. Тихо вывезли, никто ничего не слышал и не знал.

⁶³Ну, и тогда как уже это, они пришли сюда, эти большевики, значит, организовали у нас эти колхозы. Ну как

Независимо от географического расположения Мядельщины и Воложинщины, их историческая судьба была одинаковой. Воспоминания информаторов также строятся подобным образом и отражают аналогичное эмоциональное состояние. Кроме того, моих собеседников объединяет также желание поделиться пережитым с молодым поколением и отсутствие интереса со стороны молодежи к воспоминаниям представителей старшего поколения. Во многих беседах, с грустью и обидой звучали следующие слова:

Сёння вот хочыш каму-та расказаць – ніхто ні слухае. (...) А гэта праўда, трагедзія народа, народа, каторага білі, палілі і абіралі (...) і тады пас'ле вайны, само сваё гасударства прадалжала эта із'дзявацільства⁶⁴ (B10M.S.Siaľ.PU).

На жизненный путь довоенного поколения выпали нелегкие испытания, однако не только они сохранились в памяти старожилов. Важное место в ней отводится традициям и обрядам, которые они стараются передать своим детям и внукам. Мои собеседники неоднократно вспоминали пляски, песни, игры, сопровождавшие в свое время их отдых и труд. Особенно трогательными для нас были те моменты, когда информаторы доставали из шкафа вышивки на пожелтевшем от старости полотне или другие изделия ручной работы, которые хранили всю свою жизнь как самое ценное и святое. Они читали нам свои стихотворения и дневники, описывающие их жизненный путь, душевные сомнения и надежду на лучшее, а также на то, что память о пережитом ими будет жива среди молодых поколений.

Полученные нами результаты полевых исследований, а также процитированные выше фрагменты высказываний позволяют определить воспоминания индивидов как один из элементов исторической памяти. Не подлежит сомнению, что зафиксированные события в памяти довоенного поколения подверглись искажению, нередко идеализированию и насыщению ярко выраженным эмоциональным отношением. Тем не менее, это отдельная история отдельного индивида, составляющая коллективную память. Она позволяет каждому человеку, а, соответственно, и определенному обществу – посредством хранения и передачи эпизодов из своей жизни – сохранить свою индивидуальность, а также групповую, культурную, этническую, национальную тождественность. Таким образом, роль воспоминаний, с точки зрения

колхозы организовали, значит, надо было, ну это и, на воз сгружали всё: борону, плуг, и это, и это, и лошадь запрягали и на колхозный двор. И всё это там оставалось. Это уже было не твое (B10M.S.Siaľ.PU).

⁶⁴Сегодня вот хочешь кому-нибудь рассказать – никто не слушает. (...) А это правда, трагедия народа, народа, который были, жгли и обкрадывали (...) и тогда после войны, само своё государство продолжало это издевательство (B10M.S.Siaľ.PU).

исследований исторической памяти неопенима. Несмотря на многолетнее изучение, она требует дальнейшей разработки, поскольку воспоминания живы, пока живо то или иное поколение – носитель и хранитель «живой истории».

Сокращения

(B10M.S.Siał.PU): В – Беларусь, 10 – год записи, М – Минская область, S.Siał. (Среднее Село) – название местности, PU – инициалы собеседника.

Siom. – Siomki

Литература

ASSMANN, A., 2009. Przestrzeń pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. In: *Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka*. Ред. М. Saryusz-Wolska. Kraków: Universitas, 101–142.

ASSMANN, J., 2008. *Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

DELAPERRIÈRE, M., 2013. Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej. *Ruch literacki*, 1, 49–61.

LE GOFF, J., 2007. *Historia i pamięć*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Halbwachs, M., 2008. *Společne ramy pamięci*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

TRABA, R., 2006. *Pamięć zbiorowa: rozważania o „historycznych” możliwościach posługiwania się nowoczesnymi koncepcjami badania pamięci*. In: R. Traba. *Historia – przestrzeń dialogu*. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 23–40.

TRABA, R., 2008. *Wstęp do wydania polskiego. Pamięć kulturowa – pamięć komunikatywna. Teoria i praktyka badawcza Jana Assmanna*. In: Assmann, J. *Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 11–25.

АРУТЮНОВА, Ю. А., 2006. Культура воспоминания и история памяти. In: *История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени*. Ред. Л. П. Репина. Москва: Кругъ, 47–55. Режим доступа: http://ec-dejavu.ru/c-2/Cultural_Memory.html (6.05.2016).

Памяць. Валожынскі раён 1996. Ред. Я. Я. Янушкевіч. Мінск: Мастацкая літаратура.

Памяць. Мядзельскі раён 1998. Ред. У. І. Лемяшонак. Мінск: Мастацкая літаратура.

ШЕСТАКОВ, В. П., 2012. Память как реальности исторического времени. *Культурная память*, 1 (6), 29–33. Режим доступа:

http://culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2012/IJCR_01%286%29_2012_shestalov_mem.pdf
(6.05.2016).

Anna Żebrowska

Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

INDIVIDUAL MEMORIES AS ELEMENTS OF HISTORICAL MEMORY

Summary

The purpose of this article is to analyse fragments of biographical narratives as some of the elements of historical memory and to present the most vivid images of the past. The study is based on field research which was conducted in 2010 in the regions of Myadel and Volozhin in the district of Minsk (Belarus). The collected material consists of sound recordings of interviews carried out with the residents of this area (one hundred hours of recordings) as well as of personal observations. We can draw the following conclusions from the analysis: the older generation – born before the beginning of the Great Patriotic War – retained the memories most of all about this land belonging to the territory of Poland, the events of 1939 and the years of the 2nd World War as well as the post-war period, which was etched in the memory of our informants as the time of distress, hunger, repression and forced collectivisation. The recorded events are often subject to distortion and idealisation, and they are charged with strong emotions. Still, they represent individual stories as part of collective memory which helps preserve one's own individuality as well as group, cultural, ethnic and national identity.

KEYWORDS: communicative memory, historical memory, memories.

Ana Żebrowska

Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznanė, Lenkija

ASMENINIAI PRISIMINIMAI – ISTORINĖS ATMINTIES ELEMENTAS

Santrauka

Tyrimo tikslas – aptarti biografinių naratyvų fragmentus kaip istorinės atminties naratyvo sudedamąją dalį. Tyrimo medžiaga – lauko tyrimai, kurie yra renkami Miadelsko ir Voločinsko rajonuose, Minsko apskrityje (Baltarusija) nuo 2010 metų. Surinktą medžiagą sudaro pokalbiai su

vietiniais gyventojais (apie 100 valandų įrašytų pokalbių) ir asmeniniai pastebėjimai. Atliktas tyrimas parodė, kad vyresniosios kartos atstovai (žmonės, gimę iki Antrojo pasaulinio karo pradžios) atsimena, kad dabartinė jų gyvenamoji teritorija priklausė Lenkijai, 1939 metų įvykius, Antrojo pasaulinio karo laikus bei pokario laikotarpį. Pastarasis laikotarpis žmonių atmintyje išliko kaip vargo, bado, represijų ir prievartinės kolektyvizacijos metas. Prisimenami įvykiai dažnai yra pasakojami neobjektyviai: iškraipant faktus ir perdėtai emociškai. Tačiau šie pasakojimai – tai atskirų individų istorijos, iš kurių susideda kolektyvinė atmintis, dėl kurios išlaikomas asmeninis ir kultūrinis, etnis, nacionalinis identitetas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: komunikacinė atmintis, istorinė atmintis, atsiminimai.

Žmogus kalbos erdvėje [Mokslinių straipsnių rinkinys]. Nr. 9. Elektroninis išteklius. Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Užsienio kalbų katedra, 2017. – 415 p.

ISSN 2424-385X